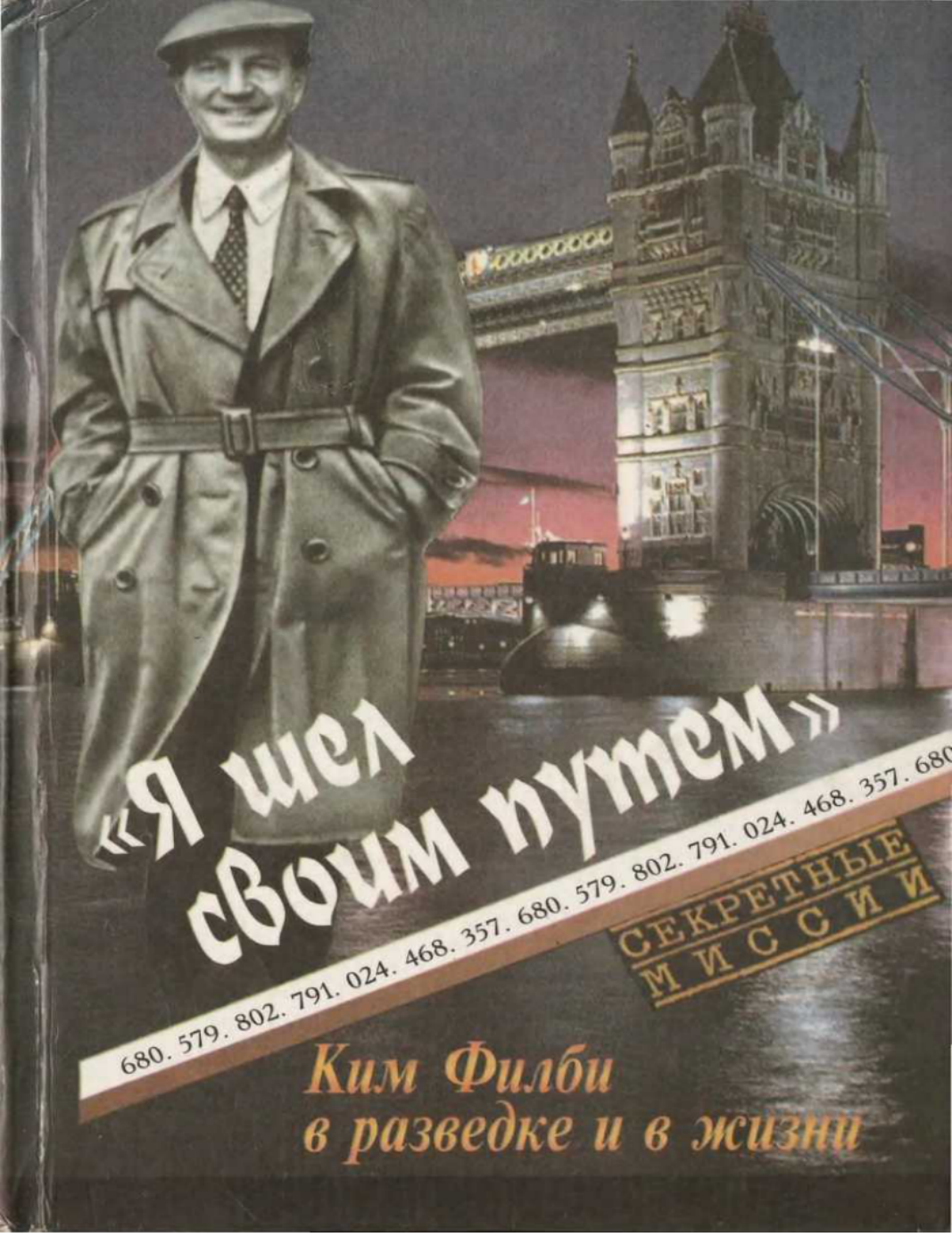

«Я шел своим путем»
680. 579. 802. 791. 024. 468. 357. 680. 579. 802. 791. 024. 468. 357. 680
СЕКРЕТНЫЕ МИССИИ
Ким Филби
в разведке и в жизни

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Это первое издание, в которое включено все написанное блестящим советским разведчиком, одним из членов «кембриджской пятерки» Кимом Филби. Кроме книги «Моя незримая война», изданной с купюрами в 1980 году (а сейчас восстановленной в первоначальном виде и дополненной предисловием Грэма Грина), все материалы публикуются впервые. Советский период жизни Филби помогают воссоздать также впервые публикуемые переписка с друзьями, воспоминания его жены Р.И. Пуховой-Филби, друга и коллеги разведчика М.Ю. Богданова. Книга будет интересна каждому читателю — от школьника до специалиста-международника и профессионала спецслужб.

- Я шел своим путем. Ким Филби в разведке и в жизни
  - ○
  - ○ «А БЫЛ ОН АНГЛИЕЙ ВЗЛЕЛЕЯН…»
  - ○ Ким Филби
  - ○ Ким Филби
    - ■
    - ■ Ким Филби
    - ■ От автора
    - ■ Предисловие
    - ■ Пролог
    - ■ СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ПРИНИМАЕТ МЕНЯ НА РАБОТУ
    - ■ РАБОТА В УПРАВЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
    - ■ СИС — ГРЯЗНЫЙ БИЗНЕС ПОД СОЛИДНОЙ ВЫВЕСКОЙ
    - ■ АНГЛИЙСКИЙ И СОЮЗНИЧЕСКИЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
    - ■ ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ
    - ■ ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА
    - ■ ОТ ВОЙНЫ К МИРУ
    - ■ ДЕЛО ВОЛКОВА
    - ■ РЕЗИДЕНТ СИС В ТУРЦИИ
    - ■ ЛОГОВО ЛЬВА
    - ■ ГРОЗА
    - ■ ИСПЫТАНИЕ
    - ■ ТУЧИ РАССЕИВАЮТСЯ
  - ○ Ким Филби

        - ЛЕКЦИЯ РУКОВОДЯЩЕМУ СОСТАВУ ПГУ (1977 г.)
        - ПЕРЕПИСКА
    - М.Ю. Богданов
    - Р.И, Пухова-Филби
        - МОЯ ЖИЗНЬ ДО КИМА
        - КРЫМ
        - ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДКИ
        - ДАЧА
        - ВСТРЕЧИ С ГРЭМОМ ГРИНОМ
        - НАЧАЛО КОНЦА
        - ПОНИКШАЯ ГОЛОВА И СПИНА В ПИЖАМЕ
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31

- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75

- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81

Я шел своим путем. Ким Филби в разведке и в жизни
Сост. Ю.Г. Кобаладзе

«Я шел своим путем»

Ким Филби в разведке и в жизни

МОСКВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
1997

«А БЫЛ ОН АНГЛИЕЙ ВЗЛЕЛЕЯН…»

О, мученики догмата, вы тоже жертвы века!

Б. Пастернак

Когда в 1974 году я был призван на пепелище английского направления, догоравшее после невиданной в истории высылки 105 советских дипломатов и разведчиков из Англии, то на авансцену сразу же выполз актуальный вопрос: «Что делать?» Прошлое лондонской резидентуры было блистательным, в свое время точка ломилась от ценных агентов, так каков же золотой ключик к этим грандиозным успехам? Хотелось иметь близ себя мудрого советника, вдохновляющего и указующего перстом, но не из слишком мудрых коллег, выбившихся в генералы, а из тех, кто рисковал жизнью и сам был частью истэблишмента. Наши агенты-англичане, проживавшие в Москве, нашли себя на научно-исследовательской ниве, варились в кандидатских и докторских и к прошлому относились философски, один Филби нигде, как говорится, постоянно не работал, хотя временами давал консультации сотрудникам разведки. Жил незаметно, выступал под чужой фамилией. Оказалось, что на второй родине конспирация не менее важна. Вдруг выкрадет мстительная английская разведка? Или корреспондентишко какой-нибудь рептильной «Дейли экспресс» выследит и возьмет провокационное интервью? Или некоторые чересчур любознательные совграждане распознают в обитателе квартиры в старомосковском доме в Трехпрудном аса советского шпионажа?

Я был представлен Киму Филби 1 января 1975 г., в день его рождения, отмеченный Службой в кабинете ресторана «Прага». За столом в основном сидели кагэбэшнопартийные вожди, не нюхавшие пороха закордонной работы, но зато славно присосавшиеся к славе знаменитого агента. Корифеи, работавшие с ним в Англии, либо погибли во время войны, как Арнольд Дейч, либо получили пулю в затылок от своих коллег, как Теодор Малли, либо сбежали на Запад, как Александр Орлов, либо остались инвалидами после лагерей, как Дмитрий Быстролетов, либо были вычищены из органов по «пятому пункту», как Анатолий Горский.

Звенели бокалы, произносились тосты (это умели!), большинство по-английски не говорило, а сам Ким, будучи истинным англичанином, не любившим высокопарных тостов,

больше молчал и вежливо улыбался.

За границей распространено мнение, что после бегства из Бейрута в СССР в 1963 году Филби стал чуть ли не ключевой фигурой в антибританском шпионаже. Отдадим дань мифу о сверхэффективном КГБ, но, увы, все выглядело совсем по-другому. Вся атмосфера в стране предполагала бдительность, после тщательных опросов Филби (кстати, принципиально нового он ничего не добавил) его оградили от мира незримой каменной стеной и лишь иногда встречались с ним коллеги для обсуждения несущественных оперативных вопросов вплоть до правильного перевода текста на английский язык. С годами стали показывать его в различных подразделениях КГБ и соответствующих министерствах в социалистических странах. Советский народ, которому всю жизнь служил Ким, впервые узрел его на телевидении лишь за несколько месяцев до его кончины.

Сгоревшего агента, потерявшего доступ к секретам, весьма сложно использовать в совершенно другой обстановке и при подозрительности, свойственной всем спецслужбам…

Но начнем ab ovo.

Гарольд Адриан Рассел Филби родился в 1912 году в Индии. Экстравагантный папа, известный арабист, дал ему кличку «Ким» в честь юноши из романа великого Редьярда Киплинга, шпиона и солдата, стоявшего на страже интересов Британской империи. Сэр Джон Филби оказал большое влияние на сына, начинил его знаниями, обеспечил учебу в знаменитом Вестминстерском колледже, а затем — в Кембриджском университете. Сэр Джон презирал Англию, хотя верно служил Империи, выдвигал себя в парламент, получил награды и титул пэра, частенько наведывался туда выпить порто и выкурить сигару в клубах на Пэл-Мэл. Папа обожал путешествовать, активно участвовал в интригах в арабских странах, был советником короля Ибн Сауда и жил в Саудовской Аравии, связи с английскими властями не терял, в конце концов принял мусульманство, женился на молодой арабке, родившей ему еще двоих детей, и одно время жил в ветхом домике с женой и бродившими рядом двумя обезьянами из породы бабуинов. Сэр Джон умер на шестьдесят шестом году жизни, во время посещения сына в Бейруте в 1960-м последними его словами были: «Всё надоело!»

Мать Кима Дора, дочка скромного служащего, красивая женщина, любившая танцевать и, по мнению мужа, «к счастью, не курившая и не игравшая в бридж», всю жизнь стойко выносила его капризы и причуды и умерла в 1957 году в Лондоне.

С таким происхождением в наши славные органы Кима никогда не приняли бы!

Но и по другим параметрам мало подходил Филби под общепринятые стандарты, слишком много грешно-человеческого было в его натуре: и приверженность к шотландскому виски и недожаренным бифштексам, и романы, и четыре брака, и разводы, и любовь к свободе — сомнительное качество, когда работаешь на царство осознанной необходимости. Не стрелял он из пистолета без промаха, не прыгал с парашютом, не терпел спорта, не владел самбо и, наверное, и недели не продержался бы в нашем разведывательном ведомстве — тут же вышибли бы!

Зато он в избытке обладал мужеством и верой в ослепительную Утопию, посетившую его в привилегированном Кембридже. Времена студенчества пали на годы мирового экономического кризиса, на безработицу и нищету, кембриджский вольный воздух клубился от революционных идей, в колледжах шумели политические баталии, там Филби и увлекся марксизмом, хотя в компартию никогда не вступал.

Век кончается, и он не всегда был таким, как ныне. Можно ненавидеть и осуждать коммунизм, но только узколобый дилетант может отрицать влияние большевистской революции на умы всего человечества. Коммунизм был мировым движением, причем он покоился не на куцых идеях «арийского превосходства», а на принципах свободы и равенства, неприятия власти денежного мешка и частной собственности. Что из этого вышло — известно, но это не означает, что буржуазные идеи не переживают кризис, об этом уже давно говорят западные интеллектуалы, ищущие выход из тупиков цивилизации.

Вернемся же в контекст того времени: компартии, причем влиятельные во всем мире, близкие к ним левые лейбористы и социалисты, с одной стороны, и чудовищный зев фашизма — с другой, и Уэллс, Шоу, Роллан, Фейхтвангер и многие другие приветствуют сталинское государство!

Что там интеллектуалы! Что там левые лейбористы! Британский шпион Сидней Рейли в личном письме жарко писал своему другу Брюсу Локкарту, тоже честно боровшемуся с большевиками: «Я считаю, что, пока эта система содержит практические и конструктивные идеи большей социальной справедливости, она должна постепенно завоевать весь мир».

Кровопускания отца народов в 30-е годы… Даже у чекистов представление об этом было куцее, а уж простые советские граждане до сих пор вспоминают, как славно жилось перед войной.

На Западе, конечно, шуму было больше, хотя американский посол Дэвис в своих секретных депешах рассматривал процессы не иначе как шпионские. Запад вообще смотрел на это сквозь

пальцы — что им права человека в СССР, когда под носом Гитлер и очереди безработных за чечевичной похлебкой! Многие честные люди, мало зная о злодействах Сталина, искренне симпатизировали «государству рабочих и крестьян».

Это в 70—80-х годах, когда коммунизм уже деградировал как Великая Идея и призрак революции улетучился, Запад станет радетелем демократии у нас *и* объявит об «империи зла»…

Несмотря на многие сомнения, Филби об этом напишет… Свою судьбу с советской разведкой он связал в 30-е годы.

В английскую разведку Филби удалось поступить в 1940 году — помогли и происхождение, и связи. Сначала дерзал он на испано-португальском направлении, затем ему добавили Северную Африку и Италию, а в 1944 году назначили начальником секции по борьбе против СССР и коммунизма — можно представить себе ликование в кабинетах на Лубянке.

С началом войны советская разведка, имевшая в то время, наверное, лучший в истории России заграничный агентурный аппарат (это и не удивительно: ведь к нам тянулись многие антифашисты), переживала, как и вся страна, глубокий кризис. Кадры разведки были беспощадно репрессированы, и, самое главное, из-за закрытия посольств оказалась парализованной связь с Центром из Германии и оккупированных стран.

Гестапо запеленговало и подавило нелегальные резидентуры, последовали аресты в Бельгии, во Франции и в самой Германии, где осталась без надежной связи известная «Красная капелла», выжила еле-еле лишь нелегальная резидентура военной разведки в Швейцарии, хотя немцы и пытались протянуть туда свои щупальца.

В Англии же, естественно, имелась надежная связь через посольство, да и англичанам удалось расколоть некоторые германские шифры, так что Филби не ограничивался лишь информацией об английской политике.

«К началу 1942 года слабая струйка перехватываемых радиограмм абвера превратилась в поток», — писал Филби.

Но как повлияла информация Филби на решения Сталина? Известно, что она сыграла роль при сражении на Курской дуге. А в остальных случаях? Что докладывалось, а что сочли пустышкой или даже «дезой»?

Величайшая драма и агента, и разведчика: им почти всегда неведомы конечные результаты труда — информация перемалывается в бюрократическом механизме, один начальник пропустит, другой отвергнет, третий отретуширует до полной противоположности, на самом верху тоже колдуют византийские хитрецы, обожающие похлопать Хозяина по голенищу и

подложить на стол то, что ему по душе и что показывает в глазах всех остальных членов правительства всю гениальность его внешней и внутренней политики.

Этот «человеческий фактор» свойствен и демократиям, но в особенности тоталитаризму. Как однажды признался «великий кормчий» Мао Генри Киссинджеру, «лишь только секретные службы узнают, чего от них хотят, как сообщения сыплются словно снежные хлопья».

В августе 1945 года Филби чуть не провалился из-за попытки сотрудника резидентуры в Стамбуле Волкова получить убежище у англичан за информацию, свидетельствующую о проникновении в английскую разведку и Форин офис советской агентуры. Филби повезло: именно ему поручили это дело, вскоре Волкова вывезли в Москву и быстро прикончили.

Озноб бежит по коже, но на войне как на войне: либо ты, либо тебя. Филби впоследствии раскрыл многие операции, особенно в Восточной Европе.

В 1947 году Филби назначили резидентом СИС в Турции, где английская разведка добывала информацию об СССР и Балканских странах, направляла агентуру в Армению, Одессу, Николаев, Новороссийск.

Дела шли отменно, руководство СИС радовалось успехам Филби, в 1949 году его карьера пошла в гору: назначен на пост представителя английской разведки при ЦРУ и ФБР в Вашингтоне (по значению должность не меньше заместителя начальника СИС). Правда, в тогдашнем НКВД гордость успехами Филби носила по-советски странный характер: листая его дело, я наткнулся на заключение по всей знаменитой «пятерке», составленное, кажется, в 1948 году и подписанное тогдашним начальником отдела. После тщательного и тенденциозного анализа был вынесен вердикт: вся «пятерка» суть подставы англичан, дезинформаторы и провокаторы.

Правда, делу хода по неясной причине не дали, связь с агентами не порвали и, как в добрые 30-е годы, не направили в Англию боевиков, дабы стереть с лица земли предателей.

Бывший заместитель Абакумова генерал Райхман, с которым я общался уже в годы перестройки, до конца жизни был уверен, что «пятерка» — провокаторы.

Все больше разгоралась холодная война, все драматичнее становилось противостояние между СССР и бывшими союзниками. Острая борьба за сферы влияния бушевала и в Восточной Европе, и в Китае, и в Корее, англо-американский альянс играл доминирующую роль в международной политике, и Филби, находясь в самой кузнице принятия решений, получал

информацию, как говорят англичане, прямо из зубов лошади.

Что такое работа агента, осевшего в стане противника? Одна рутина, и потому она изматывает больше, чем любая авантюра. Жить вроде бы тихо и спокойно, играть свою роль с коллегами, с женой, с детьми, не выходить из образа, вечно проверяться и бдить, иногда топать по улице в дождь с секретными документами в портфеле или красться к тайнику (кто знает, не окажется ли на месте встречи группа захвата, не тянется ли «хвост», не произошло ли предательство?), немыслимый стресс — такова жизнь Филби: игра с огнем под покровом тьмы.

В 1951 году, когда англичане стали подозревать заведующего отделом Форин офиса Маклина, от Филби в Центр полетел тревожный сигнал, и вскоре Маклин и его коллега Берджесс бежали из Англии и объявились в СССР. Сразу же возникли вопросы: кто же предупредил советских агентов? Откуда утечка? Кто «третий человек»?

На Филби вышли без особого труда (он дружил с обоими в Кембридже, Берджесс даже жил у него дома в Вашингтоне), отозвали в Лондон и подвергли суровым допросам. Можно только позавидовать его мужеству и самообладанию: он не только не признался, но сумел на время отвести от себя подозрения и уйти в отставку с приличной пенсией.

Увольнение Филби не прошло незамеченным, вся история постепенно раскручивалась и, главное, приобрела политическую окраску, дав козырные карты лейбористской оппозиции, не упускавшей случая, чтобы щелкнуть по носу своих оппонентов.

И в 1955 году после публикации Белой книги о деле Берджесса — Маклина в парламенте разразился оглушительный скандал о «третьем человеке» — Киме Филби, он попал в эпицентр невиданного паблисити, пресса разрывала его на части…

Тогдашний премьер-министр Макмиллан, спасая честь мундира спецслужб, официально заявил, что не располагает доказательствами о причастности Филби к делу. Бедный Мак! Через несколько лет лейбористы все же сбили его с пьедестала делом о советском шпионаже, на этот раз раздутым: связью военного министра Профьюмо с проституткой Килер, которая — трепещите! — интимно общалась иногда с помощником военно-морского атташе Е. Ивановым.

Филби выстоял в борьбе нервов, блистательно сыграл роль оскорбленной невинности, возмущенной клеветой прессы и подлостью коллег.

В 1956 году не без подсказки друзей Филби (человек он был светский и не избегал лондонских салонов) респектабельный

еженедельник «Обсервер» предложил ему место в Бейруте, где он и писал благополучно в газету несколько лет, не теряя контактов с тамошней резидентурой СИС (англичане так и не могли до конца поверить, что питомец истэблишмента может работать на Советы). Так продолжалось до января 1963 года, когда его выдал кагэбист-перебежчик.

Филби перебрался в Советский Союз, где раньше никогда не был, увидел своими глазами нашу жизнь и, наверное, не на шутку удивился. Открылась новая страница в эпопее Филби, менее романтическая, окрашенная всеми цветами нашего живописного быта и суровыми порядками секретной службы.

Нелегко привыкал Филби к новой жизни, многое раздражало его, нехватку друзей и живого воздуха ему пытались компенсировать развлечениями, поездками по стране, выписали ему английские газеты, за которыми он конспиративно ходил на главпочтамт, выделили и четырехкомнатную квартиру в старом доме, окруженном запущенными типично московскими двориками Освящая архитектура «коробок» и помпезные кирпичные строения номенклатуры вызывали у него неподдельный ужас). В общем, по меркам простого советского человека жил он вполне прилично, правда без собственной дачи, в отличие от многих его боссов, спустившихся с партийных небес. Получал приличную пенсию, если не ошибаюсь — 500 рублей. Никаких званий, как считают на Западе, не имел.

Неприхотлив был Филби, не жаждал он ни собственности, ни роскоши. Вполне хватало ему тихого уюта центра Москвы, заботливой женской руки, кухоньки с замысловатыми специями, соусами и горчицами, пластинок Шопена на старом проигрывателе.

Библиотеку свою он без особых трудов получил из Лондона: английские власти, блюдя священные законы собственности, не ставили палок в колеса и, кстати, свободно пускали в Москву его родственников.

На книжных полках стояли внушительные фолианты в сафьяне, не читать которые в начале этого века считалось так же неприлично, как разрезать рыбу столовым ножом: «История» Маколея, «История» Пипса, Босвелл о докторе Джонсоне, «История упадка и разрушения Римской империи» Гиббона, Томас Карлейль, Ренан, Геродот, Плутарх, Тацит, совсем забытые сегодня английские романисты XIX века Троллоп, Кингсли, Хоуп. К современным беллетристам Филби относился снисходительно, правда ценил своего друга и бывшего коллегу Грэма Грина (он навещал его, будучи в Москве); детективы, особенно о разведке, не читал — они вгоняли его в сон.

Жизнь в Москве постепенно входила в свою неумолимую колею.

Пришла любовь — Руфа, сотрудница научного института, красивая светлоглазая женщина, ставшая его женой.

С женами у Филби было непросто: с первой брак был фактически фиктивным, и они вскоре разошлись; вторая жена, Айлин, умерла, родив ему несколько детей; третья, Элеонора, разошлась с ним вскоре после его побега в Москву.

Что говорить, задохнулся бы без Руфы Ким от одиночества, он любил ее, верил ей до конца дней.

Вскоре решил он подвести итоги и написать мемуары — сложность невеликая с его легким пером и типично английским, горьковатым юмором — думал, наверное, что, как в доброй старой Англии, год работы — и книга выйдет в свет. Не тут-то было! Не так это было просто в стране, где всегда на страже армии штатных и нештатных идеологов, а тут еще признания в шпионаже в пользу вечно окруженной недругами державы! Где это видано? Где это слыхано? Какая разведка? Нет у нас разведки! Как у кота Бегемота: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус!»

И все же книгу он написал, но далась она трудно: пресс цензуры давил беспощадно.

И все же по тогдашним стандартам книга вышла быстро: в 1968 году в Лондоне, с предисловием маститого Грэма Грина, взорвалась сенсацией и несколько раз переиздавалась. Почему в Лондоне? Да потому, что пробивали книгу как «активное мероприятие», разоблачавшее британские спецслужбы, иначе кто бы дал санкцию? Ким сумел сохранить в книге некую объективность и не опустился до уровня партийной печати, умевшей гоняться за ведьмами. Но, конечно, он не написал и четверти того, что хотел, а жаль…

Казалось бы, любой истинный патриот Отечества тут же повелел бы перевести книгу на русский — ведь не в Англии же искать почитателей! — переводите, чтобы видели граждане, какие герои трудятся за кордоном, чтобы гордились, чтобы военно-патриотически воспитывались. Но тоталитаризм не просто туп, он обладает поразительной, совершенно уникальной способностью подрезать сук, на котором сидит, доводить свои и без того скудные духовные силы до полного нуля. Впрочем, не только тоталитаризм.

Забота о чистоте мозгов своего народа, который не следовало отвлекать от доения коров, токарных работ *и* выполнения плана и тем более наводить на мысли о разведывательной работе в мирное время (с войной, слава Боту, хоть немного было ясно

благодаря Штирлицу), задержала перевод на годы.

А дальше — тишина, как говорил принц Гамлет. Новокунцевское кладбище:

Будто о Филби написал английский поэт Рупер Брук:

> Лишь это вспомните, узнав, что я убит:
> Стал некий уголок средь поля на чужбине
> Навеки Англией. Подумайте: отныне
> Та нежная земля нежнейший прах таит.
> А был он Англией взлелеян; облик стройный
> И чувства тонкие она дала ему…

Дитя своего времени, кровавого, путаного великого XX века.

Михаил Любимов

Ким Филби
АВТОБИОГРАФИЯ

Перевод *М.Ю. Богданова*

КОРНИ

Руфина как-то сказала мне, что я должен всегда мыть руки после того, как держал деньги. Ее мягкий приказ перенес меня лет на 55 во времени и примерно на полторы тысячи миль в пространстве — в Кемберли, графство Суррей, где под присмотром бабушки проходило мое детство с 3 до 12 лет.

«Никогда не клади в рот пенсы и полупенсы, — любила повторять бабушка. — Ведь неизвестно, какие отвратительные оборванцы держали их в руках. Ты можешь опасно заболеть». Между этими двумя предостережениями, конечно, есть разница. Для бабушки серебряные монеты — шестипенсовики, шиллинги, флорины и полукроны — были вне подозрения. Подозрение вызывали только медяки — монеты бедняков. Для Руфины же все деньги — грязные, несмотря на то что ей нравятся вещи, которые можно на них купить. Руфина, хотя в жилах ее течет польская кровь, родилась в Москве через 15 лет после революции и прожила в этом городе всю жизнь.

Я вовсе не хочу создать впечатление, будто моей бабушке было чуждо сострадание к бедным и обездоленным. Она порой пробивалась сквозь транспортный поток на другую сторону улицы лишь для того, чтобы сунуть несколько медяков в руку нищего, которому, на ее взгляд, это было особенно нужно — таким он выглядел голодным или больным. Однако между моей сострадательной бабушкой и тем нищим пролегала непреодолимая пропасть. Никто этого не знал лучше Кейт, нашей кухарки, которая преданно служила бабушке свыше 40 лет и которой бабушка, в свою очередь, была очень предана. В течение всего этого времени Кейт хорошо знала свое место в нашем доме — кухню и задний двор. Я ни разу не встречал ее среди цветочных клумб, а овощи с огорода доставлялись ко входу в кладовку мистером Бишопом, садовником. Иногда в дом врывался шум, который напоминал звук, издаваемый рвущимися простынями. Он заставлял бабушку навострить уши и взглянуть на часы.

— Ким, — говорила она, — это, должно быть, принес

пирожные человек из кондитерской Дэрракотта. Сбегай на задний двор и скажи Кейт, чтобы она не смеялась так громко.

Когда меня впервые привезли в Кемберли, бабушка вела хозяйство, но не являлась главой дома. Еще жива была ее собственная мать, бабуся Дункан, как я ее называл. Ей было около 70 лет, и она была бледная, хрупкая, седая. Утро она проводила в своей спальне, днем перемещалась в гостиную, а вечерами, если была хорошая погода, возилась, подстригая траву бордюра и распуская при этом митенки. Я виделся с ней только за столом, и ее редкие высказывания убедили меня, что у нее есть глаза на затылке (так я долгое время считал). Она обычно сидела во главе стола спиной к французским окнам до пола и время от времени делилась впечатлениями о том, чем занимались птицы на садовой дорожке позади нее. Прошло немало месяцев, прежде чем я понял, что источником ее информации являлась огромная гравюра под стеклом, изображавшая встречу в Лакноу Хэвилока, Утрама и сэра Колина Кемпбелла[1], и в этом стекле в деталях отражался сад. Радом с гравюрой висел великолепный гобелен, привезенный, как мне с гордостью рассказывали, в качестве трофея двоюродным дедом из Летнего дворца в Пекине.

Как подобало в то время, в доме, где обитали две дамы — старая и пожилая, режим был хоть и не суровый, но четко устоявшийся. Подобно тому как для Кейт были отведены кухня и задний двор, моим пространством являлись детская комната и сад, причем со строгим запретом ходить по цветочным клумбам. За моим поведением следили сменявшие друг друга молоденькие гувернантки, жившие со мной в одной комнате и пробуждавшие во мне смутное сексуальное самосознание, вероятно потому, что они это тоже чувствовали. К сожалению, отыскивая в памяти какие-либо конкретные поводы для такого смутного пробуждения, я ничего не могу вспомнить. Гостиная была запретной территорией. Меня пускали туда, лишь когда кто-либо из заглянувших на чашку чая подруг бабуси Дункан выражал — скорее всего неискренне — желание взглянуть на «милого малыша». В таких случаях гувернантка, прежде чем ввести меня «в присутствие», тащила громко протестующего «милого малыша» в ванну для основательной отмывки. В гостиной нанесенная мне обида затушевывалась чирикающими голосами, которые восклицали: «Ах! Какой *чистенький* мальчик!» Среди этого чириканья особенно выделялась сестра бабуси Дункан, тетя Ада, которую я очень боялся. Впрочем, в этом была виновата не она, а моя бабушка.

— Сегодня ты должен быть хорошим мальчиком, Ким, — напутствовала меня бабушка за завтраком. — Тетя Ада придет к

нам на чай.

И вот начиная с четырех часов я дежурил возле щели в заборе и мчался как угорелый прятаться, завидя на дороге тетю Аду в черной вуали, трепетавшей на ветру.

Помимо вполне понятной злости на то, что тебя скребут, причесывают и выставляют напоказ, режим, существовавший в «Перекрестках», — а наш дом стоял недалеко от того места, где Парк-стрит пересекает Гордон-роуд, — не вызывал у меня желания взбунтоваться. Все шло по раз и навсегда установленному пути — как звезды на небосклоне. У меня не было желания заходить в гостиную, и, наверное, я был бы ошарашен, если бы бабуся Дункан посетила детскую (такая возможность мне просто в голову не приходила, как, кстати, и ей, несмотря на то что от двери в гостиную до двери в детскую было всего шага три, не больше). Я склонен считать, что режим, существовавший в «Перекрестках», куда лучше современного устройства семейной жизни, где каждый волен делать все, что ему заблагорассудится. В Кемберли исходили из того, что и взрослые, и дети имеют право вести собственный образ жизни.

Царившая в нашем доме атмосфера не способствовала притоку маленьких мальчиков, так что у меня было мало знакомых среди сверстников. Тем не менее тогда я об этом не очень сожалел. Чаще всего я проводил время в компании двоюродного брата Фрэнка, чьи родители, как и мои, большую часть своей жизни провели в Азии. Но я считался любимым внуком, и расположение ко мне бабушки было настолько очевидным, что вызывало нескрываемую враждебность матери Фрэнка, моей тетушки Китти, которая беспрестанно напоминала мне, что, хотя я на восемь месяцев старше Фрэнка, его отец на год старше моего отца и, следовательно, Фрэнк занимает в семейной иерархии более высокое положение. Поначалу я попросту не понимал этого довода, а когда позднее до меня стал доходить его смысл, он перестал что-либо значить. Дело в том, что все имевшее отношение к вопросу о наследовании утратило актуальность, поскольку наследовать было нечего.

Вероятно, именно недостаток друзей-сверстников способствовал тому, что я с раннего возраста увлекся книгами. Мне еще не исполнилось пяти, а я уже сражался с адаптированным для детей изданием «Синдбада-Морехода» и вскоре принялся за «Детскую энциклопедию» Артура Ми. Я с жадностью глотал статьи по естествознанию и географии. Потом был еще какой-то сборник коротких рассказов, название которого я забыл. Яснее всего в памяти сохранился рассказ — и это весьма странно в свете более поздних событий — о нападении стаи

волков на путешественников, передвигавшихся на санях по Сибири. Волки дали знать о себе «протяжным, низким, меланхоличным воем»; чтобы уйти от погони, путешественники отдали несколько лошадей на съедение волкам, а в заключение — хэппи-энд в виде мигающих огней деревни. Тем не менее образ воющих волков запал в сознание и не раз являлся мне в ночных кошмарах. Этот рассказ, а также другие, иллюстрированные картинками змей и морских чудовищ, породили у меня боязнь темноты, которая не проходила года два или три. Возвращаясь в сумерках из школы, я обходил низко свисающие ветви деревьев из страха перед леопардами, которыми мое напичканное чтением воображение населяло Гордон-роуд.

Незадолго до того, как мне исполнилось пять лет, меня определили в детский сад, которым руководили две старые девы — мисс Херринг и мисс Крисп. Поскольку я уже умел читать, мне не составляло труда держаться на уровне пятилеток, а вскоре я даже обогнал их. Время, проведенное в детском саду, осталось в памяти по трем причинам: я влюбился, открыл для себя географический атлас и отрекся от Бога.

Объектом моей любви стала некая мисс Диана Хиггинсон, которая была примерно на год старше меня. Мои чувства к ней не имели ничего общего со смутными ощущениями, вызванными гувернантками, ночевавшими в моей комнате. И тем не менее я не назвал бы их чисто платоническими. Меня притягивало к Диане нечто, что я не пытался определить в то время и не могу определить сейчас. Я и сегодня вижу, как она сидит на два ряда впереди меня в черно-белом клетчатом платье чуть выше колен и с черным бантом в волосах; иногда в поле моего зрения попадало ее бледное, пикантное личико. Однажды я пошел следом за Дианой и проводил ее до дома, обнаружив при этом, что она живет почти рядом с «Перекрестками», на той же улице. Но я с ней так ни разу и не заговорил — ни тогда, ни потом. Вскоре я начисто потерял интерес к девочкам, и эта фаза длилась шесть или семь лет.

Да простит меня Диана, но должен признаться, что это атлас втянул меня в свою магическую паутину. Каким-то необъяснимым чутьем я мгновенно улавливал и объединял в единую картину странные очертания и часами сосредоточенно изучал извилистые линии рек и оттеняющие их контуры. Следующим шагом, конечно, было перечерчивание карт, и бабушка с радостью купила мне контурную тетрадь, прекрасно понимая, что всего за несколько пенсов обретает многие часы спокойствия в детской. Позже под влиянием карты-схемы из «Острова сокровищ» я обнаружил, что карты можно изобретать самому. Открытие это

вылилось в бесконечное рисование вымышленных стран с причудливыми мысами, бухтами и немыслимо расположенными холмами. Бабушка стала критиковать меня за то, что все холмы у меня назывались «Холмами Подзорной трубы», тогда я стал называть их «Подзорная труба-1», «Подзорная труба-2» и т. д. — уловка, которую независимо от меня изобрели исследователи и картографы Гималаев. Мое детское увлечение картами с годами превратилось в тягу к путешествиям, присущую мне до сих пор. Это, по всей видимости, в немалой степени способствовало ослаблению моих корней в Англии.

О Боге; Профессор Хью Тревор-Роупер охарактеризовал меня как «ископаемое»[2]. Надеюсь, мне удастся доказать необоснованность этого обвинения и продемонстрировать, что мое мировоззрение с годами менялось. Но что касается религии, то я всегда решительно отрицал ее. Мне было около шести лет, когда я поверг в ужас бабушку, объявив, что Бога нет. Она была христианкой и свою веру в Бога проявляла в том, что ходила в церковь Св. Михаила на Пасху и Рождество. Но меня с собой никогда не брала и не разговаривала со мной на эти темы. Следовательно, поскольку религия никогда не вторгалась в стены «Перекрестков», мой скептицизм зародился, должно быть, в детском саду, где воспитатели делали упор на чудеса, считая, что это возбудит интерес у детей. В моем случае это возымело прямо противоположное действие. Я реагировал с откровенным недоверием, причем больше всего меня отталкивал широкий разрыв между всемогуществом, приписываемым Христу, и тем, как он это использовал. Почему он вылечил одного-единственного прокаженного? Почему не всех прокаженных? И так далее. Ни один довод, услышанный или прочитанный мною с тех пор, не развеял моих сомнений, и ни разу у меня не было позыва приобщиться к религии. С раннего детства и по сей день я всегда считал, что чувства способны творить большие чудеса, чем любой взлет веры.

Итак, живя в «Перекрестках», я не испытывал страха перед Богом. Думаю, что не испытывал его и перед людьми, за исключением разве что мистера Уотсона. Не сомневаюсь, что мистер Уотсон был замечательным человеком. Но он был хозяином «Перекрестков», и меня стращали им, когда я начинал капризничать и шалить, грозя нанести ущерб имуществу. Его имя произносили зловещим шепотом. Но самого мистера Уотсона я так никогда и не видел.

От страхов меня почти полностью заслоняла любовь бабушки, не ослабевавшая до самой ее смерти, — она скончалась в возрасте 85 лет, сохранив до последних дней вкус к жизни и умение

посмеяться. Она потеряла двух сыновей в сражениях под Ипром: одного — в 1914 году, а другого — двумя годами позже. Мое присутствие, должно быть, помогало заполнить образовавшуюся в сердце пустоту; иначе я не в состоянии объяснить, почему она отдавала явное предпочтение именно мне. Я навещал ее периодически во время второй мировой войны, и каждый раз меня ожидала в буфете неоткупоренная бутылка виски; как только я наливал себе первый стакан, она, посмеиваясь и отдуваясь, хриплым шепотом предостерегала меня:

— Не забудь сразу же спрятать бутылку, как Только услышишь, что идет тетя Китти.

С особым уважением хочу упомянуть последние слова бабушки, адресованные моей матери, которая в тот момент жила у нее. Бабушка остановилась на лестнице, ведущей в спальню, где ей через несколько часов суждено было умереть, и крикнула в кухню:

— Кейт, не забудь приготовить стакан джина для миссис Доры!

Но вернемся к годам первой мировой войны. На меня она практически не повлияла. Гувернантки водили меня смотреть парад на площади перед церковью в Королевском военном колледже или же показывали мне учебные окопы на Баросса-коммон, вырытые для того, чтобы курсанты почувствовали себя на Западном фронте, где им вскоре предстояло умереть. Нормирование продуктов меня не коснулось. Мало волновали меня рассказы о налетах «цеппелинов» и даже пируэты в небе над нами аэропланов из Фарнборо. Куда больше меня интересовали поезда, мчавшиеся по высокой насыпи, которую было видно через ворота нашего сада, — я был еще в том возрасте, когда больше хочется быть машинистом, нежели астронавтом. Затем начались торжества по поводу заключения перемирия, раздражавшие меня своей бестолковостью и бессмысленностью. Бабушка огорчилась, услышав, что я назвал их «глупой суетой». Бедная женщина! Наслаждаться ими ей было уже поздно.

Через несколько месяцев в результате этой «глупой суеты» произошло событие, имевшее важные для меня последствия: в мою жизнь вернулись с Ближнего Востока два совершенно чужих человека — мать и отец.

Говоря, что родители были совершенно чужими для меня людьми, я нисколько не преувеличиваю. Конечно, я «знал» о их существовании. Но от раннего детства, проведенного в Индии, осталось очень мало воспоминаний, они были разрозненные и смазанные. Как я ни старался, ни в одном из них мне не удалось увидеть родителей. Помню пейзаж — я всегда называл его

«Амбала» — улицу, уходящую влево, полумесяцем вниз, по правую ее сторону тянулась сплошная череда красноватых домов с террасами, а по другую сторону — поросший деревьями холм. Я, должно быть, видел нечто подобное в Индии, но не уверен, что это было именно в Амбале. Затем сохранилось воспоминание о ночном путешествии в поезде, во время которого некий мистер Стин дергал меня за волосы каждый раз, как видел (или утверждал, что видел) обезьяну. Наверное, можно было придумать другой способ показать малышу обезьяну в темноте, ибо я ее так и не увидел. Эта картинка сливается с другой ночной поездкой в поезде, а возможно, и той же самой. Я лежал на верхней полке и ныл оттого, что очень хотел пить. Кто-то, кажется солдат, решил успокоить меня с помощью плитки шоколада, но после нескольких кусков жажда стала мучить меня еще сильнее, и я заныл громче.

Таким образом, о раннем детстве в Индии и об индийском периоде жизни моих родителей я знаю исключительно понаслышке, в основном со слов матери. Меня уже тогда звали Ким. Говорят, английский был для меня вторым языком, со слугами и рассыльными я предпочитал болтать на хинди. Мой отец, державшийся традиций до нелепости неуклонно, с изумлением взирал на своего первенца и говорил: «Ну, Дора, это же самый натуральный маленький Ким». Это прозвище так за мной и закрепилось. Другой, и последний, отрывок «воспоминаний понаслышке», связывающий меня с отцом, касался утреннего отчета о погоде, который он требовал от меня во время отдыха в Дарджилинге, где мы жили в бунгало с видом на Кинчинджунгу, — так я записал в моем первом атласе. Мне было велено говорить либо «папочка, горы видны», либо «папочка, горы не видны». В первом случае отец выходил ко мне на веранду, во втором — снова засыпал.

Еще одна серия смутных воспоминаний — о возвращении из Индии вместе с матерью. Могу различить только Карачи — опять череда красноватых домов, да еще башня с часами. Потом какие-то странные кусты, растущие прямо из воды где-то в Средиземном море, — я так и не смог вспомнить, где это было и когда. Как и в воспоминаниях индийского периода, моя мама нигде не присутствует. По ее словам, попутчики прозвали меня Вельзевулом, а однажды я выскочил из каюты весь вымазанный в чем-то липком и коричневом до самых ресниц, громко отрицая, что украл шоколад. Единственным важным событием в этом путешествии явилось знакомство с мальчиком по имени Гай Селлз, который был на целый год старше меня. Грандиознее его я не встречал никого в жизни, и самым грандиозным в нем было то,

что он заикался. К концу путешествия я стал заикаться точь-в-точь, как он. С той поры эта привычка иногда смущала и утомляла меня, но порой и выручала. Заике труднее проговориться, чем незаикающемуся.

В течение четырех следующих лет в моей жизни господствовали бабушка, Кейт, мистер Бишоп, книги, атлас и Кемберли; поэтому я не без волнения позволил бабушке в один прекрасный день в 1919 году буквально всунуть меня в праздничный костюмчик, и мы отправились в Лондон — встречать маму. К перрону подтянулся весь в клубах дыма поезд с пассажирами из порта, и из окна высунулась, махая нам рукой, довольно высокая женщина в белом с черными полосами платье. Но когда она попыталась взять меня на руки, я не дался, вцепившись в бабушкину юбку. А когда по возвращении в Кемберли мама объявила о своих планах, я устроил первый в жизни сознательный бунт. Как большинство первых бунтов, он длился недолго.

Мама решила через несколько дней вернуться в Лондон, чтобы встретить отца, и хотела взять меня с собой. Она уверяла, что мне понравится пожить в отеле «Тюдор-корт» на Кромвелл-роуд. Я отвечал, что не хочу жить в отеле и не хочу ехать в Лондон, а хочу остаться с бабушкой в Кемберли. Маму это, вероятно, страшно задело, хотя вряд ли можно было ожидать иного. Она, тем не менее, не обратила внимания на мои протесты, и мы отправились в Лондон, в «Тюдор-корт», где я вскоре нашел себе новое интересное занятие — наблюдать за изощренными манерами мальчиков-рассыльных, облаченных в униформу с медными пуговицами. Мама объясняла их манеры одним коротким словцом: наглость.

И опять картина круто меняется. Волна памяти переносит меня в дом на Сент-Питерсбург-плейс, о котором мать впоследствии всегда вспоминала с ностальгией. Дом этот находился всего в нескольких шагах от парка Кенсингтон-гарденз — удобно для гувернанток и приятно для меня. Каким-то чудом получилось так, что отец был с нами; я не помню, как он приехал и как я его «встретил». Но уже в первые дни (или, может, недели) по приезде он взял меня с собой в Королевское географическое общество, что находится на противоположной стороне Кенсингтон-гарденз. Там, на втором этаже, он восседал на высоком стуле у огромного стола, накрытого большими листами ватмана. Там же лежало несколько блокнотов, стояли разноцветные бутылочки, тончайшие ручки и масса остро отточенных карандашей. Мое удивление возрастало с каждой минутой, но, когда отец приступил к тому, что он назвал

«работой», я был просто поражен. Он чертил карту и к тому же, насколько я мог судить, карту по памяти, ибо перед ним не лежало никакого атласа, с которого он мог бы копировать. Отчетливо помню, что я испытал два противоположных чувства. Во-первых, восхищение тем, как аккуратно нарисовал отец карту, во-вторых, разочарование, что он называл «работой» то, чем я все время занимался[3].

В течение одного семестра я посещал занятия в дневной школе (без пансиона) на Орм-сквер — буквально за углом от Сент-Питерсбург-плейс. В день, когда мне предстояло впервые отправиться в школу, отец будничным тоном заметил за завтраком, что меня раз в неделю будут пороть — такова обычная школьная процедура. Усомнившись в его словах, я взглянул на мать, но она подтвердила: конечно! Я должен научиться принимать горькие лекарства как подобает настоящему мужчине[4]. Меня это не удивило, так как я много читал о тяготах школьной жизни. Я отправился на Орм-сквер, готовый к тому, что буду порот еще до того, как совершу какой-либо проступок, и только через неделю понял, что это была шутка. Шутка не очень удачная — сегодня она наверняка показалась бы жестокой, но в то время я так не думал. Тогда я ощущал лишь приятное возбуждение и гордость от того, что мне предстоит «принять горькое лекарство» и доказать, что я мальчик, а не глупая девчонка, которая наверняка распустит нюни.

По результатам семестра я занял первое место в младшем классе, но, как мне кажется, исключительно по той причине, что мой самый серьезный конкурент, мальчик по фамилии Стоббингз, заболел во время экзаменов и не смог закончить курс. Этот успех утвердил отца в правильности решения, принятого еще в момент моего появления на свет, а именно: я должен поступить в школу Вестминстер[5], а затем в Тринити-колледж Кембриджского университета, то есть пойти по его стопам. Я уже упоминал, что отец был большим ортодоксом. А пока он отвез меня в Истборн с намерением найти там подготовительную школу. Он собирался вернуться в Индию, хотя добраться ему удалось только до Ближнего Востока, где с небольшими перерывами он и провел остаток жизни.

Более важным, чем поездка в Истборн, явилось для меня короткое путешествие через Лондон на крикетный стадион «Овал», где команда графства Суррей принимала гостей из Сомерсета. Два дня матч откладывался из-за дождя, а на третий дневные газеты сообщили, что Сомерсет, подававший первым, оказался в сложном положении. Отец решил, что ко времени полуденного чая хозяева поля одержат окончательную победу, и

повел меня посмотреть, как будет бить Хоббс. Он рассчитал наше прибытие на стадион до минуты. Когда мы покупали программки и усаживались, Хоббс и Хауэлл как раз готовились «отвечать» Сомерсету, набравшему к тому моменту 138 очков. Затем произошел сбой. Поле после сильного ливня было все еще мокрым, и Хоббс, набрав лишь пять очков, задрал мяч кверху, что позволило М.Д. Лайону, находившемуся по левую сторону от боулера, без труда поймать его. Отец был разочарован, а меня всецело захватила игра; и, надо сказать, для маленького мальчика, впервые попавшего на крикетный матч на уровне сборных команд графств, игра закончилась прямо-таки как пишут в книгах. В начале последней серии бросков Суррей сравнялся с Сомерсетом по общей сумме очков, после чего Шепард метнул мяч от калитки к границе левого сектора, принеся тем самым команде Суррея первые победные очки.

В тот солнечный день я стал болельщиком Крикетного клуба графства Суррей и продолжаю оставаться им по сей день. Годом позже у меня развился примерно такой же интерес к футбольному клубу «Арсенал»[6]. Эти привязанности впоследствии в какой-то степени скрашивали мою жизнь в трудные времена: «Арсенал» — в пору своего расцвета в 30-е годы, пришедшегося на период триумфа фашизма, а Суррей — в 50-е, когда над моей головой сгустились тучи. Радость, которую мне это доставляло, была смехотворно незначительной по сравнению с несчастьями, которые она скрашивала, и, тем не менее, я ее ощущал. Вот уж действительно: утопающий хватается за соломинку.

За короткое время, проведенное отцом в Англии, я начал увлекаться не только спортом. В юности он коллекционировал бабочек и мотыльков. Постепенно его интерес к естествознанию включил в себя птиц, животных и целый ряд насекомых. Из своих путешествий по арабским странам отец привозил экземпляры для Музея естественной истории, в том числе неизвестную дотоле вошь, которая сгубила выставленные по соседству чучела животных, прежде чем ее удалось идентифицировать и выявить ее злокозненный нрав. Отец развлекался тем, что давал своим находкам имена членов семьи и друзей. Так, существует великолепный арабский дятел, именуемый Dendrocopos Dorae — в честь моей матушки; а моя старшая сестра Диана почувствовала себя оскорбленной, когда какого-то непривлекательного грызуна окрестили Obesus Dianae, что было переведено на английский как Жирная Диана, или Жирная песчаная крыса мисс Филби. Но венчало то лето 1919 года увлечение отца энтомологией. Это привело к крупному заказу в магазине «Уоткинсон энд Донкастер», откуда мне доставили симпатичный сачок для ловли

бабочек, сосуд для их умерщвления, коробочки для хранения, кляссеры и каталог «Бабочки и мотыльки южной части Британии» — целых два тома, изучение которых вскоре стало для меня не менее любимым занятием, чем атласы.

Итак, в 1920 году, когда родители отбыли на Восток, оставив меня в привычном бабушкином доме, я был уже другим и в то же время самым что ни на есть обычным ребенком. Не помню, чтобы плохая погода удручала меня в Кемберли, в такие дни я, должно быть, читал и чертил карты. В хорошую погоду я играл в крикет и занимался энтомологией. Играл я в одиночку на газоне с битой в руках, но без мяча и партнеров. При этом много бегал. С бабочками и мотыльками справиться было куда сложнее. Цветочный бордюр в «Перекрестках» привлекал их целыми роями — голубянок, красно-белых адмиралов, пестрых многоцветниц, павлиноглазок и др. Пурпурные листья роскошного папоротникообразного куста раскачивались под тяжестью сражающихся друг с другом насекомых. Боясь повредить цветы, я ждал, пока бабочки взлетят. Это было счастливым решением, ибо тем самым снижалась вероятность непреднамеренного убийства. (Два года назад в Сухуми я не сумел сдержать гнева, когда принимавший меня грузин начал бессмысленно и жестоко уничтожать больших сумеречных бражников, слетевшихся к лампе под гроздьями винограда.)

Самому эффективному способу ловли мотыльков меня научил Эрнест Грин, известный энтомолог, живший в Кемберли; впоследствии он стал президентом Королевского энтомологического общества. Мистер Грин по-доброму относился ко мне, и я платил ему за заботливое участие глубочайшим почтением. Однажды, когда у меня разболелся зуб, бабушка пригласила мистера Грина к нам на чай. С его уходом прошла и моя зубная боль. Дополнительным преимуществом его способа ловли мотыльков было то, что я ложился теперь спать на час-другой позже. С наступлением сумерек, вооружившись кисточкой и сосудом со смесью патоки и пива, я отправлялся обмазывать ею сосны. Затем, уже в темноте, выходил из дома с фонарем и коробочками из-под лекарств, чтобы собрать урожай. Патока привлекала мотыльков, пиво одурманивало их, и таким образом они без труда попадали в мои коробочки.

В ту пору я учился в школе в Истборне. Школа эта не выделялась ни уровнем преподавания, ни спортивными успехами. Я, вероятно, был первым, кто закончил ее с результатами, дающими право на поступление в частную школу (этого удалось добиться каким-то чудом), а благодаря моим чуть выше среднего способностям в спорте я легко попадал в состав участников

соревнований по крикету, футболу и регби. Что касается академических успехов, то здесь я испытал первые взлеты и падения, которыми впоследствии изобиловала моя жизнь. Первый год я провел в младшем классе — пятом, затем перескочил на два класса вверх, из пятого сразу в третий. Но этот великий скачок оказался мне не по силам, и после половины семестра меня отправили учиться в четвертый класс. Только после этого я начал уверенно и последовательно восходить к вершине знаний, что в принципе давалось мне без особого труда. Пребывание в подготовительной школе было наверняка насыщено какими-то яркими событиями, но с позиций сегодняшнего дня этот период представляется мне довольно серым. Не припомню, чтобы кто-то из нас хоть в малейшей степени интересовался девочками.

В Истборне, пока я там учился, сменились два директора, и каждый из них оказал на меня влияние, противоположное тому, к чему он стремился.

Первый директор преподобный Харолд Браун, килограммов эдак под сто весом, был священнослужителем с неуравновешенным характером. Бедняга! Ему было за шестьдесят, помощники у него были слабые, а приходилось держать в узде полусотню маленьких мальчишек. Он никогда не проявлял жестокости, просто был большой, непонятный и внушавший страх. У него была дочь, старая дева, имевшая, по крайней мере, одну странность. Однажды она, словно пропустив сквозь меня ток, продемонстрировала мне свои панталоны, но за этим ничего не последовало[7].

Мистер Браун оказал мне одну услугу: усилил мой атеизм, возбудив активную неприязнь к религиозным обрядам и отвращение к образу Христа. Директор проводил скучнейшие ежедневные пятнадцатиминутные службы в часовне, воскресные утренние богослужения с длинными невразумительными проповедями и воскресную вечерю, проходившую в сгущающейся темноте, когда на горизонте уже неприятно маячил понедельник. Немного легче стало в последний год обучения благодаря тому, что в обязанности учеников старшего класса входило обслуживание мехов органа, на котором играла Мэри Браун. Мы стояли в нише, где нас нельзя было увидеть из алтаря, сосали леденцы и думали о панталонах исполнительницы.

Мое отвращение к Христу было реакцией на противоречивость нашего воспитания. Мистер Браун любил повторять, что цель обучения в возглавляемой им школе заключается в выработке характера, вернее — Характера. Нас приучали быть мужественными, смелыми и самостоятельными. Величайшим позором считались слезы: ученику, который хоть раз

заплакал, постоянно об этом напоминали. И в то же время нам твердили, что надо превозносить некую личность, никак не соответствовавшую этим требованиям: человека с длинными, ниспадающими на плечи волосами (скорее как у женщины, чем у мужчины), телом, обвисшим на кресте, лицом, искаженным болью. А кроме того, в Библии было сказано со всей категоричностью: Ииусус зарыдал! Разглядывая дешевый цветной витраж часовни во время бесконечных, монотонных и пустых богослужений, я пришел к выводу, что Христос, вероятно, был немного «тряпкой». Позднее, в годы отрочества, на меня из книг и разговоров обрушилась масса других трактовок Христа; они настолько противоречили друг другу, что общим для них было лишь одно — отсутствие серьезных доказательств, их подтверждающих. Поэтому я занял нейтральную позицию. Чувство отвращения я перестал испытывать лет 40 назад, но на его месте так ничего и не появилось. О Христе у меня не более ясное представление, чем о каком-нибудь языческом шамане.

Мистер Браун умер, и школу купил некто мистер Ф.Е. Хилл, который был лет на 30 моложе своего предшественника. С ним у нас установились более близкие отношения. Он участвовал в наших играх, а воскресными вечерами читал нам Конан-Дойля, попыхивая изящной трубкой. Будучи лучшим учеником, я числился среди его фаворитов и платил ему за симпатию симпатией. Новый директор был консерватором. Во время всеобщих парламентских выборов он нервно разгуливал по школе и бормотал: «Хамы и пройдохи, хамы и пройдохи», имея при этом в виду не социалистов, а кандидата от либеральной партии и его сторонников, оспаривавших избирательный округ Истборн у депутата-тори; когда же я поинтересовался у него, является ли Рамсей Макдональд[8] джентльменом, он буркнул «нет» и ледяным взглядом посмотрел на меня.

М-р Хилл был, естественно, сторонником империи. Он переименовал наши спальни, дав им название британских доминионов и колоний: Канада, Австралия, Индия и т. д. Он любил пространно рассуждать об империях — Персидской, Македонской, Римской, Монгольской и Британской. Он говорил нам, что Британская империя отлична от всех остальных по одной простой причине: она вечна. По мере того как я переваривал эту мысль, меня вновь начинал одолевать скептицизм. Почему? Почему Британская империя должна отличаться от всех остальных, если, конечно, не считать того обстоятельства, что мистер Хилл и я родились в Британии? До меня это не доходило, как не доходил трюк, осуществленный Христом во время брачного пира в Кане[9]. Я должен поблагодарить мистера Хилла

за то, что он в раннем возрасте приучил меня не выдавать желаемое за действительное.

Итак, не прожив на свете и десяти лет, я уже превратился в маленького безбожника и антиимпериалиста. И немалая заслуга в этом принадлежит обычному детскому саду и подготовительной школе.

ВЫБОР

Сидя в поезде, мчавшем нас по Германии и Франции в направлении Англии, я размышлял о своем будущем. Как станет ясно из дальнейшего повествования, моим планам не было суждено сбыться, ибо в Лондоне Судьба уготовила мне нечто, хотя внешне и похожее, но по сути совершенно иное — этакую фаршированную рыбу. Однако пока я этого не знал. В купе поезда мне представлялось, что прежде всего я подам заявление о вступлении в Коммунистическую партию Великобритании, а затем постараюсь поступить на государственную службу. В отношении первого не предвиделось практически никаких проблем, поскольку в Вене и Праге я получил, по крайней мере, одно боевое крещение. Что касается государственной службы, в частности перспектив работы в Индии, мое представление об этом было весьма туманным. Думаю, что еще в Вене я пришел к выводу, что не выдержу необходимого экзамена. Если у меня и был какой-то шанс, я не воспользовался им, поглощенный антифашистской борьбой в Центральной Европе. Мое образование к тому же не было упорядоченным и законченным. Скажи мне кто-нибудь, что я никогда не увижу Индии, я бы не стал этого оспаривать. Но если бы мне довелось услышать пророчество, что я никогда не вступлю в компартию, это повергло бы меня в изумление. И уж никак не предполагал я, что в один прекрасный день превращусь в нечто подобное фаршированной рыбе.

Через день-другой по приезде мы отправились в штаб-квартиру Коммунистической партии на Кинг-стрит и представились там Вилли Галлахеру[10] и Айзобел Браун. Галлахера я никогда раньше не видел, а вот публичные выступления Айзобел Браун слышал неоднократно: она умела не хуже Гарри Поллита[11] завоевывать внимание толпы, а это говорит о многом. Вопрос о немедленном вступлении в партию не стоял. Галлахер что-то записывал по ходу моего рассказа о нашем нынешнем положении и деятельности в Австрии. Затем, извинившись, объяснил, что вынужден будет навести справки:

дело в том, что в последнее время из Центральной Европы прибывает масса подозрительных людей. А поскольку Австрийская компартия находится на нелегальном положении, то, вероятно, придется какое-то время подождать. Он предложил нам прийти снова через полтора месяца.

Я начал готовиться к поступлению на государственную службу. Заполнил анкеты, обозначив в них предметы, по которым готов пройти экзамен, и подчеркнув свое желание заниматься Индией. В графу «поручители» я записал нашего домашнего доктора и преподавателя экономики Денниса Робертсона, руководителя моей студенческой группы в Тринити-колледж.

После нескольких дней, проведенных в доме родителей, мы поселились в меблированной комнате на Вест-Энд-лэйн, за которую пришлось платить целых 17,5 шиллинга в неделю лишь потому, что к ней примыкала крошечная кухонька — скорее чулан, чем кухня. Обосновавшись таким образом, я вновь приступил к занятиям и возобновил контакты с прежними друзьями, большинство из которых были либо коммунистами, либо сочувствующими. Мы, как правило, недоедали. Первого мая мы отправились в Кемдентаун, чтобы принять участие в организованном компартией праздничном шествии. Так я в последний раз открыто выразил свои политические убеждения, а потом наступил перерыв в 29 лет.

Однажды вечером, где-то в середине мая, к нам зашел близкий приятель, с которым я после возвращения из Вены виделся раза два или три. В ходе тех встреч мы подробно рассказали ему о своих венских приключениях; он знал также, что мы собирались вступить в компартию Великобритании. После нескольких общих фраз он предложил мне прогуляться, галантно извинившись при этом перед Литци[12] за столь необычную просьбу. Когда мы вышли на Вест-Энд-лэйн, он поинтересовался, получил ли я какие-нибудь известия с Кинг-стрит. Услышав отрицательный ответ, он. сказал, что собирается сделать мне предложение, способное коренным образом повлиять на мое будущее. Мной интересуется один человек, некто «чрезвычайно важный». Человек этот в курсе того, чем я занимался в Австрии, и хотел бы встретиться для обсуждения некоторых, возможных вариантов, вытекающих из моей предыдущей деятельности. Готов ли я с ним встретиться? Приятель убедительно рекомендовал мне согласиться, так как эта встреча вполне может приобщить меня к служению делу коммунизма. Когда я согласился, приятель предостерег меня, слегка приоткрыв истину. Он попросил ни в коем случае не посвящать Литци в детали нашей беседы, пока я не увижусь с «чрезвычайно важным» человеком, а сейчас сказать

ей, что мы просто обсуждали партийные дела. Литци удивилась, когда я вернулся домой с плотно сжатыми губами, но она была достаточно дисциплинированна и не стала приставать с расспросами.

Спустя несколько дней, как и было договорено, мы встретились с приятелем на Чок-фарм. Я было огорчился, увидев его одного, но в ответ он рассмеялся: «Погоди немного». Мы отправились в одно из тех путешествий, которые впоследствии стали для меня до мелочей знакомыми: такси, автобус, метро, несколько минут пешком, затем снова метро, автобус, такси или в любом ином порядке. Через два часа после встречи на Чок-фарм мы шагали по Риджентс-парку. С газона перед нами поднялся человек, и мой приятель остановился.

— Ну вот, прибыли, — произнес он. — Минута в минуту.

Я пожал руку незнакомцу и огляделся. Приятель уже удалялся от нас. С тех пор я его больше не встречал.

Незнакомцу было около 35 лет. Он был намного ниже среднего роста, полная фигура лишь подчеркивала внушительную ширину его плеч. Светлые курчавые волосы и большой открытый лоб. Живые голубые глаза и широкий рот намекали на то, что от него вполне можно ожидать какой-нибудь шалости или озорства. Мы беседовали на немецком, которым он владел в совершенстве. Поскольку у него был южнонемецкий акцент, я сперва принял его за австрийца, но затем по каким-то признакам, настолько незначительным, что сейчас и не припомню, я понял, что он чех. Впоследствии я обнаружил, что он вполне прилично говорит по-английски и очень хорошо по-французски. Он не скрывал своей любви к Франции; на протяжении своего пребывания в Лондоне, который ему не нравился, он все время тосковал по Парижу.

— Отто, — представился он, когда мы усаживались на траву. Он сел напротив меня, чтобы мы могли видеть, что творится за спиной друг у друга, и при этом предложил мне следить, не проявляет ли кто-либо к нам повышенного внимания. Беседа длилась менее часа, но уже через несколько минут стало ясно, что ко мне обратились с предложением работать на одну из советских специальных служб, хотя мой собеседник и не называл вещи своими именами. Отто продемонстрировал знание того, чем я занимался в Вене, и в целом одобрил мое намерение вступить в компартию. Он, однако, высказал предположение, что я мог бы добиться больших результатов на ином поприще. Вступив в партию, я стану одним из многих. Любую работу в рамках партии в состоянии сделать — хуже или лучше — кто угодно другой, независимо от моего вступления. Я же, с моими возможностями и способностями, вполне пригоден для работы, которую далеко не

всякий может выполнять.

Отто, конечно же, льстил мне, и, вероятно, сознательно. Говоря о моих возможностях и способностях, он имел в виду мою принадлежность — по происхождению — к средним слоям британского общества и мое воспитание. Но он не очень-то напирал на эти обстоятельства, прекрасно понимая, что никакие лестные слова не идут в сравнение с самим фактом вербовочного подхода. Ведь это означало, что за мной наблюдали из сфер, где принимают «действительно важные» решения, и там было сочтено, что меня следует «пасти».

Мой собеседник перешел к политическим проблемам. Он говорил о подъеме фашизма в Европе, об опасности, исходящей от Японии на Дальнем Востоке, и о двусмысленном отношении к этому западных демократий. Крайне важно находиться в курсе того, что происходит в разных областях политики. Человек, известный своими коммунистическими убеждениями, никогда не сможет узнать реальную картину. А выходец из буржуазии, вращаясь в кругу себе подобных, — сможет. Окольными путями Отто подвел меня к мысли, что я просто обязан принять его предложение. Он признал, что на тот момент оно может показаться мне неопределенным — детали я узнаю позже, — в зависимости от реальных обстоятельств времени и места. Задолго до конца его монолога я принял решение согласиться.

Но как только я сказал об этом Отто, он пошел на попятную. На этой стадии он не ожидает от меня окончательного ответа. По его словам, ему самому, прежде чем продолжить контакт, надо отчитаться о нашей беседе. А тем временем, добавил он достаточно жестко, «и вам пред-, стоит обстоятельно все обдумать». Наверное, лучше воспроизвести его слова в прямой речи, хотя я и не ручаюсь за точность.

— Прежде всего, — сказал он, — нам известно, что вы не пасуете перед опасностью. Но мы опасность не любим. Мы любим надежность. Нам не нужны разоблаченные люди. Иногда мы можем дать вам то или иное опасное поручение, но при этом будем настаивать, чтобы вы выполняли его с соблюдением максимальной осторожности. Наш первейший принцип — безопасность, а это может оказаться на практике ужасно скучной штукой.

И неожиданно выстрелил в меня вопросом:

— Как вы восприняли то, что вам пришлось таким окольным путем ехать на нашу сегодняшнюю встречу?

Я ответил, что мне это показалось весьма увлекательным.

— Сколько времени вы потратили?

— Около двух часов.

Он одобрительно хмыкнул, затем бросил на меня острый взгляд и лукаво улыбнулся:

— Посмотрим, что вы скажете после сотого раза.

Отто раскусил меня. Задолго до сотой встречи я был сыт по горло нашим ритуалом соблюдения безопасности. Но по мере того, как шли годы, а я все еще оставался на свободе, я начал укрепляться в мысли, что своим «долгожительством» обязан именно этой рутине.

— Второй момент, — продолжил Отто. — Вы откажетесь от вступления в партию. Более того, вы в максимально сжатые сроки прекратите контакты со всеми своими друзьями-коммунистами. Об истинных причинах этого они ни в коем случае не должны догадываться, и, наоборот, следует дать им понять, что вы изменили свой подход к жизни и отказались от прежних убеждений. — Он испытующе посмотрел на меня и продолжал уже более мягким тоном: — Мне кажется, это будет для вас самым сложным. Нелегко испытать на себе презрение друзей и соратников. И еще одна проблема — Литци. Мы неоднократно наводили о ней справки и знаем, что она преданный, неутомимый активист. Ей будет трудно от этого отказаться. Обсудите с ней создавшуюся ситуацию и посмотрите, способна ли она принести такую жертву. Поделитесь с ней тем, что я рассказал. В случае, если наше сотрудничество получит развитие, мне придется встретиться с ней.

Затем Отто перешел к общей характеристике разведывательной работы.

— Не думайте, что ваша жизнь будет состоять из одних головокружительных приключений. Мы хотим, чтобы вы постепенно добились положения, открывающего свободный и естественный доступ к информации. При этом сбор информации не должен наносить ущерба дальнейшим перспективам вашего использования. И не ожидайте, что вам когда-либо посчастливится сыграть большую роль в нашем закулисном деле. Такое может произойти, но, вероятнее всего, не произойдет. Всеобъемлющая картина событий создается дома, в Центре, путем сведения воедино множества мельчайших кусочков информации. Эти кусочки поставляем мы, «оперативники». Работа эта может быть не менее нудной, чем меры безопасности, о которых мы говорили. Она трудна и требует полной самоотдачи.

Он замолчал и затем, чтобы немного меня подбодрить, добавил:

— Но однажды вы можете обнаружить, что напали на что-то действительно важное. Передать такую информацию приятнее, чем… (он долго подыскивал подходящее английское выражение),

чем сорвать большой куш на бирже.

Он весело захохотал, и лицо сразу стало озорным-озорным.

Потом взглянул на часы и снова стал серьезным. Он назначил точное время и место нашей следующей встречи, которая должна была состояться через две недели. Прежде чем отправиться на нее, мне предстояло сверить свои часы с определенными часами на вокзале Виктории и позаботиться о том, чтобы прибыть на встречу точно в назначенное время. Нехорошо, когда человек болтается без дела, привлекая к себе внимание. Затем Отто снова задал мне неожиданный вопрос:

— Как вы поедете домой?

— На автобусе, — ответил я.

— Вот так, только на автобусе? — Он притворился удивленным. — А как насчет такси, метро и еще одного автобуса?

Несколько смутившись, я заметил, что у меня с собой только один шиллинг.

— О деньгах мы поговорим на следующей встрече, — сказал он, — если она, конечно, состоится. А пока я дам вам фунт — банкноту в 10 шиллингов и остальное серебром. На эти деньги вы сможете добраться до дому — только обязательно длинным маршрутом и убедившись, что за вами нет хвоста, — вам еще и на следующую встречу хватит. Относитесь к вашим передвижениям со всей ответственностью. Вам это может показаться сейчас игрой, но для меня это чертовски важно. Если мы встретимся вновь и все пойдет по плану, для вас это тоже вскоре станет таким же важным.

Он проводил меня до автобусной остановки на Грейт-Портлэнд-стрит и велел сесть на первый же автобус, куда бы он ни шел. Сам он покинет место встречи, как только я-окажусь в салоне. Пожимая мне руку, Отто вновь попросил тщательно обдумать все сказанное им.

— Да, вот что еще, — добавил он под самый занавес, — если я не выйду на встречу, можете спокойно вступать в партию!

Как и ожидал Отто, Литци очень расстроилась. Ей было, несомненно, гораздо труднее, чем мне, порвать с коммунистическим движением. Я принадлежал по происхождению и воспитанию к средним слоям британского общества; нельзя сказать, чтобы я чувствовал себя там как рыба в воде, но все-таки это была моя среда. Я мог возобновить отношения со старыми друзьями и заняться тем, чем занимался прежде. (Меня неожиданно осенило, что с момента отъезда в Вену я ни разу не вспомнил о крикете или футболе.) Для Литци же английский средний класс был чем-то абсолютно чуждым, а во многом и отталкивающим. По характеру она была слишком

бескомпромиссна, чтобы мириться с самодовольством и чопорностью лондонского общества: вращаясь в нем, она не чувствовала себя в своей тарелке. Впоследствии, в годы войны, она нашла удовлетворение в работе на станкостроительном заводе, которую осторожно совмещала с политической деятельностью «на стороне». Услышав о предложении Отто, она поняла, что, возможно, со временем и ее задействуют в моей работе.

Но, несмотря на полное крушение наших планов на будущее, я не припомню, чтобы Литци хоть как-то пыталась меня отговорить. Она моментально поняла, в чем заключается ее долг, и принялась обдумывать, как решить самую болезненную проблему — порвать с нашими друзьями. Страшно расстроенные, мы долго обсуждали эту тему. В последовавшие месяцы до нас стали доходить неприятные свидетельства того, что разрыв отношений состоялся. Литци случайно встретила весельчака Ганса, нашего надежного венгерского соратника по работе в Вене. Позабыв от радости о правилах игры, она бросилась к нему на шею и получила ледяной отпор.

— Ты знала в Вене, — спросил Ганс, — что Ким полицейский шпион?

Это было жестоко, но мы оба признали в таком повороте событий некую своеобразную справедливость. В ту ночь нас мучила бессонница. Уже после моей встречи с Отто мы догадывались о неизбежности подобного исхода. Тем не менее, поскольку ничего еще не было окончательно решено, мы были вынуждены отложить дальнейшие действия по разрыву с друзьями.

— Может быть, — неуверенно произнесла Литци, — Москва еще забракует тебя.

Когда я подходил к месту второй встречи с Отто, его плотная фигура неожиданно появилась из-за угла всего в нескольких ярдах передо мной. Широкая улыбка на его лице давала основание полагать, что Москва меня не забраковала. После короткой прогулки мы подыскали незанятую скамью в парке, и Отто сразу же поинтересовался насчет Литци. Эта проблема явно его волновала, и я рассказал ему о ее реакции. Мне показалось, что *с* подобной проблемой он уже сталкивался. Может быть, даже в случае с собственной женой.

— Я должен встретиться с ней, причем как можно скорее, — повторял он снова и снова.

Я поддержал эту идею. Он был лет на 10 или 15 старше Литци и происходил из такой же среды: Центральная Европа, коммунист с высшим образованием. Если кто и мог успокоить ее,

так только он.

Настроение Отто неожиданно переменилось. Он по обыкновению бросил на меня быстрый взгляд.

— С этого момента вы должны точно выполнять инструкции, — заявил он. — Почему всю дорогу сюда вы ехали на автобусе, вместо того чтобы потратить выданные вам деньги на такси?

Мне трудно представить себе, как, вероятно, изменилось мое лицо, возможно, даже отвисла челюсть. Отто был чрезвычайно доволен собой.

— Ну, а сейчас расскажите, — произнес он, потрепав меня по коленке, — как вы на самом деле добирались?

Я начал отчитываться: автобус, такси, метро, такси и т. д.

— Очень хорошо, очень хорошо, — с удовлетворением отметил он. — Теперь перейдем к серьезному разговору. (На той встрече, впрочем, как и на последующих, он так ни разу и не спросил, не изменил ли я своего первоначального решения относительно сотрудничества; не услышал я от него ни единого слова и насчет реакции Москвы на наш первый контакт. Я воспринял это как свидетельство установившегося между нами доверия, что на самом деле и было.)

— Прежде всего нам необходимо поговорить о вашей карьере, — продолжил Отто. — Мы заинтересованы в том, чтобы вы добывали информацию. Для этого вам надо, устроиться на работу. И не просто на работу, а в какое-нибудь полезное учреждение — полезное в плане получения информации, недоступной для нас из других источников. У вас, должно быть, есть собственные соображения на этот счет. Я вас слушаю.

А мои соображения были, по сути дела, чрезвычайно туманны. В общем и целом они вращались вокруг Индии — вот, собственно, и все. Я так и сказал:

— Все зависит от того, попаду ли я в Индию, и если да, то что произойдет дальше.

У Отто это вызвало весьма смутившую меня реакцию.

— В Индию? ИНДИЮ? — буркнул он. — Что вы нашли в этой Индии?

Я рассказал ему о своих давних планах поступить на государственную службу в Индии, если меня, конечно, возьмут. При этом *я* пытался как-то аргументировать свою идею. Разве движение за освобождение колоний не важно? И разве не важно содействовать ему, помогая через друзей в правительстве? Отто почти не обращал внимания на то, что я говорил, он был погружен в свои мысли и лишь время от времени повторял: «Индия». Вспоминая этот эпизод, я стыжусь своей наивности в ту

пору. Мне было 22 года, за плечами уже был целый год сурового опыта. Но только теперь я понимаю, насколько расплывчатыми и романтическими были мои представления о том, как помочь индийскому народу в борьбе за независимость; они, вероятно, в значительной степени шли от Киплинга и от моего тезки. Многие публицисты в последнее время пытаются проводить параллель между двумя Кимами. Но я настаиваю на том, что это всего лишь гипотеза, поскольку, хотя я и слышал часто о Киплинге в молодые годы, впервые прочитать «Кима» мне довелось лишь после войны.

Однако Отто вскоре взял себя в руки и *с* доброй улыбкой повернулся ко мне — очевидно, испугался, что перестарался. Конечно, движение за свободу колоний имеет большое значение. И, безусловно, будет иметь еще большее. Но давайте рассуждать практически. Если я уеду в Индию, как я буду поддерживать с ним контакт? Чем я буду заниматься? И куда меня пошлют? Меня ведь могут загнать в какую-нибудь ничем не примечательную дыру. Так или иначе, чтобы участвовать в решении индийских проблем, вовсе не обязательно находиться сейчас именно в Индии. Ключ к Индии — в Лондоне, как, впрочем, и ключи ко многим другим проблемам, в том числе и более важным, чем Индия.

Он умолк и озабоченно посмотрел на меня.

— Насколько важна Индия лично для вас? Вы там родились? Вы что, ощущаете потребность вернуться туда?

Я ответил, что Индия меня интересует абстрактно. Одно время она представлялась мне в качестве очевидной жизненной цели. Но я на ней не зациклился. Если обнаружится, что на каком-то другом участке я смогу принести больше пользы, то охотно изменю свои планы. В любом случае я скорее всего провалюсь на экзамене.

Отто вдруг ушел в себя.

— Лучше не проваливаться, лучше не проваливаться, — повторял он с отсутствующим видом. — Лучше не идти на экзамен, чем провалиться на нем.

Затем, вновь обратив на меня все свое внимание, спросил:

— А нельзя ли на данной стадии отказаться от этой затеи? Это не будет выглядеть странным, если вы выйдете из игры?

' Нет, подумал я, ничего странного в этом не будет. Кое-кто из моих друзей удивится, да еще огорчится отец. Но ведь люди иногда меняют свои планы, к тому же сделать все можно без особого шума.

Услышав это, Отто с заметным облегчением подвел черту под обсуждением «индийской проблемы».

— Пока ничего не предпринимайте, — сказал он. — Тем не

менее готовьтесь психологически к тому, что вам придется изменить планы. Мне не хочется, чтобы вы расстраивались, если на следующей встрече я посоветую вам забыть об Индии навсегда.

Далее мы перешли к обсуждению альтернатив индийской карьере. Образование, полученное мною в школе Вестминстер и Тринити-колледже, было слишком абстрактным для того, чтобы выполнять какую-либо конкретную работу, и поэтому наше внимание все больше и больше фокусировалось на Флит-стрит. Журналисту свойственно добывать информацию и задавать вопросы, и чем больше у него связей, тем лучше. Когда разговор зашел о связях, Отто заметил, что собирается поставить передо мной задачу к следующей встрече, «одно из тех скучных заданий, о которых я предупреждал вас в прошлый раз». Оно заключалось в том, чтобы составить полный список *всех* моих друзей и знакомых, отразив в нем до мельчайших подробностей все, что я могу вспомнить о каждом из этих людей. Затем мы вместе проанализируем этот список и посмотрим, чем они могут быть нам полезны.

Я позволил себе заметить, что, поскольку вопрос о моем будущем использовании решен, мне, вероятно, следует приступить к прекращению контактов *с* бывшими соратниками по коммунистическому движению.

— Еще не время, — сказал Отто. — Причины я объясню вам позднее, а пока не ломайте над этим голову. Постарайтесь сократить количество контактов с ними настолько, насколько позволяет степень ваших взаимоотношений. Не давайте им никаких оснований догадываться о том, что вы изменились.

Он посоветовал мне не строить ложных иллюзий в связи с отсрочкой этой неприятной миссии. Вскоре должен был произойти разрыв. Все дело в том, чтобы подобрать удобный момент. Тогда я не придал должного значения этой отсрочке, объясняя ее исключительно стремлением Отто предоставить Литци дополнительное время для того, чтобы свыкнуться с неизбежностью тяжелого для нее шага. Мне не приходило в голову, что инструкция Отто содержала в себе зародыш небольшой агентурной сети, в которую наряду с другими ее членами войдут Берджесс и Маклин.

Перед тем как расстаться, мы быстро решили вопрос о деньгах. Отто явно ожидал услышать от меня отказ, поскольку, затронув эту тему, он не стал ее развивать, как только я заявил, что не нуждаюсь в материальной помощи. Но мы договорились, что мне будут возмещаться транспортные расходы при поездках на встречи. Они каждый раз будут составлять сумму где-то между 5 и 10 шиллингами — гораздо больше, чем позволяли мои

финансы. Наконец, Отто заставил меня дать обещание, что я немедленно обращусь к нему, если у меня возникнут материальные затруднения вследствие ошибки, неудачи, болезни или по любой иной причине. Он тактично, но настоятельно дал понять, что дело здесь не столько в заботе о моем благополучии, сколько в обеспечении интересов службы. Я упоминаю о моем обещании по той причине, что спустя И лет эта тема получила удивительное продолжение, о чем в своем время будет рассказано.

Последующие несколько дней я занимался тем, что старался припомнить всех моих друзей и знакомых и разделить их на три категории — коммунистов, симпатизирующих и остальных. Составление характеристик на первую (наиболее яркую) категорию доставило мне немало удовольствия, однако по мере удлинения списка персонажи становились все менее и менее интересными, и в конце концов мне это занятие надоело. *Я* начал осознавать мудрость предостережения Отто о том, что избранный мною путь будет не таким легким. И тут произошло событие, порадовавшее меня, ибо, как мне казалось, оно должно облегчить задачу Отто. Пришло письмо из Кембриджа от Денниса Робертсона, которого я указал в качестве своего поручителя в анкете для поступления на государственную службу. Робертсон писал, что представители этой службы обращались к нему, после чего его одолели сомнения. Буду ли я действительно счастлив, работая в Индии чиновником? Смогу ли смириться с системой, многие черты которой будут вызывать у меня отрицательное отношение? А вдруг меня определят заниматься Бенгалией? Мой наставник призывал меня тщательно обдумать все эти вопросы. Если я проявлю настойчивость, он с готовностью даст рекомендацию, учитывая мои личные качества и способности, но в то же время считает себя обязанным напомнить о моем «сильно развитом чувстве социальной справедливости».

Это письмо, конечно же, ставило на Индии крест. Оно освободило меня также от сомнения, которое не давало мне покоя с момента последней встречи с Отто. Если он так отрицательно относится к моей работе в Индии, думалось мне, может, стоит переключиться на дипломатическую службу? Я гнал от себя эту мысль раньше по следующим двум соображениям. Во-первых, конкуренция при поступлении на дипломатическую службу была по-прежнему очень жесткой, в то время как интерес к Индии постепенно ослабевал. И если на службу в Индии еще можно было проскочить с невысокими баллами по результатам экзамена, то Форин офис наверняка не удовлетворила бы моя явно недостаточная академическая подготовка. Во-вторых, в те

годы все еще предполагалось, что дипломаты должны обладать определенным частным капиталом, у меня же не было ни гроша. Однако, несмотря на логичность этих умозаключений, мне казалось, что раз уж Отто так сильно возражает против Индии, я обязан подвергнуть себя более суровому испытанию, как бы это ни было безнадежно. Письмо Робертсона избавило меня от этой необходимости. Я мог, конечно, заявить о заинтересованности в другом направлении деятельности на государственной службе, но поменять поручителя не мог, а высказанное Робертсоном соображение фактически исключало использование меня на какой-либо правительственной работе. В то время я еще не знал, что цитадель эту можно взять штурмом через потайной задний ход.

Отто был несказанно рад. С Индией покончено; то, что заодно было покончено и со всей государственной службой, его, видимо, не волновало. Но он настоятельно требовал, чтобы я действовал оперативно, не дожидаясь, пока Робертсон сообщит свое мнение в соответствующие инстанции. Если его оценка попадет в архив, сказал Отто, в моей биографии навсегда останется черное пятно. Он предложил также, чтобы, ставя Робертсона в известность о моем решении отказаться от государственной службы, я сослался на какой-нибудь личный мотив, не связанный напрямую с «сильно развитым чувством социальной справедливости». Наша задача: как можно глубже похоронить в памяти наставника политический аспект проблемы. Мне внезапно пришел в голову уже готовый предлог — моя женитьба: можно, например, сказать, что в последнее время я начал сомневаться в ранее принятом решении, ибо длительное пребывание в странах с жарким климатом опасно для здоровья жены. На этом и порешили, так я и отписал Робертсону.

Мы перешли к обсуждению списка моих друзей, и я вручил Отто толстую пачку исписанных листов бумаги.

— Это все? — спросил он.

Я признался, что нет, мне не хватило времени перечислить всех. Он весело рассмеялся.

— Все верно, я и не ожидал, что вы сумеете за одну неделю справиться со всеми своими контактами.

Вновь обретя серьезный вид, он посоветовал заниматься этим делом регулярно, причем сперва составить полный список уже имеющихся связей, а затем дополнять его новыми знакомыми.

— У вас в результате скопится масса мусора, — заметил он, — однако за каждую полезную страницу не жаль будет истратить горы бумаги.

Эта гигантская работа продолжалась свыше 30 лет и

закончилась, лишь когда я уже прочно обосновался в Москве. Я, конечно же, быстро научился действовать избирательно, сосредоточивая внимание на тех, кто мог оказаться полезным как источник информации или же представлял опасность как противник. Тем не менее страшно подумать, какое количество обвинений в диффамации может быть против меня выдвинуто, если московские архивы в один прекрасный день увидят свет.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Прошло довольно много времени — больше обычного, — прежде чем я вновь увидел Отто. У нас была отработана система, в соответствии с которой на каждой очередной встрече мы обговаривали условия трех последующих — основной и двух запасных (на случай, если кто-то из нас не сможет выйти на основную). Кроме того, существовали еще условия вызова на экстренную встречу, которыми нам так ни разу и не пришлось воспользоваться.

Отто, надо заметить, испытывал профессиональный страх перед телефоном; за время нашей совместной работы он лишь однажды воспользовался телефоном и то в совершенно неотложной ситуации, когда нельзя было ждать даже обмена сигналами о выходе на экстренную встречу.

Когда примерно через месяц Отто прибыл на встречу, он был не один. Своего спутника он представил мне как Тео. Трудно было вообразить себе более разных людей. Рядом *с* невысоким, плотным и краснолицым Отто стоял бледный гигант, хотя ростом он был никак не выше 190 сантиметров. Глубокие впадины на щеках и морщины вокруг глаз свидетельствовали о богатом жизненном опыте и даже, возможно, о тяжелых лишениях. Впечатление это усугубляли большие, глубоко посаженные глаза и меланхолическая улыбка. Мне он запомнился как олицетворение мудрости и огромной доброты. Здороваясь со мной, Тео произнес:

— Guten Tag. Wie geht es Ihnen?[13]

И по тому, как он это произнес по-немецки, я сразу признал в нем венгра.

Позднее выяснилось, что Тео намного охотнее рассказывает о своем прошлом, чем Отто. В юности он готовился стать священнослужителем, но отказался от этой карьеры, когда его призвали в австрийскую армию и отправили на Восточный фронт. Там он попал в плен к русским. Ему довелось быть свидетелем Февральской и Октябрьской революций, он стал большевиком и

сражался в рядах Красной Армии на Южном фронте против белогвардейских войск Деникина. О том, каким образом он попал в советские спецслужбы, я так и не узнал, но, по всей видимости, он работал там достаточно долго и занимал весьма высокий пост.

Тео взял в свои руки нить беседы, в конце которой я получил первое серьезное разведывательное задание. Речь шла о кропотливо составленном мною списке друзей и знакомых. Тео сосредоточился на дюжине имен из категории «сочувствующих».

— Вы знаете, — произнес он со своей усталой улыбкой, — некоторые из этих людей могли, по нашему мнению, последовать вашему примеру, если к ним правильно подойти.

В результате обсуждения, занявшего всю вторую половину дня и завершившегося уже к вечеру, мы пришли к выводу, что кое-кто действительно может так поступить. Одно из первых мест среди кандидатов — и это вряд ли кого-то удивит — занял Маклин, особенно в связи с тем, что у него был шанс поступить на службу в Форин офис. Берджесс же, во многом из-за серьезных оговорок, изложенных в данной мною характеристике, оказался почти в самом конце списка. Мое задание на предстоявшие несколько недель заключалось в разработке этих лиц, чтобы определить вероятность их успешной вербовки. Поскольку некоторые из них жили в Оксфорде и Кембридже, мне авансом были выданы деньги на транспортные расходы.

Нет нужды напоминать читателю, что в отношении Маклина наши действия увенчались успехом. Что же касается других имен из того списка, то было бы наивно ожидать от меня каких-либо откровений. Исключение составляет лишь Берджесс, ибо он был совершенно особым случаем. Неделю за неделей, после того как мы с Маклином уже «ушли в подполье», я обсуждал его кандидатуру с Отто (иногда к нам присоединялся и Тео). Им очень хотелось завербовать Берджесса, уж очень соблазнительны были его возможности. Я же считал себя обязанным заострить их внимание на той потенциальной опасности, которую он собой представлял. Дело не столько в его неосмотрительности — в конце концов, он достаточно дисциплинирован, чтобы вести себя рассудительно. Его основной недостаток заключался в удивительной способности бросаться в глаза. Мне в то время казалось, что важнейшим качеством для разведывательной работы должно быть умение растворяться в толпе, «сливаться с фоном», а я никогда не видел, да и не ожидал увидеть, чтобы Берджесс слился с каким бы то ни было фоном. В то же время невозможно было отказать ему в одаренности и больших возможностях. Вот и получалось, что встреча за встречей мы взвешивали все бесконечные «за» и «против».

Но пока мы обсуждали судьбу Берджесса, он делал собственные выводы и действовал в соответствии с ними. Он не поверил, будто мы с Маклином неожиданно пересмотрели свои взгляды на жизнь, и втемяшил себе в голову, что его не посвящают в какую-то увлекательную тайну. Поэтому он начал приставать к нам, выпытывая, в чем дело. По части выпытывания Берджесс, надо сказать, был непревзойденным мастером. Он приставал по очереди то к Маклину, то ко мне. По всей видимости, он приставал и к другим друзьям, о чем свидетельствовало нарастающее беспокойство Тео и Отто. Они, видимо, сомневались в нашей способности противостоять такому напору. И уже наверняка их тревожила вероятность того, что Берджесс, не добившись правды от нас, попытается узнать ее другими способами (возможно, расспрашивая людей за пределами нашего круга). Это не предусмотренное мною обстоятельство поколебало мою решимость. Берджесс мог оказаться гораздо более опасным за пределами нашей работы, чем внутри нее, и было принято решение о его вербовке. Таким образом, Берджесс оказался, вероятно, одним из тех немногих людей, которые навязали себя советским спецслужбам.

Как только мы все «ушли в подполье», нас — по соображениям безопасности — изолировали друг от друга. Встречались мы, лишь когда этого требовали оперативные обстоятельства или когда, раза два в год, у Берджесса возникала непреодолимая нужда выговориться. Даже такие случайные встречи проводились поначалу на конспиративной основе. Мы заранее договаривались о месте, и затем Берджесс звонил из телефонной будки, называя только дату и время.

Тем временем я сделал скромный дебют на журналистском поприще — в качестве помощника редактора «Обзора обзоров». Жалованье мне платили мизерное, поскольку у газеты не было денег, но благодаря редактору, находившему для меня время от времени работу за гонорар, я понемногу зарабатывал на жизнь. Если неделя складывалась удачно, нам даже удавалось «отметиться» в итальянском ресторанчике «Берторелли». Однако огромный недостаток такой работы заключался в том, что она была тупиковой. Никаких перспектив продвижения и очень мало контактов *с* людьми. Поэтому мы с Отто постоянно ломали голову над тем, как распорядиться моим досугом. Рассмотрев несколько моих предложений, Отто остановился на идее вступления в Общество Средней Азии. Оно объединяло целый ряд известных людей, регулярно собиравшихся на ужины и лекции. Я чувствовал, что мне поможет авторитет отца, и, в конце концов, надо же было с чего-то начинать.

Итак, я снова приступил к скрупулезному составлению списков людей, на этот раз с восточным привкусом. Иногда до меня доносились отзвуки конфиденциальной информации о британской политике, к примеру, на. Ближнем Востоке или по отношению к, Японии. Но в. целом улов был ничтожен, и это меня сильно огорчало. Отто видел свою задачу в том, чтобы подбодрить меня в этот трудный период, что он и делал упорно и терпеливо.

— Подумайте только, каких людей мы уже получили с вашей помощью, — говорил он, бывало. — Уверен, что вам еще повезет, и не раз. У каждого человека бывает черная полоса в жизни'. Не вешайте носа.

Тео оживленно рассказывал о Москве и Париже; иногда водил в кино, причем обязательно на комедии, чтобы немного меня развеселить. Ему очень нравился фильм «Однажды ночью», и мы смотрели его дважды.

Следующая светлая идея пришла в голову Тео. Один из моих отчетов об Обществе Средней Азии был посвящен сэру Денисону Россу, являвшемуся в то время руководителем Лондонской школы восточных исследований. Сэр Денисон знал моего отца и покровительствовал мне. Тео посоветовал мне пройти в школе курс обучения, желательно языкового или этнографии народов советской Средней Азии. По его мнению, было бы интересно выяснить, кто вообще посещает подобные курсы, не говоря уже о том, чтобы установить лиц, намеревающихся связать свою карьеру с изучением данного региона. Помимо специфического интереса к азиатской части СССР важно также разобраться в основных направлениях работы школы, ее специализации и учебной программе.

Узнав о моем намерении, Росс поначалу пришел в восторг, однако заколебался, когда я упомянул о своем желании изучать тюркские языки. Затем лицо его просияло.

— Я знаю, как тут быть, — произнес он. — Буду учить тебя сам. Предмет этот я, правда, подзабыл, но ничего, мы будем осваивать его вместе. Ты будешь учиться, а я — восстанавливать свои знания.

Я огорчился. Выходит, я буду единственным студентом, изучающим основной язык среднеазиатских республик СССР? Отступать, однако, было уже поздно. Немало удрученный услышанным, я доложил об этом Отто, но тот отреагировал в присущей ему манере:

— Почему вы считаете это пустой тратой времени? Мы же получили от вас информацию, что никто в школе не занимается тюркскими языками. Это важно само по себе. Приступайте к делу

и рассказывайте нам о других студентах: кто они, что изучают, кем собираются стать. Мы действительно не собираемся похоронить вас навсегда в Азии. Но это вовсе не означает, что Азия нас не интересует. Все, что попадется под руку в дополнение к основной работе, может пригодиться.

Под моей основной работой Отто, конечно же, имел в виду проникновение в британские правительственные круги, а в этом направлении я, увы, не продвинулся ни на шаг.

Тем не менее примерно в это же время я нашел ниточку, оказавшуюся впоследствии полезной, причем весьма неожиданным образом. В моем отчете о друзьях и знакомых я подробно описал Тома Вилли — моего однокашника по школе Вестминстер, снискавшего себе определенную известность как ученый, занимающийся античностью в Оксфордском университете. В студенческие годы я дважды или трижды приезжал к нему в Оксфорд, а он приезжал ко мне. С тех пор он перешел на государственную службу и поступил на работу в Военное министерство. Интерес Отто возрос, когда я выяснил, что Тома назначили личным секретарем постоянного заместителя военного министра сэра Герберта Креди. О его вербовке в ту пору не могло быть и речи, но ведь существуют и другие способы использования этого контакта, занимающего «щекотливое» с точки зрения безопасности положение.

Получилось так, что сам Вилли намного облегчил мне дело. Он перегружался спиртным и потому по уик-эндам старался вытряхнуть из себя алкоголь, усиленно занимаясь спортом. Он играл в мини-футбол (пять на пять) за команду бывших выпускников Вестминстера. Моя кандидатура естественным образом подходила для этой команды: всего несколько лет назад я защищал спортивную честь школы по футболу. У нас выработалась привычка собираться по субботам и играть против любой школы или клуба, готовых принять наш вызов. После матча обычно следовала дружеская пирушка, в ходе которой я пытался разговорить Вилли. Сложность, однако, заключалась в том, что его не интересовали ни политика, ни Военное министерство. Он успешно справлялся с работой не в силу своей увлеченности, а просто потому, что обладал хорошим умом и практической сметкой. До тех пор, пока его не сгубил зеленый змий.

В целом из Вилли удавалось выдавить не так много информации о Военном министерстве, и вскоре мы с Отто начали обсуждать, как бы на него поднажать. Рассмотрели вариант шантажа на почве его гомосексуализма, но я высказался против: Вилли был не из тех, кто поддается манипулированию, он скорее

начнет все отрицать, чем признается. Идея подкупа также не годилась: Том располагал частным капиталом и не нуждался в деньгах. Еще одна возможность заключалась в том, что Вилли, будучи личным секретарем постоянного заместителя министра, являлся и резидент-клерком. В этом качестве он занимал квартиру на последнем этаже здания министерства. В гостиной у него стоял сейф, который и привлек наше внимание.

Сейф был незамысловатый, и я знал, где Вилли хранил ключ от него. Помимо всего прочего, он прятал там свои запасы виски, и мне часто приходилось видеть, как он, отперев сейф, бросал ключ в средний ящик письменного стола. После некоторых раздумий мы наметили план действий. Отто вручает мне таблетку снотворного, способную вырубить Вилли на пару часов. Твердо убедившись в том, что он отключился, я открываю сейф и осматриваю его содержимое. Работать придется быстро — на случай, если Вилли вдруг окажется невосприимчив к снотворному. По мнению Отто, 20 минут должно было хватить; я могу продлить этот срок до получаса, если того потребует изучение содержимого сейфа. Мне было строго-настрого предписано ничего не забирать. Наоборот, все предметы, включая ключ, я должен положить на прежние места.

И вот через две или три субботы я встретился с Вилли на нашем еженедельном матче; в кармане моего жилета лежала аккуратно завернутая в салфетку таблетка, полученная от Отто. Но она оказалась не нужна. В тот день мы выиграли, казалось бы, безнадежный матч к особому удовольствию Вилли, которому не понравился капитан наших соперников. Вилли вернулся в Лондон в приподнятом настроении. На пути от вокзала до Военного министерства мы заглянули чуть ли не во все питейные заведения. Я пропустил несколько тостов и многократно проливал содержимое своего стакана. А Вилли пил все до последней капли. К тому времени, когда мы добрались до Уайтхолла, он уже не держался на ногах. Ввалившись в квартиру, он громко заявил, что ему необходимо выпить. Открыл сейф и налил нам по полстакана виски. Залпом опорожнив свой сосуд, он доковылял до дивана и моментально захрапел. Дверца сейфа была широко открыта.

Я чувствовал себя одураченным. Для того чтобы Вилли отключился, даже не потребовалось снотворной таблетки. Ну да ладно, надо было заниматься сейфом! Там лежали нераспакованные канцелярские товары, кое-что из конторских принадлежностей, а также лоток с одним-единственным листком бумаги. Наконец-то передо мной был секретный документ. Но возбуждение вскоре сменилось горьким разочарованием.

Документ, адресованный в Форин офис, представлял собой запись беседы британского посла в Италии с кем-то из иностранных дипломатов в Риме о советской внешней политике. Подобно большинству таких отчетов (в чем я имел возможность убедиться впоследствии), сей документ блистал удручающей обыденностью. А последнее предложение являло собой столь яркий образец старомодного дипломатического стиля, что врезалось мне в память: «Царский орел смотрел в две стороны, а советская звезда указывает сразу в пяти направлениях и вращается к тому же от любого дуновения ветра». Я осторожно положил документ на место. Вилли по-прежнему храпел. Оставив ему какую-то легкомысленную записку, я в мрачном настроении сел в автобус и поехал домой.

Мой отчет о проведенной операции встревожил Отто. Он без всякого интереса выслушал содержание беседы британского посла в Риме. Гораздо больше его обеспокоила та легкость, с какой прошла операция. Уверен ли я, что Вилли действительно спал? А может, это была уловка? Мои заверения его не убеждали. Он настоял, чтобы я внимательно следил за Вилли во время нашей следующей встречи и сообщил в подробностях любые изменения в его поведении. В те годы большинству иностранцев было свойственно преувеличивать коварство англичан, и в этом смысле сотрудники советских спецслужб не были исключением. Озабоченность Отто напомнила мне о случае, когда Тео вполне серьезно допытывался, действительно ли умер Лоренс[14], и не хотел принимать на веру мой утвердительный ответ.

Вскоре я начал уставать от общения с Вилли. В профессиональном смысле мы мало что от него получали, а в личном плане это вызывало раздражение. Гомосексуальность Вилли никак в отношении меня не проявлялась. Но, контактируя с ним, я неизбежно сталкивался с его друзьями, которых предпочел бы не видеть. Именно из-за этих личных, а не оперативных соображений я предложил Отто передать Вилли на связь Берджессу. Тот согласился и поручил мне свести их.

При этом, однако, мне предстояло выполнить одно условие: Берджесс не должен знать о цели встречи. Эту пустячную оговорку я мог объяснить только тем, что Москва с прицелом на будущее надеялась убедить каждого из нас в том, что другой не ведет разведработы. Такая мера предосторожности показалась мне бессмысленной, о чем я сказал тогда же Отто. Опасность могла возникнуть лишь в том случае, если бы кто-то из нас вдруг переметнулся в другой лагерь, но тогда сало из огня все равно не вытащишь. И действительно, как видно из дальнейшего повествования, из-за этой мелочи чуть не сорвалась вся операция.

Я устроил коктейль, включив в число приглашенных Вилли и Берджесса. Представив их друг другу, я, как и подобает образцовому хозяину, принялся курсировать от гостя к гостю. Вскоре из угла, где находились Берджесс с Вилли, послышались возбужденные голоса: там явно было что-то не в порядке. Я перехватил взгляд Берджесса, и он ринулся ко мне.

— Кто этот молодой самоуверенный идиот, который мнит себя великим знатоком Пруста? — громко спросил он.

Я ответил, что не могу ничего сказать ни о самоуверенности собеседника Берджесса, ни о Прусте, но Вилли не идиот. Он занимает важную должность в Военном министерстве.

— Ого, — произнес Берджесс и потопал назад к Вилли. Ситуацию удалось спасти. Еще до того, как уйти с коктейля, они договорились о новой встрече.

Хотя тесная связь с Вилли и была прервана, я старался не терять его из виду. Он был членом клуба «Джуниор Карлтон» и дружил с пожилым бизнесменом по имени Стаффорд Тэлбот. Семейство Тэлботов торговало с царской Россией и в результате революции лишилось всех своих инвестиций. Тэлбот еще в 20-е годы основал издание под названием «Англо-русская торговая газета», целью которой первоначально являлась защита интересов британских кредиторов России. К середине 30-х годов их надежды на возвращение своих капиталовложений почти полностью испарились, однако газета продолжала печатать новости и обсуждать перспективы англо-русской торговли. Под влиянием выпитых стаканов ячменного отвара Тэлбот пускался в откровения, и, хотя ничего сверхважного не сообщал, Отто в целом устраивала исходившая от него информация. Но еще более интересными были намеки Тэлбота на то, что он намеревается основать аналогичное издание, посвященное вопросам англо-германской торговли.

Тем временем «Обзор обзоров» уже дышал на ладан. Зимой 1935/36 года его поглотило издательство «Чатто энд Уиндас», возглавляемое Верноном Бартлеттом. И хотя газета продолжала выходить ежедневно, мне уже стало абсолютно ясно, что работа в ней — пустая трата времени. Отто предложил мне попытаться перейти к Тэлботу, отрекомендовавшись специалистом по германским проблемам. Время для этого было самое что ни на есть подходящее. Весной 1936 года Тэлбот окончательно решил дать ход своему германскому проекту и предложил мне стать редактором нового журнала, если он, конечно, вообще появится на свет. А пока он попросил оказать ему помощь в переговорах с германскими властями и заинтересованными британскими фирмами. Он считал, что, хорошо владея немецким языком, я мог

бы вести вспомогательную работу в Берлине, в то время как он займется обработкой своих связей в Сити. Нам обоим, конечно же, придется вступить в Англо-германское общество; его фирма будет оплачивать членские взносы и все ужины, которые, как мы полагали, придется давать. Руководство «Чатто энд Уиндас» без труда отпустило меня.

Отто со счастливой улыбкой воспринял эту весть. Наконец у нас начало что-то получаться.

— Вот видите, — произнес он, — а вы чуть было не впали в отчаяние. Сколько нам пришлось ждать? Два года! Могло быть и десять!

Да, у нас действительно стало кое-что получаться. Тома Вилли или милых ориенталистов из Общества Средней Азии трудно было воспринимать всерьез. Что же касается Англо-германского существа и Берлина, то там я получал возможность напрямую общаться с непосредственным противником и его британскими приспешниками. Но для меня — и в личном, и в профессиональном плане — самым важным было появление четко определенной цели: развитие неофициальных отношений между Британией и Германией. С германской стороны неофициальное смыкалось с официальным, поскольку большинство немцев придерживалось нацизма. Ну что же, тем лучше.

Отто с радостью наблюдал, что я постепенно выхожу из транса, в то же время он категорически отрицал, что мы впустую потратили предыдущие два года.

— Эти годы следует рассматривать как период ученичества, — любил повторять он. — Вы твердо усвоили правила безопасности. Мы теперь знаем, что вам можно доверять, что порученные задания вы будете выполнять осмотрительно и не окажетесь в дураках. Но важнее всего то, что вы поняли: романтическим жестам не место в нашей работе.

Последняя фраза была одной из его любимых, и произносил он ее всегда особенно ядовито.

Тут у скептически настроенного читателя, возможно, возникнет вопрос: «Как будущий редактор англо-германского журнала, посвященного проблемам торговли, способен добывать важную информацию?» Со времен второй мировой войны у нас устойчиво сформировался яркий образ необычайно удачливого разведчика; мы недооцениваем тех, кто кропотливо собирает крохи информации, — малюсенькие звенья в цепи, о которых так часто говорил мне Отто. Это происходит от незнания реалий нашей работы. Хорошо, конечно, находиться в центре широко разветвленной разведсети, регулярно получая со всех сторон больше документальной информации, чем можно переправить в

Центр. Но эта достоверная информация редко имеет отношение к сердцевине разведдеятельности — выяснению намерений людей, принимающих решения, по той причине, что намерения зачастую выкристаллизовываются в самый последний момент. Для примера: я не мог сообщить в 1936 году, как или когда именно Гитлер проглотит Австрию, ибо Гитлер не знал этого сам. В таких областях, в широком разрыве между незнанием и знанием, немаловажная роль принадлежит кропотливым сборщикам крох информации, способным подтвердить или подвергнуть сомнению тот или иной вариант возможного развития событий. Они помогают Центру воссоздать общую картину происходящего и предложить, по выражению Аллена Даллеса, «просвещенную догадку».

Но, как опять же возразит скептик, носители секретной информации не делятся ею с посторонними, а следовательно, от них можно добиться либо несущественных сведений, либо преднамеренной дезинформации. Не говоря уже о том, что подобный подход неверен, он игнорирует тот факт, что от любого оперативного работника требуется умение распознавать, когда люди высказываются откровенно, а когда произносят заученные и заранее отрепетированные фразы. Научиться этому подчас бывает нелегко, но возможно. Более того, даже в случае, если собеседник говорит «как по писаному», можно вычислить, что скрывается за этим заготовленным текстом. Речь идет о поединке интеллектов — ежедневном занятии дипломатов и журналистов; для разведчика сие поприще также не является закрытой книгой. К тому же у него, в отличие от дипломата или журналиста, есть одно преимущество: он, как правило, знает намерения своего собеседника, в то время как тому устремления разведчика в большинстве случаев неизвестны. Сошлюсь для примера на мои собственные контакты с американскими спецслужбами — ЦРУ и ФБР. Я знал, чего они добиваются. Они думали, что знают, чего добиваюсь я. Но это было не так. Поэтому они скрывали от меня совсем не то, что следовало.

Контингент интересовавших меня лиц с британской стороны — прогермански настроенные элементы моей родной страны — был сосредоточен в Англо-германском обществе. Там проводились званые ужины и неформальные встречи; и те и другие предоставляли возможность завести личные контакты. По политическим взглядам членов общества, за исключением некоторых, кто еще не до конца определился или колебался, можно было условно разделить на три группы. Первую составляли откровенные пронацисты, на которых немцы практически не обращали внимания, ибо они и так поддержали

бы любой курс Гитлера, кроме разве что нападения на Британию. Другая, более широкая и менее однородная группа, состояла из людей, склонных выдавать желаемое за действительное: они полагали, что Гитлера можно подкупить («удовлетворить его амбиции») уступками, не нарушающими общего баланса сил, например несущественным изменением европейских границ и передачей Германии одной-двух колоний. Неоднородность этой группы объяснялась различиями в подходе к тому, что именно следует принести в жертву Германии и за чей счет. Наконец, существовала группа более или менее реалистически настроенных людей, которые, справедливо опасаясь, что Гитлер не удовольствуется крохами, в то же время были готовы продолжать контакты в надежде на смену политики или правительства в Берлине. Но в одном большинство представителей этих трех групп было единодушно: оно уповало на то, что восточноевропейские государства пойдут на компромисс с Германией и, если этого потребуют немцы, обеспечат их войскам свободный проход к советской границе.

Такую вот картину можно было вывести на основании подробных отчетов, которые я составлял еженедельно или дважды в месяц. Оглядываясь назад, я, в общем-то, не вижу ничего постыдного в подобном анализе, подкрепленном к тому же ссылками на надежные авторитетные источники. С позиций сегодняшнего дня он кажется устаревшим, во многом благодаря тому, что его выводы делались на основе происходивших в тот момент событий. Но в целом этот анализ был подтвержден расколом в последующие три года Англо-германского общества, проходившим в три этапа. Реалисты откололись после изнасилования Австрии: против аншлюса, если бы он был достигнут за переговорным столом, они не возражали, но грубость, с какой была осуществлена эта акция, они справедливо расценили как преднамеренную демонстрацию силы (чем она и являлась). Любители выдавать желаемое за действительное, не переварив шампанское за столом мюнхенского соглашения, покинули Общество после вторжения в Чехословакию. Пронацистски настроенные элементы оставались в нем вплоть до призыва Чемберлена к войне, а затем, в последний момент, произнесли вслед за лордом Редесдейлом[15]: «Враги короля — мои враги». Небольшая горстка пронацистов упорствовала еще какое-то время — до тех пор, пока их не интернировали.

С немецкой стороны мы замыкались на лондонское посольство Германии, а в Берлине — на Министерство пропаганды и Бюро Риббентропа. В посольстве имелось три основных контакта — Бисмарк, Маршалл фон Биберштейн и

смуглый пресс-атташе Фитцрандольф, который по своей внешности и вкрадчивым манерам напоминал арийца не более чем персидский принц. По моим оценкам, наибольший интерес из этой троицы мог представить Маршалл; Бисмарк казался мне излишне деловитым, а Фитцравдольф — скользким. Мы договорились с Отто, что я не буду строить из себя попутчика нацистов, мне вряд ли удалось бы убедительно сыграть эту роль. Перед немцами я решил выступить как англичанин, убежденный в том, что достижение взаимопонимания с Германией, включая определенные уступки ей, служит долгосрочным интересам Британии. Представим себе на минуту, что бы произошло в случае претворения подобной политики в жизнь. Скорее всего во всем мире, за исключением Британии и Германии, возникли бы страшноватые условия существования. К этому, конечно, вела такая политика.

Прошло несколько недель, и Тэлбот решил, что мне лучше отправиться вместе с ним в Германию. Когда я доложил об этом Отто, тот окинул критическим взглядом мою одежду.

— Для Англии она еще может сойти, — заявил он, — но в Берлине к внешнему виду относятся более придирчиво.

Поэтому мы завершили нашу встречу в магазине «Остин Рид». Увидев меня выходящим из примерочной в синем костюме, светло-сером плаще и черной фетровой шляпе, Отто энергично хлопнул себя по бедру. По его заключению, я выглядел безупречным дипломатом.

В Берлине мы первым делом направились в Министерство пропаганды. Визит этот разочаровал меня и даже несколько озадачил. Мы главным образом общались с неким Фогтом, отношения с которым у меня никак не складывались. Этот немец прожил какое-то время в Соединенных Штатах и бегло говорил по-английски с американским акцентом. Не думаю, чтобы он был убежденным нацистом; он показался мне беспринципным человеком, заботящимся только о собственной карьере. Этакий вульгарный пройдоха. Но больше всего тревожило меня то, что Тэлбот вроде бы собирался обратиться к Фогту с просьбой о финансовой поддержке. Отправляясь в Берлин, я представлял себе, что мы получим деньги от местных фирм, вовлеченных в англо-германскую торговлю и посему заинтересованных в ее развитии. Брать же деньги у Министерства пропаганды было гораздо опаснее. Одно дело, если это министерство поможет нам установить контакты с торгово-промышленными кругами Германии, и совсем другое — оставить кошелек в руках Фогта и тем самым предоставить ему возможность диктовать политику нашей редакции. Думая о своем будущем, я вовсе не желал, чтобы

мне приклеили ярлык нациста или кого-либо еще; подобная опасность, с какой бы стороны она ни исходила, могла погубить меня в любой момент. Как явствует из дальнейшего повествования, обстоятельства спасли меня буквально в последнюю минуту. И вот каким образом.

В тот вечер Фогт организовал небольшой банкет в одном из домов для приемов, принадлежавших нацистской партии. За ужином справа от меня сидела поразительной красоты брюнетка. Она была родом из германской Восточной Африки, и мы весь вечер, от аперитива до кофе, проговорили с ней о колониальных проблемах. Мне очень хотелось узнать, способна ли она говорить на другие темы. Но время было в дефиците, а мое чувство долга — в избытке. Поэтому две встречи, назначенные мною в тот вечер, были с мужчинами, о которых я сейчас уже не помню ничего, кроме того, что ради них пожертвовал свиданием с очаровательной женщиной.

Затем последовала череда встреч с представителями Министерства пропаганды и Бюро Риббентропа. Мои контакты с последним развивались более успешно. Бюро было создано в целях продвижения идей Риббентропа в области внешней политики. Оно рассматривало себя в качестве противовеса Министерству иностранных дел, а между ортодоксальными и неортодоксальными дипломатами наблюдался глубокий антагонизм. Гитлера подобное положение дел устраивало: существование нескольких организаций, действующих в одной и той же сфере, позволяло ему натравливать их друг на друга, удерживая бразды правления в своих руках. В Бюро к нам относились с подчеркнутым вниманием. Для чиновников из Министерства иностранных дел мы практически не представляли интереса, хотя вели они себя достаточно вежливо. Что же касается Деркхайма, Родде и других представителей Бюро, то они видели в нас подходящий инструмент для того, чтобы поднять свой престиж и потрепать нервы профессионалам. Я всячески стремился развить отношения с ними по двум причинам: с оперативной точки зрения это было на пользу разведке, а в личном плане мне хотелось насолить Фогту. Интересам журнала такая политика, конечно, не отвечала, так как Тэлбот делал ставку именно на Фогта. Но, по-моему, это в немалой степени помогло мне избавиться от. нацистского клейма.

В таком ключе мы работали где-то около года. Тэлбот упорно трудился над обеспечением финансовых инъекций из Сити. Но этот милый, привыкший к домашнему уюту старик не умел проводить грань между личными и деловыми отношениями. В промежутках между поездками в Берлин я поддерживал контакт с

германским посольством и экспериментировал с форматом нашего журнала, условно нареченного «Британия и Германия». Однако же наибольший интерес, причем во всех отношениях, представлял Берлин, а там, к сожалению, перспективы постепенно становились все более мрачными. По мере того как укреплялись мои позиции в Бюро (вплоть до того, что *я был* принят самим Риббентропом), отношения с Фогтом ухудшались. В ходе одной из бесед в начале зимы 1936 года у меня возникло сильное подозрение, что он пытается положить конец нашему сотрудничеству, и я не сумел проявить достаточной дипломатической сноровки, чтобы удержать ситуацию под контролем.

Вернувшись в Лондон, я сообщил Тэлботу, что Фогт больше не видит в нас серьезного партнера. Я высказал предположение, что он готовит сделку с кем-то еще. Еще какое-то время отношения продолжались, но мое предположение оказалось верным. Спустя некоторое время на свет появилось «Англо-германское ревю». Издание это отражало нацистские или пронацистские настроения, очень близкие к воззрениям тупого, недалекого Фогта, но абсолютно непригодные для Британии. И хотя в тот момент я расстроился в связи с провалом издания «Британия и Германия», последующие события подтвердили мою уверенность в том, что я родился под счастливой звездой. С началом войны большинство тех, кто был связан с нашим более удачливым соперником, оказались жертвами раздела 18B Закона об охране государства.

Итак, я снова оказался без работы, но уже не совсем на том уровне, откуда мы начинали. Год серьезного труда научил меня кое-чему, в частности я понял, чем отличается разведывательная работа от журналистики: грубо говоря, это разница между дорогим путеводителем Бедекера и обычным из серии «Куда поехать отдохнуть». Я также обрел уверенность в себе как при общении с людьми, так и в оперативном плане. Но, пожалуй, наиболее важным было то, что я теперь умел, не теряя самообладания, выслушивать самые омерзительные мнения, хотя потребовалось еще несколько лет, чтобы окончательно приучиться вообще не реагировать на такие вещи.

Отто воспринял известие о нашей неудаче спокойно. Он, конечно же, был внутренне готов к подобному повороту событий, но разговаривал со мной так, будто у него и у его коллег сформировался в отношении меня определенный план действий. Я заявил ему, что считаю бесперспективным дальнейшее прозябание на задворках журналистики; если ставить перед собой цель добиться чего-то, надо пробиваться в крупную газету или

информационное агентство. Он, казалось, согласился, но попросил меня ничего не предпринимать до следующей встречи, на которой должен был присутствовать Тео.

Встреча с участием Тео явилась поворотным моментом. Она сыграла роль первой ступени ракеты, которая вывела мою карьеру на орбиту. Тео одобрил мое стремление пробиться в одну из ежедневных газет. Центр, по его словам, положительно оценил мою работу по англо-германской проблеме. Но руководство заинтересовано в укреплении моих связей и положения в Лондоне, что в дальнейшем открыло бы перспективы для деятельности более высокого плана. Тео очень осторожно обозначил, что ожидалось от меня. Центр, сказал он, связывает мое будущее с проникновением в британскую секретную службу. Мне могут оказать в этом деле значительную помощь, если таковая потребуется. Но лучше, если я попытаюсь добиться всего сам, так будет безопаснее и для меня, и для других. По мнению Центра, журналистика являлась хорошим плацдармом для выполнения поставленной передо мной задачи.

Усталая улыбка, с которой Тео вкрапил сие решение в нашу беседу, смягчило шок от этого, безусловно, сногсшибательного предложения. Я не помню в подробностях своей первой реакции, в памяти остался только вихрь смутных образов да еще ощущение надвигающегося приключений. Мудрый Тео тут же поспешил перейти к обсуждению практических вопросов. Британская секретная служба, пояснил он, — это в долгосрочной перспективе. Но Центр заинтересован в том, чтобы я активно действовал уже сейчас. Так, например, срочно требовались достойные доверия люди в Испании, на стороне Франко. В этой связи Тео хотел бы обсудить возможность сочетания в рамках одной операции всех требований, изложенных выше. Иными словами, согласен ли я отправиться во франкистскую Испанию в качестве журналиста, выполняющего триединую задачу? Во-первых, докладывать советскому правительству политическую и военную обстановку; во-вторых, создавать себе журналистскую репутацию; в-третьих, выполнять свои журналистские обязанности таким образом, чтобы привлечь внимание британской разведки.

То, что Тео предложил. Испанию в качестве объекта моей деятельности, произвело на меня более сильное впечатление, нежели его рассуждения о британской секретной службе. Я впервые побывал в Испании в двенадцатилетнем возрасте, и уже тогда во время длительного отдыха в Андалузии она странным образом повлияла на мое воображение. В юности я много читал об Испании и еще больше мечтал о ней; я возвращался туда

несколько раз. Этот ранний, дилетантский интерес накладывался на присущую моему поколению эмоциональную вовлеченность в гражданскую войну, и это приумножало мой интерес к испанским делам. Предыдущей осенью Тео спрятал у меня на квартире фотографическое оборудование и привел Дональда Маклина с портфелем, наполненным документами Форин офиса, которые требовалось прочитать и сфотографировать; многие из тех бумаг касались советской авиационной и артиллерийской техники, поставляемой республиканцам. Поэтому, когда Тео предложил Испанию в качестве поля моей деятельности, я был уже полностью готов к этому. Оставалось обсудить методы и средства операции.

Я выразил сомнение в том, что смогу просто так войти в какой-либо офис на Флит-стрит и добиться того, чтобы меня направили в Испанию. Я никогда не умел себя «продавать». Но у Тео имелось в запасе другое предложение. Центр был готов финансировать пробную поездку, преследующую две цели: я должен был освещать политические и военные вопросы и одновременно собирать материалы для статей, которые укрепят мои шансы на получение постоянной работы. Самая неотложная проблема, которую предстояло решить, заключалась в том, как обеспечить прикрытие, позволяющее обратиться за визой и действовать в Испании в период командировки.

Я высказал предположение, что получить аккредитационные документы с Флит-стрит не составит особого труда, если я не буду просить денег. Я предложил также подкрепить визовый запрос рекомендательным письмом из германского посольства к представителю Франко в Лондоне. Отто пошел еще дальше и предложил обзавестись рекомендательными письмами к моим возможным германским контактам в Испании. Мы решили, что пробная командировка должна длиться три месяца. В случае необходимости ее можно будет продлить, но не следует слишком долго находиться в стране без поддающихся объяснению источников существования; к тому же, если я в течение трех месяцев не смогу устроиться на работу, связанную *с* Испанией, мне это, по-видимому, вообще не удастся.

В течение следующих нескольких дней я получил ответы на свои письма из ряда редакций на Флит-стрит: денег в них не предлагалось, но заранее выражался интерес ко всему, что я напишу. Этого, собственно, я и ожидал, хотя надеялся на большее. В германском посольстве меня поначалу встретили прохладно: там знали о неудаче с изданием «Британия и Германия» и ожидали услышать упреки. Когда же выяснилось, что я прошу лишь о рекомендательном письме к представителю

Франко в Лондоне, которое наполнило бы мои паруса попутным ветром, реакция сразу же изменилась в лучшую сторону. Часом позже я держал в руках весьма объемистое послание на имя маркиза Мерридель Валя, подписанное лично Риббентропом. Оказалось, однако, что маркиз не уполномочен выдавать визы; он мог только снабдить меня письмом к своему коллеге в Лиссабоне, который, как он уверял, сделает все возможное, чтобы облегчить мое дальнейшее путешествие. Таким образом, предстояло преодолеть еще одно препятствие, и поэтому, отправляясь на очередную встречу с Тео и Отто, я не мог избавиться от сомнений относительно будущего.

Отсутствие у меня в кармане испанской визы расстроило моих друзей, но они тем не менее решили продолжить операцию. Риск небольшой: в худшем случае мы потеряли бы стоимость проезда до Лиссабона и обратно. Мы сосредоточились на обсуждении оперативных вопросов.

Мой единственный контакт в Испании живет в Севилье. Мы обговорили точное время и место явки; по приезде мне следовало лишь определить дату и выставить в условленном месте соответствующую метку. При встрече мы должны обменяться опознавательными знаками — и все. Цель встречи: дать друг другу знать, что мы существуем, что знаем условия связи и операция началась. В дальнейшем вступление в контакт предполагалось лишь в случае чрезвычайных обстоятельств: с моей стороны — если появится необходимость в передаче исключительной срочной информации или возникнет серьезная опасность; со стороны оперработника — если у него будет для меня почта. В соответствии с полученной инструкцией я должен был проставить сигнал, по крайней мере, за сутки до выхода на встречу, исключая уик-энд, из чего я сделал вывод, что сигнал будет находиться где-то на пути моего контакта от дома к работе.

Отто рассказал мне, как пользоваться простым кодом. Я должен носить *с* собой маленький листочек очень тонкой бумаги, сжатый в комочек размером с таблетку аспирина. Для тренировки я скомкал несколько образцов и без труда проглотил их. Затем мне пришлось выучить наизусть два адреса явочных квартир, по одному во Франции и Голландии, а также перечень интересующих вопросов, в основном по военной тематике. Перед самым отъездом Отто должен был еще раз встретиться со мной, чтобы проверить, помню ли я конспиративные адреса, вопросник и правила пользования кодом. Ему предстояло также снабдить меня деньгами (в старых пятифунтовых купюрах), чтобы хватило на дорогу и на три месяца жизни в стране. Мы пообедали с Тео в греческом ресторане, проведя время в разговорах о чем угодно,

кроме дел.

Несколько дней спустя, заказав билет на пароход компании «Холт лайн», отправлявшийся в Лиссабон, я. попрощался с Литци. Мы оба понимали, что наш брак завершен. Хотя мы жили в одной квартире, супружеских отношений между нами уже не существовало. Дело, несомненно, ускорили моя тайная работа и связанное с этим ее политическое бездействие, а также разрыв с друзьями; но были и другие причины, по которым распался наш брак.

Ким Филби
МОЯ НЕЗРИМАЯ ВОЙНА

Перевод с английского *П.Н. Видуэцкого* и *С.К. Рощина*

Ким Филби

Эта книга совсем не такая, какую ожидали увидеть враги Филби. Это книга честная, хорошо написанная, часто забавная, и рассказанная в ней история после побега Берджесса и Маклина куда более захватывающая, чем любой шпионский роман, который я когда-либо читал. Нам говорили, что это будет сплошная пропаганда, но в книге нет никакой пропаганды, если не считать таковой достойное уважения заявление о своих убеждениях и мотивах поступков. Цель в его глазах, конечно, должна оправдывать средства, но на сей счет большинство людей, связанных с политикой, пожалуй, менее откровенны, если мы хотим судить их по их действиям, будь то Дизраэли или Уилсон. Он предал свою страну. Да, пожалуй, предал, но кто из нас не предавал что-то или кого-то, более для нас важного, чем наша родина? Филби считал, что он работает ради такого устройства, от которого только выиграет его страна.

Подобно многим католикам, которые в царствование Елизаветы I работали на победу Испании, Филби железно уверен в правильности своих суждений как человек, однажды обретший веру и логически пришедший к фанатическому следованию ей, не намерен с этой верой расставаться из-за несправедливостей и жестокостей, осуществляемых заблуждающимся человеческим аппаратом. Сколько добрых католиков, должно быть, терпели долгие мрачные дни инквизиции в надежде на лучшее будущее! Ошибки в политике не оказывали влияния на веру Филби, как и зло, которое творили некоторые руководители. «Едва ли так уж удивительно, что в тридцатые годы я воспринял коммунистические взгляды, — многие из моих современников сделали такой же выбор. Но многие из тех, кто в те дни сделал такой выбор, перешли на другую сторону, когда выявились худшие стороны сталинизма. Я продолжал идти тем же путем», — пишет Филби и справедливо задается вопросом, какой могла быть альтернатива дурной эпохе правления Болдуина — Чемберлена. «Я видел перед собой лишь путь, который вел меня к позиции сварливого политического изгоя типа Кестлера — Крэнкшоу — Маггериджа, вступив в ряды движения, которое предало *меня,* поверив в Бога, который не оправдал *моих* надежд. Такая участь казалась мне весьма мрачной, какие прибыли она бы ни принесла».

Описание британской Секретной службы, которое дает Филби, уничтожающе правдиво. «Легкость, с какою я поступил туда, поразила меня. Как потом выяснилось, обо мне был сделан

единственный запрос в МИ-5, где проверили мое имя по своей картотеке и лаконично заявили: “Никаких противопоказаний нет”». (Филби повезло больше, чем мне. За мною значился привод в полицию, так как после того, как мисс Шерли Темпл обвинила меня в диффамации, все бумаги по этому делу были переданы директору государственного обвинения и, следовательно, дошли до самого шефа.) Был даже момент, когда Филби начал сомневаться, в Секретную ли службу он попал. По его первым отчетам советский связной склонен был счесть, что он поступил на работу не в ту организацию.

Он замечательно, хотя и недобрым пером, описывает людей. Я и слышать не хочу о том, что кто-то писал за него, все это вполне может принадлежать перу Филби. Всякий, кто работал в секторе V, согласится с его характеристикой главы этого сектора Феликса Каугилла, которого он со временем сменит. «Каугилл наслаждался своей полной изоляцией. Он был из тех чистоплюев, кто всех своих противников объявляет “политиканами”». Сразу можно узнать и заместителя директора Секретной службы. «Вивиен давно оставил позади свои лучшие годы, если они у него когда-либо были. Тощий, как тростинка, с тщательно проложенным пробором в волосах и слезящимися глазами». А к директору, бригадиру Мензису, Филби проявляет неожиданную доброту, хотя его строго ограниченная похвала и слегка покровительственная нотка едва ли придутся по душе предмету описания. А вот к Скардоу, следователю МИ-5, сломавшему Фукса, он питает явное уважение как к профессионалу.

Если бы этой книге требовался подзаголовок, я предложил бы «Шпион как мастер своего дела». Лучшего начальника Иберийского подсектора сектора V, чем Ким Филби, просто быть не могло. Он работал больше всех и никогда не производил впечатления человека перетрудившегося. Он всегда был раскован, совершенно невозмутим. В те дни он, конечно, просто вел ту же войну, что и его коллеги, — напряжение пришло позже, когда он создавал новый сектор, который должен был противостоять шпионажу русских, но, хотя тут он вел уже совсем другую войну, потребность профессионально гордиться проделанной работой никогда не покидала его. Он был преисполнен решимости организовать работу в своем секторе лучше, чем в любом другом отделе Секретной службы. «К тому времени, когда наш пухлый доклад был окончательно готов для представления шефу, мы считали, что разработали такой макет службы, который может служить соблазном для способных молодых людей и они охотно придут к нам, избрав работу у нас своей карьерой». И Филби старательно и с энтузиазмом принялся набирать людей. «Важно

было заручиться хорошими специалистами, пока они еще были свободны. В условиях наступавшего мирного времени будет легче избавиться от лишних людей, чем заполнить пробелы, которые могут образоваться». Теперь уже ни один советский агент не стал бы сомневаться, в то ли учреждение он попал. Он увидел бы людей, гордящихся своей профессией, да и, конечно, кое-что еще. Только хорошо работающий сектор мог противостоять русской службе. Это был поразительный маневр, хотя лишь одна сторона знала, что война-то ведется фальшивая.

История о том, как Филби, чтобы добиться нужного назначения, избавился от соперника в лице Каугилла, делает, по его словам, «чтение неприятным, как неприятно об этом и писать, — на мгновение кажется, что, сердце пронзило ледяное острие». Я видел начало этого действа — я, собственно, ушел с работы вместо того, чтобы принять повышение, которое было одним из колышков в сети интриги, какую плел Филби. Я тогда приписал все это жажде личной власти, единственной черте у Филби, которую я находил неприятной. Сейчас я рад, что оказался неправ. Он служил своему делу, а не себе самому, и мое прежнее чувство к нему вернулось, и я с удовольствием вспоминаю долгие воскресные обеды в Сент-Олбэнсе, когда весь подсектор отдыхал от его руководства и в течение двух-трех часов предавался возлияниям, и потом встречи за кружкой пива, когда мы следили за пожарами, сидя в пивной, позади Сент-Джеймс-стрит. Если кто-то допускал ошибочное суждение, можно было не сомневаться, что Филби сведет ошибку к минимуму и покончит *с* делом без разноса, лишь, заикаясь, скажет что-нибудь остроумное. Он был лоялен в малом по отношению к своим коллегам, ну а о его лояльности в главном мы тогда не знали.

Несколько лет спустя, после того как Макмиллан обелил Кима в палате общин, мы *с его* старым приятелем оказались вместе в Кроуборо и решили заглянуть к нему. Сад зарос — о нем явно никто не заботился, и, когда мы позвонили, нам никто не открыл. Мы заглянули в окна уродливого приземистого дома в эдвардианском стиле, стоящего на краю Эшдаунского леса в Суррее, графстве бедняков. Никто давно не брал почту: пол под входной дверью был завален рекламными брошюрами. На кухне стояло несколько пустых бутылок из-под молока, а в раковине — одна-единственная чашка и блюдце. Все это скорее походило на покинутый цыганский лагерь, чем на дом, где жила семья с детьми. Мы этого не знали, но Ким в ту пору уже отбыл в Бейрут — последний этап на его пути в Москву, на родину, которой он никогда не видел. После тридцати лет подполья он, безусловно, заслужил право на отдых.

Грэм Грин

От автора

Эта небольшая книжка вводит читателя в мою работу разведчика. Со временем я намерен написать больше. Но уже сейчас я считаю своим долгом обратить внимание читателя на проблему, с которой я столкнулся.

Публичное упоминание имен сотрудников спецслужб, занимающихся секретной работой, не может не поставить их в затруднительное положение. Я не имею ни малейшего желания ставить в такое положение моих бывших коллег по британской, американской и другим службам, тем более что к некоторым из них я питаю и симпатию, и уважение.

Следовательно, я постарался упоминать имена лишь тех сотрудников, которые, как мне известно, либо уже умерли, либо вышли в отставку. Однако в некоторых случаях невозможно что-то вразумительно рассказать, не назвав сотрудников, еще находящихся на действительной службе.

Этим последним я приношу свои извинения. Мне тоже приходилось оказываться в сложном положении из-за моей принадлежности к секретной службе.

Москва, 1968 г.

Предисловие

Эта небольшая книжица писалась урывками с тех пор, как почти пять лет назад я приехал в Москву. В процессе ее написания я время от времени советовался с друзьями, чье мнение я ценю. С некоторыми рекомендациями я согласился, другие отверг. Один из отклоненных мной советов сводился к тому, чтобы для большей занимательности подробнее описать опасности, встретившиеся мне на долгом пути от Кембриджа до Москвы. Я предпочитаю держаться нелакированного описания.

Когда прошлым летом (1967 г.) рукопись подошла к своему завершению, я долго раздумывал, следует ли мне ее публиковать, и снова посоветовался с несколькими друзьями, чье мнение могло помочь мне принять решение. Все сошлись на том — и я с этим согласился, — что рукопись следует до поры до времени положить на полку. Главный довод сводился к тому, что ее публикация может наделать шума и вызвать осложнения международной обстановки, которые трудно предугадать. Неразумно предпринимать действия, последствия которых невозможно предсказать. И я решил положить мою рукопись в дальний ящик.

С появлением в октябре 1967 года статей в «Санди таймс» и в «Обсервер» ситуация в корне изменилась. В этих статьях, несмотря на ряд фактических неточностей и ошибочных интерпретаций (и, боюсь, преувеличенной оценки моих талантов), была дана в основном правдивая картина моей карьеры. Соперничающие газеты, естественно, немедленно объявили, что «Санди таймс» и «Обсервер» пали жертвой гигантского мошенничества. Нелепость такого утверждения была уже опровергнута в «Санди таймс». От себя могу лишь добавить, что мне предлагали просмотреть до публикации статьи в «Санди таймс» и я по размышлении от этого отказался. Я пришел к выводу, что отвечать за материал, подготовленный сотрудниками «Таймс», должен редактор и, если я, будучи стороной заинтересованной, в это вмешаюсь, объективность материала может быть поставлена под вопрос.

Как я уже сказал, эти статьи полностью изменили ситуацию. Последствия раскрытия правды все равно лягут на нас. Следовательно, я могу предложить мою книгу публике, не навлекая на себя обвинения в желании замутить воду. Я стремлюсь лишь исправить некоторые неточности и ошибки в интерпретации и дать более полную картину.

Первый серьезный кризис в моей карьере был долгим. Он

длился, грубо говоря, с середины 1951 года до конца 1955-го. На протяжении всего этого времени меня поддерживала мысль, что никто не может «пришить» мне связь с коммунистическими организациями, поскольку я никогда не был членом ни одной из них. Первые 30 лет я работал на дело, в которое верил, подпольно. Началось это в Центральной Европе в июне 1933 года, а окончилось в Ливане в январе 1963 года. Только тогда я смог появиться в моем подлинном обличье — в обличье советского разведчика.

До недавнего прошлого, когда «Санди таймс» и «Обсервер» выпустили жирных и весьма достоверных кошек из мешка, все, кто писал обо мне статьи и книги, бултыхались вслепую. Их нельзя обвинять в невежестве, поскольку на протяжении всей моей карьеры я старался не разглашать правды. Винить их можно, пожалуй, лишь за то, что они кинулись печатать свои опусы в блаженном неведении, а также за то, что упорно старались выискивать сложные объяснения самых простых вещей. Простая правда была, конечно, мало приятна обветшалому истэблишменту и его заокеанским друзьям. Но попытка потопить правду в словах, будь то гениальных, будь то бессмысленных, была напрасна и обречена на провал.

После почти года нелегальной деятельности в Центральной Европе я вернулся в Англию. Надо было начинать зарабатывать на жизнь. Затем что-то, видимо, произошло. По прошествии двух-трех недель я отвернулся от всех моих политических друзей и зачастил на приемы в германское посольство. Я вступил в Англо-германское общество и немало побегал, пытаясь создать на нацистские средства журнал, посвященный проблемам торговли и предназначенный способствовать добрым отношениям между Великобританией и Германией. Несмотря на все мои старания, эта затея провалилась, так как нас опередила другая группа. Но пока шли переговоры, я несколько раз приезжал в Берлин для встреч в Министерстве пропаганды и в ведомстве Риббентропа. Никто пока не высказывал предположения, что я переметнулся от коммунизма к нацизму. А простейшим и правильным объяснением является то, что открытые и тайные связи между Великобританией и Германией в ту пору крайне интересовали советское правительство.

Во время одного из моих посещений Берлина началась война в Испании. Нацисты ликующе кудахтали, и я, только вернувшись в Англию, узнал, что генерал Франко отнюдь не властвует над всей страной, а наоборот: предстоит затяжная гражданская война. Со следующим заданием меня послали в Испанию, на оккупированную фашистами территорию, с целью осесть там

надолго как можно ближе к центру событий. Эта миссия была успешно выполнена, и через две-три недели я уже был корреспондентом «Таймс», аккредитованным при войсках Франко, и прослужил в таком качестве всю эту мучительно тяжелую войну. Опять-таки никто не высказал предположения, что я стал фалангистом. А объяснение все такое же простое: я служил там Советскому Союзу.

В августе 1939 года тучи войны стали быстро нависать над Данцигом, и руководство «Таймс» велело мне забыть про Испанию и приготовиться к тому, что меня могут прикомандировать к английским войскам, которые, возможно, будут посланы в Западную Европу. Лучшего в сложившихся обстоятельствах я бы и придумать не мог. Любой военный корреспондент с пытливым умом мог собрать кучу информации, которую не смог бы опубликовать из-за цензуры, а опыт работы в Испании научил меня задавать нужные вопросы. Получилось так, что британский штаб расположился в Аррасе, не так далеко от Парижа. Я проводил большинство уик-эндов в кипучей атмосфере этой столицы не только из всем очевидного желания пораспутничать, но и потому, что почта в Аррасе хотя и работала неплохо, однако недостаточно хорошо для меня. Мои советские друзья усиленно подчеркивали, что я прежде всего должен думать о том, как попасть на службу в британскую разведку. До того как пресс-корпус отбыл в начале октября во Францию, я намекнул о своем желании там и сям. И теперь мне оставалось только сидеть и ждать. В этой книге довольно подробно — хотя и не совсем — описано, как эта авантюра увенчалась успехом.

На случай, если в некоторых умах еще сохранились сомнения, пожалуй, следует изложить факты. Едва повзрослев, я стал сотрудником советской разведки. Следовательно, я могу утверждать, что уже лет 30 являюсь офицером советской разведки, и, по всей вероятности, останусь таковым до самой смерти или до той поры, когда по старости вынужден буду выйти в отставку. Но большая часть моей деятельности в британской и американской сферах проходила под прикрытием агентов. Поэтому говорить о себе отныне я буду как об агенте.

«Агент» — это термин, который, конечно, можно толковать по-разному. Под этим словом может подразумеваться простой курьер, передающий послания между двумя точками; может подразумеваться человек, составляющий эти послания; может даже подразумеваться советник или исполнитель. Я быстро прошел первую стадию и вскоре стал письменно излагать или иначе передавать информацию во все возрастающем объеме. По мере того как я набирался знаний и опыта, меня постепенно

стали использовать как консультанта и исполнителя, а не только как поставщика и передатчика информации. Этот процесс шел параллельно с моим восхождением по лестнице британской Секретной службы, где начиная с 1944 года меня стали широко привлекать к консультациям по политическим проблемам.

Некоторые авторы в последнее время стали называть меня двойным или даже тройным агентом. Если это означает, что я с равным усердием трудился на две или более стороны, то это крайне ошибочное мнение. На протяжении всей моей карьеры я работал только в интересах Советского Союза. Тот факт, что я вступил в ряды британской разведки, ничего не доказывает: я рассматривал свою работу в Секретной службе как прикрытие и старался хорошо ее выполнять, чтобы добиться положения, которое позволило бы мне наиболее эффективно служить Советскому Союзу. Моя Связь с британской разведкой должна рассматриваться применительно к моей более ранней приверженности Советскому Союзу, который я считал тогда — да и сейчас считаю — внутренним бастионом мирового движения вперед.

За первые год-два я почти никуда не проник, хотя и побил Гордона Лонсдейла, поступив на десять лет раньше в Лондонскую школу изучения Востока. В этот период я был своего рода стажером в разведке. Сейчас, оглядываясь назад, я могу лишь удивляться бесконечному терпению моих начальников — терпению, объясняемому лишь их умом и пониманием. Неделю за неделей мы встречались на каком-нибудь удаленном пустыре Лондона, и неделю за неделей я приходил на встречу с пустыми руками, а уходил нагруженный тщательно продуманными советами, предостережениями и поощрениями. Я часто впадал в уныние оттого, что не мог сделать ничего путного, но уроки продолжались и оседали во мне. Когда настало время для серьезной работы, я обнаружил, что морально вполне подготовлен и вооружен необходимыми знаниями.

И хорошо, что это было так, поскольку первые серьезные задачи мне пришлось решать в Германии и в фашистской Испании, где, не раздумывая, расправлялись с агентами вражеских разведок. Награда пришла во время испанской войны, мой испытательный срок окончился: я вышел из войны полноправным офицером советской службы разведки.

Как все началось? Мое решение играть активную роль в борьбе против сил реакции не пришло внезапно. Мои первоначальные политические взгляды повернули мои' симпатии в сторону лейбористского движения, и одним из моих первых шагов после поступления в Кембридж в 1929 году было

вступление в Общество социалистов Кембриджского университета. Первые два года я регулярно посещал собрания, но почти не принимал участия в его деятельности. Чтение соответствующих материалов постепенно подвело меня к осознанию того, что лейбористская партия Великобритании стоит в стороне от главного направления левого движения в мире. Но окончательный поворот в моих мыслях произошел после деморализации и поражения лейбористской партии в 1931 году. Казалось невероятным, что партия проявила такую беспомощность в то время, как реакция в эти кризисные годы сумела мобилизовать все свои резервы. Более того, то обстоятельство, что умудренные избиратели были превращены циничной пропагандой на один день в стадо, ставило под серьезные сомнения ценность принципов, на которых зиждется парламентская демократия в целом.

Эта книга не историческая, не полемическая, и это не научный труд. Это мои личные воспоминания, и я намерен как можно меньше отходить от намеченной мной цели. Поэтому достаточно здесь сказать, что крах лейбористов в 1931 году впервые заставил меня задуматься над тем, что может быть альтернативой лейбористской партии. Я стал принимать все более и более активное участие в деятельности Общества социалистов Кембриджского университета и в 1932–1933 годах стал его казначеем. Это приобщило меня к левому крылу общественного мнения, критически настроенному к лейбористам, в частности у меня возникли контакты с коммунистами. Я много читал, все больше проникаясь справедливостью взглядов европейских социалистов, и участвовал в жарких спорах в Обществе. Процесс переосмысления шел медленно: на переход от социалистических убеждений к коммунистическим ушло два года. Только в самом конце пребывания в Кембридже, летом 1933 года, я отбросил последние сомнения. Я покинул университет с дипломом в кармане и с убеждением, что моя жизнь должна быть посвящена коммунизму.

Я давно потерял свой диплом (собственно, он, наверное, находится в МИ-5). Но убеждения сохранил. Вот тут, возможно, читателя одолеют сомнения. Не так уж удивительно, что в 30-е годы я воспринял коммунистические взгляды, многие мои современники сделали этот выбор. Но многие из тех, кто сделал такой выбор в те дни, перешли на другую сторону, когда стали проявляться худшие черты сталинизма. Я же продолжал держаться принятого курса. Вполне разумно спросить: почему?

Обычно смертному, не обладающему даром идеальной памяти, крайне трудно описать, каким образом 30 лет назад он

пришел к тому или иному решению. В данном случае, если бы я попытался это сделать, получилась бы поразительно скучная книга. Но коль скоро вопрос может быть задан, на него следует ответить, даже если ответ и будет сверхупрощенным.

Когда стало ясно, что многое в Советском Союзе дурно пахнет, я подумал, что для меня открываются три возможности. Во-первых, отказаться от участия в политике вообще. Я понимал, что это совершенно невозможно. У меня, правда, помимо политики есть другие пристрастия и интересы, но только политика придает им смысл. Во-вторых, я мог бы продолжать политическую деятельность на совсем другой основе. Но на чью сторону мне перейти? Политика Болдуина — Чемберлена поражала меня тогда, как поражает и сейчас, ибо я вижу в ней политики не больше, чем глупости. А глупость порочна. Я увидел перед собой путь, ведущий к роли политического изгоя типа Кестлера — Крэнкшоу — Маггериджа, поносящего движение, которое не оправдало *моих* ожиданий, поносящего Бога, который *меня* предал. Такая участь, каких бы благ она ни принесла, представлялась мне ужасной.

Третьим путем было держаться принятого курса, твердо веря, что принципы революции выживут, несмотря на отклонения — даже самые чудовищные, — допущенные отдельными личностями. Я избрал этот путь, руководствуясь частично разумом, частично инстинктом. Грэм Грин в своей книге «Тайный агент» описывает момент, когда героиня спрашивает у героя, считает ли он своих руководителей лучше других. «Нет. Конечно же, нет, — отвечает он. — Но я предпочитаю тех, кем они руководят, даже если руководят неправедно». — «Бедняга, праведно — неправедно, — фыркнула она. — Уж, во всяком случае, не хуже, чем в моей стране, праведно ею руководят или неправедно. Ты раз и навсегда выбираешь, на чьей стороне стоять, — конечно, это может оказаться неправедная сторона. Только история это рассудит».

Этот отрывок проливает некоторый свет на позицию, которую я занимал в недрах сталинского культа. Но сейчас я не сомневаюсь в вердикте, вынесенном историей. Моя неизменная вера в коммунизм вовсе не означает, что мои взгляды и мнения закостенели на 30 лет. Они претерпевали изменения, иной раз весьма резко, под впечатлением ужасающих событий, которые происходили на протяжении моей жизни. Я ссорился с моими политическими единомышленниками по вопросам первостепенной важности и до сих пор ссорюсь. Предстоит еще огромная работа — будут и взлеты, и падения. Прогресс, свидетелем которого 30 лет назад я рассчитывал быть, возможно,

наступит еще только через поколение или два. Но глядя из окна моего кабинета в Москве, я вижу прочный фундамент будущего, которое приоткрылось мне в Кембридже.

И наконец, меня отрезвляет мысль, что, если бы не мощь Советского Союза и не сила коммунистических идей, старым миром правили бы сейчас Гитлер и Хирохито. И я чрезвычайно горжусь тем, что в ранней молодости был приглашен сыграть пусть самую малюсенькую роль в построении этой мощи. Каким образом, где и когда я стал сотрудником советской разведки, остается известным мне и моим коллегам. Моту лишь сказать, что, когда мне было сделано такое предложение, я не колебался. Не думают дважды, когда вам предлагают вступить в элитную часть.

Пролог
НА ВОЛОСОК ОТ ГИБЕЛИ

Жены большинства разведчиков несут бремя особого рода: они не имеют возможности ни участвовать в работе своих мужей, ни даже знать о ней.

Всем таким женам посвящается эта книга, и особенно моей жене — Руфе.

Однажды, в самом начале своей деятельности в качестве сотрудника советской разведки, я впервые подвергся серьезной опасности и буквально чудом избежал смерти. Шел апрель 1937 года. Местом моей резиденции в то время была расположенная на юге Испании Севилья. Мое задание на тот момент состояло в том, чтобы собирать достоверные сведения обо всех сторонах военной деятельности фашистов. Полученную информацию я должен был по договоренности лично передавать советским друзьям во Франции или при случае — в Англии. Для срочной связи у меня был код и несколько секретных адресов за пределами Испании.

Перед выездом из Англии мне вручили инструкцию по пользованию кодом, написанную на крошечном клочке чего-то, напоминающего рисовую бумагу. Инструкцию я обычно хранил в кармане для часов, и вот именно этот клочок чуть было не поставил меня под дуло винтовок фалангистов.

После нескольких недель, проведенных в делах и заботах в Севилье и ее окрестностях, я случайно обратил внимание на объявление о предстоящем в следующее воскресенье в Кордове бое быков. В то время линия фронта проходила в 25 милях к востоку от Кордовы, между Монторо и Андухаром, и идея взглянуть на бой быков в непосредственной близости от фронта, где я еще не бывал, показалась весьма заманчивой. Я решил провести весь конец недели в Кордове, включив в свою программу и воскресную корриду. Я отправился в военную комендатуру Севильи — капитанию, чтобы получить необходимый пропуск, но приветливый майор отослал меня обратно. По его словам, для посещения Кордовы специального пропуска не требовалось. Все, что требуется, — это сесть в поезд и отправиться в путь.

В пятницу я сел в утренний поезд в Севилье и оказался в одном купе с группой итальянских пехотных офицеров. Чувствуя

себя, как говорится, всегда на работе, я пригласил их на обед в Кордове, но они вежливо отказались из-за отсутствия свободного времени: накануне отправки на фронт они будут слишком заняты в публичных домах.

Я снял номер в «Отель дель Гран-капитан» и, пообедав в одиночестве, отправился на прогулку по благоухающим улицам Кордовы. Побродив в состоянии счастливой беззаботности до полуночи, я вернулся в отель и лег спать.

Мой сон был прерван оглушительным стуком в дверь. Я открыл. В комнату ввалились двое в форме гражданской гвардии, выполнявшей функции военной жандармерии. Они приказали мне быстро собрать вещи и следовать за ними в комендатуру. На мой вопрос: «Зачем?» — старший из них, в чине капрала, коротко бросил: «Приказ!»

В те дни я спал очень крепко. Не в мою пользу было и то, что я стоял в пижаме перед двумя вооруженными гвардейцами в тяжелых башмаках. Я еще не проснулся до конца и был растерян, так что мой мозг работал отнюдь не со скоростью света. Меня сверлила одна мысль: как избавиться от предательской бумажки в кармане брюк? Подумал о ванной комнате, но мой номер был без ванной. Пока я одевался и собирал вещи, гвардейцы перерыли мою постель. Может, удастся как-нибудь избавиться от этого клочка бумаги по дороге из отеля в комендатуру?

Когда мы вышли на улицу, я понял, что сделать это нелегко. У меня была лишь одна свободная рука, ₽ другой я нес чемодан. Позади твердо шагали, по всей видимости, хорошо вымуштрованные конвоиры, которые следили за мной, как ястребы. Так что когда меня ввели в здание комендатуры, компрометирующая бумажка все еще находилась при мне. Помещение было освещено одной лампой без абажура, бросавшей яркий свет на большой полированный стол. Я предстал перед низкорослым, уже немолодым, лысым и угрюмым майором гражданской гвардии. Не поднимая глаз от стола, он рассеянно выслушал рапорт конвоировавшего меня капрала.

Тщательно проверив мой паспорт, майор спросил:

— Где ваше разрешение на въезд в Кордову?

Я повторил то, что мне сказали в севильской капитании, но он не принял моих слов во внимание. Неправда, заявил он тоном, не терпящим возражений. Всем известно, что для приезда в Кордову требуется особое разрешение. Что привело меня в Кордову? Желание посмотреть бой быков? Где же мой билет? Ах, у меня его нет? Я только что приехал и собирался купить билет утром? Ничего не скажешь — правдоподобная история! И так далее. По мере нарастания скептицизма в словах майора я с

возрастающей тревогой все больше убеждался, что он — ярый англофоб. В те дни было много англофобов по обе стороны фронта в Испании. К этому времени мой мозг уже работал нормально, и я с лихорадочной быстротой стал искать выход из создавшегося положения.

Тем временем майор и два арестовавших меня гвардейца, не веря ни одному моему слову, приступили к осмотру моего чемодана. Проявив неожиданную деликатность, они надели перчатки и принялись вытаскивать вещь за вещью, прощупывая и разглядывая каждую на свет. Не найдя ничего предосудительного в моем нижнем белье, они стали тщательно замерять наружные и внутренние размеры чемодана и простукивать его поверхность. Когда «невинность» содержимого чемодана оказалась вне всяких сомнений, гвардейцы даже вздохнули. У меня появилась надежда, что пришел конец моим испытаниям и теперь мне прикажут с первым же поездом убираться из города, но этого не случилось.

— А теперь, — неприятным тоном сказал майор, — посмотрим, что у вас?

И предложил мне вывернуть карманы. Нужно было действовать немедленно. Я быстро вытащил бумажник и резким движением швырнул его на полированный стол. Бумажник, закрутившись, полетел в дальний конец стола. Как я и предполагал, все трое. бросились за бумажником, стараясь дотянуться до него через стол. В тот момент, когда передо мной торчали три задницы, я выхватил из кармана брюк злополучный клочок бумаги, смял его и быстро проглотил. Теперь с легким сердцем я выворачивал все карманы. Майор не стал подвергать меня неприятной процедуре телесного осмотра. Вместо этого он прочел мне сухую короткую лекцию о коммунистах, засевших в английском правительстве, и приказал убираться из Кордовы на следующий же день.

Утром, когда я расплачивался за номер в отеле, из ниши в холле появились оба моих «приятеля» из гражданской гвардии и попросили подвезти их до станции на заказанном мной такси. Садясь в поезд, идущий в Севилью, я подарил им пачку английских сигарет, и они радостно замахали вслед уходящему составу.

В этом эпизоде не было ничего героического. Если бы даже инструкцию по пользованию кодом обнаружили, мой английский паспорт, вероятно, спас бы меня от смертного приговора. Однако в будущем у меня будет немало возможностей убедиться в том, что операции, связанные с настоящим риском, не всегда влекут за собой наибольшую опасность, так как можно заблаговременно определить действительную степень риска и принять

соответствующие меры предосторожности. А вот незначительные случаи, подобные только что описанному, часто подвергают человека смертельной опасности.

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ПРИНИМАЕТ МЕНЯ НА РАБОТУ

Насколько мне помнится, впервые я установил контакт с английской секретной службой летом 1940 года. Меня это интересовало уже несколько лет. Еще в нацистской Германии и позже в Испании, где я работал корреспондентом «Таймс» при вооруженных силах генерала. Франко, я питал некоторую надежду на то, что ко мне постараются «подобрать ключи». Я был уверен, что сразу узнаю «своего» человека, как только он начнет осторожно зондировать меня. Он представлялся мне худощавым, загорелым, конечно, с подстриженными усиками, немногословным и, вероятно, ограниченным. Он, конечно, предложит мне работать во имя родины и сурово нахмурится при упоминании об оплате. Но увы! Ничего подобного не происходило. Единственным офицером разведки, который проявил ко мне в Испании какой-то интерес, был немец, некий майор фон дер Остен, он же дон Хулио. Он погиб в начале второй мировой войны в автомобильной катастрофе в Нью-Йорке. Дон Хулио обычно привозил меня в помещение абвера в Конвенто-де-лас-Эсклавас в Бургосе и давал пояснения по большим картам, висевшим на стене и утыканным обычными цветными булавками. Целый год он время от времени угощал меня обедами с вином, *и* контакт был полезным. Однако в итоге выяснилось, что он интересовался мной лишь с одной целью — чтобы я представил его знакомой мне даме. Когда я оказал ему эту услугу, майор сразу же предложил ей работать на немецкую разведку и выполнять обязанности иного рода. Дама с возмущением отвергла его по всем статьям, и он отдалился от меня.

Когда разразилась вторая мировая война, «Таймс» направила меня в Аррас своим корреспондентом при штабе британской армии. К июню 1940 года я вернулся в Англию, будучи дважды эвакуирован — из Булони и Бреста. В Лондоне я написал для «Таймс» две-три статьи, в которых подвел итоги кампании и указал на ее различные моральные аспекты. Не помню, что я тогда писал, а прочитав недавно едкие замечания об этой кампании в мемуарах Лиддела Гарта, испытал лишь чувство облегчения за провал в памяти. Должно быть, я написал ужасную чепуху. Но главное, что к концу июня я оказался без дела. «Таймс» не проявляла намерения ни отделаться от меня, ни перегружать работой. Таким образом, у меня появилось свободное время и я мог заняться планированием своего

будущего. Главное, нужно было определить ту основу, на которой его следовало строить.

Я решил покинуть «Таймс», хотя ко мне там хорошо относились. Но полевая армейская цензура убила во мне всякий интерес к работе военного корреспондента. Попытайтесь написать сообщение с фронта, не упомянув ни названий населенных пунктов, ни номера части, и вы поймете, что я имею в виду. К тому же мне претило без конца писать о высоких моральных достоинствах британской армии. Позже английская военная цензура стала более либеральной, но в период «странной войны» тупые ограничения цензуры сравнивались (не в ее пользу) с практикой цензоров генерала Франко, подвергшейся в свое время резкой критике.

Однако, решив покинуть «Таймс», я не мог не помнить, что приближается срок моего призыва в армию. У меня не было никакого желания полностью потерять из-за этого контроль над своей судьбой, и потому я с возрастающим беспокойством следил за несколькими удочками, которые закинул в реку. У меня состоялась многообещающая встреча с одним из профессоров Королевского колледжа в Кембридже, Фрэнком Бёрчем, которую организовал наш общий друг. Кроме того, Бёрч был ведущей фигурой в Государственной школе кодирования и шифровального дела — криптографическом учреждении, которое занималось раскрытием кодов противника (и друзей). Однако Бёрч в конце концов отверг меня на том издевательском основании, что не может предложить мне жалованье, достойное моего труда. Делать было нечего, и я отправился в Холлоуэй на медицинский осмотр.

Через несколько дней меня вызвал к себе в кабинет редактор иностранного отдела «Таймс» Ральф Дикин. Он смотрел на меня, вытаращив глаза, надув щеки и сморщив лоб, — это означало, что он расстроен. Некий капитан Лесли Шеридан из Военного министерства позвонил ему и спросил, свободен ли я для военной работы. Шеридан не произвел впечатления на Дикина, хотя и представился как журналист, поскольку в прошлом был связан с «Дейли миррор». Короче говоря, Дикин не пожелал ему помочь и убеждал меня отказаться. К сожалению, мне пришлось его разочаровать. Я никогда не слышал о Шеридане, но сильно подозревал, что на одной из моих удочек клюнуло. И я немедленно откликнулся на запрос.

Вскоре во внешнем дворе гостиницы «Сент-Эрмин», вблизи станции метро «Сент-Джеймс-парк», у меня состоялась встреча *с* госпожой Марджори Мэкси. Это была очень приятная пожилая дама (почти такого же возраста, как *я* сейчас). Я понятия не имел — да и до сих пор не имею, — какое положение она занимала в

государственной системе. Но госпожа Мэкси говорила авторитетно и, очевидно, имела право, по крайней мере, рекомендовать меня на «интересную» работу. В начале нашей беседы она затронула вопрос о возможности политической работы против немцев в Европе. В течение десяти лет я серьезно интересовался международной политикой, объездил Европу от Португалии до Греции, у меня уже сложились более или менее зрелые представления о подрывной деятельности нацистского режима, поэтому я был достаточно хорошо подготовлен для беседы с госпожой Мэкси на эту тему. Кстати, в тот период в Англии лишь очень немногие серьезно задумывались над этим вопросом, так что и представления самой госпожи Мэкси немногим отличались от моих.

Я выдержал первый экзамен. Госпожа Мэкси попросила меня встретиться с ней еще раз на том же самом месте через несколько дней. На вторую встречу она явилась в сопровождении Гая Берджесса, которого я хорошо знал. Мне опять устроили испытание. Вдохновленный присутствием Гая, я старался показать себя в выгодном свете и нахально сыпал именами, как будто давал интервью. Мои собеседники время от времени обменивались взглядами. Гай важно и одобрительно кивал. Оказалось, что я попусту тратил время, поскольку решение уже было принято. При прощании госпожа Мэкси сказала, что в случае моего согласия я должен порвать связи с «Таймс» и прибыть в распоряжение Гая Берджесса на Кэкстон-стрит, в том же квартале, что и гостиница «Сент-Эрмин».

«Таймс» не доставила мне хлопот. Дикин надулся, повздыхал немного, но он не мог предложить мне ничего интересного. Итак, я без фанфар покинул Принтинг-Хаус-сквер. Мне казалось, меня ждала новая секретная и важная карьера. Я решил, что мой долг — воспользоваться опытом единственного знакомого мне сотрудника Секретной службы. Поэтому я весь уик-энд пил с Гаем Берджессом. В следующий понедельник я официально доложил ему о прибытии на службу. У нас обоих побаливала голова.

Учреждение, с которым я связал себя, называлось Сикрет интеллидженс сервис (СИС), или Секретная разведывательная служба. Оно широко известно также под названием МИ-6, хотя непосвященная публика называет его просто Секретной службой. Я удивился, с какой легкостью меня приняли на службу. Позже выяснилось, что единственным запросом о моем прошлом была обычная проверка в МИ-5 (контрразведке), где проверили мою фамилию по учетным данным и дали лаконичное заключение: «Ничего компрометирующего не имеется». Теперь каждый новый скандал со шпионами в Англии порождает поток рассуждений о

«позитивной проверке»[16]. Но тотда, в счастливом Эдеме, о «позитивной проверке» и не слышали. В первые недели мне даже казалось, что я, может, вовсе и не туда попал[17], что где-то есть другая служба, скрытая в тени, действительно секретная и действительно могущественная, способная на такие закулисные махинации, которые оправдывают вечную подозрительность, например французов. Скоро, однако, стало ясно, что такой организации не существует. С иллюзиями было покончено, но их утрата не причинила мне боли.

Гай первым делом повел меня в предназначавшийся мне кабинет. Это была маленькая комната со столом, креслом и телефоном. Раздраженно фыркнув, Гай вышел в коридор и вскоре вернулся с пачкой бумаги, которую положил на стол. Удовлетворенный тем, что я теперь полностью вооружен для выполнения моих обязанностей, он сообщил, что мое жалованье будет таким же, как и у него, — 600 фунтов стерлингов в год. Деньги выплачиваются наличными ежемесячно, и никаких притязаний со стороны налогового управления. Нечего совать нос в каждый секретный шиллинг! Фактически же за секретностью сетки заработной платы скрывалось основательное неравенство. Каждый контакт между начальником и подчиненным теоретически являлся частным и секретным делом. И если начальник мог получить работника А дешевле, чем Б, то, каковы бы ни были их достоинства, начальник поступил бы глупо, не взяв на работу А. Однако меня вполне устраивали предложенные условия, и вскоре меня представили некоторым моим будущим коллегам. Поскольку они не играют существенной роли в моем рассказе, я не буду ставить их в затруднительное положение и упоминать их имена.

Подразделение СИС, куда я попал, было известно под названием сектор «Д» (диверсии). Я никогда не видел его устава, если таковой вообще существовал. Из разговоров с коллегами я понял, что задача сектора — содействовать поражению противника путем организации активного сопротивления и путем уничтожения невоенными средствами источников его мощи. Начальником сектора был полковник Лоуренс Гранд[18], меня представили ему через несколько дней после зачисления в штат. Именно таким — высоким и худым — я представлял себе человека, который с целью вербовки подошел бы ко мне в Германии или Испании. Только он был отнюдь не тупицей. Он свободно и быстро ориентировался во всех вопросах, входивших в круг его поразительных обязанностей, и никогда не пасовал, даже если задание казалось ему чрезмерно тяжелым или диким.

В то время много внимания уделяли идее взрыва Железных

ворот на Дунае с целью прекратить поставку немцам румынской нефти. Мне довелось видеть Железные ворота, поэтому меня поражало то хладнокровие, с каким мои коллеги говорили о взрыве этих ворот, словно собирались разрушить шлюзовые ворота на Риджентс-кэнэл. Такая акция никак не соответствовала скудным ресурсам сектора «Д» в 1940 году. И когда эту попытку все же предприняли, югославская полиция сразу раскрыла и предотвратила ее в самом зародыше, поставив английское правительство в неловкое положение. Таким же несоответствием между целями и средствами отличались предложения нарушить снабжение немцев нефтью путем «вывода из строя бакинских нефтяных промыслов». Впоследствии мне довелось увидеть бакинские нефтяные промыслы, и меня нимало забавляла мысль о том, как бы англичане приступили к выполнению такого задания, допустим, начав действовать с базы в Каире. Даже в 1940 году я счел бы такие разговоры плодом воображения, если бы лично не присутствовал на пресс-конференции в Аррасе, которую созвал генерал Паунелл, бывший в то время начальником штаба у лорда Горта. Генерал Паунелл тогда заявил, что, учитывая укрепленность линии Зигфрида, лучшие перспективы может открыть удар через Кавказ[19]. В случае успеха такой удар взломает «слабую восточную систему обороны Германии» и откроет путь англо-французскому наступлению.

У Гранда никогда не было средств для осуществления своих идей, зато их щедро поставляли его преемникам. Его лондонский штат легко мог разместиться в большой гостиной. Так оно и бывало, когда мы регулярно собирались по воскресеньям в его загородной вилле, где неиссякаемыми темами для обсуждения были планы, планы и планы. В разведке Гравду доставались чуть ли не одни объедки. Более старые и более прочно обосновавшиеся секторы разведки с неодобрением встречали его попытки добиться большего куска от «секретного» пирога. Исходя из вполне обоснованной предпосылки, что саботаж и подрывная деятельность сами по себе небезопасны (виновников взрывов нетрудно установить), работники разведки с удовольствием спешили сделать необоснованный вывод: взрывы — это, мол, напрасная трата времени и денег, так пусть лучше все средства идут на «тихий» шпионаж. Поэтому требования Гранда, адресованные казначейству и вооруженным силам, нередко замораживались в самой разведывательной службе. В лучшем случае Гранду оказывали прохладную поддержку.

По части политической диверсии возникали еще большие трудности, потому что здесь затрагивались основные аспекты британской политики. В общем и целом английское

правительство привыкло поддерживать монархов и олигархов в Европе и было настроено против любых форм подрывной деятельности. Лишь представители левых движений могли оказывать Гитлеру какое-то сопротивление — крестьянские партии, социал-демократы и коммунисты. Только они были способны, рискуя жизнью, бороться против оккупантов. Но было маловероятно, чтобы они стали стараться ради английского правительства, упорно продолжавшего заигрывать с королями и принцами, которые систематически преследовали всех левых в период между войнами. Таким образом, в Англии идеологи подрывной деятельности начали свою работу в условиях серьезных препятствий, воздвигаемых Министерством иностранных дел, которое слишком поздно поняло, что, каков бы ни был исход войны, солнце их любимых марионеток закатилось навсегда. Не удивительно поэтому, что в самый решительный момент движения Сопротивления стали тяготеть к Советскому Союзу и что противостоять влиянию СССР во Франции, Италии и Греции удалось лишь благодаря присутствию англо-американских вооруженных сил.

В целях конспирации и для удобства всем офицерам СИС давали условные обозначения, которые применялись в корреспонденции и при разговорах. Гранд, естественно, обозначался буквой «Д». Начальники подсекторов были известны как «ДА», «ДБ» и т.д., а их помощникам добавляли цифры, например «ДА-1». Гай был «ДУ». По установленному порядку я должен был бы значиться как «ДУ-1», но Гай деликатно объяснил, что условное обозначение «ДУ-1» подразумевает определенную подчиненность ему, а он хочет, чтобы нас считали равными. Гай разрешил эту дилемму, прибавив к моему обозначению вместо цифры букву «Д». Так передо мной открылась карьера работника Секретной службы, значившегося как «ДУД»[20].

Подсектор «ДУ» не был идеальной стартовой площадкой для моей карьеры. Мне хотелось найти в службе собственное место, а для этого прежде всего необходимо было выяснить, как она организована и чем занимается. Гай же, сообразно своим склонностям, превратил свой подсектор в своеобразную фабрику идей. Он видел себя в качестве колеса, которое, вращаясь, высекает, словно искры, идеи. Куда падали эти искры, его, по-видимому, не интересовало. Он проводил массу времени в кабинетах других сотрудников, пропагандируя свои идеи. Когда он воодушевлялся, коридор сотрясал хохот, доносившийся и до кабинетика, где я размышлял или читал газеты. После трудового утра, заполненного разговорами, Гай врывался ко мне в кабинет и, играя ямочками на щеках, предлагал пойти выпить.

Однажды в июле Гай вошел ко мне, против обыкновения, с какими-то бумагами. Это были страницы написанной им докладной записки. Гранд в основном одобрил ее содержание, но предложил глубже изучить и подработать вопрос. Для этого Гаю и понадобилась моя помощь.

Я страшно обрадовался. По долгому опыту я знал, что «помогать» Гаю значило освободить его от всякой работы. Но поскольку я целых две недели буквально ничего не делал, я был рад любой работе. Я взял документ, а Гай уселся на край стола, стараясь уловить на моем лице признаки одобрения.

Это была характерная для него продукция — уйма здравого смысла, теряющегося в цветистых оборотах и ничего не подтверждающих цитатах. (Гай располагал цитатами чуть ли не на каждый случай жизни, но никогда не утруждал себя их выверкой.) Он предлагал создать школу для обучения агентов методам подпольной работы. Предложение поражало не тем, что его внесли, а тем, что до сих пор его никто не сделал. Школы такого рода еще не существовало. Гай доказывал необходимость этого дела, общепризнанного теперь, но нового в то время. Он наметил программу обучения. В заключение Гай предлагал назвать школу Колледжем Гая Фокса в память о неудачливом заговорщике, «чьи планы раскрыла бдительная елизаветинская СИС». Не мог же он предложить назвать школу «Колледж Гая Берджесса»!

Наконец-то у меня появилось какое-то дело. Я разбил вопрос на составные части: программа, отбор слушателей, конспирация, размещение и т. д. — и по каждой подготовил докладные записки. Я уже забыл большую часть того, что тогда написал; с тех пор учебное заведение изрядно разрослось, и я надеюсь, что созданный мною скромный документ уже не существует. А Гай, засыпав меня своими предложениями, казалось, потерял к этому делу всякий интерес и перестал высекать новые идеи. Но это было не так. Он знал, что Гранд прочитал мои записки и создал комиссии для их обсуждения. Меня лично — и тогда, и позже — не привлекала работа в комиссиях. В каждой комиссии обычно есть свой злой дух. Моим злым духом в комиссии по вопросам обучения стал некий полковник Чидсон[21]. Он сыграл большую роль в спасении от Гитлера значительного количества промышленных алмазов в Голландии, мне же он просто действовал на нервы. Ему чудилось, что Европу охватывает анархия, и он отчаянно сопротивлялся тому, чтобы позволить головорезам свободно расхаживать по континенту. Однажды я увидел его на Лоуэр-Риджентс-стрит — он шел мне навстречу. Минутой позже он тоже заметил меня и застыл на месте. Затем

быстро поднял воротник и нырнул в переулок. Необходимость нашей школы стала очевидной.

В то время Гай неизменно повторял: «Надо, чтобы за эту идею ухватились». Каким-то образом так и получилось. Вскоре я, к своему удивлению, узнал, что для учебных целей уже приобрели Брикендонбери-холл, бывшее школьное здание, расположенное на просторном участке неподалеку от Хартфорда. Меня представили капитану 3-го ранга Питерсу, которого назначили начальником школы. Он часто приглашал нас с Гаем на ужин в «Хангерию», чтобы послушать, что мы думаем о новом деле. У него были мечтательные глаза моряка и обаятельная мягкая улыбка. Несмотря на резкое различие характеров, он сразу сильно привязался к Гаю, который бесцеремонно таскал у него со стола сигареты. К сожалению, его сотрудничество с нами оказалось недолгим. Впоследствии его посмертно наградили крестом Виктории, вероятно за ненужную храбрость, проявленную в Оранской гавани. Услышав о его награждении, я взгрустнул при мысли, что Питерс никогда об этом не узнает. Он был человеком сентиментального склада и заплакал бы от такой чести. Наши слушатели обожали его.

Среди преподавательского состава были разные люди. Был весельчак Джордж Хилл[22] — автор книг о своих тайных происках в Советской России, один из немногих оставшихся в живых англичан, которые действительно «засыпали песок в буксы». Хилл со своим огромным животом скорее походил на опереточного короля, у которого вместо короны — лысина на макушке. Позже его назначили руководителем миссии Управления специальных операций[23] в Москве. Русские приняли это назначение с восторгом. Они знали о Хилле все. Запоздалая проверка его комнаты для совещаний в Москве обнаружила устрашающее количество подслушивающих устройств.

Был еще специалист по взрывчатым веществам — Кларк. Он отличался неуемным чувством юмора. Когда однажды его попросили организовать показ своих методов для начальника чешской военной разведки и его аппарата, Кларк расставил мины-ловушки в рощице, через которую шла дорога на полигон. Кларк предполагал, что чехи пойдут через рощу гуськом, как утки. Они же, напротив, пошли шеренгой, и офицеры, шедшие по краям, перенесли тяжелое потрясение. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Был также меланхоличный чех. Его рекомендовали как печатника, возглавлявшего подпольную типографию в Праге. Это был бледный, приземистый толстяк; взглянув на него, начальник школы решил, что он будет столоваться со слушателями.

Другой печальной фигурой был австрийский социал-демократ, назвавшийся Вернером. Его готовили на роль руководителя слушателей-австрийцев, которых мы могли получить, однако такие слушатели не появились. Вернер говорил только по-немецки, и мне приходилось тратить немало времени, помогая ему. В конце концов он подал в отставку и получил другое назначение. Он погиб, когда плыл в Египет на подводной лодке, потопленной в Средиземном море пикирующими бомбардировщиками.

Выдающейся личностью среди нас был, несомненно, Томми Харрис, известный торговец произведениями искусства. Его взяли по предложению Гая в качестве своего рода домоправителя и главным образом потому, что Харрис и его супруга были вдохновенными кулинарами. Он оказался единственным среди нас, кто в первые же недели установил личный контакт со слушателями. Работа в школе была совершенно недостойной Харриса, хотя и необразованного, но обладавшего блестящим природным умом. Томми вскоре переманила МИ-5, где он стал впоследствии инициатором и руководителем одной из самых изобретательных разведывательных операций того времени. Для меня, как увидим, дни, проведенные в Брикендонбери, были беспросветным мраком. Их скрашивала лишь зародившаяся и высоко мною ценимая дружба с Томми Харрисом.

Слушателей оказалось у нас мало — две небольшие группки бельгийцев и норвежцев и несколько более многочисленная группа испанцев. В целом насчитывалось около 25 слушателей. Возможно, они и получили что-то полезное в Брикендонбери, хотя я в этом сомневаюсь, мы не имели понятия о задачах, которые им предстояло выполнять, и ни Гаю, ни мне не удалось раздобыть необходимые сведения у руководства в Лондоне. Иначе говоря, нам почти нечем было заниматься, и мы только и делали, что беседовали с Питерсом да помогали ему составлять докладные записки для руководства, которые редко удостаивались ответа. Было ясно одно: мы мало чему могли научить испанцев, большинство которых были подрывниками из Астурии (в прошлом шахтеры). «Все инструкторы похожи друг на друга, — сказал как-то один испанец, восемнадцатилетний парень. — Они говорят нам, сколько надо отрезать бикфордова шнура, мы же для безопасности увеличиваем длину вдвое. Вот почему мы пока еще живы».

Мы могли бы извлечь полезный урок по части конспирации, если бы разбирались в ее правилах. Это выявилось только через несколько лет. Поскольку предполагалось, что мы имеем дело с агентами, которые будут засылаться на территорию противника,

ще их, весьма вероятно, могут схватить, было решено подлинные имена и фамилии офицеров из преподавательского состава скрыть под кличками. Питерс стал Торнли, Хилл — Дейлом и т. д. Гай, дав волю своему мальчишескому воображению, за моей спиной убедил Питерса дать мне такую неприличную кличку, что я даже не решаюсь ее обнародовать. Единственное исключение составил Томми Харрис, которому по непонятным мне причинам разрешили оставить собственное имя. Как-то после войны Томми случайно встретил руководителя нашей бельгийской группы, человека неприятного, постоянно кичившегося своим аристократическим происхождением, и зашел с ним выпить чаю. Вспоминая Брикендонбери, бельгиец заметил, что слушатели раскрыли все наши клички, за исключением одной. Томми проверил его и выяснил, что тот действительно знает все наши имена. Он спросил тогда, кто же составил исключение. «Речь идет о вас», — ответил бельгиец.

Скоро с этих страниц на время исчезнет имя Гая Берджесса, поэтому мне, надеюсь, простят, если я расскажу о пристрастии Гая к невинным проделкам. Однажды летним вечером Питерс лежал в постели с острым приступом экземы. Чтобы скрыть ее, он отращивал бороду. Около его кровати сидел, потягивая из рюмки портвейн, приезжий инструктор, назвавшийся Хэзлиттом. Внезапно из сада раздался крик, а затем послышались возгласы на пяти языках. В дом ввалились слушатели, и каждый утверждал, что видел кто троих, кто десяток и даже больше парашютистов, сброшенных поблизости. Услышав это, Питерс приказал бельгийцам надеть форму и установить пулеметы в окнах. Это обеспечивало хороший сектор обстрела через школьные спортивные площадки. Не знаю, что случилось бы, если бы противник вошел через парадную дверь. «Раз немцы высадились, — сказал Питерс Хэзлит-ту, — придется встать».

И тут он допустил роковую ошибку, приказав Гаю установить точные данные о происшествии и сообщить о результатах по телефону дежурному офицеру в Лондон. Гай приступил к делу с напускной добросовестностью. Я слышал урывками его доклад по телефону: «Нет, мне нечего добавить к тому, что я сказал… Не хотите же вы, чтобы я фальсифицировал показания, верно? Повторить?.. В районе Хертфорда видели спускающиеся парашюты в количестве от восьмидесяти до нуля… Нет, я не могу определить достоверность сообщений свидетелей. От восьмидесяти до нуля. Вы поняли? Я позвоню вам еще раз, если понадобится. До свидания». Торжествуя, Гай пошел докладывать. «Не знаю, что я смогу сделать, если поднимусь, — сказал Питерс, — но я, конечно, должен взять командование на себя».

Прошел час или два, но больше ничего не происходило. Бельгийцы печально разобрали свои «льюисы», и мы пошли спать. Все следующее утро Гай висел на телефоне и от души веселился, распространяя новости. Оказывается, дежурный офицер доложил своему начальнику, а тот связался с Военным министерством. Восточный военный округ был поднят на ноги, и на рассвете его бронечасти заняли позиции по боевому расписанию. Гай высказал ряд предположений, во что все это обошлось, и целый день прыгал и скакал. Следует заметить, что цифру «ноль» назвал ему накануне вечером я, цифра же «восемьдесят» исходила, по-видимому, от самого Гая. Мы оба ошиблись. Сбросили всего один парашют. К нему была прикреплена мина, и он безобидно повис на дереве.

Быстро летели летние дни, а каких-либо четких директив из Лондона не поступало. Капитан 3-го ранга все больше мрачнел и стал еще более неразговорчивым и замкнутым. Сначала я думал, что его беспокоит экзема. Но потом до меня стали доходить слухи о переменах, о которых официально нам так и не объявили. А произошло вот что. Сектор «Д» выделили из СИС и реорганизовали, передав в ведение министра по вопросам экономической войны доктора Дальтона. Гранд ушел, его место занял Фрэнк Нельсон, бизнесмен, лишенный чувства юмора, чьи способности мне так и не представилось возможности оценить. После посещения Брикендонбери Колином Габбинсом[24] и группой свежевыбритых офицеров, которые лаяли друг на друга и на нас, Питерс впал в глубокую депрессию. Его возмутило то, что ему ничего не сказали про реорганизацию. И мы не удивились, когда однажды утром, вызвав Гая и меня, он сообщил нам, что провел весь прошлый вечер за составлением рапорта об отставке. Он говорил это с печалью в голосе, как бы сознавая свое поражение и проявленное к нему невнимание. Затем вдруг заговорил увереннее, и впервые за многие дни на его лице появилась улыбка. Он был явно счастлив вернуться к своим суденышкам после короткого крещения политическим огнем.

Отставку Питерса приняли без осложнений. Мы начали равнодушно расформировывать наше заведение. Как мы это делали, лишь смутно сохранилось в моей памяти. Должно быть, мы заткнули наших слушателей куда-то для использования в будущем. Позже я узнал, что кроме Вернера по меньшей мере еще двое из них погибли. Одного милого радиста-норвежца немцы поймали и расстреляли сразу же после его возвращения в Норвегию. Другого, лучшего слушателя из бельгийской группы, сбросили на парашюте в Бельгии. Но парашют зацепился за шасси самолета, и на огромной скорости бельгиец потерял сознание и

задохнулся. С испанцами же мне предстояло снова встретиться.

Томми Харрис покинул нас, глубоко возмущенный. Вскоре он нашел свое настоящее место и стал ценным сотрудником в МИ-5. Мы с Гаем прибыли в новый центр Управления специальных операций на Бейкер-стрит, 64 — позже он стал известен (или печально известен, в зависимости от точки зрения) просто как Бейкер-стрит. Из кабинета в кабинет переставляли мебель. Всякий раз, как мы заходили в здание, в нем ломали или воздвигали перегородки. Служащие магазина «Маркс энд Спенсер», находившегося под нами, наблюдали эту возню и дивились. В связи с новыми задачами появилось много новых лиц. Людей набирали среди банкиров, юристов и крупных бизнесменов. Угнетающе ощущалось отсутствие прежних коллег. Нельсон провел чистку весьма тщательно. Ему охотно помогли некоторые старшие сотрудники СИС, особенно Клод Дэнси и Дэвид Бойл, о которых мы еще услышим. Они были полны решимости «изжить» не только Гранда, но и всех его ближайших соратников.

Чистка подошла вплотную и ко мне, но на мне и прекратилась. Однажды вечером Гай зашел ко мне выпить и был необычно молчалив. В конце концов выяснилось, что он пал «жертвой бюрократической интриги», я понял, что его уволили. Естественно было предположить, что мои собственные дни, а может, и часы тоже сочтены, и Гай, очевидно, считал, что я стану его товарищем по несчастью. Но в следующий месяц и еще в следующий я по-прежнему получал конверты с жалованьем, в которых лежало 5 фунтов. Управление специальных операций, видимо, во мне нуждалось, а возможно, я был слишком незначительной фигурой, чтобы почтить меня увольнением. А Гай не унывал. Он вскоре нашел желанное убежище в Министерстве информации, что дало ему широкое поле для контактов, и он даже начал с презрением поговаривать о моей затянувшейся связи с «выгребной ямой»[25].

РАБОТА В УПРАВЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Провал нашего первого учебного заведения подействовал на меня угнетающе, но это принесло мне известную выгоду, поскольку я вернулся в Лондон, где почувствовал себя, по крайней мере, ближе к коридорам власти и источникам важных решений. Практически же непосредственной пользы от этого мне было мало. У меня не оказалось никаких конкретных обязанностей, и потому я не мог претендовать на рабочее место. Я слонялся по учреждению на Бейкер-стрит, стараясь запомнить новые лица и сколько-нибудь связно представить себе организационную структуру УСО, что было в то время самой трудной задачей. Все казались очень занятыми, даже если только передвигали мебель. В обстановке столь бурной деятельности меня тяготило безделье. Это напоминало мне прием с коктейлем, где все друг друга знают, но тебя не знает никто.

Фактически же я был свидетелем — сколь это ни казалось неправдоподобным — родовых мук будущей внушительной организации. И если я описал первые дни ее существования так, как воспринимал все это тогда, в несколько легкомысленном стиле, то, по-видимому, такой стиль объясним. В период между войнами разведывательная служба пользовалась мифическим престижем, однако этот миф не имел реального основания. К такому заявлению многие могут отнестись с недоверием, тем более что на этот счет не опубликовано никаких материалов. Но ведь столь же маловероятен известный случай, когда британский флот, тоже пользовавшийся престижем, будучи послан в Александрию, чтобы отпугнуть Муссолини от Абиссинии, оказался не в состоянии что-либо сделать, потому что не имел снарядов! А правда состояла в том, что при самодовольных и безразличных правительствах Секретная служба, как и вооруженные силы Англии, потихоньку увядала. Помимо того что служба была посажена в финансовом отношении на голодный паек, мало внимания уделялось комплектованию и организации. Если в армии задавали тон офицеры, которые через 20 с лишним лет после сражения при Камбре[26] все еще считали конницу главной ударной силой, то в Секретной службе (лишь потому, что ее начальником был адмирал) оказалось полно людей, просто-напросто не нужных флоту. Нельзя особенно осуждать за это адмирала Синклера[27], так как, вынужденный рассчитывать только на свои весьма скромные ресурсы, он, естественно,

подбирал подчиненных из тех кругов, которые лучше знал.

Что же до системы и организации, то их фактически не было. Когда под влиянием страхов, навеянных «пятой колонной» в Испании, понимание потенциального значения тайных операций начало проникать и в так называемую «британскую военную мысль», результатом явилась лишь жалкая импровизация. Скептически настроенной СИС был придан сектор «Д», в чью задачу входило планировать шумные акты отчаянной храбрости, в то время как проблема «черной пропаганды»[28] стала игрушкой в руках ряда смежных государственных организаций, которые метались в потемках, мешая друг другу. Не удивительно поэтому, что в первые годы войны результаты были минимальными. Дабы не подумали, что я преувеличиваю, приведу выдержку из книги полковника Бикэма Суит-Эскота, одного из самых способных и дальновидных офицеров УСО, прослужившего в этой организации всю войну: «Перечень наших достижений (летом 1940 г.) был маловпечатляющим. На нашем счету было несколько успешных операций, но безусловно немного. Была у нас даже некоторая, с позволения сказать, организация на Балканах, но даже там нам не удалось достичь чего-либо выдающегося… Попытки подрывных действий на Балканах вызывали лишь раздражение у нашего Министерства иностранных дел. Что касается Западной Европы, то в силу ряда объективных причин наши успехи там были просто плачевными, так как между Балканами и Ла-Маншем у нас не было ни одного агента. Странно, но факт».

Таков был фон, на котором происходили перемены, описанные в предыдущей главе. Впрочем, это была лишь малая частица обширной программы реформ. В июле 1940 года Черчилль предложил министру экономической войны доктору Дальтону взять на себя ответственность за все тайные операции против врага. Реализуя это поручение, Дальтон создал организацию, которую назвал Управлением специальных операций. Первоначально оно было разделено на три отдела: СО-1 — для «черной пропаганды», СО-2 — для саботажа и диверсий и СО-3 — для планирования. СО-1 впоследствии переименовали в Управление политической войны, а СО-2 получил название, принадлежавшее первоначально всей организации, то есть УСО. Для краткости я буду называть их в дальнейшем УПВ и УСО, хотя некоторые описываемые события происходили до изменения наименований. СО-3 можно больше не упоминать, поскольку эта организация очень скоро потонула в бумагах собственного производства и бесславно закончила свое существование.

Я уже начал было удивляться, сколько же можно получать

деньги не работая, как вдруг меня вызвал к себе Колин Габбинс. Наряду с другими обязанностями ему поручили подготовить учебную программу, и он, видимо, слышал мою фамилию в связи с неудавшимся опытом в Брикендонбери. Габбинсу к концу войны суждено было стать весьма известной личностью, и мне приятно думать, что на той первой беседе я распознал в нем человека с будущим. Все в его кабинете свидетельствовало об энергии хозяина. Говорил Габбинс, по счастью, кратко и благожелательно. Один мой друг прозвал его Вилли Вихрь — по имени героя популярного комикса того времени. Говорили, что для своих приятельниц он находил время только за завтраком. И, тем не менее, будучи настоящим мужчиной, удерживал их при себе.

Габбинс начал с того, что спросил, разбираюсь ли я в политической пропаганде. Догадываясь, что Габбинс любит односложные ответы, я ответил: «Да». Затем он сообщил, что намечается создать новое учебное заведение большого масштаба. Там будут организованы курсы для подрывников, радистов и т. д. Кроме того, Габбинс собирался создать центральные курсы для обучения общим методам саботажа и подрывной деятельности. Одним из таких методов являлась подрывная пропаганда, и Габбинс подыскивал подходящего преподавателя. Он предложил мне подготовить проект программы по этому предмету. Проводив меня до двери, сказал: «Сделайте ее покороче».

Приступив к составлению программы, я понял, что мои познания в области подрывной пропаганды оставляют желать много лучшего. У меня не было непосредственного опыта работы в современной рекламе, и я не знал ее методов, которые широко применяются в пропаганде. За несколько лет журналистской деятельности я научился лишь сообщать о происходящем, а это нередко роковая ошибка в работе пропагандиста, задача которого — убеждать. Я пытался утешить себя мыслью, что мир видел немало хороших пропагандистов, которые ровно ничего не смыслили в методах рекламы, скажем, таких товаров, как мыло. Однако это было неубедительно, и для верности я взял на себя труд проконсультироваться с некоторыми моими друзьями из мира рекламы. Вскоре я набрался достаточно знаний об основных принципах рекламы, так что мог бы прочитать об этом несколько лекций. *Я* установил, что на работников рекламы можно полагаться в двух случаях: во-первых, когда они предостерегают вас от этого занятия, и, во-вторых, когда они самым подробным образом распространяются о грязных методах своей работы.

Через несколько дней у меня в руках оказалось достаточно материала, чтобы приступить к составлению проекта программы, нужной Габбинсу. Для большей убедительности я решил привести

примеры из области европейской политики, и в особенности политики фашизма. Я сжал проект до полутора страниц обыкновенной писчей бумаги и сообщил Габбинсу по телефону, что документ готов. Через пять минут он позвонил мне сам и сказал, что в тот же вечер созывает совещание в кабинете у Чарльза Хэмбро[29] для обсуждения проекта. Это было моим первым реальным делом в английской разведке после падения Франции.

Габбинс привел на совещание нескольких сотрудников своего аппарата. Хэмбро приветствовал нас со свойственным ему дружелюбием и расположением, так что мы почувствовали себя как дома. Он взял составленную мной бумагу и зачитал ее вслух, медленно и вдумчиво. Закончив, заметил, что это разумный документ. Сотрудники Габбинса, как по команде, с серьезным видом закивали в знак согласия — типичные военные, привыкшие к беспрекословному повиновению. К моему удивлению, Габбинс радостно улыбнулся.

— Именно то, что я хотел, — сказал он, подчеркивая слова. — Именно то… Что скажете, Чарльз?

Хэмбро ничего конкретного не ответил. Возможно, он думал совсем о другом.

— Доведите дело до конца и составьте программу, — сказал мне Габбинс.

На этом совещание закончилось.

Теперь у меня были конкретные обязанности, что давало мне право на рабочее место в учреждении Габбинса. Я стал работать не в доме № 64, а выше по Бейкер-стрит, ближе к Риджентс-парку. Я приступил к составлению программы, расширяя свои черновые наброски до объема полных лекций. И все же я не был счастлив. Новую школу предполагалось разместить в Бьюли, в Хэмпшире, далеко от Лондона. Такое расстояние очень мешало бы реализации других моих целей. Порой хотелось бросить это дело, но меня останавливали два соображения. Во-первых, необходимо было удержать ногу в щели двери, приоткрывшейся мне в секретный мир. Глупо было бы увольняться, пока не появилось перспективы другой работы в этом мире. Во-вторых, лишние знания никогда не помешают и я ничего не потеряю, если узнаю, что делается в широко разветвленной сети учебных заведений Управления специальных операций. Я решил остаться, пока не подвернется что-нибудь более стоящее.

Я не сомневался, что руководство учебных заведений отпустит меня, когда я захочу. Я знал, что лектор из меня получится никудышный. Дело в том, что с четырехлетнего возраста у меня появилось заикание, иногда я мог с ним

справиться, иногда нет. Кроме того, меня мучили сомнения относительно содержания моего лекционного курса. Перспектива говорить о политической подрывной деятельности меня не пугала. В Англии в то время было мало людей, которые сколько-нибудь разбирались в этом деле, а я все же имел небольшой опыт в этой области. Беспокоило меня крайне поверхностное знакомство с методами пропаганды. Правда, мне приходилось сочинять листовки, но я понятия не имел о том, как они печатаются.

До сбора в Бьюли еще оставалось некоторое время, и я решил восполнить пробелы в моих знаниях. Я старался как можно чаще посещать Уобёрн-Эбби, где всегда вялый Липер председательствовал на заседаниях сотрудников «черной пропаганды» в Управлении политической войны. (Встретив Липера четыре с лишним года спустя, я обнаружил, что он мало изменился. Это произошло летом 1945 г. Он вяло бил мух в английском посольстве в Афинах, когда Греция уже начинала бурлить.) Но я с удивлением заметил, что Липер способен раздражаться. Поговаривали, что у него были частые стычки с доктором Дальтоном и что добрейший доктор не раз огорчался по этому поводу, что подтверждается *и* в мемуарах самого Дальтона.

Если новая Бейкер-стрит стала вотчиной дельцов банковского дела, большого бизнеса и юстиции, то Уоберн осаждали работники рекламы. За пределами убежища самого Липера это учреждение напоминало филиал рекламной фирмы. Были, конечно, исключения, такие как Дик Кроссмен, Кон О'Нейл, Сефтон Делмер и Валентайн Уильямс. Но похоже было, что большинство сотрудников имели опыт, в котором я так нуждался.

Сначала они отнеслись ко мне несколько сдержанно. Как и во всех учреждениях, особенно новых, в Уоберне остерегались посторонних. Вскоре, однако, убедившись в моем искреннем желании их узнать и готовности принимать их советы, они изменили ко мне отношение. Стало ясно, что тайные агенты в Европе будут заниматься пропагандой, хотим мы этого или нет. А раз так, то в Уобёр-не, организации, ответственной за «черную пропаганду», правильно поступали, разрешив мне просунуть ногу в дверь в качестве полезного им инструктора. После нескольких визитов я удостоился чести позавтракать с Липером. Присутствовавший на завтраке Валентайн Уильямс предложил подвезти меня в Лондон в служебном «роллс-ройсе». Я хотел поболтать с ним хотя бы о Хромоногом[30], однако после хорошего завтрака он всю дорогу проспал.

В то время я занимался также и другой, пожалуй, более важной областью исследований. Преподавать агентам методы

пропаганды — дело хорошее, но не менее важно содержание пропаганды. Рано или поздно агенты начнут получать конкретные задания, и необходимо заранее подготовить их к тому, какие задания их ждут. Это требовало определенной политической обработки агентов, с тем чтобы они прибыли на место деятельности, имея хотя бы общее представление о планах английского правительства. В Уоберне же получить ответы на такие вопросы нечего было и надеяться. Липер и его сотрудники сами жаловались на недостаточное политическое руководство из Лондона.

С этой целью я обратился к Хью Гейтскеду[31], которого немного знал еще до войны, когда мы обсуждали проблемы Австрии. Не помню сейчас, почему это его интересовало, так же как, уверен, он не знал, почему это интересует меня. В то время, о котором идет речь, Гейтскел был главным личным секретарем у Дальтона и получал все сведения, что называется, из первых рук. Гейтскел поддерживал тесную связь с Глэдвином Джеббом, на которого Дальтон возложит ответственность за Бейкер-стрит. Гейтскел был человек очень занятой, обычно он предлагал встретиться за обедом в дешевом ресторане недалеко от Беркли-сквер. И мы обсуждали мои проблемы за сосисками с картофельным пюре. Иногда после обеда мы шли к Гейтскелу на работу и консультировались с Джеббом или даже с самим Дальтоном. Последний всегда был готов нас принять *и* угостить виски с содовой (Я уже хвастался тем, что распознал в Габбинсе человека большого масштаба. Справедливости ради должен признать, что в Гейтскеле я никогда не замечал способностей первоклассного лидера «переднескамеечников»[32], которые выявились впоследствии.)

В целом результаты этих встреч меня разочаровали. У Дальтона были свои неприятности с Министерством иностранных дел. Тогда, как и теперь, легко было говорить о точке зрения министерства, но на самом деле там уйма народу и немало разных точек зрения. Когда же принимались во внимание все возражения против того или иного курса действий, итог обычно не вызывал восторга. Чаще оказывалось, что англичане просто хотят восстановления статус-кво, существовавшего до Гитлера: возврата к Европе, где будут уютно господствовать Англия и Франция при помощи реакционных правительств, достаточно сильных, чтобы поддерживать порядок среди своих народов и служить «санитарным кордоном» против Советского Союза.

Такая точка зрения, однако, исключала само существование Управления специальных операций, целью которого, говоря словами Черчилля, было зажечь пожар в Европе. А этого нельзя

было добиться, призывая народ к сотрудничеству в восстановлении непопулярного и дискредитировавшего себя старого порядка. Невыполнима эта задача была и потому, что настроения данного момента в значительной степени определялись победоносным шествием Гитлера по Европе. УСО могло действовать эффективно, только заранее предусмотрев перелом, который наступит в настроениях в Европе после нескольких лет войны, когда нацистское господство ожесточит людей и заставит взять будущее в свои руки. Эти настроения, без сомнения, должны были стать революционными и покончить с Европой 20-х и 30-х годов.

Дальтон и Гейтскел видели, конечно, противоречия между задачами УСО и точкой зрения Министерства иностранных дел, но им приходилось действовать осторожно, ибо у них самих не было четкой альтернативы. Оба, как добропорядочные социалисты, надеялись, что один из важнейших ключей к решению проблемы находится в руках европейских профсоюзов. Однако было сомнительно, чтобы профсоюзы пошли на такой риск по велению английского правительства, если даже в него входят Эттли, Бевин, Дальтон и другие социалисты. Многим казалось, что Англия военного времени резко отличается от Англии Болдуина и Чемберлена. Но как человек сторонний мог быть уверен, что это не просто другая маска, за которой скрывается предатель Абиссинии, Испании и Чехословакии? Неспособность английских лидеров развернуть настоящую революционную пропаганду только подтверждала это. Англия всю войну страдала из-за отсутствия должного политического руководства. Все организации Сопротивления брали у Англии деньги и снаряжение, но очень немногие прислушивались к голосу Лондона. Организации Сопротивления возникали лишь там, где люди видели собственный путь в будущее, и это не был путь, предусмотренный для них английским правительством. Таким образом, относительный успех Управления специальных операций по части разрушений и запугиваний сопровождался, соответственно, провалом в политической области.

Здесь не место обсуждать ограничения в деятельности УСО, как навязанные извне, так и таившиеся в его слабости. Об этих проблемах я упоминаю лишь затем, чтобы показать, какие сомнения одолевали меня после назначения преподавателем в Бьюли. Это в какой-то мере объясняет, почему, несмотря на наличие хороших коллег, которых я встретил в школе, мое пребывание там не приносило мне почти никакого удовлетворения. Личные недостатки и вынужденное забвение моих главных интересов значительно содействовали неудачному

состоянию моих дел. При всяком удобном случае я уезжал в Лондон, обычно под предлогом посещения Уоберна для переговоров по техническим вопросам. Но этого было недостаточно. Не удивительно, что мой счет в столовой был намного выше, чем у остальных.

Как я уже сказал, эта неудовлетворенность никоим образом не была связана с моими коллегами в Бьюли. С ними мне как раз повезло. Начальник школы Джон Манн, молодой полковник, не принадлежал ни к службистам, ни к сверхскрытным, ни просто к глупцам. Это был здравомыслящий офицер. Он не рявкал на подчиненных, но и не проповедовал йогу. Благодаря личному авторитету Джон Манн сумел сплотить довольно пестрый состав сотрудников. С ними он обращался как старший, а к начальству относился хотя и лояльно, но критически. Начальником штаба у него был пожилой мужчина, который служил еще в первую мировую войну. Он любил говорить, что был конспиратором до мозга костей, но похоже, что мозгов у него было маловато. Впрочем, он лишь изредка докучал нам и к тому же неплохо играл на рояле.

Старший преподаватель Билл Брукер был яркой фигурой и впоследствии сделал блестящую карьеру в филиале школы, открытом в Канаде. Он был динамичен, умел подать товар лицом, обладал неистощимым запасом острот и анекдотов, в том числе знал серию анекдотов на великолепном марсельском арго. Насколько мне известно, у него не было опыта подпольной работы, однако стоило ему немного изучить дело, как он мог говорить со слушателями так, будто ничем другим, кроме этого, и не занимался. Жалкое подобие Брукера, его помощник представлялся как торговец москательными товарами. Как я выяснил, это считалось самой почетной профессией в Сити.

Работал в школе и бывший сотрудник фирмы «Веджвуд», производившей фаянсовые изделия. Бледный, с диким взглядом, он обычно нарушал долгое молчание неожиданными и уничтожающими репликами. Был также Тревор-Уилсон. Позже он стал известен как знаток французского и китайского языков и оказался бесценным сотрудником в Ханое. Из Бьюли он частенько ездил в Саутгемптон по личным делам, а когда его спрашивали об этом, пошловато улыбался, но ничего на рассказывал. Однажды ему отказали в служебном транспорте для такой поездки и он прошагал пешком весь путь туда и обратно — 15 или 20 миль. Более самоотверженного проявления галантности я не встречал. Резкой противоположностью Тревор-Уилсону был один букменист[33], который, к несчастью, избрал меня в собеседники. Однажды он изложил мне свои взгляды на половые

отношения, и я сказал, что мне жаль его жену. После этого мы встречались лишь за пинг-понгом, в который он играл с такой ловкостью, что я невольно вспоминал о происхождении человека от обезьяны.

Другим, кто добился наибольшего общественного признания после войны, следует назвать Харди Эймиза — он стал личным модельером королевы. Эймиз был первым и единственным человеком этой профессии, с которым мне довелось столкнуться. Он выделялся своей большой и элегантной зеленой пилоткой, какие носили офицеры разведывательной службы вооруженных сил. Душой всего коллектива был Пол Ден. Никто лучше его не умел разогнать тоску и всех развлечь. Он доказал, что глубокие воды не обязательно должны быть спокойными. В глубине души это был серьезный человек, добрый, щедрый и романтик. Внешне же он кипел и бурлил, как горный поток. Его дурачества за пианино помогали сотрудникам школы коротать длинные летние вечера. Я до сих пор помню то, что он изображал. Он утверждал, что слышал в Манчестере на автобусной остановке такой разговор. Один процветающий бакалейщик говорит другому процветающему бакалейщику: «Ох, и задница же мне попалась вчера.

Ах, хороша… Прямо бархатный ларь!» Ден не часто бывал в нашей столовой, так как был связным между школой и заведением на Бейкер-стрит. Одной из главных его обязанностей было добывать у руководства материалы, которые могли пригодиться преподавательскому составу. Поскольку эти потребности на той ранней стадии не имели границ, Дену предоставлялось довольно широкое поле деятельности. Я страшно завидовал ему, так как его работа устроила бы меня гораздо больше моей.

От коллег меня отличало то, что только я имел опыт тайной работы. Никому из них тогда и в голову не приходило понижать голос, проходя мимо полицейского. Однако последующий опыт работы убедил меня, что в той ситуации подбор неопытных преподавателей оказался мудрым. Опытных работников секретной службы не хватало. Практически их можно было получить только из СИС. И конечно, если бы обратились к СИС и попросили выделить инструкторов, то СИС, следуя проверенной временем практике, просто избавилась бы от собственных никчемных работников (если даже таковыми можно было тогда пожертвовать). Страшно подумать, что случилось бы со слушателями, если бы они попали в руки подобных людей. Надо сказать, что преподаватели хотя и отличались более чем посредственным интеллектом и воображением, но в сравнении с

ними некоторые бывалые разведчики выглядели бы вообще слабоумными. Это подтвердил и опыт. УСО много критиковали за планирование работы и за отдельные операции, за недостаточное сохранение тайны, но нападок на его учебные заведения было сравнительно мало.

И во-вторых, я отличался от коллег в Бьюли костюмом, а они все носили военную форму. Питерс и Габбинс не раз поговаривали, что было бы желательно и мне вступить в армию. Но, как я уже сказал, я считал, что такой шаг может серьезно ограничить свободу моего передвижения, не предоставив взамен никаких преимуществ. Я пришел к выводу, что для сохранения моего необычного статуса лучше всего не соглашаться и не отказываться. Постепенно ввиду моего полного безразличия об этом забыли. Позже, задолго до конца войны, я понял, насколько удачным было мое решение. Мне не мешали ни мечты о продвижении по службе, ни зависть сослуживцев, и ко мне никогда не придирались старшие офицеры других служб.

Разница между Бьюли и Брикендонбери заключалась в том, что в Бьюли действительно учили людей. Школа стала настоящим учебным заведением. Там, например, занималась группа норвежцев, которые проявили замечательные способности к диверсионным операциям. Так, во время одного ночного учения, всего после нескольких недель подготовки, эта группа сумела в полном составе добраться до намеченной цели в верхнем этаже одного дома. Норвежцы прошли густую рощу, усеянную сигнальными устройствами и ловушками, которые расставил старший лесничий в Сэндрингеме[34], и, незамеченные, миновали сад, усердно патрулируемый инструкторами. *Я* сам находился в патруле и мог поклясться, что ни один человек не проходил.

В Бьюли учились и мои старые друзья-испанцы из Брикендонбери, которым наконец представилась возможность немного поработать. После первого же разговора с ними они прозвали меня «el comisario politico»[35]. По всей вероятности, это были те самые испанцы, которых мой старый коллега Питер Кемп встречал на берегу озера Лох-Морар, близ Арисейга. В своей поучительной книге «Без знамен и знаков отличия» Кемп писал о них: «Мерзкая шайка убийц; и мы не пытались с ними общаться»[36] (примечательный случай интуитивного суждения). Лично я считаю, что после того, как ими чуть ли не целый год помыкало британское правительство, они вправе были убить любого человека в форме английского офицера. Однако они проявляли сдержанность.

С чувством печали вспоминается ipynna голландцев, которые прошли в школе первый курс. После провала одной операции

многих из них вскоре послали на верную смерть. Бывший офицер абвера Гискес написал о том, как в Голландии немцы захватили радиста УСО и заставили поддерживать связь с Англией. В результате голландцев группу за группой сбрасывали в руки немцев. При последующем расследовании, кажется, установили, что захваченный радист успел передать Центру сигнал о том, что он находится в руках немцев, но, видимо, его сообщение то ли неправильно поняли, то ли просто оставили без внимания.

Вскоре после открытия школы Альберто Тарчиани и его друзья прислали туда партию итальянцев-антифашистов, завербованных в лагерях для итальянских военнопленных в Индии. Им не повезло с английским офицером, которому их поручили. Он отлично владел итальянским языком, но принадлежал к тем солдафонам, что любят покрикивать на подчиненных. Я без особого сочувствия к нему частенько думал, когда же он получит стилет под ребра. Учились в Бьюли также два француза. Их готовили для какого-то специального задания, которое они тщательно скрывали. Один из них принадлежал к правым, другой — к левым, но оба питали острую ненависть к Виши. Они оказались моими лучшими учениками и через две недели выпускали превосходные листовки. Я упоминаю об этом потому, что французы были чуть ли не единственными слушателями, кто проявлял какой-то интерес к политике и политической пропаганде. Другие являлись, видимо, более подходящим материалом для УСО: храбрые, поддающиеся обработке, готовые выполнить все, что им прикажут, не думая о будущем Европы.

Лично я тоже представлял для УСО плохой материал, поскольку меня прежде всего волновала именно судьба Европы. Военная обстановка становилась все хуже и хуже. Греческая армия в результате боев с итальянскими войсками в Албании к весне почти утратила боеспособность. За апрельской югославской революцией, которую УСО ставило себе в какой-то степени в заслугу (наши люди там были, но post hoc, ergo propter hoc[37]), сразу же последовали вторжение в Югославию и оккупация Греции. Затем случилось самое худшее — потеря Крита, для обороны которого Англии следовало бы выделить достаточные средства. Удержание залива Суда явилось бы существенной компенсацией за потерю Балкан. Однако такие вопросы трудно было обсуждать в той среде, где действительное положение вещей прикрывалось стремлением сохранять присутствие духа. Тем временем назревали более значительные события.

Однажды утром мой ординарец принес мне чашку чая и разбудил меня словами: «Он пошел на Россию, сэр». Прочитав две

довольно поверхностные лекции о методах пропаганды, я вместе с другими преподавателями пошел в столовую выпить перед обедом. Всех терзали сомнения в этой запутанной ситуации. На чью сторону встать, когда Сатана пошел войной на Люцифера? «Боюсь, русским придет конец», — задумчиво сказал Манн. С ним все согласились, а вернее, одобрительно отнеслись к его высказыванию. Дух добровольцев, собиравшихся воевать на стороне Финляндии, был еще жив. Дебаты, однако, вскоре прекратились, так как объявили, что вечером выступит Черчилль с обращением к народу. Самое разумное было подождать, пока выскажется премьер-министр.

Черчилль, как всегда, решил проблему. Когда он кончил речь, Советский Союз уже стал союзником Англии, сотрудники школы отнеслись к этому *с* одобрением и все встало на свои места. Однако через несколько дней беспокойство вновь охватило людей, так как из Лондона просачивались компетентные оценки способности Красной Армии противостоять Германии. Русский сектор разведывательного управления Военного министерства, предсказывая продолжительность русской кампании Гитлера, колебался между тремя и шестью неделями. Специалисты УСО и СИС придерживались примерно такого же мнения. Наиболее оптимистичный прогноз, который я слышал в те дни, приписывали бригадиру Скейфу, работавшему тогда, по-моему, в Управлении политической войны. Он сказал, что русские продержатся «по меньшей мере три месяца, а может быть, и гораздо дольше». Как написал однажды Ивлин Во, «он попал прямо в точку».

Теперь, как никода, мне необходимо было вырваться из Бьюли с его рододендронами и как можно скорее найти подходящее место. Вскоре представилась многообещающая возможность. Во время редких поездок в Лондон я обычно навещал Томми Харриса в Честерфилд-гарденз, да он жил, окруженный сокровищами искусства, в атмосфере haute cuisine et grand vin[38]. Харрис придерживался мнения, что хороший стол не портят пятна от вина. Я уже говорил, что после расформирования училища в Брикен-донбери Харрис поступи)! в МИ-5. Как-то, по-моему, в июле, он спросил; не интересует ли меня работа, для которой требуется хорошее знание франкистской Испании. Он объяснил, что работа будет не в МИ-5, а в СИС.

Для полного понимания того, что предложил мне Харрис, необходимо коротко изложить вопросы, которые подробно будут рассмотрены в последующих главах. СИС ведала всей секретной разведывательной работой на иностранных территориях — как шпионажем, так и контрразведкой. МИ-5 занималась вопросами

контрразведки и государственной безопасности в Англии и на всех английских заморских территориях. Контрразведывательный отдел СИС, известный как сектор V, и МИ-5 составляли фактически две стороны одной медали. Главной задачей сектора V было заблаговременно добывать информацию о готовящихся за рубежом шпионских операциях против Англии. Само собой разумеется, что достоверное заблаговременное предупреждение, получаемое от сектора V, могло существенно помочь МИ-5 обеспечивать безопасность страны.

По словам Харриса, сектор V не справлялся с этой задачей. МИ-5 решительно нажимала на СИС, требуя улучшения работы этого сектора и даже угрожая заняться своими силами контрразведкой на чужой территории. Конечно, подобное расширение функций МИ-5 могло произвести только правительство, и некоторые должностные лица готовы были довести этот вопрос до самых верхов. СИС поэтому уступила давлению МИ-5 и значительно увеличила бюджет сектора V для содержания дополнительного штата. Поскольку большая часть немецких разведывательных операций против Англии проводилась с Пиренейского полуострова, то наибольшее расширение штата — с двух офицеров до шести — намечалось провести в подсекторе, занимавшемся Испанией и Португалией. Харрис сообщил мне, что начальник сектора V Феликс Каугилл подыскивает человека, который знал бы Испанию и мог бы возглавить расширенный подсектор. Харрис сказал, что в случае моего согласия он может предложить мою кандидатуру и очень надеется на успех.

Я решил принять это предложение, но попросил у Харриса несколько дней на обдумывание. Могли возникнуть какие-то препятствия — так или иначе, решение следовало тщательно обдумать. Сектор V находился в Сент-Олбансе — месте не идеальном, но гораздо лучше Бьюли. Новая работа потребует от меня установления личных контактов с другими секторами СИС и с МИ-5. Можно было предполагать, что к этому делу проявит интерес Министерство иностранных дел, не говоря уж о Военном министерстве. Случайно я узнал, что архивы СИС тоже расположены в Сент-Олбансе, в соседнем с сектором V помещении. Отрицательной стороной этой работы было лишь то, что она не во всех отношениях соответствовала той, какую бы я выбрал сам. Испания и Португалия находились теперь далеко на флангах моих действительных интересов, однако то же самое, но в еще большей степени можно было сказать и о Бьюли.

Спустя несколько дней я сказал Харрису, что буду благодарен, если он осуществит свое предложение. Сначала

Харрис заинтересовал своего шефа Дика Брумен-Уайта, который был тогда начальником Пиренейского сектора МИ-5, а позже стал моим близким другом. Я склонен полагать, что официально в сектор V обратился Дик Уайт, тогда ответственный работник МИ-5 и чуть ли не единственный человек, у которого были сносные отношения с Каугиллом. (Дика Уайта, Большого Дика, не следует путать с Диком Брумен-Уайтом, Маленьким Диком. Первый впоследствии стал начальником СИС, а второй — членом парламента от консервативной партии по Рутергленскому округу.) Прошло не так много времени, и мне позвонил сам Каугилл *и* предложил зайти к нему.

Тем временем я старался как-то выбраться из Бьюли. Я нарочно неудачно провел две лекции, после чего никто не мог утверждать, что я незаменим. Манн принял мое решение уволиться сочувственно, со свойственным ему благоразумием. Он только попросил меня задержаться, пока я не найду себе замены. И мне опять посчастливилось. Тот самый Хэзлитт, который плечом к плечу *с* капитаном 3-го ранга Питерсом храбро встретил «немецких парашютистов» в Брикендонбери, оказался не у дел. Окончательное оформление заняло еще две-три недели. За это время я нанес визит Каугиллу в Маркейте, расположенном на отвратительном узком участке Большой Северной дороги. В те времена меньше было формальностей, поэтому я не подавал официального заявления о приеме на работу, а Каугилл не выражал формального согласия взять меня. Однако во время беседы в тот долгий вечер он рассказал мне, в чем именно будут состоять мои обязанности, исходя из структуры СИС в целом. Поскольку его объяснения носили строго секретный характер, я воспринял их как официальное утверждение в должности. Другими словами, я уже считал себя принятым.

СИС — ГРЯЗНЫЙ БИЗНЕС ПОД СОЛИДНОЙ ВЫВЕСКОЙ

Мой перевод, или скорее переход, из УСО в СИС завершился в сентябре 1941 года. Одна энергичная дама, которая сделала подобный шаг примерно на год позже меня, радовалась такой перемене, ибо, как она сказала, «если уж суждено заниматься грязными делами, то лучше это делать под солидной вывеской». Я бы мог произнести то же самое раньше нее, если бы мне пришло это в голову. Было бы глупо недооценивать способности новых людей, вливавшихся в УСО на Бейкер-стрит, к тому же эти люди преследовали вполне достойные цели. Покинув свои уютные кабинеты в Сити и Темпле, они привнесли дух напряженной импровизации, стремление посеять беспорядок и финансовый хаос по всей Европе и тем самым все до одного превратились из охраняющих дичь лесников в браконьеров. Очень весело было наблюдать, как бурлили идеи в коридорах, но крайне трудно было вымолить в Министерстве авиации и в Адмиралтействе лишний самолет или суденышко — УСО еще предстояло утвердить себя в глазах исстари консервативных английских служб.

СИС тоже претерпевала изменения, аппарат ее разрастался, но удовлетворить все увеличивавшийся голод военных министерств в разведывательной информации пока не удавалось. У СИС были, однако, сложившийся опыт работы и соответствовавшая ему структура аппарата. Расширение штата мало изменило ее характер. СИС походила на китайцев в своем умении поглощать и переваривать посторонние влияния. Хотя и под давлением, она брала на работу представителей Министерства иностранных дел и военных министерств. Из них заметный след оставил лишь Патрик Рейли[39]. Разведка выдержала даже таких пришельцев, как Грэм Грин[40] и Малькольм Маггеридж, которые внесли в работу службы атмосферу веселости, что было их единственным вкладом. Короче говоря, я рад был, что у меня наконец появилась твердая почва под ногами и я мог приступить к настоящей работе.

Как известно, СИС в то время помещалась в Бродвей-билдингс, напротив станции метро «Сент-Джеймс-парк». Однако в военное время организация переросла рамки своей первоначальной резиденции. Сектор V и центральный архив перевели в Сент-Олбанс, другие мелкие подразделения разбросали по Лондону и окружающим его графствам. В Сент-

Олбансе меня поселили у невероятно богатого человека по фамилии Барнет. Богатство было не единственным его пороком. Барнета ежедневно возили от дома до станции в «роллс-ройсе» с шофером, а в это время его жена запирала сахар и пересчитывала банки с вареньем, чтобы не таскали слуги. К счастью, я вскоре нашел подходящий коттедж на самой окраине города, где мне никто не мешал. Через несколько дней у одного мужчины на автобусной остановке я купил фазана. Мужчина сказал, что у него «иногда бывают и куры». С тех пор я стал питаться довольно прилично.

О СИС будет много сказано на последующих страницах, и в ходе повествования у читателя сложится общая, хотя далеко не исчерпывающая, картина ее деятельности. Сейчас же я хочу лишь изложить основные данные о структуре и работе СИС, чтобы с самого начала помочь читателю понять мою историю. Следует учесть, что всякий общий обзор неизбежно бывает упрощенным. Если британский гений склонен к импровизации, то эту черту как нельзя лучше отражает СИС. Это учреждение напоминает старый дом, чей первоначальный план еще можно разглядеть, несмотря на пристройки.

СИС — единственная английская служба, уполномоченная собирать секретную информацию в иностранных государствах нелегальными средствами. На ее монополию в этом отношении иногда посягают самодеятельные энтузиасты. Однако когда такие посягательства обнаружива-ются, в лучшем случае это кончается саркастической межведомственной перепиской, а в худшем — приводит к серьезным столкновениям в Уайтхолле[41]. Именно «нелегальными средствами» Секретная служба отличается от других учреждений, занимающихся сбором информации, таких как дипломатическая служба и пресса, хотя некоторые государства не признают этого тонкого, а иногда просто иллюзорного различия. Так, на Ближнем Востоке, как мне известно по личному опыту, журналистов считают шпионами — и часто справедливо. Однако каким бы туманным это различие ни было, на практике оно действительно существует. СИС — единственная организация, получающая секретные фонды, за которые подробно не отчитывается. Эти фонды используются для того, чтобы добывать в иностранных государствах такие сведения, которые нельзя получить обычным, законным путем.

Основой деятельности СИС служит агентурная сеть, которая состоит почти всегда из иностранных подданных. Эти агенты работают под прямым или косвенным контролем сотрудников СИС, составляющих резидентуру, помещающуюся в английском посольстве и тем самым защищенную от местных властей

дипломатической конвенцией. Мотивы у агентов бывают разные, как героические, так и самые низменные. Подавляющему большинству за работу платят, хотя и не так уж много. В общем, СИС предпочитает иметь платных агентов, так как, получая деньги, агент становится более покладистым. Неоплачиваемый агент СИС склонен вести себя независимо и может причинить большие неприятности. Такой человек почти наверняка преследует собственные политические цели, и его искренность нередко служит источником неприятностей. Так, один сотрудник СИС с отвращением отзывался о немцах — супругах Фермерен, которые в период войны перебежали к англичанам в Стамбуле: «Они такие шибко совестливые, что не угадаешь, что они могут выкинуть».

Собранная агентами информация попадает прямо или окольным путем в местную резидентуру СИС, которая завербовала этих агентов. Там сотрудники СИС, замаскированные под дипломатов, предварительно оценивают эту информацию с точки зрения достоверности и важности. Если информацию сочтут интересной, ее передадут с соответствующими комментариями в Лондон. Обычно информация направляется по каналам дипломатической связи, то есть по радио или дипломатической почтой, в зависимости от степени срочности. В описываемое мною время для руководителя резидентуры СИС еще широко использовалось довоенное прикрытие — должность заведующего отделом паспортного контроля посольства, хотя это выглядело уже тогда довольно прозрачно. Лицо, занимающее этот пост, имело законное право расспрашивать людей, обращающихся за визами, а, как известно, один вопрос всегда может подвести к следующему. Однако это прикрытие вскоре стало всем известно. В одной из последующих глав я остановлюсь на более поздних формах прикрытия.

Структура лондонского центра СИС основывалась на разделении обязанностей: одни подразделения добывали информацию, другие анализировали и оценивали ее. Те, кто добывал информацию, обязаны были представить ее сначала для объективного тщательного изучения, а затем уже материал направлялся в то или иное государственное учреждение. В соответствии с этим принципом служба подразделялась на две группы секторов: секторы «С» и секторы, рассылающие информацию. Секторы «в» ведали зарубежными резидентурами и осуществляли надзор за их операциями. Каждый сектор отвечал за определенный географический район: один занимался Испанией и Португалией, Другой — Ближним Востоком, третий — Дальним Востоком и т. д. Секторы, рассылающие информацию,

давали оценку полученным разведывательным сведениям и отправляли их заинтересованным государственным учреждениям. Затем эти секторы пересылали оценки государственных учреждений и свое собственное заключение о добытых материалах в секторы «С». Секторы, рассылающие информацию, подразделялись не по региональному признаку, а по содержанию информации. Одни из них занимались политическими вопросами, другие — военной, военно-морской, экономической и разной другой информацией.

Сектор V, в котором я оказался, находился во многих отношениях в особом положении. По названию это был сектор, который распределял материалы и занимался контрразведкой. Однако, если аналогичные секторы имели дело с такими обычными государственными учреждениями, как Министерство иностранных дел, Адмиралтейство и др., осведомленность которых о секретных операциях была ограниченной, то главным «клиентом» сектора V была МИ-5, сама являвшаяся секретной организацией. Казалось бы, это должно было содействовать взаимному пониманию и тесному сотрудничеству. На самом же деле все было наоборот, и лишь к концу войны между этими двумя организациями было достигнуто некоторое согласие. Такое прискорбное положение отчасти сложилось из-за обстоятельств личного свойства и усугубилось затруднениями военного времени, не говоря уж о военной истерии. Но была и другая причина: коренное различие во мнениях относительно размежевания сфер деятельности между двумя организациями. МИ-5 утверждала, что контрразведка неделима и что поэтому МИ-5 имеет право на всю информацию сектора V в этой области. Каугилл, выступая от имени сектора V, отвергал такую точку зрения, заявляя, что МИ-5 имеет право лишь на ту информацию, которая непосредственно касается безопасности британской территории, подразумевая при этом, что ему одному дано право решать, имеют ли те или иные сведения отношение к безопасности Англии. Он утверждал, по-видимому совершенно искренне, что МИ-5 намерена создать собственную контрразведывательную организацию для работы на зарубежных территориях, а МИ-5, в свою очередь, подозревала Каугилла в том, что он, оберегая источники информации СИС, утаивает от нее важную информацию. Эти распри не раз ставили меня в неловкое положение, так как мои симпатии в этом споре были обычно на стороне МИ-5. И чтобы избежать излишних осложнений, мне нередко приходилось передавать информацию МИ-5 в устной форме.

Такая нездоровая обстановка отчасти обусловила вторую

особенность сектора V. В первый период войны запросы военных министерств к СИС были очень большими и всегда срочными. А кроме того, в СИС были влиятельные люди, которые считали наступательную разведку единственно серьезной формой разведки в военное время. В результате резидентуры СИС за границей все больше и больше сосредоточивали внимание на добывании информации, необходимой лишь вооруженным силам, — как-то: сведений о передвижениях воинских частей, о сосредоточении военно-морских сил, военно-воздушном потенциале, вооружении и т. д. Контрразведка испытывала недостаток средств, и МИ-5 обоснованно жаловалась не только на то, что сектор V утаивает некоторые сведения, но и на то, что СИС вообще добывает мало необходимой для контрразведки информации. Последнее обвинение Каугилл не мог игнорировать, поскольку сам придерживался того же мнения, но не в его силах было отвлечь часть средств СИС на цели контрразведки. Каугилл предпочел обойти существующий порядок и направил своих специалистов в заграничные резидентуры. Формально эти сотрудники находились под общим руководством и контролем секторов «в», но из-за большой загруженности этих секторов повседневные инструкции они получали непосредственно из сектора V. За Испанию и Португалию, например, по линии «в», отвечал некий Фенвик, занимавшийся ранее нефтяным бизнесом. Поворчав, он согласился направить наших специалистов по контрразведке в Мадрид, Лиссабон, Гибралтар и Танжер, а через несколько недель практически забыл о них. Все шло гладко, я время от времени наносил Фенвику визиты вежливости, а иногда (говоря его словами) вместе с ним «жевал котлету». Вскоре сектор V, в чьи обязанности входило распределять информацию, фактически присвоил себе некоторые функции секторов «О». Он стал гибридом, на который другие подразделения СИС смотрели косо. Однако такая ситуация вполне устраивала Каугилла, так как давала ему возможность лишний раз утверждать, что контрразведка — искусство, доступное лишь посвященным и требующее большой мудрости, каковой нет у обычных сотрудников разведки. Таким образом, Каугилл оградил себя от критики внутри СИС. К сожалению, он не мог рассчитывать на такое же уважительное отношение со стороны МИ-5.

Хотя я и сказал, что СИС — единственное английское учреждение, уполномоченное собирать информацию нелегальными средствами, из этого вовсе не следует, что она одна занимается сбором секретных разведывательных данных. Путем перехвата радиограмм можно получить огромное количество секретных разведывательных сведений, не нарушая ни

национального, ни международного права. Однако любую радиограмму прежде всего нужно расшифровать. В Англии в военное время эту работу осуществляла так называемая Государственная школа кодирования и шифровального дела в Блетчли. Значительную часть работы она выполняла исключительно успешно. Оставляю просвещенному читателю решать, сколь больших успехов можно было бы добиться, если бы склоки в этой школе удалось свести к минимуму. (То же самое можно сказать о большинстве государственных учреждений Великобритании, не говоря уж об университетах в мирное время.)

Итак, какое же место в разведывательном мире занимал сектор V? Как часть СИС этот сектор отвечал за сбор контрразведывательной информации в иностранных государствах нелегальными средствами. Больше всего в его разведывательных данных была заинтересована МИ-5, которая отвечала за безопасность британской территории и потому остро нуждалась в заблаговременно добытых сведениях о готовящихся в других странах попытках проникнуть в государственные тайны Англии. К некоторым видам деятельности сектора V проявляли интерес также и другие учреждения. Министерство иностранных дел, например, хотело знать, какие возможности предоставляют нейтральные государства немецким разведывательным службам. В начале своей деятельности сектор V использовал в качестве дополнительного средства радиоразведку, которая перехватывала шифровки противника, а школа кодирования и шифровального дела их прочитывала. В ходе войны роли переменились: разведывательная деятельность сектора V за границей фактически лишь заполняла пробелы в чрезвычайно широкой картине, которая вырисовывалась на основе данных радиоразведки.

Теперь пора перейти к характеристике лиц, многие из которых занимают значительное место в последующем повествовании. Начальником сектора V, как я уже сказал, был Феликс Каугилл. Он пришел в СИС из индийской полиции незадолго до начала войны и уже оставил определенный след. Его интеллектуальные способности были скромными. Ему явно не хватало воображения, он был невнимателен к деталям и совершенно не знал мир, в котором СИС вела борьбу. Его наиболее заметным положительным качеством помимо личного обаяния этакого простого малого была дьявольская трудоспособность. Каждый вечер он уходил домой с набитым портфелем и просиживал за бумагами до зари. В пятницу он, как правило, работал всю ночь напролет, а утром усталый, но, как всегда, подтянутый председательствовал на совещании

начальников подсекторов, куря трубку за трубкой и выколачивая ее в каменную пепельницу. Своих работников он отстаивал иногда даже с излишним рвением, в результате многие из них оставались на месте, хотя их бездеятельность или некомпетентность была очевидной. За пределами своего сектора Каугилл становился подозрительным и колючим, всегда готовым усмотреть в действиях других попытки ограничить его поле деятельности или подорвать его авторитет. Ко времени моего появления в секторе V Каугилл уже успел испортить отношения не только с МИ-5, но и со службой радиоперехвата, шифровальной школой и *с* рядом других отделов СИС. Дом в Сент-Олбансе, который занимал сектор V, вскоре оказался на осадном положении, и Каугилл упивался своей изоляцией. Он принадлежал к тем непорочным душам, которые всех своих оппонентов считает политиканами.

К сожалению, Каугилл выступал против многих выдающихся личностей. По вопросам, связанным с расшифровкой перехваченных радиограмм немецкой разведки, сектору приходилось иметь дело главным образом с сотрудниками шифровальной школы Пейджем и Палмером — известными фигурами в Оксфорде. В службе радиоперехвата работала еще более солидная группа воспитанников Оксфорда — Тревор-Роупер, Гилберт Райл, Стюарт Хэмпшир и Чарльз Стюарт. Еще один воспитанник Оксфорда, Герберт Харт, был противником Каугилла в МИ-5; впрочем, там был представлен и Кембридж в лице Виктора Ротшильда, эксперта МИ-5 по борьбе с саботажем. Все эти люди превосходили Каугилла по уму, а некоторые могли потягаться с ним и в воинственности. Тревор-Роупер, например, тоже не отличался кротким нравом. Дело допито до того, что однажды Каугилл пригрозил Тревор-Роуперу военным судом. Надо отдать долж-. ное упорству Каугилла: он боролся с этой группой почти пять лет, не сознавая безнадежности своей борьбы. Как часто он бушевал и поносил того или иного коллегу, а потом тихо бормотал с оттенком триумфа в голосе: «А теперь продолжим борьбу против немцев!»

Основной вопрос, из-за которого разыгрывались эти баталии, был связан с контролем над материалами, полу-. чаемыми при перехвате радиограмм немецкой разведки. Когда впервые встал этот вопрос, начальник СИС поручил контроль руководителю сектора V. Это было обоснованное решение, и, насколько мне известно, против него никто серьезно не возражал. Возражения вызывали лишь методы Каугилла. Он же сразу понял, что ему сдали козырную карту, и с самого начала ревниво охранял ее, иногда даже придерживая ценную информацию. Недруги

обвиняли его во введении жестких ограничений, а он считал их, по крайней мере потенциально, виновными в полном пренебрежении к безопасности источников информации. После одной стычки с Каугиллом Дик Уайт, бывший тогда помощником начальника разведывательного отдела МИ-5, утверждал, что ему снился кошмарный сон, будто разведывательные материалы пустили в распродажу через газетные киоски.

Отношения Каугилла с остальными подразделениями СИС создавали проблемы иного порядка. Здесь он столкнулся не то чтобы *с* проявлением чрезмерного интереса к его делам, а, наоборот, с опасностью полного пренебрежения к его сектору. Дело в том, что во время войны наступательная разведка поглощала почти всю энергию СИС. Контрразведка *с* ее акцентом на оборону была низведена до положения Золушки. Это объяснялось главным образом влиянием Клода Дэнси, который был тогда помощником начальника СИС. Этот пожилой джентльмен с весьма ограниченными взглядами считал контрразведку в военное время напрасной тратой сил и не упускал удобного случая заявить об этом. Он любил без всякой на то причины делать колкие пометки на документах, что страшно возмущало его сотрудников.

Интересы контрразведки пришлось защищать на этом высоком уровне заместителю начальника СИС Валентайну Вивьену. В прошлом он работал в полиции в Индии, а перед войной возглавлял сектор V. Он был тонкий, стройный, с тщательно уложенными волнистыми волосами и влажными глазами. Он только поеживался от колких замечаний Дэнси и печально покачивал головой при поражениях, которые случались довольно часто. Незадолго до моего поступления в сектор V Каугилл вообще перестал признавать Вивьена и не скрывал своего презрительного отношения к нему. Отнюдь не благодаря Вивьену Каугилл выиграл наконец битву за увеличение ассигнований на сектор V, и это не могло не вызвать неприязни у Вивьена. Может показаться, что вряд ли нужно упоминать о переживаниях этого беспомощного человека в книге такого рода, однако впоследствии его настроениям предстояло сыграть решающую роль в моей карьере в СИС.

Прошло больше года, прежде чем на мне непосредственно сказалось соперничество на высшем уровне. Моей задачей прежде всего было выполнять свою работу и одновременно изучать ее. Я получал очень мало полезных указаний сверху и многим стал обязан своему старшему секретарю, опытной девушке, работавшей в Службе еще до войны. Только благодаря этой девушке, часто болевшей, мне удалось избежать серьезных

провалов. Объем работы оказался чудовищным. В результате штат на пиренейском направлении увеличили до шести человек. Раньше эту работу приходилось вести двоим. (Неудивительно, что один из них покончил жизнь самоубийством!) Нас буквально заваливали входящей почтой. Кое-что следует, конечно, отнести на счет закона Паркинсона, но так или иначе, подобно многим сотрудникам, я обрабатывал горы бумаг и забирал домой толстый портфель для работы вечером. На другой день приходили новые телеграммы из Мадрида, Танжера и Лиссабона. К нам текли потоки документов из других отделов СИС и письма из МИ-5. Раз в неделю поступали удручающе объемистые почтовые мешки с Пиренейского полуострова, где представители СИС все еще блуждали в потемках. На каждую полезную информацию, приносившую какой-то результат, приходился десяток таких, которые извилистыми путями заводили нас в тупик.

С одним таким запутанным делом я столкнулся в самом начале своей работы. Агент СИС в Мадриде выкрал дневник некоего Алькасара де Веласко, премерзкого фалангиста из испанского пресс-бюро, который за месяц или за два до этого посетил Англию. В дневнике де Веласко без обиняков говорилось, что он по поручению немецкого абвера навербовал сеть агентов, при этом указывались имена, адреса и задания агентам. Немало недель работы было потрачено впустую, прежде чем в секторе пришли к несомненно правильному заключению, что дневник, хотя безусловно являлся произведением самого Алькасара де Веласко, был фальшивкой с начала и до конца, состряпанной с единственной целью — выманить деньги у немцев.

Однако кража дневника оказалась не совсем бесполезной. Английская разведка давно подозревала Луиса Кальво, испанского журналиста, работавшего в Лондоне, в том, что он пересылает в Испанию полезную для врага информацию. Кальво упоминался в дневнике как агент сети Алькасара де Веласко (хотя и эту запись мы считали ложной), что позволяло добиться у него признания. Соответственно Кальво был арестован и направлен в «строгий» следственный центр на Хэм-Коммон. К нему не стали применять физическое насилие. Его просто раздели догола и привели к коменданту центра Стефенсу, этакому пруссаку с моноклем в глазу. Стефенс каждый вопрос сопровождал ударом стека по своему сапогу. Оценка выдержки Кальво оказалась правильной. Напуганный легкомысленным предательством своего соотечественника, а также, несомненно, стеком, Кальво рассказал о своей деятельности. Этого было достаточно для того, чтобы на время войны упрятать его в тюрьму.

И еще одну полезную роль сыграл этот пресловутый дневник.

Дело в том, что в нем в компрометирующем свете упоминался испанский пресс-атташе в Лондоне Бругада. Он любой ценой стремился избежать скандала и потому легко согласился сотрудничать, когда МИ-5 деликатно намекнула ему, что дневник может дать Министерству иностранных дел благовидный предлог объявить его «персоной нон грата». Практически Бругада не выполнял особо серьезных шпионских заданий для МИ-5, но передавал достаточно сплетен о приезжающих в Англию испанцах, за что заработал кличку «Мятный леденец».

Вскоре на долю сектора выпал более крупный успех, хотя я нарушил все правила, чтобы его добиться, и вызвал страшную путаницу, в которой разобрались лишь после войны. Сектор получил перехваченную телеграмму, где указывалось, что на испанском пароходе «Кабо де Орнос» абвер направляет двух агентов в Южную Америку. С беспечностью, характерной для корреспонденций абвера, имена агентов приводились полностью. Один из них, некий Леопольд Хирш, ехал с женой и тещей, другим был Гилинский. Незадолго до их посадки на пароход была перехвачена вторая загадочная телеграмма — из немецкой резидентуры в Бильбао. В телеграмме подтверждалось, что Хирш и его спутники «Orki» готовы к отплытию. Нас заинтересовало слово «Orki». Что оно могло означать? Может быть, организацию революционеров, коммунистов-интернационалистов, группу отщепенцев-троцкистов, которых поддерживали немцы в борьбе против русских союзников Англии? Проверили по имевшимся досье весь список пассажиров «Кабо де Орнос» и нашли, по крайней мере, десяток людей, чья карьера подсказывала возможные связи с ренегатами. Примерно половина из них казалась негодяями, способными принять участие в махинациях абвера.

Посоветовавшись с Каугиллом, я направил офицеру службы безопасности в Тринидаде, куда должен был зайти пароход, телеграмму с распоряжением арестовать семью Хирша, Гилинского и некоторых других. Я не имел никакого права отдавать приказание об аресте этих или каких-либо других лиц. Согласно установленной процедуре, мне нужно было бы внести рекомендацию в МИ-5, вторая рекомендация прошла бы из МИ-5 в Министерство колоний, которое дало бы указание «со рассмотрении на месте» губернатору Тринидада, а губернатор, в свою очередь, отдал бы соответствующее распоряжение местному офицеру службы безопасности. К счастью, офицер оказался энтузиастом и действовал по моему распоряжению без лишних вопросов. Еще большей удачей оказалось то, что Хирш быстро признался и заявил (можно считать, правдиво), что не имел

никакого намерения выполнять задание немцев, а принял его лишь с целью выбраться из Европы. В радужном настроении, вызванном таким «триумфом», мы поначалу не обратили внимания на то обстоятельство, что остальных задержанных никак не удалось заставить признаться в чем-либо, хотя бы отдаленно напоминающем шпионаж. Но обыск их багажа показал, что все они в большей или меньшей степени нарушили законы о контрабанде, поэтому у нас на всякий случай оказались незначительные формальные основания для их задержания.

Тайна раскрылась примерно через год. Одного из работников моего направления, отвечавшего за обработку перехваченных материалов, вдруг осенила мысль. Он связался по телефону с Палмером из шифровальной школы и попросил его проверить соответствующую радиограмму из Бильбао. Не могли ли «Orki» ошибочно стоять вместо слова «Drei» («три»)? Очень скоро Палмер дал ответ. Да, это было слово «Drei», и Палмер не мог даже понять, как у шифровальщиков получилось слово «Orki». Итак, речь шла не о Хирше и его спутниках «Orki», а о Хирше и его «трех спутниках», а именно о жене, теще и Гилинском. К тому времени, когда английское правительство приступило к рассмотрению претензий, выдвинутых пассажирами за ошибочный арест, я уже находился вне опасности, занимаясь «засылкой» английских агентов в Советский Союз и в Балканские страны с базы в Стамбуле.

До сих пор я говорил только о перехвате радиограмм, но существовали и другие формы перехвата, хотя и менее продуктивные *с* точки зрения контрразведки, но все же приносившие определенные результаты. Так, например, почтовая цензура раскрыла один или два интересных случая, хотя от нее ожидали большего. Применялись также изощренные методы вскрытия дипломатической почты. Эти методы невозможно было использовать непосредственно против врага, поскольку немецкая и итальянская почта не пересылалась через английскую территорию. Однако почта нейтральных государств и младших союзников, вроде поляков и чехов, стала законной добычей. Правда, операции по вскрытию дипломатической почты были связаны с рядом сложных процедур.

Прежде всего следовало так или иначе убедить курьера оставить свои вализы на попечение англичан. Это оказывалось не так трудно сделать, так как во многих странах курьерская служба была организована слабо, да и курьеры не отличались дисциплинированностью. В то время Великобритания была отрезана от континента, и вся дипломатическая почта пересылалась по воздуху. Задержки с вылетами самолетов

считались обычным делом, поэтому всегда можно было придумать такую причину даже при благоприятных погодных условиях. По прибытии в аэропорт курьеру обычно сообщали плохую сводку погоды или говорили, что обнаружена техническая неисправность в самолете. И то и другое означало неопределенно долгое ожидание. Курьеру приходилось выбирать: сидеть ли на своей вализе в аэропорту или отправиться в ближайший город и терпеть неудобства провинциальной гостиницы. В этих обстоятельствах офицер службы безопасности аэропорта любезно предлагал расстроенному курьеру оставить почту у него в сейфе. «Я запру его сам на ваших глазах, старина, — говорил офицер, — и все будет в порядке, пока вы не вернетесь». Удивительно, сколько курьеров попадалось на эту дешевую приманку и спокойно уходило поглазеть на какой-нибудь местный талант, в чем офицер службы безопасности, конечно, с радостью оказывал содействие!

Как только курьер удалялся, офицер службы безопасности сообщал об этом ожидавшим экспертам и передавал вализы в их распоряжение. До вскрытия каждую вали-зу и ее содержимое тщательно осматривали, каждый узел и каждую печать измеряли, копировали и фотографировали, а при необходимости подвергали даже химическому анализу. Затем развязывали узлы, снимали печати, извлекали документы и фотографировали. И наконец, предстояла самая трудная задача — сложить почту точно так, как она была сложена, и до мельчайших подробностей воспроизвести первоначальные узлы и печати. Русские не подвергались такому осмотру: отчасти потому, что их вализы неизменно сопровождали два курьера, один из которых всегда оставался при почте, и отчасти из опасения, что в почте окажется бомба, предназначенная для слишком любопытных. Зато дипломатическая корреспонденция южноамериканских государств, испанцев, португальцев, чехов, поляков, греков, югославов и многих других регулярно подвергалась досмотру. Несмотря на исключительные меры предосторожности, иногда возникали инциденты. В одном случае красные печати на польской вали-зе стали после обработки фиолетовыми и ничем нельзя было восстановить их первоначальный цвет. Пришлось с сожалением сообщить полякам, что их вализа утеряна. Такой счастливый конец оказался возможным лишь потому, что поляки доверили пересылку этой вализы, как они это иногда делали, англичанам, поскольку ее содержимое, видимо, не представляло особой ценности. Положение было бы гораздо более неловким, если бы эту почту сопровождал польский курьер.

К началу 1942 года слабая струйка перехватываемых

радиограмм абвера превратилась в поток. Это была заслуга главным образом Дилли Нокса, который сумел разгадать секреты шифровальной машины абвера. Широкая система перехвата обнаруживала иногда занимательные штрихи из жизни офицеров немецкой разведки. Было, например, «дело Акселя» — немецкой полицейской собаки. Ее перевели из Берлина в Альхесирас — по всей видимости, для охраны тамошнего филиала резидентуры абвера от английских агентов, тайно перебиравшихся через залив из Гибралтара. На последнем этапе путешествия собаки Мадрид направил упреждающую телеграмму начальнику поста абвера в Альхесирасе Альберту Карбе (он же Цезарь): «Будьте осторожны с Акселем. Он кусается». Через несколько дней Альхесирас ответил лаконичным донесением: «Цезарь в госпитале. Его укусил Аксель».

Вскоре сектор V имел полную картину деятельности абвера на полуострове. Были известны имена, псевдонимы, адреса, функции прикрытия и действительные функции большинства офицеров мадридской резидентуры и ее многих филиалов — в Барселоне, Бильбао, Виго, Альхесирасе и т. д. Когда накопилось уже довольно много информации, произошел безобразный случай, еще раз доказавший опасность такого положения, при котором две отдельные организации работают над одними и теми же вопросами в одном и том же районе. Я уже говорил, что существовало правило, согласно которому атташе вооруженных сил в английских посольствах за границей не занимались тайной разведывательной деятельностью. Однако из этого правила делались исключения. Так, военно-морскому атташе в Испании капитану 1-го ранга Хилгарту благодаря личному знакомству с Черчиллем был выделен секретный фонд для нелегальной работы. При этом единственным человеком в СИС, с которым Хилгар-ту разрешалось поддерживать связь, был сам начальник СИС. Это делалось, безусловно, для сохранения тайны, так как источники Хилгарта были особо секретными. Однако такое положение способствовало развитию мании величия у этого доблестного офицера. Недаром для своей корреспонденции он избрал псевдоним Армада.

Однажды Каугилл попросил меня договориться о приеме у шефа, чтобы обсудить важное сообщение от Армады. Сообщение касалось немцев в Испании. В те дни я редко видел шефа и чувствовал себя стесненно в его присутствии, но на этот раз у него было веселое настроение. Он сказал, что вторгся в мои «владения», занявшись немного контрразведкой в Испании, и что разрешил Армаде купить (за очень большую сумму) подробные сведения о руководящих офицерах абвера в Испании. Шеф вручил

мне короткую телеграмму, содержавшую с дюжину имен со скудными данными о каждом: Густав Ленц — глава резидентуры, Ганс Гуде — ответственный за военно-морскую разведку и т. д. и т. п. Я несколько бестактно заметил, что информация, содержащаяся в донесении, соответствует действительности. Шеф поднял брови: откуда мне известно, что она соответствует действительности? Потому что у нас есть уже такая информация. А что еще мне известно? Очень многое. Почему же об этом не информировали шефа? Но мы же ежемесячно составляем отчет о проделанной работе, а копию посылаем шефу. В этот момент шеф показал, какой он, в общем, порядочный человек. «Мой дорогой Филби, — сказал он со свойственной ему мимолетной улыбкой, — не думаете же вы, что я читаю все, что кладут мне на стол?» Мы решили запросить у источника Армады дополнительные сведения, но, конечно, ничего из этого не получилось. Я пришел в ярость, когда вскоре установил, что это за ценный источник. Им оказался высокопоставленный чиновник из генерального управления безопасности Испании. Ему, должно быть, действительно очень много платили, а мне приходилось воевать за каждые лишние пять фунтов в месяц для агентов, которые давали регулярную, хотя и не такую красочную, информацию!

Одна из проблем разведки — как добыть информацию; другая, столь же важная, а иногда гораздо более трудная — как ее реализовать. Захватывать вражеских агентов, когда они появлялись на английской территории, конечно, очень хорошо. Но как использовать с таким трудом добытые сведения об организации немцев на полуострове в целом и руководившем ею центре в Германии? Постепенно я пришел к убеждению, что широкая осведомленность требует более творческого подхода к делу, чем было раньше. Мало было просто предупреждать МИ-5 о предстоящем прибытии в Великобританию агентов абвера или изредка захватывать их в Тринидаде. Нашу осведомленность наверняка можно использовать для того, чтобы если не дезорганизовать, то, по крайней мере, серьезно затруднить действия врага на избранной им территории Испании. Это совпадало и с мнением моих советских коллег.

Мысли такого рода стали все больше овладевать мной по мере постепенного накопления разведывательных данных о подготовке немцами в Испании операции с использованием новейших технических средств. Абвер дал этой операции кодовое наименование «Бодцен». Бодцен — название узкой полосы воды, отделяющей остров Рюген от собственно Германии, неподалеку от научно-исследовательского центра военного времени Пинемюнде.

После сопоставления этих данных с дополнительными сведениями о том, что «бодценские» эксперты сосредоточиваются со своей техникой в Альхесирасе, стало достаточно ясно, что назревают какие-то события, связанные с Гибралтарским проливом. Я проконсультировался с доктором Джонсом, начальником научного отдела СИС. Джонс, изучив материалы, довольно уверенно заявил, что все это свидетельствует о намерении немцев установить приборы для обнаружения кораблей, проходящих через пролив ночью. Это грозило новыми серьезными опасностями для линий снабжения в западной части Средиземного моря, и я решил, что настало время для осуществления новой тактики, которая до смерти перепугает абвер в Испании.

Еще раньше я не раз думал о том, как напустить на немцев в Испании УСО, но потом отказался от этой идеи. Если бы даже у УСО хватило средств для такой операции, я сомневался, чтобы кто-то у нас приветствовал идею двойника Джеймса Бонда, свободно действующего в Испании, ще власти настроены против Англии. В конце концов у меня сложилось мнение, что наилучшая мера — дипломатическая акция. Англичане имели законный повод выразить недовольство испанскому правительству по поводу предоставления немецкой разведке свободы действий на территории Испании. Решительный протест, основанный на подробных и убедительных доказательствах, был бы вполне уместным. Конечно, я не надеялся, что генерал Франко примет какие-то меры против своих немецких друзей, но нисколько не сомневался, что он по-дружески предупредит их об осведомленности английской разведки. Мне вспомнился генерал Уэстмэкотт, начальник Чрезвычайного разведывательного управления из книги Комптона Маккензи «Разжижение мозгов», с его изречением: «В конце концов весь смысл секретной службы заключается в том, что она должна быть секретной». Были все основания полагать, что Густав Ленц, начальник отделения абвера в Испании, будет потрясен, если мы сумеем показать, что его секреты уже перестали быть секретами.

Прежде всего надо было убедить Каугилла, что это стоящая и осуществимая операция. Обвинения со стороны англичан должны были строиться главным образом на информации, полученной путем радиоперехвата, а Кау-гилл ревностно охранял ее даже от других английских спецорганизаций. Смысл моего предложения заключался в том, чтобы вручить соответствующий документ недружественному испанскому правительству в надежде, что оно доведет его содержание до сведения немцев. К моему величайшему облегчению, Каугилл отнесся к этому предложению

благосклонно. Он понес шефу мой проект, в котором я изо всех сил старался скрыть источники нашей информации. Шеф одобрил проект. К счастью, связующим звеном между Министерством иностранных дел и СИС в то время был Питер Локсли, человек столь же энергичный, сколь и обаятельный. Он с энтузиазмом поддержал проект. Вскоре сэру Сэмюэлю Хору, тогдашнему английскому послу в Мадриде, направили указание выразить решительный протест генералу Франко. В подкрепление протеста посол должен был передать испанцам экземпляр моего меморандума.

Писать о сэре Сэмюэле приятные вещи трудно, но истина обязывает меня признать, что в данном случае он справился с поручением великолепно. Посол одел ответственных работников своего аппарата в парадную форму и повез их в полном составе к главе испанского государства. Что и кому сказал тогда Франко, пока неизвестно, но результаты превзошли все ожидания. В последующие два-три дня Мадрид и Берлин обменивались паническими радиограммами. При этом немцы срочно приняли всякого рода бесполезные чрезвычайные меры. Мы даже получили сообщение (к которому не отнеслись серьезно), что в германском посольстве в Мадриде чрезмерно задымили трубы. Окончательная победа пришла в форме категорического приказа из Берлина в Мадрид: «Операцию «Бод-ден» полностью прекратить». Мы же по-прежнему продолжали перехватывать и расшифровывать радиограммы, а это означало, что проведенная операция не скомпрометировала наш главный источник.

Ободренные успехом в Испании, мы начали аналогичную акцию против немцев в Португалии, но достигли незначительных результатов. В Испании у нас была совершенно определенная задача, ведь генерал Франко сам объявил себя союзником нашего врага. За редким исключением, его старшие чиновники горячо симпатизировали странам «оси». Поэтому мы могли быть уверены, что, где бы ни был нанесен удар, мы причиним ущерб нашим врагам. Министерство иностранных дел меньше обычного проявляло сдержанность и не опасалось погладить Франко против шерсти, если для этого были веские основания; что же касается разведки, то у СИС в Испании было так мало друзей, что не приходилось бояться репрессий против них со стороны противника.

В Португалии политическая обстановка сложилась иначе. Она была туманной и очень запутанной. Правда, доктор Салазар сочувствовал странам «оси». Но он был гораздо осторожнее своего коллеги, диктатора Испании, и придерживался более нейтральной позиции. Опасаясь нарушить политику равновесия

Салазара, наше Министерство иностранных дел воздерживалось от решительных действий: ведь Салазар мог спрыгнуть с забора и легко мог приземлиться не на той стороне. А у разведчиков имелись свои, более узкие соображения. Мы знали, что несколько высших португальских чиновников получают деньги как от немцев, так и от СИС. Было трудно определить, на кого они больше работали, если вообще кто-нибудь извлекал пользу из этого запутанного положения. Но я совсем не хотел, чтобы эти чиновники пришли к нам с требованием возместить «левый» заработок, который они могли потерять в случае изгнания их немецких казначеев.

Все это обусловило как содержание протеста Министерства иностранных дел, так и форму его представления. Не было визита старших чиновников посольства в полной парадной форме к хитрому доктору. Вместо этого английский посол сэр Рональд Кэмпбелл поднял вопрос в уютном кабинете португальского министра иностранных дел Сампайо, который проявил немалую дипломатическую находчивость в своих ответах. Да, конечно, говорил он, это очень нехорошо, что немцы злоупотребляют нейтралитетом португальцев, как написано в протесте. Но уверены ли вы в своих источниках? Он сам сталкивается с большими трудностями при оценке сообщений разведки. И вообще, все это — дело чрезвычайно щекотливое и сложное. Например, он слышал, что другие государства тоже недалеко ушли от немцев в своей незаконной деятельности на португальской территории. Если португальское правительство примет какие-то меры против немцев, германское правительство может настаивать на подобных мерах и против других государств. Настойчивость в вопросах такого рода поставила бы португальцев перед ужасной дилеммой. Он, Сампайо, разумеется, незамедлительно передаст протест сэра Рональда доктору Салазару, но, со своей стороны, сомневается, что доктор примет меры, о которых мы просим, без тщательного изучения этой многосторонней проблемы. Выразив таким искусным образом свое предупреждение, Сампайо закончил его перлом дипломатической логики. «Зачем, — вздохнул он, — воюющие державы занимаются шпионажем? Если бы они сосредоточивали все усилия на контршпионаже, никто не стал бы возражать».

Хотя руководитель английской контрразведывательной организации в Лиссабоне был исключительно способным и тонким человеком, многие из наших португальских дел заканчивались вот так же ничем. Было, например, одно достойное сожаления дело Стилуэлла, английского коммерсанта, прожившего много лет в Португалии. Его имя привлекло

внимание СИС в тот период, когда о деятельности немецкой разведки в Португалии мы знали еще очень мало. Поэтому склонны были считать агентов немецкой разведки, которых нам удавалось установить, более важными, чем они потом оказывались на самом деле. Среди них был некий Вельтцин — немецкий торговец, который казался нам довольно крупной фшурой. С большим трудом нам удалось выкрасть из конторы Вельтцина карточку, которая предположительно исходила из его картотеки.

Мы решили, что попали в точку. Записи на карточке прямо указывали на то, что Стилуэлл в последнее время регулярно получал деньги от Вельтцина. Однако задачу нельзя было считать решенной. Карточка не могла служить доказательством: она ведь могла оказаться поддельной. Некоторые из нас сомневались в том, что Первая же карточка из картотеки Вельтцина оказалась тем, что нужно. Годом или двумя позже, когда у СИС накопилось больше опыта, мы бы не спешили принимать решение. Но в то время на счету у нас было еще мало шпионов и мы жаждали получить их побольше. К тому же этот таинственный Вельтцин так нас заинтриговал, что сектор V готов был пойти на риск, лишь бы узнать о нем побольше. Соответственно Стилуэллу было предложено вернуться в Англию. По прибытии его арестовали и на следующее утро вызвали на допрос. На допросе он держался с достоинством и выражал свое возмущение. Вид пресловутой карточки на него не подействовал: Стилуэлл вел себя как ни в чем не повинный человек. Его освободили, никак не запятнав, со стыдливыми извинениями. Нам так и не удалось раскрыть секрет карточки Стилуэлла. Тогда был организован налет на контору Вельтцина, чтобы похитить всю его картотеку. Однако Вельтцин не дал застать себя врасплох, и налет потерпел такое же фиаско, как и арест ни в чем не повинного Стилуэлла. Вскоре увеличившийся поток серьезной разведывательной информации показал, что Вельтцин был не ключевой фигурой, а просто пешкой.

Прежде чем расстаться с Португалией, я должен рассказать об одном мастерском допросе. Некая дама прибыла в Англию из Португалии, где, как нам стало известно, она была знакома с несколькими немцами, в том числе и с офицерами немецкой разведки. При личном обыске и досмотре ее багажа обнаружили маленький дневник, где записи были сделаны загадочными сокращениями. Следователь потребовал объяснить каждую запись, но дама оказалась исключительно сообразительной и довольно правдоподобно отрицала, что эти записи имеют отношение к ее немецким знакомым. Разгоряченный следователь

от отчаяния попытался нанести последний удар: «Позвольте обратить ваше внимание, миссис… на запись от такого-то числа. Она гласит: “Провела весь день, сидя на своей fanny”[42]». И после многозначительной паузы добавил: «Кто эта Фэнни? В каком смысле она была ваша? И почему вы сидели на ней?» Под напором такой беспросветной глупости дама «раскололась» и призналась во всем. Признания свидетельствовали, что ее отношения с немцами в Эсториле были действительно интимными, но никоим образом не наносили ущерба военным действиям Англии.

Примерно в это же время я чуть было не нажил себе серьезные неприятности. Я уже упоминал, что центральный архив, где хранились материалы СИС, находился в соседнем с Гленалмондом помещении. Билл Вудфилд, начальник архива, вскоре стал моим приятелем. Мне говорили, что пурпурный цвет — единственный, которого нет в радуге. Если так, то лицо Билла никак не могло быть связано с радугой. У него была слабость к розовому джину, которую *я* разделял, и притворно стыдливое пристрастие к скабрезным анекдотам. Мы часто встречались, чтобы поболтать обо всяких служебных интригах, в чем у него был немалый опыт. Эти дружеские отношения оказались выгодными, так как я стал получать дела из архива значительно быстрее и легче, чем многие мои коллега. В архиве совершенно не хватало работников, да и те, что были, зачастую оказывались недостаточно квалифицированными.

В архиве хранились дела, известные как книги-источники. В них содержались данные и характеристики агентов СИС, действовавших за границей. Мне, естественно, хотелось иметь сведения об агентах, работавших на Пиренейском полуострове, однако изучение книг-источников по Испании и Португалии только разожгло мой аппетит. Я стал упорно работать над книгами, стремясь как можно больше узнать о деятельности СИС в целом. Когда я дошел до книги-источника по Советскому Союзу, выяснилось, что она состоит из двух томов. Проработав до полного удовлетворения оба тома, я обычным порядком вернул их в архив.

Примерно через неделю Билл позвонил и попросил у меня второй том книга о русских источниках. Справившись у секретаря, я позвонил и сказал, что, согласно нашему журналу, книгу возвратили в архив такого-то числа. После бесплодных поисков в архиве Билл усомнился в правильности нашего учета и потребовал еще раз проверить. Я перевернул все вверх дном, но безрезультатно. Мы раза два встречались с Биллом в тот вечер за стаканом джина, чтобы обсудить это таинственное происшествие.

Билл сказал, что по существующим правилам он должен немедленно доложить об утере книги-источника начальнику Службы. Мне удалось убедить Билла повременить несколько дней. Мое беспокойство росло. Я сомневался, чтобы шеф положительно оценил мое исключительное рвение по штудированию источников, тем более что это привело к утере тома, изучение которого не входило в сферу моей деятельности.

Сгущавшиеся тучи внезапно рассеялись. Билл позвонил и принес мне «глубокие личные извинения». Оказалось, одна из его секретарш, занимавшаяся этими книгами, в целях экономии места на полке объединила два тома в один Потом секретарша заболела гриппом и несколько дней отсутствовала. Когда она вышла на работу, Вудфилд спросил ее о книге, и она сразу вспомнила, что сделала с ней. Я милостиво принял извинения и предложил Биллу встретиться вечером, что мы и сделали, потопив мучительное воспоминание в розовом джине. Помнится, я на какой-то миг подумал, что очень люблю пурпурный цвет, но уже на другое утро раскаялся в этом.

АНГЛИЙСКИЙ И СОЮЗНИЧЕСКИЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Каугилл любил семейную атмосферу, поэтому жизнь и работа в секторе V протекали в теплой, даже чрезмерно уютной обстановке. Офицеры и секретарши, поступив в сектор, сразу начинали называть друг друга по имени. Порой казалось, что в один прекрасный момент все сотрудники вдруг усядутся за игру в карты. Иногда это досаждало, но здесь была и своя профессиональная выгода. Никогда не составляло труда узнать, чем заняты твои коллеги: что знал один, становилось известно всем. Такая обстановка предоставляла мне полную свободу передвижения. Каугилла не интересовало, когда и каким способом выполнена работа. Важно, чтобы она была выполнена, а учитывая количество сыпавшихся на нас документов, это было не таким уж малым требованием. Это означало, что я практически в любое время мог отправиться в Лондон под предлогом развития контактов с секциями СИС в Бродвей-билдингс, с МИ-5 и другими государственными учреждениями, заинтересованными в нашей работе. У меня вошло в обычай совершать такие поездки раз в неделю. Я брал с собой портфель, набитый документами, и длинный список визитов. Я также добровольно соглашался на ночные дежурства в Бродвее раз или два в месяц. Это было полезным занятием, так как телеграммы, поступавшие ночью изо всех уголков мира, проливали дополнительный свет на деятельность Службы[43].

Бродвей представлял собой мрачное здание со множеством деревянных перегородок и окнами с матовыми стеклами. Восемь этажей обслуживал один допотопный лифт. В одно из моих первых посещений я оказался в лифте с каким-то сотрудником, с которым лифтер обращался особенно почтительно. Незнакомец бросил на меня быстрый взгляд и отвернулся. Он был хорошо сложен, хорошо одет, но больше всего меня поразила его бледность — бледное лицо, бледные глаза, светлые с проседью, редеющие на макушке волосы. Когда он вышел на четвертом этаже, я спросил, кто это был.

— Что вы, сэр? Это же шеф! — ответил лифтер с некоторым удивлением.

В то время я очень мало знал о шефе. Его звали Стюарт Мензис[44], звание — полковник. Его кабинет находился на четвертом этаже. Он писал зелеными чернилами на ярко-голубой бумаге. Почерк у него был ужасный. До того как стать

начальником СИС, он возглавлял Сектор IV, который занимался военной разведкой. Его официальным обозначением были буквы КСС, но в переписке между Бродвеем и зарубежными резидентурами он мог обозначаться любыми тремя буквами в алфавитном порядке: ABC, XYZ и т. д. В правительственных кругах вне СИС его всегда называли К. Это обозначение осталось со времен капитана 1-го ранга Мэнсфилда Каммингса, первого начальника Секретной службы в ее современном виде. Таков был объем моих сведений о шефе во время первой встречи с ним в лифте. В дальнейшем мне пришлось узнать его гораздо лучше. Спешу сказать, что, оглядываясь назад, я вспоминаю его с симпатией и уважением, хотя вовсе не за те качества, которыми гордился он сам.

Помимо Фенвика, приятного, но бездеятельного бизнесмена-нефтяника, который пассивно руководил резидентурами в Мадриде, Лиссабоне, Танжере и Гибралтаре, первым, с кем я установил контакт в Бродвее, был один из ближайших друзей шефа — Дэвид Бойл. Он ведал распределением информации, добываемой при вскрытии дипломатической почты, и обеспечивал сохранение тайны при работе с этой информацией. Поговаривали, что Бойл очень близок к шефу и оказывает влияние на политику Службы. Я был решительно настроен против него, так как наслышался о нем много плохого: его прозвали Пресмыкающимся Иисусом. Мои первые впечатления, пожалуй, подтвердили ходившие о нем слухи. Бойл в избытке обла-.дал теми качествами, которые мне были особенно неприятны. Несправедливо называть его, однако, эгоистичным и тщеславным снобом. Бойл умел добиваться расположения ответственных работников Министерства иностранных дел, чем я, к собственному удивлению, вскоре стал восхищаться. Кроме того, для меня имела большое значение его неспособность оценивать разведывательные материалы, которые проходили через его руки. И хотя Бойл был более чем вдвое старше меня, он все больше стал полагаться на мое мнение. В свою очередь, я отвечал ему всеми внешними проявлениями уважения. Наши личные отношения, несмотря на всю их нелепость, складывались неплохо. Они оказались для меня весьма ценными, потому что среди мелочей и сплетен, заполнявших дипломатические вализы, иногда попадались настоящие перлы информации. Бойл, конечно, никогда не стал бы претендовать на право пользоваться зелеными чернилами, он писал фиолетовыми.

Через Бойла я познакомился со знаменитым полковником Клодом Дэнси. До войны он создавал так называемую организацию «г», задуманную для проникновения в Германию с

баз в Швейцарии. После нападения на Францию каналы связи системы «г» катастрофически пострадали. В Швейцарии Дэнси оставил для продолжения работы способного офицера по фамилии Ван дер Хойфел, который, как говорили, был из графского рода Священной Римской империи. Да простит он мне, если я неправильно передаю его фамилию графически и фонетически, но смею утверждать, что здесь я далеко не одинок. Когда однажды мы условились с ним пообедать в ресторане «Гаррик», швейцар с трудом понял, кого я хочу видеть.

— О-о-о! — воскликнул он наконец. — Вы имеете в виду господина Ванувла? — И показал мне, где его найти.

Я уже говорил, что Дэнси весьма критически относился к целесообразности контрразведки и был известен своей излишней воинственностью. Меня поэтому удивила его учтивость со мной. Впоследствии я узнал, что Дэнси внешне всегда учтив, а свою желчность предпочитает проявлять на расстоянии — по телефону или на бумаге. Иметь с ним дело можно было только у него в кабинете. Личная встреча как бы охлаждала его, и с ним можно было разумно беседовать. Уловив это свойство, я перестал испытывать трудности с Дэнси, за исключением тех случаев, когда приходилось с каменным лицом слушать, как он высмеивает босса моего босса — Вивьена. К счастью, наши дороги скрещивались нечасто, поскольку он вычеркнул меня из списка своих излюбленных противников.

А вот с Вивьеном я старался видеться как можно чаще. Для непосредственных практических целей он был бесполезным человеком, так как смертельно боялся Дэнси и даже своего подчиненного — Каугилла. Вивьен, однако, был, пожалуй, умнее обоих и обладал склонностью к размышлениям, а посему пускался в долгие, пространные рассуждения об истории СИС, ее политике и сотрудниках, а также об отношениях между СИС и МИ-5. Он был сторонником корректного стиля работы, и из его «проповедей» я узнал гораздо больше о сложностях государственной машины, чем мог бы добиться от нетерпеливых сторонников «немедленных результатов» вроде Дэнси и Каугилла. Вначале я и не представлял себе, насколько может мне помочь Вивьен в моем стремлении получить в СИС пост, которого я больше всего жаждал. Каугиллу позже пришлось горько пожалеть о своей преждевременной оценке Вивьена как ничтожества.

От Бродвей-билдингс через Сент-Джеймс-парк до помещения МИ-5 на Сент-Джеймс-стрит — рукой подать, однако разница в стиле работы была значительной. Даже вход в помещение МИ-5 производил более благоприятное впечатление, чем закопченный холл в Бродвее. Это впечатление не покидало вас и наверху.

Кабинеты выглядели как кабинеты. Насколько мне известно, там не строили никаких «крольчатников», которые так изуродовали Бродвей. Столы не были завалены бумагами, в большинстве случаев — с полдюжины опрятно пронумерованных и помеченных папок ждали своей очереди. Это имело, конечно, свои недостатки. В секторе V мы обычно жало-' вались на излишние подробности, которыми сотрудники МИ-5 находили время начинять свои длинные письма. По крайней мере, такие подробности часто не оправдывались значением документа. Тем не менее в МИ-5 чувствовалась компетентность профессионалов, с которой Бродвей не мог сравняться. Возможно, МИ-5 и имела раздутый штат, на что часто сетовал Каугилл, зато там большинство офицеров знало, что надо делать и как делать, чего нельзя было сказать о многих сотрудниках в Бродвее.

Но так было не всегда. После падения Франции МИ-5 столкнулась с ситуацией, к которой оказалась совершенно неподготовленной. Английский народ пал жертвой собственной пропаганды о существовании немецкой «пятой колонны» в Англии. В течение многих месяцев после Дюнкерка полиция и МИ-5 были завалены сообщениями о световой сигнализации, таинственных незнакомцах, о речи *с* иностранным акцентом, подслушанной в кабачке, и т. д. Это дезорганизовало всю работу. Я впервые посетил МИ-5 с капитаном 3-го ранга Питерсом осенью 1940 года, когда МИ-5 временно размещалась в Уормвуд-Скрабс[45]. Приятно было сознавать, что МИ-5 помещается в тюрьме, но беспорядок там царил ужасающий. Кипы непрочитанной корреспонденции валялись на полу, и сотрудники растерянно признавались, что им не прочитать и десятой доли, не говоря уже об ответах. К счастью, все эти письма оказались никчемными: немецкой «пятой колонны» в Англии никогда не существовало.

Навести порядок в этом хаосе поручили некоему Хор-роксу. Его привлекли (кажется, из Сити) специально для этой цели. Через год работы он мог утверждать, что добился успеха. Хоррокс занимался общими административными вопросами, меня же особенно интересовали архивы. И надо сказать, тут он навел блестящий порядок. Архив МИ-5 находился в новом помещении, занимавшем часть дворца Бленхейм, и вызывал восхищение после неопрятных лабиринтов Вудфилда в Сент-Олбансе. Любые сведения можно было легко найти в аккуратно ведущихся делах и карточках-указателях. Хватало и архивных работников, чтобы обеспечить методичное и достаточно быстрое выполнение работы. Я с удивлением и завистью узнал, что большинство девушек, работавших в архиве, так же хорошо знали содержание

дел, за которые они отвечали, как и сотрудники, что вели эти дела на Сент-Джеймс-стрит. Когда я деликатно поднял этот вопрос перед Вудфилдом, он ответил, что ему бессовестно занижают штаты и что уделять столько внимания деталям все равно ни к чему.

По роду своей работы я больше всего соприкасался с так называемым отделом «В» МИ-5. В этом отделе получали и оценивали разведывательные материалы и обычно намечали последующие действия. Под «действиями» в данном контексте я имею в виду только мероприятия по разработке и использованию полученной информации, а не такие меры, как арест, ибо, подобно СИС, МИ-5 не имела никакой исполнительной власти. МИ-5 не могла арестовывать подозреваемых, она лишь вносила рекомендации об их аресте соответствующим властям. Хотя на практике это не составляло большой разницы, так как рекомендации МИ-5 неизменно принимались, формально и теоретически это различие твердо поддерживалось.

В этом, мне кажется, заложена одна из важнейших причин высокого профессионализма МИ-5 по сравнению с СИС. МИ-5 действует на британской территории и поэтому обязана строго соблюдать законы страны. Она может настаивать на определенных отступлениях от закона и частенько так и делает, однако для каждого отступления необходима прямая санкция правительства, обычно в форме приказа Министерства внутренних дел. Заручившись такой поддержкой, МИ-5 может организовать, например, подслушивание телефонных разговоров частных лиц или таких учреждений, как иностранные посольства и комитеты коммунистической партии. Но здесь МИ-5 приходится соблюдать осторожность. Если ведомство допускает ошибку, начинаются запросы в парламенте, поднимает шум пресса и следуют всякого рода гласные последствия, неприятные для «застенчивой» тайной организации. Для СИС подобных препятствий не существует, и ничто не мешает ей нарушать законы иностранных государств при проведении своих операций. В таких случаях страдает только дипломатическая служба, вынужденная оправдываться перед иностранными правительствами, обычно просто отрицая факты.

Качество работы МИ-5 в военное время многим обязано ее временным сотрудникам. Особенно ценным было пополнение из университетов — Харт, Блант, Ротшильд, Мастермен и др. Значительный вклад внесли также юристы. В большинстве своем после войны эти светлые головы вернулись к прежним занятиям. Поскольку данная книга не является историческим исследованием, нет необходимости распространяться об их

достоинствах. Однако отдел «В» возглавляли два профессиональных разведчика, которые ухитрились на протяжении всей войны сохранять уважение своих талантливых подчиненных. Оба они сыг-ради определенную роль в моей судьбе, поэтому о них следует рассказать подробнее.

Начальником отдела «В» был Гай Лидделл. «Родился я в ирландском тумане, — сказал он мне однажды, — и иногда мне кажется, что я из него так и не выбрался». Трудно представить себе более нелепое принижение своих достоинств. Правда, вначале Лидделл производил впечатление тугодума. Он обычно бормотал свои мысли вслух, как бы нащупывая путь к истине, и безмятежная, невинная улыбка собирала в гармошку его лицо. Однако за внешней неповоротливостью Лидделла скрывался тонкий и рассудительный ум, а память его была целым хранилищем фотографически запечатленных фактов. Лидделл был идеальным начальником для молодежи, у которого было чему поучиться. Он всегда мог отложить в сторону свою работу, чтобы выслушать вас и задуматься над новой проблемой.

И все же карьера Лидделла закончилась бесславно. Начальником МИ-5 во время войны был сэр Чарльз Петри, полицейский из Индии, обаятельный человек, пользовавшийся большим авторитетом. Когда он ушел в отставку, в отделе «В» все как один проголосовали бы за Лидделла как за преемника Петри. Много сторонников было у Лидделла и в других местах. Однако правительство назначило на эту должность Перси Силлитоу, тоже полицейского, но на сей раз из Англии, менее авторитетного и обаятельного, чем Петри. Разочарование Лидделла было очевидным, но оно носило не только личный характер. Подобно большинству профессиональных сотрудников МИ-5, Лидделл считал, что МИ-5 — разведывательная организация, а не полицейское учреждение. Методы борьбы со шпионажем отличаются от методов борьбы с уголовными преступлениями. Шпионов поддерживают своими огромными техническими ресурсами иностранные правительства, преступники же не имеют таких возможностей, а потому в пользу точки зрения Лидделла можно сказать многое. Правительство, однако, сочло, что назначение ответственного работника полиции, знающего механизм Уайтхолла, более безопасно. Лидделлу оказали сомнительную честь, назначив его заместителем начальника МИ-5, и он, естественно, почувствовал себя обиженным. Уверен, что, если бы иностранные агенты узнали об этом, они бы только порадовались поражению Лидделла. Один из них знал…

Главным помощником Лидцелла в отделе «В» был Дик Уайт. По профессии школьный учитель, Уайт поступил в МИ-5 в период

между войнами. Это был милый, скромный человек, готовый первым признать, что не обладает никакими выдающимися качествами. Самым большим его недостатком была склонность соглашаться *с* последним человеком, с которым он говорил. С присущим ему здравым смыслом он с удовольствием перепоручал основную работу подчиненным, а себе отводил роль руководителя для поддержания гармонии в работе отдела. Уайт был одним из немногих офицеров МИ-5, который до окончательной размолвки поддерживал сносные личные отношения с Каугиллом. Его способность избегать межведомственных стычек в конце концов была вознаграждена. Когда Лидделл стал заместителем начальника МИ-5, Уайта выдвинули на пост начальника отдела «В». Но на этом его продвижение по службе не кончилось: после ухода на пенсию Мензиса Уайт переехал через парк и стал начальником СИС. К счастью, Дэнси умер, не увидев, как царствует в Бродвее, хотя и милостиво, специалист по контрразведке. Впрочем, если бы Дэнси не умер, это все равно убило бы его.

Я старательно заводил связи в МИ-5 и к концу войны мог утверждать, что приобрел много личных друзей на Сент-Джеймс-стрит. В любом случае кому-то было необходимо смягчать распри между Каугиллом и нашими коллегами из МИ-5, а так как немногим хотелось проявлять в этом деле инициативу, я взял ее на себя. Помимо сиюминутных соображений у меня в голове зрели различные перспективные планы, для реализации которых поддержка со стороны МИ-5 могла оказаться полезной. Я взял за правило давать моим друзьям из МИ-5 кое-какую информацию неофициально, то есть без ведома Каугилла. Нередко за такое неправомерное поведение я получал щедрую награду.

Главная баталия разыгралась в 1943 году, когда я незаметно встал на сторону МИ-5 против Каугилла. Вопрос касался места расположения сектора V. Он помещался в Сент-Олбансе отчасти из-за тесноты в Бродвее и отчасти для того, чтобы держать его архивы вне досягаемости немецких бомбардировщиков. Когда Вудфилд перевез архивы в Сент-Олбанс, Каугилл тоже переехал туда. Формально он обосновывал свой переезд тем, что «контрразведывательная организация должна находиться поблизости от своих архивов». Настоящая же причина заключалась в стремлении создать свою маленькую империю в стороне от ведомственных интриг, где бы его как можно меньше тревожили. Однако продолжительный перерыв в бомбардировках лишил аргументы Каугилла убедительности. К тому же в Лондоне было множество свободных служебных помещений, и у нас не имелось веских оснований отказываться от них.

МИ-5 тем временем продолжала настаивать на более тесном' сотрудничестве с сектором V. Ее руководство упорно доказывало преимущество «близости» — это слово все чаще мелькало в переписке Петри с Мензисом. И в самом деле, при всей очевидности удобств телефонной связи сотрудничество между двумя организациями было бы более эффективным, если бы расстояние между ними стало короче. Как раз этого и не хотел Каугилл, именно по тем причинам, которые высказывало руководство МИ-5. Каугиллу представлялось, что он сам и его аппарат по возвращении в Лондон будут тратить энергию на интриги и будут отданы на милость махинациям Лидделла и К°. Больше всего Каугилл боялся упустить контроль из своих рук. Я же безоговорочно стоял за возвращение в Лондон. Более тесные контакты с МИ-5, Бродвеем и другими государственными учреждениями, с моей точки зрения, могли только способствовать всестороннему ознакомлению с работой разведки. А для меня имело значение только это!

Как и следовало ожидать, Каугилл переоценил свои силы в данной ситуации. Он решил провести свободное голосование, предоставив всем сотрудникам в Сент-Олбансе возможность высказаться «за» или «против» переезда в Лондон. Каугилл допустил и другую ошибку, сообщив о своем решении посторонним, так что результаты голосования уже нельзя было скрыть. Свободное голосование давало мне право провести предварительную работу в кулуарах, и я занялся этим делом, не пройдя даже мимо секретарш, многие из которых начали тяготиться монастырской жизнью в казенных помещениях. Результаты голосования ошеломили Каугилла. Более чем две трети сотрудников высказались за Лондон. Хотя это голосование и не имело решающего значения, оно в значительной степени поколебало непреклонность Каугилла. Через несколько недель мы водворились в помещении на Райдер-стрит, в двух минутах ходьбы от МИ-5 и в пятнадцати от Бродвея. Когда мы приходили рано на работу, из окон видно было, как «Кваг-лино»[46] разгружается от омерзительных отбросов минувшего вечера. Мы прибыли как раз к «малому блицу»[47].

Теперь я должен вернуться на несколько месяцев назад и описать событие, которое оказало глубокое влияние на всю последующую деятельность английской разведки. Я имею в виду появление американцев. До войны у Соединенных Штатов не было регулярной разведывательной службы за рубежом. Федеральное бюро расследований ведало только вопросами внутренней безопасности. Секретная информация из других стран поступала в ограниченном количестве в результате

«сверхплановой» деятельности американских военных атташе и дипломатов, которые чувствовали себя менее связанными в этих делах, чем представители других стран, имевших для выполнения грязной работы регулярные секретные службы. Теперь хорошо известно из опубликованных материалов, что в Нью-Йорке в 1940 году был создан Британский координационный центр по вопросам безопасности под руководством Уильяма Стивенсона. Официально этот центр должен был заниматься обеспечением безопасности американских поставок в Англию, так как предполагалось, что лица немецкого происхождения, проживающие в Соединенных Штатах, — а таких было немало — станут устраивать широкомасштабные диверсии. Это предположение, однако, не подтвердилось, и Стивенсон, который был другом Черчилля и пользовался большей реальной политической властью, чем кто-либо другой в английской разведке, вскоре нашел новое применение своей неуемной энергии. Прежде всего он занялся организацией помех поставкам материалов в страны «оси» и их перевозкам на нейтральных судах. Британский координационный центр, пожалуй, организовал больше диверсий, чем вся колония уроженцев Германии в Соединенных Штатах. Но свои основные силы Стивенсон отдал реализации другой идеи: убедить американцев, что для США настало время иметь собственную разведывательную службу.

Стивенсон, как и многие другие, понимал, что создания такой службы в США не избежать. Размышляя о ближайшем будущем, Стивенсон пришел к выводу, что англичанам выгоднее вступить в дело при закладке фундамента: предложив свою помощь на ранней стадии, англичане заслужат тем самым право получать взамен разведывательную информацию, которая, как можно было ожидать, пойдет потоком благодаря богатым ресурсам США. Это открывало также возможность получать информацию через посольства Соединенных Штатов в тех странах, в которых Англия не имела больше своих представительств, таких, например, как вишистская Франция, Балканские страны и даже сама Германия. Как истый деятель высокого полета, Стивенсон не привык проверять почву на низких уровнях. Он сумел вызвать интерес к этому делу у самого Рузвельта и убедить президента, что у него, Стивенсона, и тех, кто его поддерживает, а именно УСО, МИ-5, а также СИС, имеется большой опыт, которым они могут поделиться. Таким образом, когда родилось Управление стратегических служб (УСС) во главе с генералом Доновеном, на высшем уровне уже предуматривалось тесное сотрудничество с англичанами. Окупился ли обмен во

время войны английского опыта на американские ресурсы, остается под вопросом. Не вызывает, однако, сомнения, что сотрудничество в конце концов обрекло английские службы на положение младшего партнера. И такое положение оставалось печальным фактом в течение многих лет. Когда позже ЦРУ связало правительство Соединенных Штатов глупейшими обязательствами по отношению к Нго Дин Дьему и стало объектом насмешек после событий в заливе Кочинос, СИС оставалось только беспомощно разводить руками.

К деятельности Стивенсона в Соединенных Штатах довольно неприязненно отнесся Эдгар Гувер. Скрытый намек Стивенсона на то, что ФБР не способно справляться с саботажем на американской территории, глубоко ранил Гувера, отличавшегося непомерным тщеславием. Гувер приходил в ярость, когда головорезы Стивенсона избивали или спаивали команды судов, доставлявших товары странам «оси». Однако настоящей причиной подозрительности и возмущения Гувера, от которых он так и не избавился, было то обстоятельство, что Стивенсон вел политическую игру в его собственной вотчине, и вел довольно умело. Гувер предвидел, что создание УСС вовлечет его в бесконечные споры по поводу юрисдикции. УСС будет соперничать с ФБР при распределении федеральных фондов. Оно уничтожит монополию ФБР на расследования. Создание этого учреждения было единственным серьезным поражением, которое претерпел Гувер в своей политической карьере. Он так никогда и не простил Стивенсону роль акушерки *и* няньки при появлении УСС.

Принятые на высшем уровне решения постепенно дошли и до Сент-Олбанса. Первый гость из Соединенных Штатов, некий Кимболл из ФБР, прибыл к нам вскоре после событий в Пёрл-Харборе. Кимболл говорил со скоростью пулемета, обвиняя военно-морской флот, армию, государственный департамент и Белый дом в игнорировании предупреждений ФБР о грозящем нападении японцев. Настоящей целью его визита (помимо ни к чему не обязывающих разговоров) было объявить, что Гувер решил назначить в Лондон под видом атташе по юридическим вопросам посольства Соединенных Штатов офицера связи для сотрудничества с МИ-5 и СИС. После отъезда Кимболла Каугилл с насмешкой говорил, что Гувер, очевидно, «намерен обойти Стивенсона». С большим основанием, чем обычно, Каугилл считал Гувера одним из тех злокозненных деятелей, которые используют разведку как лестницу для достижения своих политических целей. Каугилл предупреждал, что ко всем предложениям Гувера надо относиться весьма настороженно, а то

и вовсе отвергать их. Мне с трудом удалось сохранить лояльное отношение к Каугиллу, когда появился первый посланец Гувера. Им оказался Артур Тёрстон, человек весьма компетентный, работать с которым было очень полезно. У меня имелись все основания поддерживать с ним хорошие отношения, и он с радостью обменивался со мной контрабандной информацией. Тёрстон был слишком умен, чтобы долго оставаться у Гувера, и вскоре предпочел политические джунгли Индианы.

УСС не отставало от ФБР. После предварительных переговоров на высшем уровне с Доновеном, Брюсом и др. к нам назначили небольшую группу связи. Ее возглавил Норман Пирсон, поэт из Йеля. Компанейский малый, с неиссякаемым запасом анекдотов, Пирсон с нескрываемой иронией относился к своей организации: «Ух, такая сексапильная». Все прибывшие имели смутное представление о нашей профессии и не упускали случая заявить, что приехали учиться. Видимо, я слишком медленно усваивал тайны межведомственной политики, потому что искренне удивился, когда увидел, какое доверие оказывает американцам Каугилл. Он предоставил им возможность свободно пользоваться делами, сектора, включая материалы радиоперехвата, хотя неохотно и лишь в строго обезличенном виде давал их ФБР. Трудно было понять, почему англичане отказывали в информации такой профессиональной организации, как ФБР, и в то же время щедро предоставляли ее людям, которых сам Пирсон как-то назвал «кучкой дилетантов и бездельников».

Со временем ответ на этот вопрос прояснился. Гувер, оказывается, действительно хотел «обойти Стивенсона». Он невзлюбил Британский координационный центр и хотел подрезать ему крылья. Этого, в частности, можно было достигнуть, организовав связь с сектором V непосредственно в Лондоне, а не через центр Стивенсона. Кроме того, Гувер испытывал естественное желание сблизиться с МИ-5. Подобно отделу безопасности ФБР, МИ-5 была чисто контрразведывательной организацией. У МИ-5 были свои неприятности с СИС, а у Гувера — неприятности с УСС. И самое главное: поскольку МИ-5 действовала на британской территории, в представлении Гувера интересы этой организации не могли сталкиваться с интересами ФБР, юрисдикция которого ограничивалась Западным полушарием. Короче говоря, Гувер преследовал двойную цель: передвинуть центр сотрудничества из Соединенных Штатов в Англию и как можно теснее сблизиться с МИ-5.

Все это очень не нравилось Каугиллу. Он хотел бы взять обмен всей контрразведывательной информацией с

американцами в свои руки. Не сумев этого добиться, он решил свести обмен между ФБР и МИ-5 к минимуму. Официально Каугилл объяснял это тем, что МИ-5 может передать ФБР информацию, полученную от СИС, без должного внимания к сохранению секретности источников СИС. Я никогда не слышал, чтобы нечто подобное действительно случалось, однако аргументы Каугилла звучали в какой-то степени убедительно, а в условиях войны более или менее благовидный аргумент нередко считался достаточно веским. На самом же деле эти аргументы лишены были всяких оснований. Сам Каугилл красноречиво продемонстрировал это своим либеральным отношением к УСС. Если информация считалась слишком деликатной для того, чтобы передавать ее МИ-5 и ФБР, то уж, конечно, ее не следовало бы доводить до «кучки бездельников» Пирсона. Однако это делалось. Каугилл видел в УСС гибкий инструмент, воспользовавшись которым можно укрепить свои позиции в борьбе против как ФБР, так и МИ-5. Прочность позиции Каугилла в данном случае была очевидна: как бы Гувер ни бушевал, никто в Англии не мог оспаривать необходимость связи Каугилла с УСС. Попытка сделать это со стороны, например, МИ-5 означала бы, что МИ-5 присоединяется к той оценке УСС, которую дал Пирсон. Тонкости межведомственной дипломатии вставали неопреодолимым препятствием на пути истины.

Что касается моей работы по Пиренейскому полуострову, то с возникновением УСС у меня появились лишь новые заботы, а кроме того, много времени уходило на передачу наших сведений вновь прибывшим. Мы испытывали большие трудности, связанные с назначением сотрудников УСС в Лиссабон. Первым из них был некий Рей Оливера, который вскоре приобрел печальную известность. Он начал с того, что без всякого предупреждения явился к представителю СИС с предложением сотрудничать. Тот, естественно, попросил незнакомца предъявить документы. В ответ на это Оливера раскрыл саквояж и нахально продемонстрировал его содержимое: Бог знает сколько там было пачек долларов! Прибытие Оливеры вызвало большое замешательство и в посольстве Соединенных Штатов. Сразу же после вступления Америки в войну военный атташе в Лиссабоне полковник Солборг начал засылать в оккупированную Европу агентов через Испанию. Военно-морской атташе, естественно, сконцентрировал все свое внимание на флоте, а кто-то еще занялся экономической разведкой. Ко времени прибытия Оливеры все эти области разведки уже были захвачены, и никто не хотел уступать их ему. Затянувшуюся неразбериху в конце концов урегулировал Джордж Кеннан, бывший тогда советником

посольства в Лиссабоне. Он решил, что самое лучшее — это обеспечить приток разведывательной информации и не беспокоиться по поводу споров о юрисдикции в Вашингтоне. Таким образом, Солборг и остальные утвердились в своей недипломатической деятельности, а контрразведку, которой никто еще не занимался, подбросили Оливере.

У бедняги Оливеры, однако, оказалось мало времени, чтобы развернуться в своей ограниченной сфере деятельности. Он сразу же вызвал к себе всеобщую неприязнь в Лиссабоне, так что его пришлось заменить. На его место был назначен некий Ди Лючия, который вскоре тоже причинил СИС немало хлопот. За очень короткое время он составил, по его утверждению, картотеку на несколько тысяч подозреваемых — труд, который так и не принес никаких положительных результатов. Однако главная беда заключалась в другом: выяснилось, что одним из основных источников Ди Лючии оказался темный и опасный тип, действовавший в Португалии под фамилией Александер. Из материалов радиоперехвата было известно, что он передавал информацию абверу. Мы также узнали, вскрыв чешскую дипломатическую почту, что Александер работал и на полковника Пана, бывшего тогда представителем чешской разведки в Лиссабоне. Пришлось потратить несколько месяцев, чтобы придумать способ предупредить Пана, не раскрывая ему источника информации. С удивительной тупостью Пан отказывался принимать эти искренние предупреждения. «Вот дуб!» — раздраженно заметил однажды Дик Уайт после очередной безуспешной встречи. Чаша терпения переполнилась, когда Ди Лючия включил агента абвера Александера в список своих оплачиваемых агентов. После наших бесконечных предостережений УСС наконец отправило Ди Лючию вслед за Оливерой. УСС попросило нас предложить нашему человеку в Лиссабоне изложить свои соображения о том, какими, по его мнению, качествами должен обладать представитель УСС на таком бойком месте. Ответ последовал немедленно: «Ради Бога, скажите им, чтобы прислали человека по фамилии Смит». Вопреки желанию Каугилла я показал телеграмму Пирсону. Он сделал вид, что она его позабавила.

Во второй половине 1942 года пришла весть, что в принципе принято решение о вторжении в Северную Африку. На сектор V возложили обязанность своевременно поставлять информацию в штабы армий, готовившихся к вторжению. Материалы, которые предстояло посылать, должны были касаться деятельности абвера и итальянской военной разведывательной службы в Северной Африке, а также симпатизировавших им людей среди

специальных служб вишистского режима. Каугилл уввдел в этом и трудности, и новые возможности. Трудности заключались в обеспечении секретности источников сектора, в том числе и радиоперехвата, при передаче материалов армейским штабам. Каугилл успешно доказал, что это может быть достигнуто, только если придать штабам специальные труппы из сотрудников сектора V или людей, подготовленных этим сектором. Выиграв по этому пункту, Каугилл без труда доказал, что выполнять новые обязательства он сможет только при значительном увеличении ассигнований. Из этой битвы он тоже вышел победителем. В результате Каугилл смог расширить штат, а также повысить жалованье многим сотрудникам.

Мимоходом замечу, что расширение аппарата дало мне возможность установить приятнейшее знакомство с двумя людьми. Для усиления сектора V к нам вернулся Грэм Грин из Фритауна — считалось, что он следил там за интригами вишистской Франции. Да простит он меня за откровенное признание, но я не могу припомнить каких-либо его блестящих достижений в Западной Африке. Может быть, французы не вели интриг? Я помню, однако, совещание, где обсуждалось предложение Грина об использовании одного разъездного борделя для разложения французов и двух одиноких немцев, подозреваемых в шпионаже за английскими судами в Португальской Гвинее. Предложение обсуждалось вполне серьезно. Отвергли его лишь потому, что показалось маловероятным, чтобы оно помогло получить важные разведывательные данные. К счастью, Грина назначили ко мне в подсектор, где я поручил ему Португалию. Ему доставляло удовольствие поддевать УСС, а его едкие комментарии по поводу входящей переписки служили для всех ежедневным развлечением.

Примерно в это же время на нашем горизонте появился Малкольм Маггеридж. У него всегда был возмущеннорастерянный вид. Сначала его заслали в Лоренсу-Маркиш, слишком далеко, на мой взгляд. Его главным противником там стал итальянский консул Кампини, усердно доносивший о передвижениях английских кораблей. Я обрадовался, когда интерес сектора к Кампини иссяк и Маггериджа вернули назад, поручив ему заниматься различными аспектами французских дел. Его упорное неприятие политики дня (какой бы она ни была) вносило в нашу жизнь нечто человеческое.

За несколько недель до вторжения в Северную Африку Каугилл спросил, не возьму ли я на себя этот район. Прежде Северная Африка входила во французский сектор, но по

причинам, не очень мне понятным, было решено, что передача ее в мое ведение принесет только пользу. Я без колебаний принял предложение. Нам удалось к тому времени довольно основательно прижать абвер в Испании и Португалии, мы регулярно захватывали немецких агентов, и у меня не было оснований отказываться от дополнительных обязанностей. А кроме того, меня лично устраивала возможность быть ближе к активным боевым действиям. Расширение сферы моей деятельности в тот критический момент внушало надежду, что в дальнейшем, по мере продвижения союзных армий, круг моих обязанностей станет еще шире. Эта надежда со временем оправдалась.

Мои новые обязанности скорее носили политический, чем разведывательный характер. Вышеупомянутые специальные группы, должным образом сформированные и приданные армейским штабам, получили название специальных контрразведывательных подразделений, или СКП. Этот термин — безусловный американизм, уступка, вызванная тем, что верховное командование возглавлял американец. Нам раздали также новые штампы с грифом «Топ сикрет» вместо «Мост сикрет»[48]. Все это было лишь прелюдией к последующим событиям, но тогда англичане по своей наивности восторженно относились к своему «драгоценному Эйзенхауэру».

Однако основная наша работа, если можно так ее назвать за неимением лучшего слова, касалась в то время отношений с французами. В течение некоторого времени к сектору V был прикреплен деголлевский контрразведчик с весьма неопределенными функциями. К нему прикомандировали самую хорошенькую секретаршу на том основании, что она говорила по-французски, а в остальном держали его на почтительном расстоянии. Трудно сказать, что побуждало Каугилла сохранять сдержанность по отношению к Пасси, возглавлявшему деголлевскую разведывательную организацию — Центральное бюро информации и действий. Зато когда резко изменилась политическая ситуация и недавние враги Дарлан и Жиро стали друзьями, Каугилл с распростертыми объятиями встретил вишистского контрразведчика майора Пайоля. Майор на самом деле оказался очень приятным человеком, и его враждебное отношение к странам «оси» не вызывало сомнений. И все же я никак не мог понять, какую пользу интересам разведки приносило взятое Каугиллом обязательство защищать Пайоля от всех и вся. Возможно, Каугилл просто не мог относиться к нему иначе. Что из всего этого в конце концов получилось, я не знаю. Прежде чем это стало ясно, если стало ясно вообще, я ушел с

головой в проблемы итальянской кампании, а ситуация с Пайолем отошла на задний план.

Расширение Каугиллом в 1942–1943 годах круга моих обязанностей сначала передачей мне Северной Африки, а затем и Италии наводило на мысль, что я начинаю делать карьеру в Секретной службе. Это подтвердилось вскоре после нашего переезда в Лондон. До того в редкие периоды своего отсутствия — по случаю отпуска или по делам службы — Каугилл оставлял за себя своего заместителя Фергюсона. Фергюсон тоже пришел в сектор из индийской полиции и запомнился мне главным образом своей боязнью принимать решения. Однажды Каугиллу предстояло нанести официальный визит в Соединенные Штаты, где он предполагал пробыть две-три недели. Накануне отъезда Каугилл ознакомил всех сотрудников сектора V с приказом, который гласил, что в его отсутствие Фергюсон будет выполнять обязанности заместителя по административным вопросам, а я в таком же качестве буду ведать всеми разведывательными делами. Так мне впервые официально дали понять, что я стал на лесенку, ведущую к повышению. Бедный Каугилл!

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ

Один умный сотрудник МИ-5 написал однажды на документе: «Это дело исключительной важности, и поэтому его следует поручить низовым работникам». За две-три недели отсутствия Каугилла, находившегося в Соединенных Штатах, пока я сидел в его кресле, у меня было достаточно причин поразмышлять над этим изречением. Оно объяснялось не недоверием к высшим эшелонам. Просто ббльшая часть текущей работы оказалась относительно простой. Начальники других подсекторов явно вполне справлялись со своими задачами и не очень нуждались в моем руководстве. Но когда *я* занялся делами самого Ка-угилла, то столкнулся прямо-таки с чудовищной путаницей, и это послужило мне наглядным уроком того, насколько пагубно влияют ведомственные интриги на дела разведки. Такая неразбериха предвещала мне большую головную боль, и на этом стоит остановиться.

За несколько недель до отъезда Каугилл созвал специальное совещание начальников подсекторов. Он информировал нас, что вместе с Клодом Дэнси работает над одним делом. Дело имело большое потенциальное значение и такие серьезные политические оттенки, что Каугилл счел необходимым работать над ним лично. Однако, по мнению Каугилла, мы должны были иметь общее представление об этом деле на случай, если в нашей работе выявится что-нибудь, имеющее к нему отношение. И Каугилл сделал чрезвычайно туманное сообщение. Видимо, он был очень утомлен, так как говорил бессвязно, и нам трудно было уловить смысл. Мы только поняли, что какая-то враждебная служба готовит или уже подготовила некий гигантский план. Характер и цель этого плана пока не ясны.

— Я лично считаю, — сказал в заключение Каугилл и внезапно оживился, — что план имеет какое-то отношение к арабам. Когда бы я ни заглянул в это дело, *я вижу* арабов!

Ричард Хэнни[49] был снова с нами!

Через час или два я уже забыл об этом деле, но Каугилл напомнил о нем, когда инструктировал меня перед своим отъездом. Он вытащил из своего личного сейфа пухлую папку, передал ее мне *и* попросил заняться этими материалами в его отсутствие.

— Посмотри, что я тут сделал, — добавил он.

Каугилл сказал также, что мне следует поддерживать контакт с Дэнси, поскольку тот лично заинтересован в этом деле. Зная пренебрежительное отношение Дэнси к контрразведке и всей ее

работе, я очень удивился. Мне казалось странным, что у Дэнси сложились такие тесные отношения с Каугиллом в связи с данным делом, но я решил, что лучше об этом не спрашивать. Возможно, потрепанный в боях Каугилл начал чувствовать себя слишком одиноким, а в такой ситуации даже Дэнси мог оказаться приемлемым союзником. А может, они объединились против Вивьена и МИ-5? Такая комбинация могла иметь свой смысл с точки зрения ведомственных интриг. Когда же я открыл дело, мне сразу стало ясно, почему оно так привлекает Дэнси, и я стал его читать *с* нарастающим интересом. Читателю будет легче разобраться, если я расскажу всю историю в хронологическом порядке, а не в той последовательности, в какой она складывалась из документов дела. Право, мне самому понадобилось много времени, чтобы размотать клубок и уловить суть.

К концу 1943 года стало ясно, что страны «оси» идут к поражению, и многие немцы начали подумывать, стоит ли сохранять верность Гитлеру. В результате у ворот представительств союзников стали все чаще появляться перебежчики с предложениями о сотрудничестве и просьбами о политическом убежище. К этим предложениям и просьбам следовало относиться весьма осторожно в силу ряда причин. В частности, под видом перебежчиков Гиммлер мог засылать к нам шпионов. Англичане также не хотели давать советским руководителям повод думать, что они вступают в сделку с немцами: атмосфера была насыщена взаимной подозрительностью и опасениями, что кто-нибудь из партнеров может заключить сепаратный мир с немцами. Наконец, нельзя было поощрять людей, которые в последнюю минуту решили обратиться в новую веру и таким образом избежать военного трибунала. Английским представительствам дали строгие указания не давать никаких обещаний ни одному немцу без предварительной консультации с Лондоном.

Однажды некий немец явился в английскую миссию в Берне и попросил свидания с военным атташе, назвавшись ответственным работником Министерства иностранных дел Германии. Немец сказал, что привез с собой из Берлина чемодан, полный документов своего министерства. Услышав такое головокружительное заявление, атташе немедленно выставил немца за дверь. Его последующие попытки увидеться с главой миссии были отвергнуты подобным же образом. Такую позицию официальных английских представителей нельзя осуждать, так как казалось маловероятным, чтобы кто-нибудь набрался смелости пройти через немецкий пограничный контроль *с*

чемоданом, содержащим незаконно вывозимые официальные документы.

Немец, однако, был полон решимости добиться своего. Потерпев поражение в английской миссии, он попытал счастья у американцев. Их правила оказались, по-видимому, более гибкими, чем наши. Секретарь миссии, решив, что этим делом должны заняться «рыцари плаща и кинжала», предложил посетителю обратиться к Аллену Даллесу: «Четвертая дверь по коридору налево». Даллес был тогда главой бюро УСС в Швейцарии. Выслушав рассказ незнакомца, он благоразумно попросил разрешения посмотреть содержимое чемодана и без колебаний установил, что материалы подлинные. Все это привело Даллеса в лирическое настроение, которое не прошло, когда он начал готовить официальное донесение в Вашингтон. «Если бы вы только видели эти документы, — писал он, — в их первозданной свежести!»

С документов сняли копии и послали в Вашингтон, а УСС честно поделилось ими с СИС. Поскольку документы исходили из Швейцарии, их послали прежде всего Дэнси. Я уже говорил, что Дэнси проявлял большой интерес к Швейцарии еще с довоенных времен. Позже этот интерес превратился в неистовую одержимость собственника. Дэнси негодовал, что УСС обосновалось в Швейцарии, и не упускал возможности принизить работу Даллеса. Узнав, что берлинские документы попали к Даллесу, Дэнси, должно быть, пережил жестокий удар — об этом говорят его письменные замечания. Дэнси, однако, умел быстро оправляться от потрясений. Нельзя было признать, что Даллес урвал у него из-под носа такой сенсационный материал! Следовательно, материал был явной дезинформацией, и Даллес попался на удочку, как мальчишка.

Борьба с враждебными разведывательными службами, занимающимися дезинформацией, входит в функции контрразведки, поэтому Дэнси пригласил Каугилла обсудить это дело. Что происходило на их совещании, подробно не протоколировалось, но, безусловно, Каугилл ушел под впечатлением, что и в его интересах доказать подложный характер документов Даллеса. Каугилл, конечно, не изучал документы ни при их получении, ни после. Он был слишком занят и слишком утомлен, а ведомственные интриги заставили его играть на руку Дэнси. Каугилл почти окончательно отошел от Вивьена. Его отношения с шефом, хотя по-прежнему довольно хорошие, все-таки не были настолько близкими, как ему хотелось бы. А у Дэнси с шефом были очень тесные отношения, поэтому, доказав, что Даллеса надули, Каугилл надеялся извлечь немалую

пользу и для себя.

Такова была картина, составленная мной на основе беспорядочной переписки между Дэнси и Каугиллом. Мне пришлось немало поломать голову. Примерно в это же время у меня созрел один план, но он требовал осторожного подхода. Мне очень хотелось получить должность, которая вскоре освобождалась, и я не мог позволить себе испортить отношения ни с кем, кто бы мог оказать мне в этом содействие. Каугилл, Вивьен, Дэнси, МИ-5, Министерство иностранных дел, шеф — все они составляли части головоломки, и было чрезвычайно трудно с позиций моего относительно невысокого поста определить, как они поступят, когда для меня настанет время действовать. Правда, я уже давно пришел к выводу, что хотя политические маневры и могут быстро принести результаты, но эти результаты окажутся прочными лишь в том случае, если они основаны на солидной и добросовестной работе. Поэтому я решил изучить материалы Даллеса и оценить их по достоинству. Если они бесспорно подлинные или, напротив, подложные, я так и скажу. Если же после изучения документов нельзя будет сделать совершенно определенного вывода, я заново рассмотрю политические аспекты этого дела, прежде чем решить, на чью сторону встать.

Подавляющее большинство документов составляли телеграммы, полученные Министерством иностранных дел Германии от его представительств за границей. Значит, прежде всего мне следовало проверить у наших экспертов-шифровальщиков, не поступали ли к ним перехваченные телеграммы, совпадающие с материалами Даллеса. Из дела не было видно, чтобы была принята эта элементарная мера. Дэнси и Каугилл ограничились лишь беглым просмотром документов в поисках сомнительных мест и противоречий, чтобы подкрепить свою версию о их подложности. Памятуя об указании Каугилла поддерживать тесную связь с Дэнси, я долго думал, следует ли посоветоваться с ним о целесообразности обращения к шифровальщикам. Мне не хотелось этого делать, поскольку я считал, что Дэнси выступит против такого предложения. Еще раз просмотрев дело, я нашел адресованную Каугил-лу резолюцию Дэнси: «Передается для принятия действий, которые вы сочтете необходимыми». Теперь у меня было достаточно веское основание, чтобы поступать по собственному усмотрению.

К тому времени государственная школа кодирования и шифровального дела фактически разделилась на два отдела. Один — под руководством капитана 3-го ранга Трейвиса — занимался корреспонденцией разведывательных служб; другой —

под руководством капитана 3-го ранга Деннистона — имел дело с дипломатическими документами. Поскольку материалы Даллеса являлись документами Министерства иностранных дел Германии, мне следовало обратиться к Деннистону. Я отобрал ряд поразительных по содержанию телеграмм немецкого военного атташе в Токио, переданных в адрес германского Генерального штаба по дипломатическим каналам. В них содержались подробные сведения о боевом составе японских вооруженных сил и оценка намерений Японии на будущее. Всех телеграмм было около десяти. Ясно, что в случае их подлинности они представляли собой документы чрезвычайной важности.

Через два дня Деннистон позвонил мне по телефону. В его голосе сквозило волнение. Деннистон сообщил, что три телеграммы точно совпадают с перехваченными и уже расшифрованными, а остальные оказались крайне ценными для расшифровки немецкого дипломатического кода. Деннистон спрашивал, не могу ли я дать еще несколько таких документов. Я, конечно, мог и начал поставлять материалы Деннистону по мере того, как он успевал их обрабатывать. Когда примерно треть документов была изучена со все возрастающим числом совпадений и ложных среди них не оказалось ни одного, я понял, что обязан разослать эти материалы по соответствующему списку. Я передал их в наши секторы, поддерживавшие связь с Военным министерством и Министерством иностранных дел, сознательно принижая значение документов, так как не хотел, чтобы Дэнси преждевременно узнал, что происходит нечто необычное.

Военные министерства отреагировали немедленно. Представители армии, военно-воздушных и военно-морских сил — все умоляли прислать побольше такой информации. Министерство иностранных дел реагировало более сдержанно, но вполне вежливо. Я попросил соответствующие секторы получить от министерств отзывы на эти материалы в письменном виде, а Деннистона попросил написать докладную, подтверждающую подлинность документов на основе криптографического анализа. Мне необходимо было вооружиться для неизбежного столкновения с Дэнси. По счастью, я получил достаточно материала, чтобы начать действовать прежде, чем Дэнси услышит об этом деле из других источников. Я хотел сначала послать ему все документы по делу, чтобы подготовить его к удару, но потом отверг эту мысль, зная, что Дэнси не станет их читать. Тогда с некоторым трепетом я спросил его, когда он сможет меня принять.

Визит продолжался полчаса и был очень неприятным. Как и следовало ожидать, Дэнси пришел в ярость. Но его быстро

отрезвило то обстоятельство, что я изучил материалы, а он — нет. Докладная Деннистона также несколько охладила Дэнси. Он не понял доказательств, но вывод был ясен. Ярость его, однако, вспыхнула снова, когда он прочитал хвалебные комментарии министерств. С большим трудом взяв себя в руки, Дэнси прочитал мне нотацию. Даже если документы подлинные, то что из этого? Значит, я поощряю УСС в его стремлении переступать все границы в Швейцарии и вносить путаницу в дела разведки. Одному Богу известно, какой вред это может причинить. Такими вопросами должны заниматься лишь опытные работники, умеющие обходить ловушки. Если так поощрять УСС, оно может в считанные дни взорвать всю сеть Дэнси.

Когда Дэнси выдохся, произнеся свою тираду, я с почтительным изумлением спросил, какое, собственно, отношение к делу имеет УСС. Ведь я распространял эти документы не как материалы УСС. Даже наши собственные секторы, рассылающие разведывательную информацию, не говоря уже о министерствах, не знают, что УСС имеет к этому отношение. Они считают материалы *нашими,* они *нас* просят присылать их. По всей видимости, и похвалы достанутся тоже нам. Когда я в нерешительности замолчал, Дэнси в упор посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом.

— Продолжайте, — проговорил он наконец. — Вы не такой дурак, как я думал.

Когда вернулся Каугилл, я принес ему папку и рассказал обо всем, что сделал. Он сразу же встревоженно спросил, как отнесся к этому Дэнси. *Я* объяснил, что консультировался с Дэнси и что он одобрил мои действия. Облегченно вздохнув, Каугилл вернул мне папку и попросил продолжать работу. К моему удивлению, дело на этом не кончилось. Наш немецкий друг оказался бесстрашным человеком *и еще* несколько раз наведывался в Берн со своим бесценным чемоданом.

Тем временем благодаря нашей все возрастающей осведомленности работа моего подсектора, занимавшегося деятельностью немцев на Пиренейском полуострове, в Северной Африке и Италии, шла успешно. Немецких агентов вылавливали *с* монотонной регулярностью, и, насколько мне известно, ни одна важная птица не ускользнула из нашей сети. Помимо всего прочего, в наших руках находился главный ключ к намерениям немцев: мы регулярно читали их радиограммы. Хотя испанское правительство и предоставляло немецким службам широкие возможности, а Салазар оказывал им дружеское гостеприимство, очень немногие испанцы и португальцы изъявляли готовность ставить себя под удар во имя фашизма. Если же кто и соглашался

выполнить задание немцев, то лишь для того, чтобы выбраться из Европы или попасть в Англию.

В качестве наглядного примера можно назвать дело Эрнесто Симоеса. Из немецких радиограмм мы узнали, что абвер завербовал Симоеса в Лиссабоне для работы в Англии. В одежде он спрятал инструкции, заделанные в микрофототочки. Переписку с ним предполагалось вести по почте. После консультации с МИ-5 было решено позволить Симоесу некоторое время действовать в Англии свободно, надеясь, что он может навести нас на других немецких агентов. Ему не чинили никаких препятствий по прибытии и даже незаметно оказывали помощь в устройстве на работу на завод в Лутоне, производивший детали для самолетов. Информация, которую он мог там почерпнуть, представляла достаточный интерес для агента, и в то же время не было большой опасности, если бы какие-то из его сообщений случайно проскользнули к немцам. Симоеса поместили у одной супружеской пары — муж работал на том же заводе. За передвижениями агента было установлено наблюдение, а его корреспонденция просматривалась.

За несколько дней в поведении Симоеса наметился определенный ритм. После гудка он вместе с хозяином своей квартиры уходил с завода и благополучно доводил его до ближайшей пивной. Затем со всех ног Симоес спешил домой, откуда не выходил до следующего утра, когда вместе с хозяином шел на работу. Оставалось лишь установить, почему агент так спешит домой. После тщательного наблюдения было найдено совершенно удовлетворительное объяснение. Каждый вечер, добравшись до дому, он быстро осчастливливал хозяйку своим вниманием (почему-то под кухонным столом — невероятно, но так утверждали агенты!), а затем с аппетитом ужинал и шел спать.

Через несколько недель было решено прекратить комедию. Симоеса арестовали. Стремясь избежать всяческих случайностей, его отправили в «строгий» следственный центр на Хэм-Коммон и напустили на него Томми Харриса. По натуре Харрис не мог быть с кем-либо по-настоящему строгим, но тут он старался как мог. Харрис объяснил Симоесу, что тот находится в тюрьме английской Секретной службы, что он вне досягаемости закона, что консульство не знает о его местонахождении и никогда не узнает, что он может остаться здесь на всю жизнь, если ему сохранят ее, что его могут морить голодом, бить, убить и никто никогда об этом не узнает. Единственная надежда для него — полное признание в шпионаже на немцев. Харрис говорил и многое другое в таком же роде, пока его разыгравшееся

воображение не прошлось по всей гамме чувств. Харрис потом признался мне, что нарисовал такую леденящую кровь картину, от которой ему самому стало страшно.

Все это Симоес слушал *с* нарастающим нетерпением и время от времени с раздражением заявлял, что он голоден и хочет есть. Однако примерно через час допроса он принял решение. Попросив бумагу и ручку, Симоес нацарапал на двух страницах показания о контактах с немцами в Лиссабоне, включая инструкции, микрофототочки и все остальное. Он объяснил, что не имел ни малейшего желания подвергать себя опасности и что единственной его целью было найти хороший заработок в Англии, куда он не мог бы добраться без посторонней помощи. Харрис увидел, что показания Симоеса во всех деталях совпадали с уже известными нам сведениями. Но он не успел ничего сказать, так как Симоес, кончив писать, бросил ручку и воинственным тоном спросил: «Ну а теперь мне дадут что-нибудь поесть?»

Другое дело, тоже связанное с португальцем, интересно как иллюстрация тех сложностей, с какими приходилось сталкиваться, когда принимались меры по информации, полученной из особо щекотливых источников. Рогерио Пейксото де Менезес, клерк из Министерства иностранных дел Португалии, был прислан на работу в португальское посольство в Лондоне. Англичане узнали, опять же из перехваченных немецких радиограмм, что перед выездом из Лиссабона его завербовал абвер. Ему поручили собирать разведывательную информацию общего характера и предложили, пользуясь тайнописью, направлять корреспонденцию через португальскую дипломатическую почту по определенным адресам в Лиссабон. Для нас это не представляло трудности, ибо португальская почта регулярно вскрывалась перед отправкой из Англии. Через несколько недель в дипломатической почте обнаружили конверт на имя одного из адресатов Менезеса. Это было донесение, написанное простыми симпатическими чернилами. В нем по-дурацки комментировалось моральное состояние англичан, сообщалось о зенитных батареях в Гайд-парке и содержались другие пустяки. Однако даже такая мелюзга, как Менезес, могла когда-нибудь наткнуться на нечто важное, и поэтому было решено пресечь его деятельность.

Однако Менезес мог прикрыться дипломатической неприкосновенностью, поэтому прежде всего необходимо было убедить португальского посла сеньора Монтейро лишить Менезеса этой привилегии. Однако единственное доказательство против Менезеса было добыто недипломатическими средствами, и это удерживало английскую контрразведку от решительного

шага. Наконец решено было показать письмо Менезеса послу, объяснив, что оно поступило от английского агента в Лиссабоне. Монтейро, прочитав письмо, практически не мог настаивать на иммунитете для Менезеса, и последний предстал перед судом. Менезес имел жалкий вид, и некоторые из нас до самого вынесения приговора испытывали угрызения совести, поскольку формально обвиняемого могли приговорить к смертной казни, К счастью, судья попался мягкий: у нас не было оснований раздражать португальцев. Закончилось дело, однако, неприятнейшей неожиданностью. В шифртелеграмме с комментариями по делу (которую мы тоже прочитали) посол Монтейро изложил нашу версию обстоятельств, при которых письмо попало к нам, а затем заявил, что, возможно, в отношении дипломатической почты была допущена «нескромность».

Присутствие дипломатов нейтральных стран доставляло постоянные хлопоты английской службе безопасности. Одна загвоздка возникла с послом Испании герцогом Альбой. Мы имели постоянный доступ к испанской дипломатической почте и узнали, что Альба периодически направляет в Мадрид доклады исключительно высокого качества о политической обстановке в Англии. В Англии не сомневались, что Министерство иностранных дел Испании знакомит с ними своих немецких союзников, и потому эти доклады являлись действительно серьезной утечкой информации. Однако ничего нельзя было сделать. Доказательств, что герцог получает информацию недозволенными методами, не было. Альба общался с осведомленными людьми и просто передавал сказанное ими с собственными проницательными комментариями. Одно время МИ-5 вынашивала идею использовать Альбу в качестве канала для дезинформации, однако его информаторы занимали слишком высокое положение. Среди них были такие люди, как Брендан Брэкен, Бивербрук и даже сам Черчилль. Вряд ли они снизошли бы до обмана испанского гранда! Мой подсектор вынужден был оставить это Дело. Приходилось лишь надеяться, что, поскольку доклады Альбы были выдержаны в дружественном к Англии тоне, Гитлер перестанет верить ему как неисправимому англофилу. В конце концов, Альба был также и герцогом Бервикским.

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА

В конце четвертой главы я упоминал, что у меня, казалось, появились возможности для продвижения по службе. В связи *с* этим мне вспоминается эпизод, о котором неприятно будет читать, так же как мне неприятно писать. Первые возможности успешной карьеры в СИС совпали с открытием вакансий в специфической сфере деятельности, которую я никак не мог упустить.

Задолго до окончания войны с Германией руководство СИС стало обращать свои мысли к будущему противнику. В период между двумя мировыми войнами большая часть ресурсов Службы расходовалась на операции по проникновению в Советский Союз и на защиту Англии от того, что обобщенно именовалось «большевизмом», имея в виду советское правительство и мировое коммунистическое движение. Когда поражение стран «оси» стало неминуемым, мысли СИС вернулись в старое, привычное русло. Скромное начало было положено созданием небольшого сектора IX для изучения прошлой деятельности Советского Союза и коммунистов вообще. Руководителем сектора назначили сотрудника МИ-5 по фамилии Карри, который уже приближался к пенсионному возрасту. Он был глухой и не знал специфики работы СИС. Кроме того, обстановка исключительной секретности, которой его окружили, мешала ему получать документы, имеющие отношение к его работе. Впрочем, все понимали, что Карри назначили временно и что, как только сократится объем работы против Германии, его заменят кадровым сотрудником СИС.

Последующие недели почти все мои беседы с коллегой из Москвы сводились к обсуждению будущего сектора IX. Я написал несколько бумаг по этому вопросу, и мы проанализировали их во всех деталях. Сложившаяся ситуация, как мне тогда представлялось, могла иметь два решения: либо после отставки Карри его заменят другим человеком, либо сектор IX сольют с сектором V. Каугилл не сомневался, что будет принято второе решение. Он с воодушевлением говорил о том времени, когда мы избавимся от старины Карри и по-настоящему развернем работу против коммунизма. Я не сомневался, что при нормальном течении событий он окажется прав. После поражения стран «оси» наступит режим экономии и штаты СИС будут резко сокращены. Казалось почти невероятным, чтобы в новых условиях сохранили два контрразведывательных сектора: один — для решения крайне важной проблемы, какую представляли собой Советы, и другой —

для менее значительных дел вроде неофашизма. Несомненно, будет оказано давление с целью объединить эти два сектора, и тогда Каугилл, как старший по службе, будет бесспорным кандидатом на пост начальника объединенного сектора.

Мой советский связной интересовался, не предложат ли мне руководство сектором. Я считал, что, вероятно, предложат. «Но можно ли это сказать наверняка?» — настаивал он. Категорически утвердительного ответа я, конечно, дать не мог. Коридоры Бродвея были полны слухов о послевоенной более или менее основательной реорганизации, и невозможно было предугадать, какие изменения произойдут в штатах Службы в мирное время. Меня могли, например, послать за границу для приобретения опыта работы на месте. Мы обсуждали эту проблему на нескольких встречах. Наконец, советский коллега задал мне прямой вопрос: а что, если пост начальника сектора предложат не Каугиллу, а мне? Я ответил, что такое значительное продвижение по службе даст мне возможность больше влиять на ход событий, в том числе и на мои назначения в будущем. По-видимому, мой связной был удовлетворен моим ответом и сказал, что к следующей встрече надеется привезти мне определенные инструкции.

Он их и привез. Центр сообщал, что я должен сделать все, абсолютно все, чтобы добиться назначения начальником сектора IX, независимо от того, будет он впоследствии слит с сектором V или нет. В Центре понимали: это означало, что Каугилл должен уйти. Я попытался возразить, что именно неучастие в ведомственных интригах помогало мне до сих пор получать доступ во многие сокровенные уголки Службы. Однако этот довод признали неубедительным. Важность нового поста стоила временной потери репутации. Кроме того, мой друг совершенно справедливо заметил, что через несколько месяцев все забудут и о Каугилле, и о том, как он ушел. Он был прав, но я все же испытывал угрызения совести. Я уважал Ка-угилла и многим был ему обязан. Однако он стал препятствием на предначертанном мне пути и должен был уйти с дороги. Я не мог отрицать, что, если он останется, у него не будет серьезного конкурента в борьбе за должность начальника сектора IX, так же как и у меня не будет серьезных соперников, если он уйдет.

Хотя мои советские друзья и не сочли решающим фактором мое нежелание ввязываться в ведомственные интриги, Центр не оставил без внимания мои соображения. Мне было рекомендовано очень осторожно вести кампанию против Каугилла. Детали предоставляли на мое усмотрение, дав лишь следующие указания: мне не рекомендовалось предпринимать

какие-либо открытые действия для достижения своей цели, чтобы в случае неудачи можно было показать, что этот пост мне навязали. Каждый ход в кампании должен по мере возможности исходить от другого лица. Иными словами, мне нужно найти союзников в борьбе за свое дело, и лучше всего их искать среди врагов Каугилла, а их было немало, и время не уменьшило их злости. Я понимал, что в такой обстановке мои надежды были не такими уж шаткими, особенно потому, что Каугилл был человеком гордый и честолюбивым. Если он упадет, то ударится больно.

Прежде всего я подумал о полковнике Вивьене, несмотря на все его слабоволие. Он был заместителем начальника Секретной службы и непосредственным начальником Каугилла. Формально Вивьен отвечал за всю контрразведывательную деятельность СИС. Я уже говорил, что Каугилл презирал Вивьена за его слабоволие, не считался с ним и предпочитал иметь дело непосредственно с самим шефом. Такое пренебрежительное отношение глубоко ранило Вивьена. В прошлом он не раз плакался мне в жилетку, жалуясь на утрату влияния, чем ставил меня в неловкое положение. Теперь же я был рад этим сентиментальным сценкам, и очень скоро Вивьен стал спрашивать меня, совсем не по рангу, как быть с Каугил-лом. Ясно, что я не вправе был обсуждать с ним такой вопрос, но мог посоветовать направить свои жалобы тем. кто стоит ближе к истокам власти. Предлагать ему поставить вопрос перед шефом было бесполезно. Вивьен боялся шефа почти так же, как Каугилла. Были, однако, другие люди, которые пользовались расположением шефа или с которыми ему приходилось считаться.

Наиболее подходящим из них был Кристофер Арнольд-Форстер. Когда я впервые поступил в СИС, он состоял в военно-морском секторе, обрабатывая разведывательную информацию для адмиралтейства. Шеф поместил его тогда в кабинет напротив своего, дав ему должность старшего штабного офицера. Возможно, впоследствии шеф пожалел об этом назначении, но фактически оно было одним из самых удачных. Арнольд-Форстер обладал ясным умом и необыкновенной способностью уловить порядок в бюрократическом хаосе. Кроме того, он отличался прекрасным стилем письма и речи. Он был также одним из самых мужественных людей, каких мне довелось встречать. Большую часть рабочего дня Арнольд-Форстер мучительно задыхался, сидя за столом, уставленным пузырьками с разными желудочными лекарствами. Я считал, что если он с его умом займется нашей проблемой, то очень скоро поймет недопустимость положения, когда руководитель контрразведывательного сектора СИС

постоянно находится на ножах с МИ-5. Одно дело — временно терпеть это в трудных условиях войны, и совсем другое — бесконечно затягивать такое положение в мирное время. Если Арнольд-Форстер вникнет в суть дела, я почти не сомневался, что он даст ему правильный поворот.

Однако как это донести до него? Лучше всего, если Арнольд-Форстер услышит авторитетное мнение о Кау-гилле из МИ-5. Но от кого? Я отверг Дика Уайта: он был слишком склонен угождать всем и каждому. Уайт мог только ослабить удар. Для этой цели гораздо больше подходил Гай Лидделл. Он был начальником Уайта и работал в МИ-5 так долго, что казалось, будто он сам и есть МИ-5. Лидделл всегда высказывался прямо и мог быть непреклонным. Соответственно, когда Вивьен в следующий раз вновь заговорил о Каугилле, я сказал, что мне нечего предложить, но, думаю, лучше всего посоветоваться с Арнольдом-Форстером. Полезно также организовать встречу Арнольда-Форстера с Гаем Лидделлом. Вивьен медленно переваривал идею, но постепенно оценил ее и решительно заявил:

— Знаете, Ким, я так и сделаю!

Как они устроили встречу, не знаю. Вивьен был членом клуба «Восточная Индия и спорт», но вряд ли они обедали там: готовившееся в клубе в военное время карри с картошкой могло бы убить Арнольда-Форстера. Увидев Вивьена в следующий раз, я понял, что все, по-видимому, идет как надо. Вивьен хитро улыбнулся и сказал:

— Мне кажется, встреча действительно открыла глаза Крису!

Еще более важным был звонок от Арнольда-Форстера: он приглашал зайти к нему, «когда я буду свободен». Он был слишком корректным и не ставил вопрос ребром. У нас состоялся продолжительный разговор о СИС вообще и ее будущем, об имеющихся возможностях улучшения работы и необходимых преобразованиях соответственно новым условиям приближающегося мирного времени. Арнольд-Форстер, очевидно, оценивал меня, и я старался, насколько мог, быть разумным и откровенным. Имя Каугилла ни разу не былд упомянуто.

Далее мне предстояло завербовать сторонников в Министерстве иностранных дел, с которым мы часто имели дело, особенно в связи с дипломатическими протестами Франко и Салазару против деятельности немецкой разведки на Пиренейском полуострове. Во время войны установилась практика прикомандировывать представителя Министерства иностранных дел к Бродвею, чтобы, так сказать, взаимно обогащать обе службы и способствовать лучшему пониманию целей и стиля работы друг друга. Первым представителем

Министерства иностранных дел был назначен Патрик Рейли, и он все еще служит в Бродвее сейчас, когда я пишу эти строки. Я часто имел с ним дело в связи с махинациями немцев в нейтральных странах, и у меня не было причин считать, что он плохо ко мне относится. Однако я не знал, есть ли какие-либо серьезные разногласия между ним и Каугиллом, достаточные для того, чтобы считать Рейли моим союзником. Однако мне светила моя счастливая звезда. Каугилл, который иногда, казалось, был склонен к самоуничтожению, избрал именно этот критический период, чтобы попытаться ввязать шефа в абсолютно ненужный скандал с Эдгаром Гувером. Такой скандал, несомненно, мог бы повлиять на англо-американские отношения в целом, поэтому на сцену выступил Рейли, который резко высказался о политическом здравомыслии Каугилла.

Впервые я услышал об этом, когда меня дрожащим от напряжения голосом вызвал Вивьен. Он показал мне проект письма на двух страницах, которое Каугилл дал на подпись шефу. Не могу припомнить, в чем именно состояла суть дела. Видимо, словесная невоздержанность Каугилла затмила у меня в памяти содержание письма; Проект представлял собой тираду, направленную против обычной для Гувера практики приносить интересы разведки в жертву своим политическим целям в Вашингтоне. Конечно, в словах Каутилла было много правды, но такие вещи не излагают на бумаге, тем более в переписке между главами служб. В конце проекта Рейли написал краткое заключение: «Полагаю, что проект полностью неприемлем. Если он будет послан, начальник английской разведки окажется в нелепом положении». Рейли Попросил Вивьена переписать письмо. Вивьен же, в свою очередь, предложил мне подготовить, так сказать, проект ответа; Я набросал примерно палстраницы, лишь слегка, в вежливых выражениях коснувшись предмета спора, и мы вместе понесли проект к Рейли. Он передал его без изменения секретарям шефа, и я их покинул. На следующий день Вивьен сообщил мне, что у него состоялся «очень интересный разговор с Патриком».

Почва была подготовлена. Вивьен, заручившись надежной поддержкой, жаждал крови Каугилла. *И Арнольд-Форстер,* находясь под впечатлением враждебного отношения МИ-5 к Каугиллу, постарался, чтобы шеф обратил должное внимание на позицию МИ-5. А МИ-5 занимала твердую позицию. За исключением Дика Уайта, который сам был человеком любезным, остальной аппарат МИ-5 знал Каугилла только как противника в межведомственной борьбе. Даже Уайт добродушно называл его «трудным малым». На Каугилла надвигались тучи и со стороны

Блетчли. Каугилл всегда считал, что руководители Государственной школы кодирования и шифровального дела оспаривают его контроль над материалами немецкого радиоперехвата. Вскоре после нашего возвращения в Лондон из Сент-Олбанса Каугилл сцепился с двумя ответственными работниками школы — Джонсом и Хастингсом. Был очень неприятный случай, когда Джонс серьезно унизил (если не сказать, разнес) Каугилла в присутствии начальников его же подсекторов. Оба придерживались бескомпромиссных и противоположных точек зрения. Однако Джонс был гораздо лучше подготовлен к спору, чем Каугилл. Не хочу сказать, что школа шифровального дела принимала активное участие в кампании против Каугилла. Она была слишком далека от этого, но через собственную сеть информаторов шеф хорошо знал, что шифровальщики по-философски отнесутся к уходу Каугилла.

В довершение всего меня вызвал Вивьен и предложил прочитать объяснительную записку, которую он написал на имя шефа. Записка была необычно длинной и расцвечена цитатами из «Гамлета». В ней излагалась печальная история ссор Каугилла и доказывалась необходимость радикальных перемен, прежде чем мы перейдем к работе в условиях мирного времени. Мое имя называлось в качестве преемника Карри. Кандидатура Каугилла на этот пост категорически отвергалась. Мое же соответствие этой должности объяснялось в лестных выражениях. Как ни странно, но, перечисляя мои достоинства, упустили мое самое важное для данной работы качество — то, что я кое-что знал о коммунизме.

Для меня это означало конец борьбы. Вивьен не посмел бы представить шефу такое серьезное предложение без благословения Арнольда-Форстера, а Арнольд-Форстер не. дал бы благословения, не подготовив предварительно почву для благоприятного принятия предложения. Сам факт, что записка была отпечатана и готова к докладу, свидетельствовал, что шеф рискнул пойти на крупный откровенный разговор с Каугиллом, вплоть до принятия его отставки. Я почти не сомневался, что в ближайшее время меня пригласят на беседу к шефу. Но мне следовало сделать последний шаг перед вызовом. И я какое-то время обдумывал, как его сделать.

Дело в том, что карьера в. Секретной службе не поддается предсказаниям и чрезвычайно рискованна. Всегда возможны какие-то ошибки. С мелкими неудачами я легко бы справился сам, но в случае большой беды мне не хотелось зависеть только от лояльности моих коллег по СИС. Самое опасное, когда сотрудников секретных служб обвиняют в неблагонадежности или связанных с этим нарушениях, которыми занимается уже МИ-5. Я

полагал, что на случай какого-либо провала в моей новой работе было бы неплохо официально подключить МИ-5 к моему назначению. Хорошо бы получить письменное заявление от МИ-5, одобряющее это назначение! Вряд ли, однако, я мог сказать об этом шефу. Короче говоря, нужно было найти подходящую формулировку. После мучительных раздумий я счел, что лучше всего использовать непомерное пристрастие шефа к межведомственным интригам.

— Последовал вызов. В святилище тайн я пришел не впервые. Но на этот раз мисс Петтигру и мисс Джонс, секретарши шефа, были особенно любезны, пока я сидел в приемной в ожидании зеленого света. Зеленый свет загорелся, и я вошел. Шеф впервые назвал меня Кимом — значит, никаких осложнений не произошло. Он показал мне записку Вивьена, и я из вежливости сделал вид, будто читаю ее. Шеф сообщил, что решил поступить согласно предложению Вивьена и сделать меня преемником Карри. Имею ли я что-либо сказать на это? Имею. Пустив в вход прием вроде «надеюсь, что я не говорю ничего неуместного, сэр», я сказал, что назначение предлагается мне, вероятно, из-за хорошо известной неуживчивости Каугилла с его коллегами из МИ-5. Я выразил надежду, что постараюсь избежать таких ссор в будущем. Но разве можно все предвидеть? Я бы чувствовал себя более счастливым на этой работе, если бы знал наверняка, что сотрудники МИ-5, с которыми я буду иметь дело ежедневно, не возражают против моего назначения. Это позволило бы мне чувствовать себя более уверенно. Кроме того, одобрение МИ-5, высказанное официально, будет эффективно защищать нашу Службу от возможной критики со стороны этой организации в будущем.

Я еще не договорил до конца, как понял, что шеф с явным одобрением уловил мою идею. Он умел чрезвычайно быстро разглядывать лазейки в бюрократических джунглях. Критики шефа не раз говорили, что только его способность к тактическим маневрам помогла ему удержаться на желанном для многих посту, контролирующем секретные фонды. Выслушав меня, шеф горячо и убежденно стал доказывать необходимость того, что я сам предложил. Он расстался со мной очень тепло, пообещав без промедления написать сэру Дэвиду Петри (начальнику МИ-5). Я покинул шефа в надежде, что он будет утверждать и, возможно, даже наполовину поверит, что вся заслуга в выдвижении этой идеи принадлежит ему. Вскоре Петри прислал очень дружественный ответ. Шеф был доволен. И я тоже.

Пускаясь в эту интригу, я надеялся, что Каугилл уйдет сам. Он так и сделал. Как только стало известно о моем назначении,

он потребовал встречи с шефом. Мне не известны подробности их беседы, но Каугилла я больше никогда не видел. Он подал в отставку, и ее приняли. Это была роковая ошибка Каугилла. По прошествии не многим более года секторы V и IX были объединены под моим руководством. Каугилл больше не стоял на моем пути. Если бы он согласился на короткое время остаться в тени, то, безусловно, нашел бы другую достойную работу в Службе. Но он привык летать высоко. Надеюсь, я сумел показать, что Каугилл был гордым и импульсивным, слишком самонадеянным для человека своих способностей.

Через два-три дня я принимал дела у Карри. Боюсь, я проявил при этом излишнее нетерпение. Я предложил шефу для упорядочения статуса нового сектора IX составить проект положения о нем за его подписью. Не помню точных формулировок, но согласно проекту мне поручалось под руководством шефа собирать и оценивать информацию о разведывательной и диверсионной деятельности Советского Союза и коммунистов во всех частях света за пределами британской территории. Мне вменялось также в обязанность поддерживать тесную связь с МИ-5 для осуществления взаимного обмена информацией по этимвопросам. Шеф добавил заключительную статью: я ни в коем случае не должен иметь дело со спецслужбами Соединенных Штатов. Война еще не закончилась, и Советский Союз считался союзником Англии; Ни под Каким видом нельзя было рисковать утечкой информации. Шеф имел в виду возможность утечки информации из американских спецслужб к русским. Ситуация получалась поистине пикантная!

ОТ ВОЙНЫ К МИРУ

Переход в сектор IX означал переезд с Райдер-стрит в Бродвей-билдингс. Я был доволен этой переменой по нескольким причинам. Начиная с лета 1943 года, когда мы переехали из Сент-Олбанса в Лондон, я имел легкий доступ к самому сердцу СИС, а теперь я сидел в ее центре, в наилучшей позиции, позволявшей мне улавливать все новости разведки и изучать людей, которых я встречал в коридорах. Кроме того, Сент-Джеймс-парк отделял теперь меня от сотрудников контрразведки УСС. Дело в том, что когда сектор V переехал в свое помещение на Райдер-стрит, Пирсон и его коллеги — при помощи Каугилла — получили место в том же здании. Они изводили нас своими дрязгами, хотя иногда и развлекали. Грэм Грин вспоминал в одной газетной статье, что в УСС была картотека, которая никак не запиралась. Так вот, чтобы успокоить бдительных дежурных офицеров, которые проводили регулярный осмотр помещения по вечерам, Пирсон, опять же с одобрения Каугилла, украсил шкаф с карточками обезоруживающей надписью: «Считать шкаф запертым».

Как я уже объяснял, мне с самого начала было запрещено иметь какие-либо дела с американцами. Пирсон прекрасно знал об этом. Но это не мешало ему досаждать мне своим назойливым вниманием. Для меня было лучше быть от него подальше, высоко на седьмом этаже Бродвей-билдингс.

Поначалу меня полностью поглотили повседневные дела: подбор людей, служебные помещения, оборудование и тд. Читатель может подумать, что я не с того начал, что сначала мне следовало разобраться в масштабах стоявших передо мной проблем, а тогда уже набирать штат. Но такой образ мыслей противоречит закону Паркинсона. Я не сомневался, что всеща смогу расширить задачи сектора, чтобы работы хватило всем. Важно было найти хороших работников, пока это было еще возможно. В условиях экономики мирного времени, которое уже приближалось, будет гораздо легче избавиться от лишних сотрудников, чем найти людей для заполнения возможных в будущем вакансий.

Сектор IX при Карри состоял из четырех сотрудников — он сам, две девушки *и* один полоумный. Одна из девушек была очень милой особой из Женской вспомогательной службы ВМС, и я оставил ее. Другая была довольно странной: она пришла к нам из цензуры, и я почувствовал облегчение, когда вскоре после моего вступления в должность она получила ожог роговицы, наблюдая солнечное затмение, *и* вынуждена была покинуть нас. Полоумным

был некто Стептоу из Шанхая, который в период между войнами отвечал по линии СИС за весь Дальний Восток. Как это могло случиться, для меня и сейчас остается загадкой: мне трудно поверить, что он мог продержаться на любой работе хотя бы. неделю. Стептоу был навязан Карри Вивьеном, по-видимому, в память о старых временах. Но я не постеснялся в данном случае пойти против Вивьена: в конце концов, он уже сыграл свою роль. К счастью, Стептоу сам вырыл себе яму. По предложению Вивьена его послали в командировку по резидентурам СИС на Средиземном море, чтобы рассказать о задачах сектора IX. Поездка закончилась полным провалом, так как многоопытный Стептоу вел себя с такой бросающейся в глаза таинственностью, что некоторые из наших оперативников с большим трудом могли поверить в его принадлежность к Секретной службе. В Бродвей поступило немало необычных писем и телеграмм с запросом о подлинности его полномочий. Вооружившись таким материалом для поддержки своего предложения, я без труда убедил шефа, что его Служба мало потеряет, если он отправит Стептоу на пенсию. Последний ушел от нас, получив в качестве утешения письмо за подписью Вивьена, в котором в высокопарных выражениях говорилось о его прошлых заслугах и выражалось сожаление по поводу его увольнения.

Я не испытывал сожаления, лишившись двух членов малочисленной команды Карри. Положение с кадрами становилось с каждым днем легче по мере продвижения союзников в Европе. Офицеры, работавшие в секторах наступательной разведки, видели, что объекты для их работы быстро исчезают. Специалисты контрразведки, действовавшие против секретных служб стран «оси», понимали, что у них скоро не будет противника. Я оказался в завидном и необычном положении. Вместо того чтобы драться за кадры, я сам стал объектом обхаживаний со стороны желающих поступить в мой сектор, в том числе и таких, которых я не собирался брать. Короче говоря, что касается рабочей силы, то конъюнктура на рынке складывалась в пользу покупателя.

Круг лиц, из которых подбирались кадры, делился на четыре категории. Были никчемные люди, на которых я не терял времени. Было много таких — и среди них очень способные, — которые хотели лишь одного: вернуться к мирной деятельности, *и* чем скорее, тем лучше. Я попытался уговорить некоторых из них изменить свое решение и остаться на службе, но, насколько я помню, лишь в одном случае добился успеха. Затем был ряд опытных офицеров старшего поколения, которые хотели остаться в своих креслах и получать жалованье еще несколько лет в

ожидании отставки. Наконец, было десятка два более молодых людей приблизительно моего возраста, плюс-минус пять лет, которые приобрели вкус к разведывательной работе во время войны и горели желанием сделать ее своей карьерой.

Четвертая категория привлекала меня больше всего, и я уделил этим людям основное внимание. Когда сектор был наконец укомплектован, большинство офицеров оказалось значительно моложе 40 лет. Но, конечно, было бы неразумно подбирать лиц только одной возрастной группы, так как это создало бы проблемы для продвижения по службе. Поэтому я взял несколько человек старшего поколения, которые через короткое время должны были уйти в отставку и освободить вакансии для более молодых. Самым известным из них был Боб Кэрью-Хант, которому я поручил подготовку общих материалов о коммунизме. Он обладал большим преимуществом, будучи человеком образованным, но красноречием не отличался. Со временем Боб стал признанным авторитетом в вопросах коммунизма и пользовался большим спросом как консультант и лектор не только в Англии, но и в Соединенных Штатах. Потом он говорил, что намеревался посвятить мне свою первую книгу под названием «Теория и практика коммунизма», но решил, что такая честь может поставить меня в неловкое положение. И в самом деле, я оказался бы в очень неловком положении по целому ряду причин.

В самый разгар моей кампании по подбору кадров Вивьен сказал мне, что освободилась Джейн Арчер, и заметил, что она будет прекрасным приобретением для сектора IX. Это предложение было для меня неприятной неожиданностью, тем более что *я не мог* ничего возразить. После Гая Лидделла Джейн была, пожалуй, самым способным профессиональным офицером разведки из сотрудников МИ-5. Она посвятила значительную часть своей сознательной жизни изучению коммунистического движения во всех его аспектах. Именно она допрашивала генерала Кривицкого, сотрудника военной разведки Красной Армии, который бежал на Запад в 1937 году, а через несколько лет полностью разочаровался во всем и покончил жизнь самоубийством в Соединенных Штатах. Из него она вытянула опаснейшие для меня показания-о том, что советская разведка посылала в Испанию во время гражданской войны одного молодого-английского журналиста. И вот Арчер оказалась в моем секторе. К счастью, Джейн как человек была мне по душе — со здравым умом и острым языком. Ее уволили из МИ-5 за то, что на одном высоком совещании она, воспользовавшись случаем, оскорбила бригадира Харкера, который в течение нескольких лет занимал должность заместителя начальника МИ-5. Он был очень

мил, но никаких других достоинств не имел. Вскоре после ее прихода к нам разразившийся в Греции кризис потребовал решительных действий со стороны генерала Пластираса. Джейн рассмешила меня маленьким каламбуром, в котором фамилия генерала рифмовалась с непристойным словом. Я почувствовал, что мы с ней сошлись характерами, но иметь Джейн как врага было бы весьма опасно.

Стремясь занять Джейн, я поручил ей разобраться в самой большой группе материалов о коммунистическом движении, имевшихся в то время в секторе. Это было немалое количество перехваченных телеграмм, касавшихся национально-освободительных движений в Восточной Европе. Из них вырисовывалась убедительная картина эффективной деятельности коммунистов в их активной борьбе против стран «оси». Большая помощь, систематически оказываемая им Советским Союзом, заставляла задуматься о многом. Несмотря на попытки УСС и УСО добиться политической поддержки на Балканах путем поставок оружия, денег и материалов, национально-освободительные движения отказывались идти на компромисс. Они, несомненно, приняли бы помощь хоть от самого дьявола, но вступать с ним в союз не собирались.

За исключением Боба Кэрью-Ханта и Джейн Арчер с их специализированными обязанностями, сектор был разделен на обычные региональные подсекторы. В те дни у нас было очень мало секретной информации для работы. Однако недостаток текущих материалов имел некоторое преимущество. Дело в том, что очень немногие сотрудники в Службе знали в то время что-либо о коммунизме, и нашей первой задачей было пойти снова в школу и получить элементарные знания по этому вопросу, не отставая в то же время от текущих событий, путем изучения открытых материалов, таких как коммунистическая пресса и радиопередачи из социалистических стран.

Та незначительная информация, которую мы получали по линии разведки, оказывалась большей частью ложной. Большое количество сообщений приходило из Франции через даму по имени Поз, выказывавшую чудеса храбрости во время немецкой оккупации. Я имел честь однажды встретиться с ней, и она оказалась настоящей красоткой с поразительными глазами, которые расширялись и становились огромными, когда она что-то утверждала. Она говорила, что у нее есть агент в ЦК Французской компартии, от которого она и получает материалы для своих сообщений. А они показывали, что французские коммунисты ничего не делают без прямых указаний советского посольства в Париже. Такая точка зрения была безусловно приемлема для

шикарной, реакционно мыслящей женщины вроде Поз, но написаны были эти сообщения языком «Аксьон франсез», а не «Юманите» или газеты, подобной ей. Прошло ужасно много времени, прежде чем поняли, что это откровенная подделка, и все это время СИС исправно оплачивала информацию. Выгоду от этой операции получили сотрудники СИС, которые по политическим соображениям хотели, чтобы эти сообщения были распространены и приняты на веру, независимо от их подлинности.

Я уже говорил, как разногласия между СИС и МИ-5 помогли моему назначению в сектор IX. Теперь мне необходимо было продолжать работать и строить отношения с МИ-5 на новой, дружественной основе. Моим коллегой в МИ-5 был Роджер Холлис, начальник сектора, занимавшегося делами советских граждан и членов компартий. Это был приятный человек, склонный к осторожности. Он пришел в МИ-5, как это ни странно, из англо-американской табачной компании, которую представлял в Китае. Хотя ему не хватало некоторой доли легкомыслия, что я считаю важным (в умеренной дозе) для всякого нормального человека, мы с ним быстро поладили и вскоре обменивались информацией без ограничений с обеих сторон. Мы оба были членами Объединенного разведывательного подкомитета, занимавшегося вопросами коммунистического движения, и всегда вырабатывали согласованную точку зрения, чтобы изложить ее менее информированным представителям других департаментов Службы и Министерства иностранных дел.

Хотя Холлису не удалось достичь многого в работе против советской разведки, он успешно добывал информацию о внутренних делах английской коммунистической партии весьма простым способом: установил микрофоны в штаб-квартире на Кинг-стрит. Результатом был приятный парадокс. Микрофоны неуклонно свидетельствовали о том, что Коммунистическая партия Англии отдавала все силы, чтобы помочь стране выиграть войну, так что даже Герберт Моррисон, который жаждал крови коммунистов, не мог найти законных способов запретить деятельность партии.

В начале 1945 года, когда сектор был должным образом укомплектован и размещен, для меня настало время посетить некоторые из наших резидентур за рубежом. Я имел целью возместить тот ущерб, который нанес Степ-тоу, а также обсудить с нашими резидентами пути и средства получения информации, интересующей сектор IX. Я без труда выполнил первую часть моей миссии: просто — рассказал всем, кого это касалось, что в качестве первого шага в своей новой должности я уволил

Стептоу. Эта новость была встречена со всеобщим одобрением. Вторая часть оказалась много труднее. Объект нашей деятельности был невидим и неслышим — для СИС советской разведки словно и не существовало. Так что в результате всех переговоров мы смогли прийти лишь к общему решению: продолжать собирать мелкие сплетни о сотрудниках советских и восточноевропейских дипломатических представительств и о членах местных коммунистических партий. За время моей службы не было ни одной сознательно задуманной операции против советской разведки, которая принесла бы какие-то результаты. СИС жила лишь неожиданными подачками, которые судьба буквально бросала иногда ей в руки, если не считать одного-двух исключений, о которых я скажу позже. Эти подачки приходили в виде редких перебежчиков из СССР. Они «выбирали свободу», подобно Кравченко, который, последовав примеру Кривицкого, быстро разочаровался и покончил жизнь самоубийством. Но что они искали — свободу или хорошо наполненные тарелки? Любопытно, что ни один из них не согласился остаться на своем месте и рискнуть головой ради «свободы». Все они обрубили концы и кинулись в безопасное убежище.

Мои поездки во Францию, Германию, Италию и Грецию были в какой-то степени поучительными, поскольку дали мне возможность познакомиться с различными тинами организации резидентур СИС за рубежом. Но после каждой поездки я все больше приходил к заключению (не испытывая при этом огорчения), что английской разведке потребуются годы и годы, чтобы заложить какую-то основу для работы против Советского Союза. В результате в то время у меня в памяти остались скорее мелкие происшествия, чем какие-либо реальные достижения. В Берлине, например, меня угостили охлажденным инсектицидом, который хозяин искренне принимал за пиво. Мой визит в Рим был омрачен бесконечной склокой по поводу транспорта для заведующего отделом паспортного контроля посольства: имеет он право на служебную машину или нет. В Бари я способствовал тому, что одного очень неприятного человека выбросили с парашютом в Югославии, но вместо того, чтобы сломать себе шею, он сумел вернуться назад. В Ларисе я наблюдал одно из атмосферных чудес, которыми так славится Греция, — две совершенно отдельные грозы: одна над Оссой, другая над Олимпом, в то время как вокруг нас над Фессалийской равниной было чистейшее голубое небо.

Тем временем в мрачном Бродвее развивались события, которым мне пришлось уделить большое внимание. Требования войны постепенно смели дилетантскую службу прежних лет, хотя

некоторые ее пережитки сохранялись еще долго. С победой в Европе раздутая Служба военного времени начала быстро сжиматься, а то, что осталось от нее, требовало реорганизации. Как начальник сектора, я теперь считался руководящим офицером, тем более что мой сектор неизбежно должен был стать значительно больше всех других. В наказание за это меня все чаще привлекали к решению административных вопросов и определению политики Службы. Несомненно, существуют способы быстрого решения такого рода вопросов, но в то время мы их еще не нашли. Я провел огромное количество утренних и дневных часов, заседая в различных комитетах, занимаясь вырисовыванием фигурок на бумаге, едва прислушиваясь к тому, что говорилось.

Поскольку эта книга посвящена прежде всего описанию моей работы, я до сих пор упоминал о старших чиновниках Службы лишь мельком, когда порой их непредвиденное вмешательство затрагивало мою деятельность. Прежде чем приступить к рассказу о реорганизации СИС, которая была проведена после войны, необходимо поближе взглянуть на моих начальников, начиная с шефа, генерал-майора сэра Стюарта Мензиса.

По-моему, я уже достаточно ясно дал понять, что неизменно тепло вспоминаю шефа. Он не был в полном смысле слова великим разведчиком. Его интеллектуальный багаж не был внушительным, а знание мира и взгляды были типичными для питомца высших слоев английского общества. Его Представление о моей сфере деятельности как контрразведчика было наивным: бары, наклеенные бороды, блондинки. В нем привлекала именно эта неувядаемая мальчишеская жилка, которую он сохранил, несмотря на ужасную ответственность, возложенную на его плечи мировой войной, и постоянную угрозу вызова к Черчиллю, когда тому в полночь вдруг приходила такая мысль. Его настоящая сила заключалась в способности остро чувствовать направление политики Уайтхолла и находить свою дорогу в лабиринте коридоров власти. Офицеры, которые знали его намного лучше, чем я, часто говорили о его почти женской интуиции. Этим я отнюдь не хочу сказать, что он был неполноценным мужчиной.

Способности шефа стали широко известны в СИС, когда он сумел отразить решительную атаку, предпринятую начальниками разведывательных служб трех видов вооруженных сил, являвшихся его коллегами в Объединенном разведывательном комитете. Суть их претензий сводилась к тому, что секретная информация, получаемая от СИС, недостаточна и что нужно что-то предпринять. Несомненно, в их обвинениях была доля правды: никогда не было разведывательной службы, которая не нуждалась

бы в усовершенствовании. Но шеф знал, что оспаривать эти обвинения пункт за пунктом бесполезно. Главной его слабостью было то, что ему слишком часто приходилось оглядываться через плечо. Немало старших офицеров хотели бы занять его место, и одним из них, говорят, был адмирал Годфри, краснолицый морской волк, невыдержанный человек, бывший одно время начальником Разведывательного управления военно-морских сил.

Шеф не собирался переворачивать свою организацию вверх дном, чтобы угодить разведывательным службам вооруженных сил, но был достаточно проницателен и понимал, что в создавшемся положении кроется настоящая опасность. Характерно, что, вместо того чтобы встретить эту опасность с открытым забралом, он стал изворачиваться и маневрировать. Согласившись во многом с критикой своих коллег, он предложил начальникам разведывательных управлений трех видов вооруженных сил прикомандировать к СИС своих старших офицеров. Эти офицеры будут возведены в ранг заместителя шефа и получат доступ к тем аспектам работы СИС, которые имеют отношение к интересам соответствующих ведомств. Им предоставляется право давать любые рекомендации, и эти рекомендации будут рассматриваться самым внимательным образом. Шеф не сомневался (по крайней мере, он так сказал), что, имея под рукой специалистов — офицеров разведывательных управлений сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил, он сможет вскоре полностью удовлетворять требования вооруженных сил.

Это было благородное предложение, от которого военные ведомства вряд ли могли отказаться. Здесь прояви лась проницательность шефа. Он хорошо знал, что ни один начальник разведывательной службы не отдаст, будучи в здравом уме, способного старшего офицера, который может быть полезен ему самому, тем более в условиях тотальной войны. Так что можно было с полной уверенностью ожидать, что офицеры, прикомандированные к СИС, будут людьми второго сорта, если не просто бездельниками. Как только они обоснуются в Бродвей-билдингс, их можно будет поставить в такие условия, в которых они не принесут вреда. Не думаю, чтобы шеф хоть на минуту сомневался в успехе своего плана. События показали, что он был прав.

Итак, мы получили наших трех «комиссаров» от вооруженных сил (так их сразу прозвали).

Заместителем шефа от армии был некий бригадир Беддинггон. Насколько я знаю, он не сделал ни одной рекомендации, направленной на улучшение сбора военной

информации. Через две-три недели он уже был всецело поглощен проблемой проверки и по возможности снижения рангов армейских офицеров, работавших в СИС. Будучи гражданским человеком, я не имел с ним контактов, поэтому не могу сказать, что скрывалось за его мясистым лицом. Правда, однажды я столкнулся с ним, и этот случай показал, что лучше быть от него подальше. В те дни, когда одежда выдавалась по нормам, я пытался сберечь локти моих двух или трех гражданских костюмов, надевая на службу гимнастерку, сохранившуюся еще с тех времен, когда я был военным корреспондентом. Одетый таким образом, я оказался однажды с Беддинггоном в лифте. Мы не были с ним знакомы настолько, чтобы разговаривать (к тому же он был человекам неразговорчивым), но я заметил, как расширились его глаза, когда он, оглядев мою гимнастерку, остановил взгляд на плечах, где не было никаких нашивок. Через полчаса ко мне пришел один из приспешников Беддингтона и стал расспрашивать о подробностях моей военной службы. Я ответил ему, каким образом у меня оказалась гимнастерка и почему я имел право носить ее без знаков различия.

Представитель Министерства авиации коммодор Пейн был еще более трудным человеком. Его быстро окрестили «паршивым Пейном», и лучшие из нас объединились в «благородный орден борцов прошв Пейна». Но нам не пришлось беспокоиться, поскольку шеф сам довольно остроумно избавился от него. Был найден предлог послать Пейна в командировку в США. Затянувшаяся ко всеобщему удовлетворению, она привела его в Калифорнию, а по словам некоторых, даже в Голливуд. Прошел слух, что Клод Дэнси дал шефу на подпись телеграмму для Пейна из четырех слов: «Запад — красотки, Восток — работа». Телеграмму, конечно, не послали. Шеф просто не имел никаких причин — ни служебных, ни личных — отзывать Пейна из США.

Заместитель шефа от военно-морских сил полковник Кордо был офицером морской пехоты и лучшим из трех «комиссаров». Он был футболистом и играл раньше за Гримсби-Таун. С одобрения шефа он вскоре занялся добросовестно, хотя и не совсем умело, руководством операциями СИС в Скандинавских странах. Было приятно видеть, что, по крайней мере, один из «комиссаров» интересуется работой Службы в такой степени, чтобы заняться ею хоть немного самому. Со своей стороны, шеф был доволен, что Кордо, ограниченный маленьким уголком Северной Европы, не мог совершить никакой революции внутри СИС.

Вскоре после того, как заместители шефа обосновались в соответствующих безвредных и незаметных сферах, последовали

другие изменения наверху. Я уже говорил, что звезда Вивьена быстро закатывалась. Его дальнейшее пребывание в должности заместителя начальника Службы становилось абсурдным. Поэтому его спихнули вниз и в сторону, дав ему специально созданную для него синекуру в виде должности советника по вопросам безопасности. Презрев свою гордость, он в течение многих лет цеплялся за эту должность, писал длинные докладные, которые никто не читал, тщетно надеясь, несмотря ни на что, уйти в отставку с дворянским титулом. Его место занял Дэнси, но, чтобы успокоить чувства Вивьена, который был очень обидчив, Дэнси сделали не заместителем шефа, а вице-шефом. Прежний пост Дэнси — помощника шефа — занял миниатюрный генерал Маршал Корнуэлл, который каким-то непонятным путем вторгся в нашу Службу извне. Перед приходом к нам он был генералом английской армии. И если он не занимает более видного места в этом повествовании, то только потому, что его влияние было слишком незначительным, если не сказать вредным. Именно он по какой-то необъяснимой прихоти вел длительное и упорное преследование заведующего отделом паспортного контроля в Риме по поводу его злосчастной машины.

С наступлением мирного времени появились новые лица. Без сожаления и почти незаметно сотрудники расстались с Маршалом Корнуэллом. Дэнси ушел в отставку с дворянским титулом, после чего женился и вскоре умер.

Услышав, что он умер, *я* почувствовал, что симпатизировал ему. При всей отрицательности его влияния на Службу я с сожалением думал о том, что этот сварливый старик умолк навсегда. Место Дэнси в качестве вицешефа занял пришедший извне генерал Синклер[50], бывший начальник военной разведки. Шеф, выслушав критические замечания по поводу этого назначения, заметил: «В чем дело? Я же заткнул критиканам из Военного министерства глотку на пять лет!» Вакансия, образовавшаяся после ухода Маршала Корнуэлла, была занята другим «посторонним» — коммодором авиации Истоном.

По отношению к этим двум вновь прибывшим я вскоре почувствовал уважение, которого не испытывал к их предшественникам. Синклер, хотя и не был перегружен умственными способностями (он никогда и не претендовал на это), был гуманным, энергичным и настолько правильным человеком, что нельзя было не восхищаться им. Истон — фигура совершенно иного склада. При первом знакомстве он производил впечатление человека, что-то невнятно бормочущего, но это впечатление было опасно обманчивым. Его сила заключалась в не слишком остром, но коварном и изворотливом уме. Время от

времени представляя себе их в качестве возможных противников, я невольно сравнивал Синклера и Истона с дубинкой и рапирой. Я не боялся дубинки — от нее можно легко увернуться, но от блеснувшей вдруг рапиры Истона у меня пробегал холодок по спине. Мне было суждено много поработать с ним.

Перед этими назначениями была предпринята серьезная Попытка поставить всю организацию на здоровую основу. Я уже говорил, что до войны Служба строилась на случайных и опасных дилетантских принципах. Не было правильной системы подбора кадров, их подготовки и Продвижения по службе, а также обеспечения их безопасности после выхода в отставку. Шеф брал всех, кого мог, И там, где мог, и все — контракты о найме на работу могли быть прерваны в любое время. При таких условиях было невозможно обеспечить регулярный приток новых кадров нужного уровня. Неудивительно, что личный состав Службы был неоднороден по качеству: встречались и хорошие работники, и равнодушные, и просто плохие. Война явилась для СИС суровым пробуждением. Потребовалось значительно расширить состав Службы, и многие способные люди прошли через ее ряды, оставив после себя полезные идеи. Но укрепление Службы было достигнуто лишь в результате ряда импровизаций в условиях напряженной обстановки военного времени. Почти все, что было сделано, могло быть сделано лучше, если бы было время для размышлений. Теперь такое время пришло. Окончание войны в Европе сократило потребность в немедленных результатах, но правительство еще помнило заслуги разведки. Поэтому было важно использовать оставшиеся месяцы 1945 года, чтобы создать новую структуру Службы, пока правительство не успело снова погрузиться в летаргию послевоенного времени. Сам шеф, несомненно, думал об этом. И когда ему сообщили, что идея перестройки находит значительную поддержку в Службе, он назначил комиссию для подготовки предложений по этому вопросу. Так называемая комиссия по реорганизации СИС начала свои заседания в сентябре 1945 года.

Зачинщиками движения за перестройку были Арнольд-Форстер и капитан 1-го ранга Хастингс, ответственный и влиятельный сотрудник государственной школы кодирования и шифровального дела. Хотя Хастингс и не являлся сотрудником СИС, он был законно заинтересован в ее деятельности, так как война показала необходимость тесной связи между шифровальщиками и СИС. Его назначение в состав комиссии внесло свежую струю в наши дискуссии. О политических нуждах Службы должен был заботиться в комиссии Дэвид Футмен, а полковник Кордо представлял секторы «С». Меня также

пригласили принять участие в этом деле, и не по причине каких-либо особых способностей к работе в комиссиях (я ненавидел это), а потому, что, за исключением Вивьена, я был самым старшим офицером в Службе по вопросам контрразведки. Нашим секретарем назначили Эльюрида Денна, аккуратного (если не сказать, пунктуального), человека, на абсолютную беспристрастность которого можно было положиться, так как его уже ожидало теплое местечко в нефтяной компании «Шелл».

Большинство из нас хотело, чтобы председателем комиссии был Арнольд-Форстер. Не говоря о его силе воли, энтузиазме и ясном уме, он как старший офицер при шефе лучше, чем кто-либо из нас, знал организацию Службы в целом. Однако шеф, с опаской относившийся к способностям Арнольда-Форстера и желавший удержать любое предложение о реформе в разумных границах, подготовил для нас сюрприз. К нашему крайнему удивлению, он объявил, что председателем будет Морис Джеффе, начальник отдела паспортного контроля Министерства иностранных дел. Будучи чиновником, ответственным за выдачу виз, Джеффе поддерживал тесный контакт с нашими контрразведчиками. Однако в отношении общего знания секретной службы, ее возможностей и ограничений ему нечем было похвастаться. Что касается его способностей, то не думаю, чтобы он мог претендовать на нечто большее, чем на роль хорошего, хотя и бесцветного, администратора. Но делать было нечего. Шеф сказал свое слово.

Говоря о бесцветности Джеффса, я должен пояснить, что применяю этот термин в чисто переносном смысле. За несколько лет до образования нашей комиссии он оказался жертвой удивительного случая. Доктор, делавший ему прививку против какой-то болезни, перепутал вакцину, и в результате лицо Джеффса приобрело странный фиолетово-синий оттенок. Несчастье, судя по всему, оказалось непоправимым, и Джеффе так и остался с лицом цвета пушечного металла. Во время поездки в Вашингтон этот малый был страшно оскорблен, когда администрация одного отеля пыталась отказать ему в комнате, приняв его за цветного. Говоря по справедливости, Джеффе мало вмешивался в ход прений и никогда не злоупотреблял своими полномочиями председателя. Его нельзя было не любить, и вскоре мы привыкли видеть эту колоритную личность во главе стола.

В течение последующих месяцев комиссия отняла у меня много времени. Наши рассуждения стали носить безнадежно академический характер и не заслуживают подробного описания. Но некоторые замечания, пожалуй, могут пролить свет на общие

проблемы, которые стояли перед службой разведки. Прежде всего надо было освободиться от пережитков недоброго старого времени. Во время войны финансовые и административные вопросы решались без должной координации. С секторами «Б» всегда была путаница: те, которые занимались Западной Европой, подчинялись Дэнси, а остальные — непосредственно шефу. Иначе говоря, получалось, что, хотя Дэнси номинально был вице-шефом Службы В целом, на самом же деле он интересовался лишь получением разведывательной информации из Западной Европы. Было ясно, что вся структура Службы нуждалась в коренных изменениях.

Но прежде чем решать эту первую проблему, нужно было определить основной принцип нашей структуры: сохранить ли существовавшее разделение Службы по вертикали с региональными организациями, ответственными за добывание, обработку, оценку и распределение информации по соответствующим районам, или разделение должно идти по горизонтали — между добыванием информации, с одной стороны, и ее обработкой, оценкой *и* распределением — с другой. Признаюсь, что я до сих пор не знаю правильного ответа на этот вопрос. Но в то время здесь были замешаны мои собственные интересы. Если бы было принято решение в пользу организации Службы по вертикали, то работа против Советского Союза и коммунистического движения в целом была бы разделена между региональными секторами. Ни один человек не мог бы тогда заниматься всей проблемой в целом. Поэтому я высказывался за разделение по горизонтальному принципу в надежде сохранить (по крайней мере, на какое-то время) всю область антисоветской и антикоммунистической деятельности под своим прямым контролем.

В этом вопросе я имел на своей стороне сильного союзника в лице Дэвида Футмена. Фактически именно он сухо и язвительно доказывал нашу точку зрения, а я только поддерживал его, когда это было необходимо. Мой довод — коротко — заключался в том, что контрразведка едина и неделима. Дело, возникшее, например, в Канаде, может пролить свет на другое дело в Швейцарии, как случилось на самом деле вскоре после этого-'агент, работающий сегодня в Китае, может на следующий год оказаться в Перу, Поэтому важно вести наблюдение в мировом масштабе. Я использовал также менее веский, хотя и не лишенный основания, аргумент, что добывание разведывательной информации нужно отделить от ее оценки, поскольку оперативные офицеры, естественно, склонны принимать своих ворон-за соколов. Конечно, можно было многое сказать в пользу и той и другой

точки зрения, но сторонников вертикального разделения в комиссии было меньшинство, и поэтому в итоге-был принят горизонтальный принцип. Я знал, по крайней мере, одного сотрудника, который, мог бы повернуть мнение комиссии против нас, и поэтому постарался, чтобы его не включили в ее состав.

Раз этот принципиальный вопрос был решен, остальное сводилось к довольно простой, хотя и утомительной, кропотливой работе. Мы рекомендовали создать пять равноправных управлений:

1. Административно-финансовое.

2. Оперативное.

3. Управление разработки заданий (названное так потому, что помимо оценки информации и рассылки ее в государственные учреждения оно передавало Оперативному управлению «заявки» этих учреждений).

4. Управление учебной подготовки и исследования (в области технических средств, применяемых в шпионаже).

5. Управление военного планирования.

Мы разработали систему должностных категорий внутри Службы с твердой шкалой заработной платы и пенсий при уходе в отставку. На Административно-финансовое управление мы возложили ответственность за систематический подбор кадров, заставив его конкурировать с другими государственными гражданскими организациями и промышленностью, и рекомендовали уделять особое внимание выпускникам университетов. К тому времени, когда наш окончательный объемистый доклад был готов для представления шефу, мы почувствовали, что выработали проект серьезной организации, включив в него достаточно убедительных приманок, которые могли бы соблазнить способных молодых людей поступить к нам на работу и рассматривать ее как пожизненную карьеру.

Шеф принял не все наши рекомендации. Было оставлено еще много ненужного, что не нашло места в нашем плане; но с чем шеф никак не мог расстаться. Но в общем схема, изложенная выше, была принята за основу организации Службы. При всех своих недостатках она явилась серьезным улучшением по сравнению с предыдущими организационными структурами. Что касается меня, то я не имел повода для неудовольствия. Одним из второстепенных решений комиссии была ликвидация сектора V. Его функции были переданы сектору IX, получившему новое название — Р-5. Таким образом, после — реорганизации я стал одним из заместителей начальника английской Секретной службы с соответствующим повышением жалованья и возглавил всю контрразведывательную работу в СИС.

ДЕЛО ВОЛКОВА

Теперь я перейду к делу Волкова, которое намерен описать детально, поскольку оно представляет непреходящий интерес и едва не погубило меня. Дело возникло в августе и было закончено в сентябре.1945 года. Для меня это было незабываемое лето: я впервые увидел Рим, Афины и Стамбул. Но мои восторженные впечатления от Стамбула постоянно отравляла мысль о том, что, возможно, это лето последнее, которому мне суждено радоваться. Ибо из-за дела Волкова, приведшего меня на берега Босфора, я был на волосок от гибели.

В одно августовское утро не успел я усесться за письменный стол, как меня вызвал шеф. Он протянул мне подборку документов и попросил просмотреть их. Сверху было короткое письмо в Министерство иностранных дел от Нокса Хелма, бывшего тогда советником английского посольства в Турции. В письме обращалось внимание на приложение и испрашивались инструкции. В приложении было несколько служебных записок, которыми обменялись английское посольство и генеральное консульство в Турции. Из их содержания вырисовывалась следующая картина.

Некий Константин Волков, вице-консул советского генерального консульства в Стамбуле, обратился к вице-консулу английского генерального консульства Пейджу с просьбой предоставить ему и его жене политическое убежище в Англии. Он заявил, что, хотя считается вице-консулом, на самом деле он офицер НКВД. Он сказал, что его жена на грани нервного срыва, а Пейдж заметил, что и сам он далеко не скала. В поддержку своей просьбы об убежище Волков пообещал сообщить информацию о Центре НКВД, где он якобы служил раньше. Он заявил также, что имеет сведения о советских разведчиках и шпионских сетях, действующих за границей, и, в частности, знает имена трех советских агентов, работающих в Англии. Двое работают в Министерстве иностранных дел, а третий является начальником контрразведывательной службы в Лондоне. Выложив таким образом свои «товары»-козыри, Волков с чрезвычайной настойчивостью поставил условие, чтобы сообщение о его просьбе не передавалось в Лондон телеграммой, так как русские раскрыли ряд английских шифров. Другие документы были мало интересны и содержали лишь неглубокие и даже легкомысленные комментарии тех или иных сотрудников посольства. Впоследствии оказалось очень важным, что-посольство учло предостережение Волкова и направила материалы медленной, но

безопасной дипломатической почтой. В результате прошло больше недели после обращения Волкова к Пейджу, прежде чем документы могли быть проанализированы каким-либо компетентным лицом для определения степени их важности.

Этим «компетентным лицом» был я, и, надеюсь, читатель не упрекнет меня в хвастовстве, если я скажу, что действительно был достаточно компетентен, чтобы оценить важность этих документов. Два советских агента — в Министерстве иностранных дел, третий — во главе контрразведывательной службы в Лондоне! Я долго, пожалуй дольше, чем требовалось, смотрел на материалы, чтобы собраться с мыслями. Я отверг мысль о том, чтобы представить обращение Волкова как провокацию и посоветовать действовать осторожно. Это помогло бы очень ненадолго и могло скомпрометировать меня в дальнейшем. Единственный выход был в решительных действиях. Я заявил шефу, что дело может оказаться чрезвычайно важным и мне потребуется некоторое время, чтобы провести необходимую проверку и, если будут получены дополнительные сведения, дать соответствующие рекомендации к действию. Шеф согласился, приказав мне на следующее утро изложить свое мнение, а пока хранить документы у себя.

Вернувшись к себе в кабинет, я сказал секретарше, чтобы меня не беспокоили, если только не вызовет сам шеф. Мне необходимо было остаться одному. Просьба о дополнительном времени для того, чтобы «провести проверку», была уловкой. Я был уверен, что прежде в СИС ничего не слышали о Волкове, а он, по-видимому набивая себе цену, выложил свои «товары» так осторожно и запутанно, что они не давали никаких зацепок для проведения немедленного расследования. Тем не менее материала для раздумий было достаточно. С самого начала я решил, что жизненно важным является фактор времени. Благодаря вето Волкова на телеграфную связь прошло десять дней, прежде чем материалы попали ко мне. Лично я полагал, что его опасения преувеличены. Английские шифры базировались на системе таблиц одноразового пользования и считались вполне надежными при умелом обращении с ними. А дисциплина в шифровальном деле была очень строгой. Тем не менее, поскольку Волков настаивал, я не имел возражений против отказа от быстрой телеграфной связи.

Вскоре мои мысли пошли по другому руслу. Дело было настолько деликатным, что по настоянию шефа я должен был лично заняться им. Но решения, принятые в Лондоне, должны осуществлять наши люди в Стамбуле. Я не мог руководить их действиями изо дня в день посредством медленной

дипломатической почты. Дело вышло бы из-под моего контроля, что могло бы привести к непредвиденным последствиям. Я все больше убеждался в том, что сам должен быть в Стамбуле и проводить тот курс действий, который предложу шефу. План этих действий сам по себе не требовал особых размышлений. Я встречусь с Волковым, укрою его с женой в одной из наших конспиративных квартир в Стамбуле, а затем переброшу их с молчаливого согласия турок или даже без него на контролируемую англичанами территорию Египта.

Спрятав документы в личном сейфе, я покинул Бродвей с твердым решением прежде всего рекомендовать шефу послать меня в Стамбул для продолжения разбора дела на месте. В тот вечер я работал допоздна. Ситуация, судя по всему, требовала принятия экстренных и чрезвычайных мер. Эти меры были приняты: в Москву полетело срочное сообщение особой важности.

На следующее утро я доложил шефу, что, хотя в картотеке есть данные на нескольких Волковых, ни один из них не идентичен Волкову из Стамбула. Я повторил также, что в потенции дело имеет громадное значение. Сославшись на неоперативность дипломатической почты, я осторожно предложил послать кого-нибудь из Лондона в Стамбул после соответствующего инструктажа и поручить разобраться в деле на месте.

— Я как раз об этом думал, — ответил шеф.

Но, пробудив во мне надежду, он тут же развеял ее. Он сказал, что накануне вечером встретил в клубе бригадира Дугласа Робертса, который был тогда начальником регионального филиала МИ-5 (по Ближнему Востоку) в Каире и в это время заканчивал дома свой отпуск. Он произвел на шефа хорошее впечатление, и тот решил просить сэра Дэвида Петри, начальника МИ-5, послать Робертса в Стамбул и поручить ему заняться делом Волкова.

Я не мог найти никаких возражений против этого предложения. И хотя я не был очень высокого мнения о способностях Робертса, он обладал всеми необходимыми для такого дела качествами. Он был в высшем офицерском чине, и его бригадирский мундир, несомненно, произвел бы на Волкова впечатление. Он знал этот район и был связан с турецкими секретными службами, сотрудничество с которыми могло оказаться необходимым. Кроме того, он свободно говорил по-русски — бесспорный довод в его пользу, так как Волков не владел иностранными языками. В подавленном настроении я обсуждал с шефом другие аспекты дела, прежде всего вопрос о согласовании нашего плана действий с Министерством

иностранных дел. Когда я уходил, шеф обещал вызвать меня после полудня: он надеялся в течение утра встретиться с Петри и Робертсом.

Во время обеденного перерыва я клял судьбу, которая накануне свела шефа с Робертсом. Казалось, *я* ничего уже не мог предпринять. Мучимый неизвестностью, я вынужден был предоставить событиям идти своим ходом: надеялся, что работа, проделанная мною накануне вечером, даст результаты раньше, чем Робертс сумеет приступить к делу. Но я получил еще один урок житейской философии.

По возвращении в Бродвей я был вызван к шефу, который уже ждал меня. Он был расстроен и сразу начал рассказывать, что произошло. С первых же слов я понял: судьба, которую я проклинал, неожиданно благосклонно повернулась ко мне. Оказалось, что Робертс, будучи в общем бесстрашным человеком, боялся самолетов. Он решил отправиться пароходом из Ливерпуля в начале следующей недели, и никакие доводы шефа и Петри не смогли заставить его изменить свои планы. Итак, мы вернулись к тому, с чего начали утром.

Вначале *я* надеялся построить беседу так, чтобы шеф сам предложил мне лететь в Стамбул. Но эпизод с Робертсом побудил меня действовать решительнее. Я сказал, что в связи с отказом бригадира могу лишь предложить свою кандидатуру вместо него. Мне не потребуется много времени, чтобы проинструктировать своего заместителя по наиболее важным вопросам, и я смогу вылететь, как только будут завершены необходимые формальности. Шеф с явным облегчением согласился. Мы вместе отправились в Министерство иностранных дел, где я получил письмо к Ноксу Хелму, в котором ему предлагалось оказывать мне всяческую поддержку в осуществлении моей миссии.

Я зашел еще к генералу Хиллу, начальнику нашего шифровального отделения. Он снабдил меня персональным единовременным кодом и поручил одной из девушек помочь мне освежить в памяти правила пользования им. Это вызвало небольшую задержку, но зато я смог еще раз обдумать план предстоящих действий в Стамбуле. Через три дня после поступления документов из Турции в Бродвей я занял место в самолете, вылетавшем в Стамбул через Каир.

Мой сосед оказался неразговорчивым. Несколько других попутчиков ненадолго сумели отвлечь меня от моих мыслей своей болтовней. Полет всегда наводит на размышления, а мне было о чем подумать. Мои мысли занимал один вопрос, который был мне непонятен тогда и остался непонятным по сей день, а именно: почему английское посольство в Турции, Министерство

иностранных дел, шеф и сэр Дэвид Петри отнеслись так странно к опасениям Волкова в отношении телеграфной связи? Почему они воздержались от отправки телеграмм лишь по делу Волкова, тогда как телеграфная переписка по всем другим вопросам, включая многие совершенно секретные, велась так же беззаботно, как и прежде? Если поверили предупреждению Волкова, то надо было сделать вывод, что вся телеграфная связь стала опасной. Если же ему не поверили, то надо было срочно послать шифртелеграммой указания нашей резидентуре в Стамбул о необходимых действиях по делу Волкова. Получалось, что предупреждение Волкова привело лишь к задержке на две-три недели решения по делу, в котором он сам был заинтересован. Ответ на этот вопрос скрывался, видимо, в психологии нелогичного мышления. Не будучи специалистом в области кодов и шифров, я решил, что не мое дело привлекать внимание к явной непоследовательности поведения СИС, тем более что передо мной стояли неотложные проблемы.

С Министерством иностранных дел было согласовано, что для восстановления контакта с Волковым и организации встречи с ним я могу использовать Пейджа. На встречу я должен был пойти с первым секретарем посольства Джоном Ридом, который раньше служил в Москве и прошел в Министерстве иностранных дел экзамен по русскому языку. Этот план должен был утвердить посол сэр Морис Питерсон, которого я знал по Испании. Но Министерство иностранных дел настоятельно требовало, чтобы я сначала обратился к советнику Хелму. Хелм начал службу в консульстве и до сих пор сохранял щепетильное отношение к вопросам статуса и протокола. Я не предвидел никаких затруднений с Хелмом, но, как оказалось, был не совсем прав. Вся сложность проблемы, как мне казалось, состояла в том, что встреча с Волковым должна произойти в присутствии Рида. Если она состоится, Рид переживет сильнейшее потрясение, когда Волков начнет называть имена советских разведчиков, действующих в английских государственных учреждениях. Было бы актом милосердия, думал я, избавить его от подобных сюрпризов. Но как это сделать?

Очевидно, быть уверенным в успехе нельзя. Но я считал, что есть небольшой шанс, если я сумею правильно сыграть свою игру. Первым делом нужно убедить Рида, что моя миссия имеет строго ограниченные цели; что я не уполномочен обсуждать с Волковым детали его информации; что, если он сделает свои разоблачения преждевременно, то есть до того, как окажется на английской территории, это, безусловно, будет опасно для него; что поэтому мне поручено любой ценой не допускать отклонений от беседы в

эту сторону и что я прибыл в Стамбул лишь для того, чтобы доставить Волкова в безопасное месть, где его смогут Допросить более компетентные люди. Я надеялся также запутать Рида, намекнув, что Волков может оказаться провокатором и было бы неразумно давать ход его информации, пока мы не убедились в ее достоверности. Мне казалось, что ничего лучшего придумать я не смогу. Специалист, конечно, не оставил бы камня на камне от моей «аргументации». Но Рид не был специалистом, он мог попасться на эту удочку. К вечеру я еще больше воспрял духом, когда штурман объявил, что в связи с грозовыми бурями над Мальтой самолет изменил курс на Тунис и что, если погода улучшится, мы полетим в Каир через Мальту'на следующий день. Я выигрывал еще двадцать четыре часа! Удача сопутствовала мне.

На следующий день мы прилетели наконец в Каир, но к стамбульскому рейсу уже опоздали. В результате я прибыл к месту назначения еще через день, в пятницу. В аэропорту меня встретил руководитель стамбульской резидентуры СИС Сирил Макрэй, которого я вкратце посвятил в суть моей миссии. Отношения между дипломатической службой и СИС были в то время таковы, что никто в посольстве или генеральном консульстве и не подумал проинформировать Макрэя о Волкове, и, разумеется, мы тоже не осмелились телеграфировать ему из Ловдона. В тот же день мы вместе посетили Нокса Хелма, которому я вручил письмо из Министерства иностранных дел. Я ждал горячей поддержки наших планов, но мои заблуждения быстро рассеялись. Через несколько лет, когда Хелм стал послом в Будапеште, один приятель говорил мне, что он самый покладистый и понимающий из послов. Но когда я встретился с ним в Стамбуле, он был еще советником, колючим, как куст репейника. Хелм начал высказывать разного рода сомнения. Он заявил, что наши действия могут причинить неприятности посольству и поэтому он должен, прежде чем я смогу что-либо предпринять, обязательно проконсультироваться с послом. Хелм попросил зайти на следующее утро (еще один потерянный день!) и любезно пригласил меня к себе домой выпить. Там был военный атташе, который предложил мне отужинать с ним в «Парк-отеле», — у него тоже явно не складывались отношения с Хелмом.

Когда я зашел на следующее утро к Хелму, он спросил, укоризненно глядя на меня:

— Почему вы не сказали мне, что знакомы с послом?

После этого разговор у нас пошел о том-о сем, но, судя по поведению Хелма, я решил, что у Питерсона тоже есть сомнения в связи с нашим делом. Довольно неохотно Хелм передал, что посол приглашает меня на следующий день, в воскресенье, на

прогулку на яхте «Макоук». В 11 часов дня мне надлежит прийти на пристань Кабаташ, а до этого я не должен ничего предпринимать. Итак, конец недели был потерян.

Многие приезжающие в Стамбул знают яхту посла «Макоук», построенную первоначально для египтянина Аббаса Хильми. Это большое плоскодонное судно, приспособленное для плавания по спокойным водам Нила, но на зыби Мраморного моря его основательно покачивало. На борту яхты оказалось еще несколько гостей, и только после лэнча, когда мы стали на якорь около Принкино и другие гости любовались игрой дельфинов, я смог поговорить наедине *с* Питерсоном. Поскольку он первым не затронул интересующего меня вопроса, я сделал это сам, заметив, что, как я слышал, он имеет возражения против плана, привезенного мною из Лондона.

— Какого плана? — спросил он.

Этот вопрос показал мне Хелма в другом свете. Посол внимательно меня выслушал и задал только один вопрос: консультировались ли мы с Министерством иностранных дел?

— Конечно, — ответил я, — министерство утвердило наш план, и я привез Хелму письмо, в котором ему предлагается оказывать мне всяческое содействие.

— Тогда не о чем больше говорить, — сказал посол. — Действуйте.

Последний предлог для задержки отпал.

Вечером мы с Макрэем продумали план действий во всех подробностях. Мы обсудили различные варианты похищения Волкова при помощи турецких властей и без их участия и решили, что невозможно остановиться на каком-либо из них до разговора с Волковым. Многое могло зависеть от его положения и таких обстоятельств, как его рабочие часы, свобода передвижения и т. п. Первым делом надо было установить с ним контакт, и, очевидно, лучше всего сделать это через Пейджа из генерального консульства, так как Волков обратился именно к нему. На следующее утро Макрэй пригласил к себе в кабинет Пейджа, и я объяснил ему, что от него требовалось, а именно: организовать для меня в условиях строжайшей секретности встречу с Волковым после обеда. (Утром я не хотел встречаться, чтобы иметь время для обработки Джона Рида в том духе, как я это уже описал.) Мы рассмотрели несколько возможных мест для встречи и в конце концов остановились на самом простом. Пейдж рассказал, что он часто встречается с Волковым по текущим консульским делам и будет вполне оправданно, если он пригласит Волкова к себе для делового разговора. Пейдж взял телефонную трубку, позвонил в советское консульство и спросил Волкова.

В трубке был слабо слышен мужской голос, но, поскольку разговор велся по-русски, я ничего не понимал. Однако лицо Пейджа выражало сильнейшее недоумение, и я догадался, что возникло новое препятствие. Он положил трубку *и* покачал головой.

— Он не может прийти? — спросил я.

— Странно, — ответил Пейдж. — Еще более странно, чем вы предполагаете. Я спросил Волкова, и мужской голос ответил, что Волков слушает. Но это был не Волков. Я отлично знаю голос Волкова, я говорил с ним десятки раз.

Пейдж позвонил снова, но на этот раз дальше телефонистки не попал.

— Она сказала, что Волкова нет, — возмутился Пейдж. — Ведь минуту назад она соединяла меня с ним!

Мы смотрели друг на друга и не могли ничего придумать. Наконец я предположил, что, наверное, что-то перепутали в советском генеральном консульстве и что следует возобновить попытку на следующий день в надежде на ббльшую удачу. Я почувствовал, что произошло что-то серьезное. Стремясь убить время, я после обеда лично зашифровал краткое сообщение для шефа. На следующее утро Макрэй, Пейдж и я вновь встретились, и Пейдж позвонил в советское генеральное консульство. Мне был слышан слабый женский голос и затем резкий щелчок. Пейдж с растерянным видом смотрел на умолкшую трубку.

— Что вы на это скажете? Я спросил Волкова, и девушка ответила, что он в Москве. Затем послышался какой-то шум и возня и бросили трубку.

Услышав это, я понял, что случилось. Дело погибло. Но мне хотелось довести все до конца, хотя бы для того, чтобы мой доклад шефу выглядел лучше. Поэтому я попросил Пейджа сделать последнюю отчаянную попытку посетить советское консульство и лично попросить Волкова. Пейдж был теперь полон решимости до конца разобраться в этой истории и охотно согласился отправиться. к русским. Через час он пришел обратно злой и недоумевающий.

— Ни черта не получается! — сказал он. — Ничего не понимаю. Оказывается, никто даже и не слышал о Волкове!

Мы разошлись, и я взялся за шифр, чтобы послать новую телеграмму шефу. Признав неудачу, я просил разрешения прекратить дело и возвратиться в Лондон.

На обратном пути я набросал доклад шефу, в котором описал подробности провала моей миссии. В нем, разумеется, содержалась моя версия исчезновения Волкова. По этой версии провал произошел по вине самого Волкова, поскольку он сам

настоял на том, чтобы переписка велась только почтой. Дальше я говорил, что прошло почти три недели после его обращения к Пейджу, когда мы впервые попытались связаться с ним. За это время русские имели возможность разоблачить его. Его кабинет и квартира наверняка находились на прослушивании. Возможно, заметили, что он и его жена очень нервничают. Наверняка он выдал себя своим поведением или же много пил и болтал лишнее. Наконец, не исключено, что он передумал и сам признался во всем сослуживцам. Конечно, я признавал, что все это только предположения и что установить правду, наверное, никогда не удастся. Другая версия, что русские узнали об обращении Волкова к англичанам, не имела видимых оснований, и ее не стоило включать в доклад.

РЕЗИДЕНТ СИС В ТУРЦИИ

Мое выгодное со стратегической точки зрения положение начальника сектора Р-5 не могло быть вечным. Давая свои рекомендации по вопросам комплектования личного состава, комиссия по реорганизации СИС решила отдать предпочтение разносторонней подготовке кадров, а не узкой специализации их. Было указано, что по возможности все сотрудники должны быть одинаково подготовлены для работы как в центральном аппарате, так и в резидентурах, по линии как разведки, так и контрразведки. Такой подход мог повлечь за собой некоторую потерю специализации кадров, поскольку офицеров периодически перебрасывали с одной работы на другую. Но, как предполагалось, этот ущерб должен компенсироваться увеличением гибкости аппарата, если он будет состоять из разносторонних работников. Нет необходимости говорить, что, когда вводилась новая система комплектования кадров, все три руководителя службы — шеф, его заместитель и помощник — не имели ни опыта в области контрразведки, ни практического представления о работе в резидентурах. Однако мое служебное положение в то время не было достаточно высоким, чтобы новые требования не коснулись меня. Поскольку вся моя деятельность в СИС до этого времени была связана с работой по линии контрразведки в центральном аппарате, то, по всей вероятности, мне следовало ожидать в скором времени нового назначения.

Поэтому я не был застигнут врасплох, когда в конце 1946 года меня вызвал генерал Синклер и сказал, что наступил мой черед поработать в заграничной резидентуре. Я еще раньше пришел к выводу, что любая попытка с моей стороны выдвинуть какие-либо возражения против назначения в резидентуру может повредить моему положению в английской разведке и в конечном счете неблагоприятно сказаться на возможностях добывать необходимую мне информацию. Когда Синклер объявил, что мне предстоит возглавить резидентуру СИС в Турции с центром в Стамбуле, *я* понял, что это не самый худший вариант. В то время Стамбул был главной южной базой, откуда велась разведывательная работа против Советского Союза и социалистических стран, расположенных на Балканах и в Восточной Европе. Хотя с этого времени я уже не буду иметь доступа к потоку информации, представлявшей для меня главный интерес, однако я не буду и совсем в стороне от нее.

Синклер сообщил, что моим преемником по сектору Р-5 будет не кто иной, как тот самый бригадир Робертс, с которым я

столкнулся в связи с делом Волкова. Он уже сдал свои полномочия руководителя регионального филиала МИ-5 на Ближнем Востоке и готовился занять пост на родине. Не спеша принимая от меня дела, он больше интересовался лондонскими клубами, чем работой сектора. Будучи начальником сектора Р-5, он прославился только тем, что уговорил Мориса Олдфилда, очень способного сотрудника МИ-5, тоже перейти на службу в СИС. Не прошло и нескольких недель после назначения Олдфилда заместителем Робертса, как он заслужил прозвище «Мозг бригадира».

Для подготовки к службе за рубежом я был направлен на офицерские курсы. Это были лишь вторые или третьи курсы, организованные при новом начальнике управления, нашем старом знакомом Джоне Манне. С тех пор программа курсов во многом изменилась. Преподавательский состав был подобран преимущественно из бывших сотрудников УСО, и содержание занятий определялось их опытом работы в УСО в годы войны. Курс представлял значительный интерес, хотя лично мне не принес прямой пользы. Условия для шпионской деятельности в Стамбуле в мирное время намного отличались от сопряженной с постоянным риском работы УСО на территории оккупированной Европы в годы войны. Мне самому пришлось написать большую часть лекций о советской разведке, и иногда я попадал в неловкое положение, когда вынужден был подсказывать из зала преподавателю, читавшему лекцию. К сожалению, в этих лекциях я не мог использовать все те знания, которые мне дал мой личный опыт. Поскольку половина времени уходила на работу в секторе Р-5, я пропустил целый ряд обязательных проверок и экзаменов. Возможно, это было даже к лучшему. Было бы неудобно, если бы руководящий сотрудник моего ранга постоянно оказывался в числе отстающих.

Учебный курс и передача дел Робертсу были завершены в январе 1947 года. В конце месяца ранним утром я сидел в аэропорту и пил то, что выдавали за кофе. Мне пришлось застрять там на десять дней. Снегопады и жестокие морозы сковали страну. Погода и технические неполадки заставляли откладывать один рейс за другим. Но я мог считать, что мне повезло. Это был период целого ряда авиационных катастроф с самолетами «Дакота»: чуть ли не каждая утренняя газета приносила сообщение о новом несчастье. В течение нескольких дней я разделял тягостное ожидание с группой монахинь, летевших в Булавайо. В одно мрачное утро наконец объявили их рейс. Это утро действительно оказалось мрачным: они погибли, все до одной. Я был счастлив, когда наконец почувствовал теплое

дыхание пустыни в Каирском аэропорту.

С момента поступления в английскую разведку, шесть лет назад, я провел в отпуске не больше десяти дней.

Поскольку напряженность в работе на время ослабла, я решил по пути в Стамбул навестить моего отца в Саудовской Аравии. Он встретил меня в Джидде, и мы совершили короткую поездку в Эр-Рияд и Альхардж. Это было мое первое знакомство со страной, которой отец посвятил большую часть своей жизни. Ни тогда, ни позже у меня не возникло ни малейшего желания последовать его примеру. Бескрайние просторы, чистое ночное небо и прочие прелести хороши лишь в небольших дозах. Провести жизнь в стране с величественной, но совсем не обаятельной природой и среди людей, лишенных и обаяния, и величественности, я считал неприемлемым. Невежество и надменность — плохая комбинация, а у жителей Саудовской Аравии и того и другого предостаточно. А когда к этому добавляется внешняя суровость и замкнутость, получается что-то совсем невыносимое.

Я позволил себе это отступление, чтобы ответить некоторым авторам, которые приписывают мой необычный жизненный путь влиянию отца. Не исключено, что его эксцентричность позволила мне в ранней юности противостоять некоторым наиболее жестоким предрассудкам, существовавшим в английских частных школах 40 лет назад. Но даже поверхностное ознакомление с фактами показывает, что на всех решающих поворотных пунктах в моей жизни отец находился от меня на расстоянии тысячи миль. Если бы он пожил немного больше и узнал правду, он, конечно, был бы поражен, но не высказал бы неодобрения. Я был, пожалуй, единственным человеком среди множества окружавших его людей, с кем он никогда не был груб. К моему мнению он неизменно прислушивался, даже если оно касалось дорогого его сердцу арабского мира. Но я никогда не воспринимал это как комплимент в свой адрес. Мне довелось услышать, что Уинстон Черчилль тоже считался с мнением своего сына Рандольфа. Трудно сказать, была ли это правда или нет.

Без всякого сожаления я покинул пустыню, чтобы продолжить свой путь в полный чудес шумный Стамбул. Мои коллеги по резидентуре жили разбросанно в мрачных кварталах района Пера, но я не хотел следовать их примеру. Через несколько дней я нашел прелестную виллу в Бейлербее на азиатском берегу Босфора. Это было такое чудесное место, что я без колебаний согласился платить огромную арендную плату. Вилла находилась рядом с пристанью, и в течение трех лет я каждый день курсировал на пароме между Азией и Европой, наблюдая вечно

меняющуюся картину туманов, течений, приливов и отливов и летающих над морем буревестников и чаек. Наши турецкие старожилы, конечно, были поражены. Но существует хорошее рабочее правило: где бы ты ни находился, не обращай внимания на старожилов, их умственные способности зарастают, как ногти на ногах. У меня не было причин сожалеть о выборе моего уединенного жилища. И между прочим, вскоре моему примеру последовали некоторые сотрудники, одаренные более богатым воображением.

Моим официальным прикрытием в резидентуре СИС была должность первого секретаря посольства, и здесь я позволю себе сделать небольшое отступление. Я уже упоминал, что прикрытие отделов паспортного контроля, которым пользовались сотрудники СИС, стало широко известно до и во время войны, и поэтому комиссия по реорганизации СИС рекомендовала избегать этой «крыши». С тех пор подавляющее большинство сотрудников СИС, в зависимости от занимаемого ими положения в разведке, при направлении на заграничную работу получали должности первых, вторых или третьих секретарей. Позднее на одном или двух постах в наиболее важных резидентурах, таких как Париж или Вашингтон, представители СИС удостаивались ранга советника. Некоторые разведчики получали должности простых атташе или референтов. В то же время большинство сотрудников скомпрометировавших себя отделов паспортного контроля, которые занимались оформлением виз, были переименованы в сотрудников по выдаче виз. Большинство из них в настоящее время формально освобождено от выполнения разведывательных функций, хотя на самом деле сотрудничество между этими отделами и представителями СИС имеет место до сих пор.

За переменой формы прикрытия последовало изменение системы символов, использовавшихся для обозначения сотрудников, которые работали в заграничных резидентурах. До реорганизации все страны обозначались двузначным числом: так, например, Германия — цифрой 12, Испания — 23. Представителям СИС в этих странах присваивалось соответствующее пятизначное число: резидент в Германии имел номер 12 000, в Испании — соответственно 23 000, а подчиненные им сотрудники *и* агенты имели другие пятизначные индексы в рамках 12 000 и 23 000. Предполагалось, что эта система была скомпрометирована, как и прикрытие отделов паспортного контроля. По этому поводу даже ходила легенда, будто офицеры абвера в Стамбуле распевали песню: «Zwolfland, Zwolfland über alles»[51].

Так или иначе, система была полностью изменена. Каждая

страна получила теперь символ, состоящий из трех букв алфавита, первой из которых, по неизвестной мне причине, неизменно была буква Б. Так, США получили кодовое обозначение «страна БЕЕ», Турция — «страна БФХ». Резидент СИС в каждой стране в добавление к такому буквенному обозначению получил кодовое число 51, а его подчиненные — другие двузначные символы, например 01, 07 и т. д. Таким образом, оказавшись руководителем резидентуры СИС в Турции, я стал именоваться довольно странно звучащим титулом БФХ-51. Этот символ как в рукописи, так и отпечатанный на машинке казался мне ужасно неприглядным.

Итак, я являлся первым секретарем посольства без установленных обязанностей по линии дипломатического представительства, или, другими словами, БФХ—51. В общей сложности нас насчитывалось пять сотрудников с соответствующим секретарско-техническим персоналом. Кроме способного и общительного заместителя и всегда полного энтузиазма младшего сотрудника (соответственно второй и третий секретари) в составе резидентуры был один шумный русский, бывший белогвардеец, обладавший бесконечным обаянием и потрясающей энергией (атташе). Наконец, был еще заведующий отделом паспортного контроля, подчиненный по визовым делам находящемуся в Лондоне Морису Джеффсу, а по вопросам разведки — мне. По моей линии он являлся офицером связи с турецкими разведывательными службами. Он считался специалистом по Турции, носил благородную фамилию Уиттол и бегло говорил по-турецки. Однако он был слишком мягок для поддержания связи с турками. Следует сказать несколько слов о секретарше Уиттола, питавшей страсть к кошкам и установившей весьма своеобразную систему хранения дел. Когда я спрашивал у нее тот или иной документ, она невинно отвечала: «Кажется, на нем сидит белая кошка». И клянусь Богом, так оно и бывало.

Турецкие специальные службы назывались Инспекцией безопасности, и наша разведывательная деятельность в Турции зависела от отношений с ней. Турки знали нас и терпели нашу деятельность при условии, что она будет направлена исключительно против Советского Союза и Балканских стран, а не против Турции. Как будет видно, это условие часто нарушалось. Стремясь заручиться благожелательным отношением инспекции, мы выдавали ее стамбульскому отделению ежемесячные дотации под видом платы за наведение справок по нашим просьбам. Поскольку с точки зрения разведывательной информации мы почти ничего не получали взамен, совершенно ясно, что наши дотации просто шли на увеличение жалованья старшим

инспекторам в Стамбуле. Однако игра стоила свеч: она заставляла турок молчать.

Штаб-квартира Инспекции находилась в Анкаре, и возглавлял ее в то время похожий на жабу чиновник с выпученными глазами, которого мы называли «дядей Недом». К несчастью, примерно раз в месяц мне приходилось посещать его по делам. Наши встречи вскоре стали вызывать досаду у обеих сторон. Я начинал обычно с того, что просил помощи для проведения той или иной операции, например для переброски агента из Восточной Турции в советскую Армению. Он откашливался, шептался с переводчиком, ерзал в кресле и заказывал кофе. Потом предлагал передать ему агента и деньги, а он брался провести операцию и сообщить нам результаты. Вот так — все очень просто. Со временем, когда я в какой-то степени изучил турецкий язык и стал понимать, что происходит, эти встречи стали обычно заканчиваться ссорой с моим переводчиком, которого я не мог заставить говорить грубости. У него, конечно, были оправдания: он не числился в списке дипломатов и имел основания опасаться нерасположения «дяди Неда».

Начальника стамбульского отделения Инспекции безопасности мы прозвали «тетей Джейн». Он представлял для меня значительный интерес, поскольку именно в его районе должна была проходить большая часть моей тайной деятельности. Но он никогда не внушал мне тревоги. Это был добродушный, веселый повеса, интересовавшийся больше всего своим желчным пузырем и, конечно, деньгами. Через несколько недель я с удовольствием предоставил Уиттолу возможность поддерживать повседневный контакт с «тетей Джейн», а сам вмешивался лишь в случаях особой необходимости. Раза два в год я устраивал для него прием, и он оказался идеальным гостем. Обычно приезжал на полицейском катере за полчаса до назначенного времени, быстро выпивал две-три порции виски и исчезал под предлогом срочной работы, когда начинали прибывать другие гости.

Мои контакты с «дядей Недом», «тетей Джейн» и их коллегами подтвердили уже имевшееся у меня подозрение, что службы безопасности небольших стран испытывали недостаток в средствах и опыте для эффективных действий. Даже Тефик-бей из Эрзурума, пожалуй лучший из офицеров Инспекции безопасности, безнадежно завалил единственную операцию, которую я доверил ему. Тем не менее считалось, что у турок одна из лучших разведывательных служб. Недавно я даже прочел в книге Джона Биллока «Сродни предательству», что у ливанцев «очень эффективная» служба безопасности — явно неверное

употребление слова «эффективная», с какой стороны ни посмотри. Будь она действительно эффективной, они бы первым делом прикончили торговлю фальшивыми документами, которая процветает у них под носом в Бейруте.

Отделение «тети Джейн» осуществляло известный надзор над отделением Инспекции в Адрианополе, которое поставляло скудную и низкого качества информацию из Болгарии, получаемую главным образом от контрабандистов и случайных беженцев. Однако важность этого отделения заключалась прежде всего в том, что Стамбул являлся оживленным транзитным пунктом. Значительная часть беглецов от революций на Балканах и в Восточной Европе в конце концов попадала в Стамбул, где отделение «тети Джейн» и его офицеры проверяли их и выкачивали из них все сведения, какими они располагали. Турки передавали нам некоторые из сообщений, полученных из такого рода источников, но их качество было неизменно разочаровывающим. Причина заключалась отчасти в неосведомленности самих беженцев и отчасти в неопытности допрашивавших их офицеров, которые не умели задавать нужные вопросы. Неоднократные попытки с нашей стороны получить официальный доступ непосредственно к беженцам, прежде чем они исчезали в разных направлениях, неизменно наталкивались на неповоротливость турок. Мы вынуждены были сами охотиться за ними, что отнимало массу времени.

Значительная часть нашей информации о Балканских государствах поступала от выходцев из этих государств, живших в Стамбуле. Многие беженцы — болгары, югославы и румыны — утверждали, что, прежде чем покинуть свои страны, они организовали там шпионские сети, и изъявляли готовность предоставить эти сети в наше распоряжение при условии, что мы дадим необходимые средства, чтобы привести их в действие. Война показала всей Европе, что из шпионажа можно извлекать деньги, и в 40-х годах неосмотрительный покупатель мог потратить в Стамбуле миллионы на информацию, которая была сфабрикована в черте города. Основная вина за взвинчивание цен на липовую информацию ложится на американцев, однако к 1947 году СИС пресытилась подделками. Мы тратили много времени на разработку способов выведения разного рода аферистов на чистую воду, чтобы определить, какой цены заслуживает их работа. Нам это удавалось редко, и я уверен, что, несмотря на все наши предосторожности, некоторые эмигранты постоянно одурачивали нас.

В Лондоне мне рекомендовали не уделять Балканским странам слишком много внимания и сказали, что моей первой

целью должен быть Советский Союз. Я разработал несколько вариантов краткосрочной засылки агентов в русские черноморские порты, используя для этих целей торговые суда, направлявшиеся в Одессу, Николаев, Новороссийск и другие города. Однако я решил, что главное усилие сосредоточу на восточной границе, где, по мнению СИС, имелась возможность проникновения агентов в Советский Союз на широком фронте. Поэтому большую часть лета 1947 года я посвятил личной разведке пограничных районов с целью определить, какую помощь могут оказать нам турки и с какими препятствиями нам придется столкнуться. Эта разведка имела и другую цель — топографическую съемку пограничных районов Турции, в которой нуждались английские вооруженные силы. Это было еще до того, как американцы утвердились в Турции и в числе прочих мероприятий провели аэрофотосъемку всей страны. А в то время мы очень мало знали о состоянии путей сообщения на огромной территории к востоку от Евфрата.

Топографические съемки представляли интерес для СИС по разным причинам. Управление военного планирования, которое мыслило в масштабах глобальной войны против Советского Союза, было занято проектами создания центров сопротивления в районах, которые Красная Армия, по их предположениям, должна была захватить и оккупировать в начальный период войны. Турция была одной из первых стран, которой следовало с этой точки зрения заняться. Горы Анатолии разрезаны целым рядом вытянутых долин, которые, как правило, простираются с востока на запад. Они могли служить идеальным местом для высадки советских воздушно-десантных войск. Перспективы организации успешного сопротивления где-либо к востоку от Анкары были весьма незначительны. Поэтому лучшее, на что СИС могла рассчитывать в Турции, — это создание специальных баз, с которых можно было бы наносить удары по советским коммуникациям, проходящим по долинам. Планирующие подразделения СИС нуждались в гораздо более подробных сведениях о территории Восточной Турции, чем те, которые имелись. Было необходимо знать, насколько пересечена местность, каково лесное покрытие, каковы источники водоснабжения и продовольствия.

Исследования такого рода рождали весьма деликатные проблемы. Они означали, что англичане и американцы намерены бросить Турцию на произвол судьбы, как только разразится война. Какой бы неумолимой ни была логика военного мышления, это вряд ли понравилось бы туркам. В Англии не без основания полагали, что, если они заподозрят что-либо о

существовании подобных планов, буря возмущения сметет все их иллюзии относительно Запада и заставит искать сближения с Советским Союзом. Поэтому топографические съемки должны были выполняться с чрезвычайной осторожностью. К счастью, турки оставались в неведении относительно моей работы в этом отношении. Если бы они проявили к ней интерес, то вряд ли поверили бы моему единственному возможному оправданию, а именно: что я интересуюсь исключительно коммуникациями союзных армий, которым придется наступать на Грузию.

Так или иначе я решил, что начинать нужно с малого. Проведя летом 1947 года первую разведку, я получил хорошую подготовку к выполнению более широкой программы, намеченной на 1948 год. Первый барьер был преодолен, когда «дядя Нед», как всегда неохотно, разрешил мне посетить Эрзурум, откуда Тефик-бей руководил действиями Инспекции безопасности во всей восточной области. Задачи топографической съемки требовали передвижения на автомашине. К счастью, в моем транспортном парке в Стамбуле был тяжелый грузовик «додж», который мог выдержать тряску по примитивным дорогам и тропам к востоку от Анкары. После прощального визита вежливости, нанесенного «дяде Неду», я направился из столицы прямо на восток, вместо того чтобы воспользоваться магистральной дорогой, идущей через Кайсери на Сивас. Я проехал через Богазкёй — столицу древней империи, придав тем самым своей поездке некоторую культурную направленность. Кроме того, это позволило мне познакомиться с редко посещаемой территорией между Йозгатом и Сивасом.

Записи, которые я вел во время этой поездки, дали бы прекрасный материал для одной из «Турецких книг» Роуза Маколея. Турция к востоку от Евфрата едва вышла из XIX века. Правда, армяне, а также большое число курдов уже уничтожены. Но если смотреть с предгорий Паланде-кена через Эрзурум в сторону Грузинской горловины и Верблюжьей Шеи, кажется, что можно услышать гром пушек Паскевича, с боем теснящего своего восточного противника. Но все это вот-вот должно было исчезнуть. Американцы со своими стартовыми площадками для ракет и самолетами У-2 уже готовились вступить на территорию страны.

В Эрзуруме я первым делом посетил Тефик-бея. Это был довольно приятный человек, который проявлял больший интерес к своей работе, чем «дядя Нед» или «тетя Джейн». Однако наши беседы дали мне мало оснований надеяться на успешную переброску агентов через советскую границу в Грузию или Армению. Подобно своему коллеге в Адрианополе, Тефик

полагался на случайных кратковременных агентов, беженцев и профессиональных контрабандистов. Он мрачно рассказывал о том, как тщательно русские охраняют свои границы, о множестве сторожевых вышек и о бесконечно вспахиваемой полосе, на которой нарушители границы вынуждены оставлять следы. Разведывательные карты Тефика обнаруживали бедность его ресурсов. Ему удалось установить — да и то предположительно — номера всего лишь нескольких советских воинских частей, расположенных в непосредственной близости от границы. Он и не пытался проникнуть в глубину. Это была удручающе нетронутая целина.

Беседы с Тефиком привели меня к сугубо негативному заключению: для «проникновения вглубь», под которым я понимал засылку постоянных агентов в Ереван, Тбилиси и восточные порты Черного моря, бесполезно искать агентов на месте. Население на турецкой стороне границы было слишком отсталым, чтобы дать необходимый материал. К тому же Тефик прочесывал эту область в течение многих лет, и было бы глупо думать, что я смогу добыть подходящий материал там, где это не удалось ему. Чтобы найти хороших агентов и подготовить их для выполнения требований СИС, очевидно, надо сосредоточить внимание, например, на грузинских и армянских эмигрантах. Поэтому в своем первом докладе Лондону я просил дать указания резидентурам СИС в Париже, Бейруте, Вашингтоне и других местах, где сосредоточены эмигранты, начать соответствующие поиски.

Одно замечание Тефика навело меня на мысль совсем иного порядка. Он рассказал о великолепном виде на Ереван, который открывается с турецкой границы. Я подумал, что, если штабы вооруженных сил в Лондоне столь заинтересованы в топографических съемках турецкой территории, они могут не меньше порадоваться дальней фотографической разведке советской пограничной территории. Еще до отъезда из Эрзурума я начал составлять докладную записку с описанием общей идеи такой операции. Я назвал ее операцией «Спайгласс»[52]. У меня почти не было сомнения, что она будет одобрена хотя бы потому, что технические специалисты СИС получат возможность испытать новейшее фотографическое оборудование.

Я вернулся в Стамбул удовлетворенный результатами поездки. С точки зрения планов проникновения в Советский Союз было достигнуто очень мало, но зато у меня появились кое-какие идеи, которые могли на некоторое время занять Лондон. Я сильно сомневался в том, что операция «Спайгласс» принесет вооруженным силам Великобритании большую пользу, но мне это

давало железный предлог для длительного и внимательного изучения турецкой пограничной территории.

Мои предложения вызвали в Лондоне благоприятный отклик. Задолго до этого, когда я еще работал в газете «Таймс», я научился некоторым приемам, с помощью которых совершенно невероятные вещи можно облекать в такую форму, что они начинают нравиться даже самым придирчивым членам «Атенеума»[53]. Из Лондона в Париж был послан эмиссар для обсуждения этой проблемы с меньшевиком Жордания, который в свое время был главой недолговечной «независимой республики Грузия», возникшей во время сумятицы, последовавшей за Великой Октябрьской революцией. Жордания считался общепризнанным лидером грузинской эмиграции, и СИС было бы очень трудно завербовать грузин-добровольцев без его благословения. Разумеется, просьба англичан поставила его в крайне затруднительное положение. Он ведь столько раз утверждал, что его народ, за редкими исключениями вроде Сталина и Орджоникидзе, настроен антисоветски, а потому он не сомневался в том приеме, какой его посланцам будет оказан на родине. В нашу задачу не входило разубеждать его, и мы с благодарностью приняли его обещание подобрать подходящих людей. Однако наш эмиссар, очевидно, имел какие-то опасения. В телеграмме, которую он послал мне и в которой сообщал о результатах миссии, он назвал этого престарелого государственного деятеля «глупым старым козлом». И нам действительно пришлось испытать трудности с Жордания.

К тому времени у меня уже было достаточно ясное представление о будущих действиях. Для начала мы зашлем нескольких агентов на короткие сроки, на несколько дней или, может быть, недель, в целях изучения возможностей нелегального существования в Грузии. Можно ли найти конспиративные дома? Возможно ли легализоваться путем покупки документов или каким-то другим способом? Как установить надежные линии связи? Если эти пробные вылазки пройдут гладко, со временем стоит приступить к созданию постоянной сети, определив ее организацию и методы работы в зависимости от результатов предварительной разведки. Что замышлял Жордания, узнать было нелегко. Мы подозревали, что он намеревался с самого начала нагрузить своих людей пачками подстрекательских листовок, а это наверняка не понравилось бы Министерству иностранных дел. Отношения СИС с ним стали походить на китайскую беседу за чашкой чая. Мы должны были быть вежливы с Жордания, поскольку он мог лишить нас кандидатов в агенты. Но в то же время сам он без нашей помощи не мог переправить своих людей

в Грузию. Эмиссар СИС вскоре выучил наизусть расписание самолетов между Лондоном и Парижем и признался, что у него даже появилось отвращение к самому виду Парижа. Таким образом, проведение намеченного мероприятия в жизнь началось в обстановке сильных взаимных подозрений.

Мой план «Спайпгасс» был признан «чрезвычайно интересным». Это меня устраивало: значит, большую часть следующего лета, когда дипломатический корпус переедет из Анкары в Стамбул, я смогу провести в противоположном конце Турции. Сэр Дэвид Келли, бывший тогда послом, а ныне покойный, отличался робостью и хорошим чутьем.

Принятие моего плана также означало, что я мог запросить и почти наверняка получить любое количество самого различного оборудования. Главным предметом, разумеется, была фотокамера. Не обладая техническими знаниями в области фотографии, я не мог конкретно назвать марку камеры. Я просто объяснил, что от нее требуется, а остальное предоставил Лондону. Кроме того, я запросил два «джипа», легкие палатки, различное полевое оборудование, компасы и всякую всячину. Технические специалисты, которые всегда склонны думать, что их талант используется не в полной мере, взялись за работу с большим рвением и даже прислали много вещей, которых я не просил, — «на испытание». В течение зимы в нашей кладовой скопилось внушительное количество ящиков. Обращала на себя внимание камера. Я воображал, что мне пришлют небольшой, чрезвычайно хитроумный аппарат, который нельзя будет заметить с советских сторожевых вышек на расстоянии 100 метров. Однако, когда я увидел камеру, она показалась мне величиной с трамвай. Первой моей реакцией было решение лично никогда не таскать это чудовище по раскаленным склонам Арарата и Ала-дага. У меня был крепкий — молодой помощник, который как раз подходил для такой тяжелой работы.

В течение зимы и весны мне вновь пришлось заняться скудными источниками информации, имевшимися в самом Стамбуле. Следуя стандартной процедуре, я начал зондировать обитателей английской колонии. Это была неблагодарная работа. Конечно, среди англичан, живущих за рубежом, — бизнесменов, журналистов и т. п. — встречаются такие, кто готов поставить себя под удар. Такими были Суинберн и Винн. Но это обычно мелкая рыбешка с ограниченными возможностями. Люди с большими возможностями, как правило, не склонны идти навстречу СИС: им есть что терять, они имеют обязанности по отношению к себе, к своим семьям и даже по отношению к своим проклятым акционерам. Они обычно соглашаются сообщать все,

что им «случится узнать», а это неизменно бесполезные сплетни. На то, чтобы пойти на риск и систематически добывать информацию, у них не хватает патриотизма, а я не мог предложить им ничего похожего на те выгоды, которые они получали, например, от нефтяных компаний или строительных фирм. Меня изводили запросы Лондона, требовавшего информацию о турецких портах, которые, кстати сказать, были построены английскими концернами.

Отсутствие успехов в Стамбуле повышало значение наших планов в отношении Грузии. В этом деле уже намечался некоторый прогресс. Жордания, к моему удивлению, выполнил свое обещание, и вскоре мне сообщили, что два кандидата проходят подготовку в Лондоне. Мне предстояло увязать вопрос с турками, и после нескольких дискуссий с «дядей Недом» мы договорились о приеме агентов в Стамбуле и их последующей отправке в Эрзурум. Но в одном решающем пункте «дядя Нед» оказался непоколебим. Тефик-бей, сказал он, возьмет на себя руководство всей операцией в Эрзуруме и сам займется подготовкой переброски агентов через границу. «Дядя Нед» настаивал на том, что я не должен их сопровождать, под предлогом обеспечения моей безопасности. Но учитывая, что он разрешил мне разъезжать по всей пограничной зоне в связи с операцией «Спайгласс», выдвинутый им предлог был абсурден. Турки явно хотели получить агентов в свои руки на последние 48 часов и дать им свои задания. В результате бедным грузинам предстояло пересечь границу *с* одним заданием от Жордания, с другим — от нас и с третьим — от турок. Каждый старался склонить чашу весов в свою сторону. Я очень неохотно уступил «дяде Неду», боясь, что иначе он готов сорвать операцию.

Наконец мы собрались в Эрзуруме: Тефик-бей, я и два грузина. Последние были неглупые и энергичные люди, однако их прошлое внушало мало уверенности в успехе. Обоим было по 20 с лишним лет, и родились они в Париже. Грузию знали понаслышке и верили всем эмигрантским россказням об условиях жизни в их стране. Один из них был явно в подавленном настроении. Тефик-бей объяснил по карте, что намерен перебросить их в район турецкой деревни Позов, расположенной напротив советского городка Ахалцихе. Мы определили время переброски с учетом положения луны, осмотрели оружие и снаряжение, которыми грузин снабдили в Лондоне. Я задумался над тем, к кому первому попадут мешочки с золотыми соверенами и наполеондорами — русским или туркам. Когда мы остались с Тефиком наедине, я высказал сомнение в целесообразности переброски грузин через границу прямо

напротив гарнизонного городка, но он возразил, сказав, что в этом секторе идеальная местность.

— Но раз она идеальная, — не успокаивался я, — ее наверняка лучше патрулируют!

Он только пожал плечами. Мне трудно было спорить: я не знал этого участка границы. Может быть, Тефик был прав. Во всяком случае, для меня было важно сделать все возможное для успеха операции.

Итак, два грузина в сопровождении турецкого офицера отправились в Ардаган и дальше на север. Мне оставалось лишь сидеть в Эрзуруме и кусать ногти. Один из людей Тефика был приставлен ко мне и постоянно сопровождал меня на почтительном расстоянии — метрах в пятидесяти. Я развлекался тем, что в самое жаркое время дня уходил за город и быстро шагал, наблюдая, как турок начинал снимать шляпу, потом галстук и, наконец, пиджак.

Я сидел у Тефика, когда пришла ожидаемая телеграмма из Ардагана: два агента переброшены через границу в такое-то время. Через столько-то минут послышалась автоматная очередь, и один из агентов упал. Другого видели в последний раз, когда он широко шагал через редкий лес, удаляясь от турецкой границы. Больше о нем ничего не слышали.

А вот операция «Спайгласс» доставила мне много удовольствия. В сопровождении майора Февзи, одного из офицеров Тефика, мы начали работу с самого восточного конца линии, гае сходятся границы Советского Союза, Турции и Ирана, и постепенно двигались на запад. Наш метод был простым. Каждые несколько миль мы отмечали наше положение на карте и широкой дугой делали съемку советской территории. Первые день или два я каждую минуту ждал пулеметной очереди: ведь советские пограничники вполне могли принять нашу камеру за легкий миномет.

До Тузлуджи мы шли вдоль долины Аракса, кишащей болотными птицами. Арарат оставался у нас слева, а Алагёз — справа. Затем мы поднялись по долине Арпачай мимо древней армянской столицы Ани и достигли Дигора, расположенного напротив Ленинакана. В этот момент я решил, что мой так называемый «отпуск» слишком затянулся и что западной части границы придется подождать до следующего года. Мы поехали обратно в Эрзурум и остановились на ночь в Карсе, где Февзи ошеломил меня предложением посетить публичный дом.

ЛОГОВО ЛЬВА

Я так и не закончил вторую половину операции «Спайгласс». Летом 1949 года я получил из Лондона телеграмму, которая отвлекла мое внимание на совсем другие дела. Мне предлагали пост представителя СИС в Соединенных Штатах Америки, где я должен был поддерживать связь с ЦРУ и ФБР. За этим назначением крылась одна важная причина. Сотрудничество между ЦРУ и СИС на уровне центральных организаций (хотя еще не на уровне периферийных подразделений) стало настолько тесным, что каждый работник разведки, намеченный для выдвижения на высокий руководящий пост в СИС, должен был ознакомиться с положением дел в американских спецслужбах. Мне потребовалось всего полчаса, чтобы принять это предложение.

Покидать Стамбул было грустно: это красивый город; кроме того, приходилось бросать более чем наполовину сделанную работу. Но соблазн попасть в Америку был велик по двум причинам: во-первых, я снова попадал в ту среду, где формировалась политика разведывательных организаций, а во-вторых, я получал возможность близко познакомиться с американскими разведывательными службами. В то время я уже начал понимать, что эти службы для моих целей имели большее значение, чем соответствующие английские организации. Я даже не стал дожидаться согласия Москвы, и дальнейшие события оправдали мое решение. Никто не выразил сомнения в неограниченных возможностях моего нового назначения. Было решено, что я уеду в Лондон в конце сентября и, пройдя месячную подготовку, в конце октября отправлюсь в Америку.

Общий контроль за отношениями между СИС и американскими службами в Лондоне осуществлял Джек Истон, и именно от него я получил большую часть инструкций. Я высоко оценил — не без опасений — его знание всех тонкостей англо-американских отношений. Однако диапазон этого сотрудничества был настолько широк, что почти каждому ответственному работнику Службы было что мне сказать. Меня под разными предлогами приглашали на лэнч в разные клубы. Беседы за кофе и портвейном касались целого ряда предметов, но одно было общим для всех моих «друзей» — желание совершить бесплатную поездку в Америку. Я не разочаровывал их. Чем больше посетителей будет у меня в Вашингтоне, тем больше шпионов я буду знать, а это, в конце концов, было целью моей жизни.

Развлечения развлечениями, а инструкции Истона вызвали у

меня серьезную озабоченность. Мне стало ясно, что мой путь в Вашингтон, вероятно, будет тернистым. Я должен был принять дела от Питера Дуайера, который провел в Соединенных Штатах несколько лет. Я знал, что это исключительно остроумный человек, но мне предстояло узнать о нем еще многое другое. Во время войны он сумел решить щекотливую задачу, установив близкие личные отношения со многими видными руководящими работниками ФБР. Благодаря этим отношениям, сохранившимся и после войны, представительство СИС в Вашингтоне отдавало предпочтение ФБР в ущерб (как думали некоторые) ЦРУ. Поскольку ФБР, следуя политике примадонны Гувера, проявляло ребяческую чувствительность ко всему, что касалось ЦРУ, Дуайеру было очень трудно сохранять одинаковое отношение к обеим организациям, не подвергаясь нападкам со стороны своих старых друзей, обвинивших его в двурушничестве.

Одной из задач на моей новой работе было перетянуть чашу весов в другую сторону. ЦРУ и СИС договорились сотрудничать по широкому кругу вопросов, что неизбежно означало более тесную повседневную связь с Центральным разведывательным управлением, чем СИС обычно имела с ФБР. Конечно, открыто признавать такое изменение политики было нельзя. Следовательно, моя задача заключалась в том, чтобы укрепить связи с ЦРУ и ослабить их с ФБР, но так, чтобы последнее этого не заметило. Мне не потребовалось много времени на размышления, чтобы понять невыполнимость и абсурдность этой затеи. Единственно разумным курсом было сотрудничать с ЦРУ по вопросам, представляющим взаимный интерес, и не принимать близко к сердцу неизбежное раздражение сотрудников Гувера. Для этого мне не следовало излишне проявлять свой ум, так как расклад карт был не в мою пользу. Лучше прикидываться дурачком и извиняться за те ляпсусы, которые время от времени придется в моем положении допускать.

Инструктаж по вопросам контрразведки тоже вызвал у меня серьезное беспокойство. Его проводил Морис Олдфилд, который сообщил мне нечто крайне важное. Совместное англо-американское расследование разведывательной деятельности Советского Союза в США привело к серьезному убеждению, что в 1944–1945 годах в английском посольстве в Вашингтоне, а также в атомном центре в Лос-Аламосе имела место утечка информации. Я ничего не знал о Лос-Аламосе. Но после быстрой проверки по списку сотрудников Министерства иностранных дел за соответствующий период у меня почти не осталось сомнений в отношении источника в английском посольстве. К моему беспокойству примешивалось чувство облегчения: дело в том, что

еще в Стамбуле мой советский связной задал вопрос, который не давал мне покоя несколько месяцев. Он спросил, не могу ли я как-нибудь выяснить, что предпринимают англичане в связи с одним делом, которое связано с английским посольством в Вашингтоне и которое вело ФБР. В то время я никак не мог это выяснить. Однако после беседы с Олдфилдом я, по-видимому, приблизился к сути вопроса. Через несколько дней это подтвердил мой русский друг в Лондоне. Проверка в Центре не оставила у него сомнений в том, что информация из ФБР, о которой мы говорили в Стамбуле, и моя новая информация относятся к одному и тому же делу.

Тщательное изучение документов на какое-то время несколько успокоило меня. Поскольку СИС формально не могла заниматься разведывательной работой в США, изучение фактов, ведущих к установлению источника утечки, находилось в руках ФБР. Как и следовало ожидать, оно проделало огромную работу, результатом которой явилось лишь колоссальное количество попусту исписанной бумаги. Ни сотрудникам ФБР, ни англичанам пока не пришло в голову, что в этом деле может быть замешан дипломат, причем дипломат довольно высокого ранга. Расследование было сосредоточено на недипломатическом персонале посольства, и особенно на тех, кто был принят на работу на месте, то есть на уборщицах, дворниках, мелких служащих и т. д. Например, одной уборщице, у которой бабушка была латышкой, был посвящен доклад на пятнадцати страницах, полный ненужных подробностей о ней самой, ее семье и друзьях, ее личной жизни и привычках проводить праздники. Это свидетельствовало об огромных ресурсах ФБР и о том, как бесполезно они расточались. Я пришел к выводу, что в срочных действиях необходимости нет, однако за делом надо постоянно следить. Во всяком случае, какие-то решительные меры обязательно нужно будет принять, прежде чем я покину Вашингтон. Одному Богу известно, куда меня потом назначат, и тогда я могу потерять всякий контроль над делом.

Перед отъездом из Лондона меня вызвал шеф. Он был в превосходном настроении *и* развлекал меня ироническими рассказами о наиболее щекотливых случаях из области отношений между английской и американской разведками в годы войны. Эти рассказы оказались не просто праздными воспоминаниями. Шеф сообщил мне, что известие о моем назначении в Соединенные Штаты, похоже, расстроило Гувера. Я тогда считался довольно высокопоставленным сотрудником Службы. На Дуайера (совершенно незаслуженно) смотрели иначе. Гувер подозревал, что мое назначение предвещает нежелательную

деятельность СИС в Соединенных Штатах. Чтобы рассеять его опасения, шеф послал ему телеграмму, заверив, что не имеет намерения менять политику СИС: мои обязанности ограничиваются связью с американскими службами. Шеф показал мне телеграмму и посмотрел на меня в упор.

— Это, — сказал он, — мое официальное послание Гуверу. — И после короткой паузы добавил: — А неофициально… поговорим за ужином «У Уайта».

В конце сентября, когда моя подготовка была в основном закончена, я отплыл на пароходе «Карония». Проводы были запоминающимися. Первым, что я увидел на туманной платформе вокзала Ватерлоо, были огромные усы, а за ними показалась голова Осберта Ланкастера: теперь я знал, что в дороге у меня будет хороший компаньон. Прежде чем мы отчалили, меня вызвали к телефону. Звонил Джек Истон. Он сообщил, что Дуайер только что телеграфировал о своей отставке. Причины этой отставки были для меня неясны, но, по крайней мере, меня о ней предупредили. Наконец, в мою каюту внесли ящик шампанского с карточкой от одного до омерзения богатого друга. Я начал чувствовать, что моя первая трансатлантическая поездка будет приятной.

Первую ошибку я совершил почти сразу же, как только мы вошли в территориальные воды США. На катере лоцмана прибыл приветствовать меня представитель ФБР. Я угостил его бокалом шампанского, которое он без удовольствия потягивал, пока мы вели светский разговор. Позже я узнал, что сотрудники ФБР, почти все без исключения, гордились своей обособленностью и своими привычками, корни которых лежали в их простом происхождении. Один из первых высокопоставленных сотрудников Гувера, с которым я познакомился в Вашингтоне, утверждал, например, что его дедушка был лавочником в Хоре-Крике в Миссури. Поэтому все они пили виски и пиво — в качестве легкого напитка. В противоположность им сотрудники ЦРУ разыгрывали из себя космополитов. Они любили посмаковать абсент и подавать бургундское чуть выше комнатной температуры. И это не просто пустой разговор. Это одно из свидетельств глубокого различия в социальной среде, к которой принадлежат сотрудники двух организаций, что, по крайней мере отчасти, является одной из причин трений в их отношениях.

Мой коллега из ФБР помог мне пройти формальности и устроил меня в отеле с видом на Центральный парк. На следующий день я сел в поезд на Пенсильванском вокзале и отправился в Вашингтон. Сумах был еще в цвету и дал мне представление о чудесной осени — одном из немногих чудес

Америки, которое американцы никогда не преувеличивают, потому что преувеличить его просто невозможно.

Питер Дуайер встретил меня и за первым стаканом виски объяснил, что его отставка не связана с моим назначением и что он по личным соображениям давно хотел поселиться в Канаде, где его ждет хорошая должность в одном из государственных учреждений. Просто известие о моем назначении в Вашингтон определило время его переезда в Оттаву. Так что у нас сразу установились хорошие отношения. Он исключительно внимательно и с большим знанием дела ввел меня в курс политики Вашингтона.

Не так легко создать понятную картину моей работы в Соединенных Штатах. Соответственно, такая картина дала бы искаженное представление о тех делах, которыми я занимался. Они были слишком разнообразны и порой слишком расплывчаты, чтобы можно было объяснить их простыми словами. Одна лишь связь с ФБР, если заниматься ею как следует, заполнила бы все мое время. Это был период расцвета зловещей эры Маккарти. В то время возникли дела Хисса, Коплон, Фукса, Голда, Гринглacca и мужественных супругов Розенберг, не говоря уже о других именах, которые до сих пор неизвестны. Связь с ЦРУ охватывала еще более широкое поле деятельности, начиная с серьезных попыток свергнуть один из восточноевропейских режимов и кончая такими вопросами, как правильное использование немецких документов о генерале Власове. В любом деле, которое возникало, первой заботой было угодить одной стороне, не обидев другую. В дополнение к этому я должен был поддерживать связь с канадской службой безопасности и с отдельными лицами из Министерства иностранных дел Канады, которые носились с идеей организации независимой канадской секретной службы.

С чего же начать? Поскольку конец этого рассказа будет касаться главным образом ФБР, я посвящу начало ЦРУ. Когда я прибыл в США, во главе этой организации стоял адмирал Хилленкоттер[54], добродушный моряк, который вскоре уступил место генералу Беделл-Смиту, не оставив заметного следа в истории американской разведки. Больше всего мне приходилось иметь дело с Управлением стратегических операций (УСО) и Управлением координации политики (УКП). Говоря простым языком, УСО занималось сбором разведывательных данных, а УКП — подрывной деятельностью. Имелись также кое-какие дела с Управлением планирования, связанным с именем Дика Хелмса, не так давно сменившего адмирала Рейборна на посту директора ЦРУ и быстро рассорившегося с сенатом: Движущей силой УСО в то время был Джим Энглтон. Он раньше служил в Лондоне и

снискал мое уважение тем, что открыто отвергал англоманию, которая портила лицо молодого Управления стратегических операций. Мы обычно обедали с ним раз в неделю в ресторане «У Харви», где он показывал, что безмерное усердие в работе было не единственным его пороком. Это был один из самых тощих людей, каких я когда-либо встречал, и в то же время большой любитель поесть. Счастливчик Джим! После года совместных обедов с Энглтоном я последовал совету знакомой пожилой дамы и перешел на диету, сбросив 12 килограммов за три месяца.

Наши отношения, я уверен, опирались на подлинно дружеское расположение обеих сторон. Но у каждого из нас были свои скрытые мотивы. Энглтон хотел перенести центр тяжести обменов между ЦРУ и СИС на представительство ЦРУ в Лондоне, которое было раз в десять больше, чем мое. Если бы ему это удалось, он сумел бы оказывать максимальное давление на центральный аппарат СИС, в то же время снизив до минимума вторжение СИС в его собственные дела. С точки зрения национальных интересов это было справедливо. Поддерживая со мной близкие отношения, он мог в большей степени держать меня под контролем. Я же, со своей стороны, охотно делал вид, что попался на его удочку. Чем больше было между нами открытого доверия, тем меньше он мог заподозрить тайные действия. Трудно сказать, кто больше выиграл в этой сложной игре, но у меня было одно большое преимущество: я знал, что он делает для ЦРУ, а он знал, что я делаю для СИС, но истинный характер моих интересов ему не был известен.

Хотя наши споры охватывали весь мир, они обычно заканчивались на Франции и Германии (если не начинались с них). Американцы были одержимы страхом перед коммунизмом во Франции, и я был. поражен тем, какое огромное количество материалов из французских газет ежедневно поглощал Энглтон. Позже, когда сам Беделл-Смит категорически отверг предложение англичан поделиться с французами незначительной секретной информацией о русских, мне стала ясно, что интерес Энглтона к Франции не был его личным увлечением. Беделл-Смит заявил мне без обиняков, что не может доверить секретную информацию ни одному французскому чиновнику.

Германия внушала Энглтону меньше опасений. Эта страна интересовала его главным образом как база для операций против Советского Союза и социалистических стран Восточной Европы. ЦРУ, не теряя времени, успело прибрать к рукам возглавляемый генералом Геленом отдел абвера, работавший против СССР. Энглтон, поглощая омаров в ресторане «У Харви», с пеной у рта защищал прошлую и настоящую деятельность организации

Гелена.

У нас было много и других споров, связанных с Германией, поскольку и СИС, и ЦРУ имели возможность развертывать свою деятельность на оккупированной территории. Секретные операции всех видов, включая и те, которые были направлены против германских властей, финансировались немцами в виде покрытия оккупационных расходов.

Было у нас немало стычек по поводу различных русских эмигрантских организаций, о чем будет сказано ниже. Шел разговор, например, о Народном трудовом союзе (НТС), который не так давно приобрел печальную славу в связи с делом Джеральда Брука[55]; об украинских националистах Степана Бандеры — любимца англичан. ЦРУ, как и СИС, лезло из кожи вон, стремясь использовать наиболее перспективные эмигрантские группы в таких же целях, в каких СИС использовала Жордания. Несмотря на то что англичане вели упорные арьергардные бои, пытаясь сохранить свои позиции в тех группах, с которыми они давно сотрудничали, американцы все же постепенно вытесняли их из этой сферы деятельности. Слишком могуществен был доллар. Так, например, хотя для англичан было важно сотрудничество с НТС, СИС была вынуждена по финансовым причинам передать руководство его деятельностью ЦРУ. Это было оформлено официальным соглашением между двумя службами, тем не менее дело англичанина Брука показывает, что СИС не пренебрегала тайными махинациями с НТС за спиной американцев. Такова этика секретной службы!

Помимо Энглтона моим главным связным с УСО был Билл Харви, начальник контрразведывательного сектора. Раньше он работал в ФБР, но Гувер выгнал его за пьянство в служебное время. Козда я в первый раз пригласил его на ужин к себе домой, обнаружилось, что его привычки не изменились. Он заснул за кофе и так просидел, тихо похрапывая, до 12 часов ночи, когда жена увела его домой со словами: «Ну пойдем, папочка, тебе уже пора в постель». Меня могут обвинить в том, что я взял недостойный тон. Согласен. Но, как будет видно ниже, Харви сыграл со мной очень недостойную шутку, а я не люблю оставлять провокации безнаказанными. Признавшись в сильной предубежденности по отношению к Харви, хочу справедливости ради добавить, что он сотрудничал с СИС при сооружении известного Берлинского туннеля[56].

Как я уже сказал, Управление координации политики занималось подрывной работой в мировом масштабе. Начальником управления был Фрэнк Уизнер, человек сравнительно молодой для такой ответственной работы, но

начавший уже лысеть и отращивать солидное брюшко. Он любил выражаться высокопарным стилем, что производило неприятное впечатление. Я сопровождал миссию, которая была направлена в Лондон во главе с Уизнером для обсуждения с СИС вопросов, представлявших взаимный интерес. Когда дошло до проблем международного значения, Министерство иностранных дел послало своих представителей для наблюдения за ходом обсуждения. На одной из встреч, на которой от Министерства иностранных дел присутствовал Тони Рамболд, Уизнер стал распространяться на одну из своих излюбленных тем — о необходимости маскировки источников секретных фондов, передаваемых внешне респектабельным организациям, в которых мы были заинтересованы. «Очень важно, — сказал он в своем обычном высокопарном стиле, — обеспечить открытое содействие лиц с известным всем доступом к имеющимся в их распоряжении богатствам». Рамболд начал что-то писать. Я заглянул через его плечо и увидел: «Лица с известным всем доступом к имеющимся в их распоряжении богатством = богатые люди».

Мои отношения с Управлением координации политики были более активными, чем с УСО; в последнем меня интересовали лишь планы управления. Вскоре после моего прибытия в Вашингтон американское и английское правительства в принципе санкционировали проведение тайной операции, имевшей целью оторвать одну из восточноевропейских стран от социалистического блока. По ряду причин выбор пал на Албанию. Это было самое маленькое и самое слабое из социалистических государств. На юге оно граничит с Грецией, с которой Англия и США поддерживали союзнические отношения и которая формально еще находилась в состоянии войны с Албанией. На севере и востоке Албания граничит с Югославией. И наши эксперты считали — с моей точки зрения, вполне ошибочно, — что маршал Тито, порвав с социалистическим блоком, не станет вмешиваться в перемены, которые произойдут в Тиране. Словом, Албания выглядела выгодно изолированной, и, кроме того, к ней был легкий доступ с Мальты по воздуху и морю. Учитывая возможность многочисленных осложнений политического характера в связи с этим проектом, Государственный департамент и Министерство иностранных дел настаивали на неослабном контроле за этой операцией с их стороны. Исполнение плана возлагалось на СИС и Управление координации политики.

Как американцы, так и англичане поддерживали контакт с албанскими эмигрантскими группами, поэтому обе стороны взялись мобилизовать свои связи для осуществления контрреволюционного переворота. Англичане предоставляли

Мальту как передовую базу для операции и небольшие суда, необходимые для заброски агентов. Американцы обеспечивали операцию денежными и материальными средствами, а также выделили аэродром Уиллус-филд в Ливии в качестве тыловой базы и пункта снабжения. Короля Идриса не посвятили в тайну — в то время он был только эмиром. В последующих длительных спорах между англичанами и американцами Мальта была нашим главным козырем. «Стоит нам задумать где-нибудь подрывную операцию, — признался мне однажды Уизнер, — как мы тут же обнаруживаем, что у англичан где-то поблизости есть остров».

Споры касались вопроса о политическом руководстве контрреволюцией. В то время эра Даллеса еще не наступила, и США опасались действовать открыто в поддержку крайне реакционных режимов. Поэтому Государственный департамент стремился обставить контрреволюцию «демократическими» атрибутами. С этой целью он, опередив нас, заставил кучку албанских беженцев в Нью-Йорке образовать так называемый «Национальный комитет» и избрать его главой некоего Хасана Дости. Дости был молодым юристом, который, согласно данным Управления координации политики, имел безупречную репутацию демократа, хотя мне так и не удалось найти каких-либо доказательств справедливости этого утверждения. Несмотря на мои неоднократные просьбы, я не смог добиться встречи с Дости. Управлению координации политики, как мне сказали, приходилось обращаться с ним очень деликатно, так как он очень пуглив. Хорош кандидат на роль руководителя!

Если «Национальный комитет» в Нью-Йорке внушал сомнения, то английский кандидат в лидеры просто удручал меня. Это был вождь небольшого племени по имени Аббас Купи, старый друг Джулиана Эмери[57]. Судя по фотографиям, этот человек носил бакенбарды и был вооружен до зубов — типичный продукт британского патернализма. Я не сомневался, что он был способен, подобно своим предкам, совершать налеты на невооруженные караваны или исподтишка подстреливать ошалевших от жары турецких солдат, устало бредущих через какое-нибудь ущелье. Но я никогда не разделял восторгов британского джентльмена при виде представителей дикого племени. Я уверен, что небывалая храбрость диких племен существует только в легендах и что сравнение обитателя диких гор со львом понимается в том смысле, что лев (вполне разумно) избегает ввязываться в драку, если не убежден, что ему противостоит слабый Противник или что его ждет по окончании драки жирный кусок мяса. Короче говоря, если Дости был молодым слабаком, то Аббас Купи был старым негодяем.

Бесконечные споры англичан и американцев о достоинствах обоих соперников можно понять, лишь отбросив другие стороны дела и рассматривая его только как состязание, которое должно решить, кто — англичане или американцы — будет определять политику контрреволюционного правительства, если оно когда-либо образуется. Когда наконец и те и другие устали от споров и стали искать компромиссное решение, обнаружилось, что Дости и Купи под влиянием своих покровителей заняли настолько жесткую позицию, что ни одного из них нельзя было уговорить служить под началом другого.

Повседневный контроль за операцией был в руках Специального комитета по политике, который собрался в Вашингтоне. Он состоял из четырех членов, представлявших Государственный департамент, Министерство иностранных дел, Управление координации политики и СИС. Государственный департамент назначил в комитет Боба Джойса, компанейского парня, имевшего опыт в балканских делах; Эрл Джелико из английского посольства, тоже компанейский парень, представлял Министерство иностранных дел; третьим компанейским парнем был Фрэнк Линдсей из Управления координации политики, и, наконец, четвертым членом комитета был я. Нетрудно представить себе, что благодаря такому составу наши встречи носили далеко не формальный характер. Линдсей задал тон, заявив на нашей первой встрече, что единственный албанец, которого он видел, висел вниз головой на параллельных брусьях. Даже в более серьезные моменты мы, англосаксы, не забывали, что наши агенты лишь недавно слезли с деревьев. Хотя я и сказал, что Специальный комитет по политике осуществлял контроль за операцией, мы никогда не были свободны в своих действиях. Мое. лондонское начальство не позволяло мне забывать обязательства СИС по отношению к Аббасу Купи, а за спиной моих начальников всегда маячило вето Бевина: «Я этого не потерплю». Фрэнк Лицдсей, несомненно, был тоже связан подобными ограничениями.

Пожалуй, даже удивительно, что в таких условиях операция все же началась. СИС удалось наконец высадить небольшую группу агентов на албанский берег с заданием проникнуть в глубь страны, собрать необходимые данные и, двигаясь к югу, уйти в Грецию. Мы надеялись, что сведения, собранные агентами по пути, помогут впоследствии осуществить более широкие планы. Операция, разумеется, была безнадежной с самого начала. Агенты СИС смогли бы чего-нибудь добиться, только проникнув в города, но города находились под неослабным контролем коммунистов. Поэтому, чтобы выжить, агентам приходилось прятаться в горах,

где они могли бы принести хоть какую-то пользу, если бы страна была охвачена восстанием. Возможно, в основе нашей акции лежала именно невысказанная надежда на восстание. Точно так же, как в более поздние времена (когда пора бы было поумнеть), некоторые рассчитывали, что высадка диверсантов в заливе Свиней зажжет пожар на Кубе.

В итоге несколько агентов все же сумели пробраться в Грецию, где с величайшим трудом их удалось вырвать из лап греческой службы безопасности, которая могла расстрелять их ни за грош. Информация, которую они принесли, была почти полностью негативной. По крайней мере, стало ясно, что их нигде не встретили с распростертыми объятиями.

С течением времени операция потихоньку была прекращена: она не внесла ни малейшего раскола в политическую обстановку в Албании. Пожалуй, для английского и американского правительств оказалось даже лучше, что их попытка потерпела неудачу. В случае успеха они имели бы бесконечные хлопоты со своими новыми протеже, не говоря уже о серьезных трудностях с Грецией и Югославией, а возможно, и с Италией. Через несколько лет Энвер Ходжа проделал все куда эффективнее, и голова болела уже у Пекина. Отсюда следует мораль, что лучше сократить свои потери, чем стать заложниками успеха. Эта мораль применима сейчас и к Юго-Восточной Азии.

Столкновение политических интересов расстраивало также англо-американские планы большего потенциального значения, чем албанская авантюра, например планы проникновения в СССР и подрывной деятельности в самом Советском Союзе. Как СИС, так и ЦРУ имели своих соперничающих марионеток из Прибалтийских стран, чьи интересы были обычно непримиримыми. Я с удовольствием наблюдал, как эти борющиеся группировки из-за своей грызни то и дело попадали в тупик. В одном случае положение стало настолько серьезным, что эксперт СИС по североевропейским вопросам Гарри Карр был направлен в Вашингтон с отчаянной попыткой предотвратить скандал. Его миссия окончилась полным провалом: Карр и его коллеги из ЦРУ, с которыми он совещался, стали совершенно справедливо обвинять друг друга во лжи за столом переговоров.

Разногласия относительно Украины были еще более давними и такими же непримиримыми. Еще до войны СИС поддерживала контакт со Степаном Бандерой, украинским националистом профашистского толка. После войны это сотрудничество получило дальнейшее развитие. Но беда заключалась в том, что, хотя Бандера был заметной фигурой в эмиграции, его утверждения о наличии множества сторонников в Советском

Союзе никогда серьезно не проверялись, разве что в негативном смысле, поскольку от них ничего не поступало. Первая группа агентов, которую англичане снабдили радиопередатчиком и другими тайными средствами связи, была направлена на Украину в 1949 году и… исчезла. В следующем году послали еще две группы, но о них также не было ни слуху ни духу. Тем временем американцы начали серьезно сомневаться относительно полезности Бандеры Западу, а провал засланных англичанами групп, естественно, не рассеивал этих сомнений.

Нападки американцев на сотрудничество между Бандерой и СИС стали особенно резкими в 1950 году, и, работая в США, я потратил много времени на передачу язвительных посланий из Вашингтона в Лондон и обратно относительно сравнительных достоинств различных малоизвестных эмигрантских групп. ЦРУ выдвинуло три серьезных возражения против Бандеры как союзника. Его крайний национализм с фашистским оттенком являлся препятствием, которое помешает Западу вести подрывную работу в Советском Союзе с использованием лиц других национальностей, например русских. Утверждали также, что Бандера уходит корнями в старую эмиграцию и не имеет связей с новой, «более реалистичной» эмиграцией, с которой американцы усиленно заигрывали. Наконец, его прямо обвиняли в антиамериканских настроениях. Заявление англичан, что Бандера используется только в целях сбора разведывательной информации и что такое его использование не имеет какого-либо политического значения, было отвергнуто американцами. Последние возражали, что, какой бы ни был характер связи СИС с Бандерой, сам факт этой связи может поднять его престиж на Украине. Американцы высказали опасение, что любое усиление последователей Бандеры чревато опасностью раскола «движения сопротивления» на Украине, с которым вели работу они сами.

Слабость американской позиции заключалась в том, что она подкреплялась лишь голословными заявлениями и почти ничем другим. Результаты деятельности «более реалистичной» части эмиграции и «движения сопротивления» на Украине выглядели не менее плачевно, чем результаты сотрудничества между англичанами и Бандерой. Правда, ЦРУ заявляло, что зимой 1949/50 года оно приняло несколько курьеров с Украины, однако низкопробное качество их «информации» скорее говорило о том, что это были бродяги, случайно забредшие в чужую страну. В 1951 году, после нескольких лет упорной работы, ЦРУ все еще надеялось послать на Украину своего «политического» представителя с тремя помощниками для установления контакта с «движением сопротивления». ЦРУ наскребло даже резервную

группу из четырех человек, чтобы послать ее в случае, если первая группа бесследно исчезнет.

Стремясь преодолеть англо-американские разногласия по поводу Украины, ЦРУ настаивало на проведении широкой конференции с СИС. Эта конференция состоялась в Лондоне в апреле 1951 года. К моему удивлению, английская сторона заняла твердую позицию и наотрез отказалась выбросить Бандеру за борт. Все, чего удалось достичь и что было принято с нескрываемым раздражением американской стороной, — это решение вновь рассмотреть упомянутый вопрос в текущем году в конце сезона, благоприятного для выброски парашютистов. Надеялись, что к тому времени в распоряжении сторон будет больше фактов. В течение месяца англичане выбросили три группы по шесть человек. Самолеты отправлялись с аэродрома на Кипре. Одна группа была сброшена на полпути между Львовом и Тернополем, другая — неподалеку от верховьев Прута, около Коломны, и третья — в пределах Польши, около истоков Сана. Чтобы избежать дублирования и перекрытия районов, англичане и американцы обменивались точной информацией относительно времени и географических координат своих операций. Не знаю, что случилось с этими группами, но об этом, пожалуй, нетрудно догадаться.

Лет через восемь я прочел о загадочном убийстве Бандеры, в Мюнхене в американской зоне оккупации Германии. Вполне возможно, что, несмотря на смелые выступления англичан в его защиту, последнее слово в этом деле сказало ЦРУ.

ГРОЗА

Когда я прибыл в Вашингтон, ФБР находилось в скверной ситуации. В лице маленькой Джудит Коплон — талантливой молодой женщины, работавшей в Министерстве юстиции, — оно поймало добычу не по зубам. ФБР пыталось выдвинуть против нее обвинение в шпионаже. Когда было собрано достаточно доказательств, полученных главным образом путем незаконного подслушивания телефонных разговоров, Гувер санкционировал необходимые меры, и Коплон арестовали. Ее поймали с поличным в тот момент, когда она передавала документы связнику, и дело казалось решенным. Однако в спешке ФБР забыло получить ордер на ее арест, в результате чего арест оказался незаконным. ФБР имеет право арестовывать без ордера лишь в тех случаях, когда есть достаточно оснований полагать, что подозреваемый намерен немедленно скрыться. Поскольку Коплон задержали на нью-йоркской улице, когда она шла от станции надземной железной дороги, откуда только что вышла, при самом богатом воображении трудно было обвинить ее в том, что она собиралась бежать.

Незаконность ареста была должным образом доказана на суде, но худшее для ФБР было впереди. Несмотря на то что Коплон поймали *с* поличным, она решила бороться до конца. Она отказалась от услуг своего первого адвоката на том основании, что он занимал слишком примирительную позицию по отношению к обвинению: он, видимо, ставил целью не оправдание, что казалось абсолютно безнадежным, а лишь смягчение приговора. Коплон с этим была не согласна. Взяв в помощь второго адвоката, она перешла в контратаку и начала изводить свидетелей ФБР. Она так их прижала, что они признались не только в подслушивании ее телефона, но и в том, что подслушивали разговоры штаб-квартиры ООН. Судебный процесс начал наносить настолько серьезный ущерб ФБР в глазах общественного мнения, что Гувер тотчас решил снять обвинение с Коп-лон. Характерно, что он нашел козла отпущения за свое поражение. Харви Флемминга, главного свидетеля ФБР на суде, увалили, а Коплон выпустили на свободу. Это был триумф смелой женщины. С тех пор ее имя упоминалось в Министерстве юстиции неизменно с оскорбительными эпитетами.

Неудача ФБР в деле Коплон отнюдь не была исключением или даже чем-то необычным. Я ничего не могу сказать о заслугах ФБР в борьбе с преступностью в США. С этой стороной его деятельности я не имел ничего общего. Но я был тесно связан с

его контрразведывательной работой, а в этой области ФБР прославилось больше неудачами, чем успехами. Гувер не сумел поймать Маклина и Берджесса; он не поймал Фукса, и, если бы англичане не схватили Фукса и не сумели хитро сыграть на его чувствах, он не поймал бы и остальных; он не поймал Лонсдейла; в течение многих лет он не мог поймать Абеля и взял его только благодаря тому, что Хаянен представил его на блюдечке; он не поймал даже меня. Если и была когда-либо дутая репутация, так это репутация Гувера.

Но Гувер — великий политикан. Его грубые методы и беспощадное самовластие не то оружие, которое требуется для кошмарного мира разведки. Он находит им другое применение. Они дали Гуверу возможность собрать и запротоколировать огромное количество сведений о личной жизни миллионов своих соотечественников. Это давно уже всем известно и приносит Говеру богатые дивиденды из кармана американского налогоплательщика. В нашем мире мало людей, не имеющих какой-то личной тайны, которую они предпочли бы не ворошить. Секретные досье показывают, например, что у многих американских конгрессменов такое прошлое, в котором лучше не копаться. Отсюда значение тех материалов, которые держит в руках Гувер. Сам факт наличия огромных архивов ФБР удерживает многих от нападок на тоталитарную империю Гувера.

Я говорю о периоде Маккарти. Можно было бы подумать, что Гувер возмутится нарушением своей монополии со стороны сенатора, который утверждал, что он единолично раскрыл глубокое проникновение коммунистов в государственный департамент и другие органы правительства США. Ничего подобного. Гувер знал, что стоит ему только раскрыть рот, и честолюбивые претензии Маккарти навсегда исчезнут. Но зачем ему это нужно? Подняв кампанию шпиономании в национальном масштабе, Маккарти создал условия, при которых ни один конгрессмен не смел возражать против увеличения ассигнований для ФБР. Но что Гувер в действительности думал о Маккарти, стало ясно при первой моей встрече с ним, когда я прямо спросил об этом. Гувер сказал: «Я часто встречаю Джо на скачках, но он еще ни разу не угадал, какая лошадь победит».

Мой первый дом в Вашингтоне был недалеко от Коннектикут-авеню, почти напротив дома Микки Лэдда, помощника директора ФБР, отвечающего за вопросы безопасности. Мне казалось полезным недолго пожить в преддверии логова льва, но только недолго. Домик был маленький, и я вскоре стал подумывать о переезде в более просторное помещение и на более безопасное расстояние от такого соседа. Наконец я устроился в полумиле от

этого места на Небраска-авеню. Из сотрудников ФБР мне больше всего приходилось иметь дело с Лэддом, и я встречался с ним по нескольку раз в неделю как в его служебном кабинете, так и дома. В прошлом он был одним из головорезов Гувера в Чикаго, «парнем, который всегда шел первым», когда надо было стрелять. Он и сейчас походил на головореза. Невысокого роста, коренастый, он, видимо, был крепким как кремень, пока не отрастил брюшко, толстые щеки, второй подбородок и не приобрел такой цвет лица, который предвещает апоплексический удар. У него не было никаких интеллектуальных интересов. Излюбленным его развлечением было проигрывать похабные пластинки женщинам, которые впервые посещали его дом. У него были и другие «ребяческие» черты, включая бессознательную жестокость. По самой объективной оценке, это был страшный человек, но, тем не менее, он начинал мне нравиться.

Лэдд, не теряя времени, заявил мне, что не одобряет моих тесных связей с ЦРУ. Космополитический дух этого учреждения, видимо, вызывал у него искреннее отвращение. «Чему их там учат, в ЦРУ? — начал он однажды вечером, и сам ответил: — Как пользоваться ножом и вилкой и как жениться на богатых женщинах». Он также с большим подозрением относился к аристократическим традициям американского флота. Но, как я предвидел еще в Лондоне, мне удавалось с ним ладить при условии, что я не пытался казаться слишком умным и терпел его грубые насмешки в адрес моих «друзей» из ЦРУ. Впервые я убедился, насколько он может быть груб, к счастью, перед самым отъездом Питера Дуайера в Оттаву. Случилось так, что представитель МИ-5 в Вашингтоне Джеффри Патерсон и мы одновременно получили указание из Лондона выяснить один вопрос с ФБР. Патерсон попытался сделать это первым и потерпел неудачу: ему было сказано, что это дело не касается Лондона. Когда мы с Дуайером прибыли вскоре после этого и подняли тот же самый вопрос, Лэдд встретил нас злобным взглядом. «Значит, вот какую игру вы ведете, — сказал он, положив сигару и заливаясь краской. — Приходит Джеффри, и я даю ему от ворот поворот. И что же после этого? После этого приходите вы двое и снова пытаетесь…» Затем последовала десятиминутная ругань, перед которой все наши протесты были бессильны. Его ярость была искренней, хотя никак не соответствовала значению того вопроса, который мы пришли обсудить. Его взбесило лишь то, что мы, как он думал, пытались сманеврировать. В его задачу входило стравливать МИ-5 с СИС и использовать в своих интересах всякие разногласия между нами, а теперь получилось, что мы объединились против него. Впрочем, в тот же вечер он

позвонил мне и пригласил к себе выпить виски. Мы просидели до глубокой ночи. О неприятной утренней встрече не было сказано ни слова.

К нам продолжали вяло поступать сообщения об утечке информации в посольстве. Помимо Дуайера, который вскоре уехал, лишь трое сотрудников английского посольства имели доступ к этим материалам: Патерсон, я и Бобби Маккензи — офицер службы безопасности посольства, мой старый коллега еще по сектору V. В ФБР ими занимались Лэдд, Лишмен, являвшийся в то время начальником антикоммунистического сектора, и Боб Лэмфер, симпатичный туповатый парень из Огайо, отвечавший за анализ материалов по этому делу с американской стороны. СИС еще была далека от того, чтобы установить источник утечки в английском посольстве, но в течение зимы 1949/50 года кольцо начало сужаться вокруг источника в Лос-Аламосе. Оставалось сделать выбор между двумя выдающимися учеными-атомщиками — доктором Пейерлсом и доктором Фуксом. Дуайер оказал СИС последнюю услугу: проведя блестящий анализ перемещений двух ученых, он решительно исключил из числа подозреваемых Пейерлса. После этого все безошибочно указывало на Фукса, который был английским гражданином немецкого происхождения.

Возникли обычные затруднения с доказательствами, которые не имели юридической силы, но Фукс, в отличие от Джудит Коплон, сам представил доказательства против себя. Вскоре после того, как Дуайер установил источник утечки в Лос-Аламосе, Фукс отправился в Англию с очередным визитом. Его арестовали по прибытии в страну и передали для допроса Джону Скардону из МИ-5. Скардон сумел настолько втереться к нему в доверие, что Фукс не только признался в своем участии в этом деле, но и опознал по фотографии своего связного в США — Гарри Голда. От Голда, который тоже оказался разговорчивым малым, ниточка потянулась к Розенбергам, которых затем казнили на электрическом стуле. Стоит упомянуть, что Эйзенхауэр объяснил свой отказ помиловать Этель Розенберг тем, что тогда русские будут использовать в шпионаже только женщин. Позиция, достойная самого большого ходока из американских президентов.

Жертвой дела Фукса пал еще один человек. Хотя Гувер ничего не сделал для разоблачения Фукса, он был полон решимости извлечь для себя максимум политического капитала. Для этого ему нужно было показать, что у него есть собственный материал, а такой материал можно было получить лишь в том случае, если его люди сами допросят арестованного. Он объявил о своем намерении послать в Лондон Лишмена для допроса Фукса в

камере. Патерсон и я получили указание передать Гуверу, что об этом не может быть и речи. Фукс уже ждал суда, и по закону никому не разрешалось проводить допросы, тем более представителям иностранной державы. Я застал Гувера в состоянии крайнего раздражения и явно не склонного соблюдать британские законы. Он не желал отказываться от своего намерения. Лишмен был послан в Лондон со строгим приказом: либо увидеть Фукса, либо… Результат был «либо…». Когда я услышал о возвращении Лишмена и пришел в его шикарный, устланный коврами кабинет, в его кресле сидел уже кто-то другой. Самого Лишмена я нашел через несколько дверей по коридору в маленькой комнате, которую занимали четыре младших агента. Лиш-мен писал что-то на краешке стола. Бедняга был конченым человеком. Он посмотрел на меня так, будто виноват в этом был я. Такова была жизнь под Гувером.

Летом 1950 года я получил письмо от Гая Берджесса. «У меня есть сюрприз для тебя, — писал он. — Меня только что назначили в Вашингтон». Он просил, чтобы я пустил его на несколько дней к себе, пока он не найдет квартиру. Это была проблема. В обычных условиях было совершенно недопустимо разведчикам жить в одном помещении. Но условия были необычными. С самых первых дней наши пути то и дело переплетались. Он собирал для меня деньги в Кембридже после восстания австрийского шуцбунда. Я рекомендовал его советской разведке как возможного помощника. Позже он помог мне поступить в английскую секретную службу. В Испании он был моим связником. В 1940 году мы вместе работали в СИС. В 1948 году он нанес мне служебный визит в Турции. Поэтому наши близкие отношения были хорошо известны, и всякое серьезное расследование деятельности любого из нас, несомненно, раскрыло бы наши связи в прошлом. Казалось, он вполне мог остановиться у меня, с профессиональной точки зрения не могло быть никаких возражений.

Но было другое соображение, которое склонило меня к тому, чтобы согласиться с предложением Берджесса. По архивным материалам я знал, что его дело было абсолютно чистым, так как в политическим плане против него не было никаких компрометирующих материалов. Но он как-то ухитрялся постоянно попадать во всякого рода скандальные переделки личного характера. Один сотрудник Министерства иностранных дел, ныне посол, спустил его однажды с лестницы в клубе «Гаргойл», в результате чего он разбил себе голову. Были с ним хлопоты в Дублине и Танжере. Я подумал, что у него будет больше шансов остаться незаметным в Вашингтоне, если он

поселится у меня, а не в холостяцкой квартире, где каждый вечер будет предоставлен самому себе. Едва я успел ответить Берджессу, как Маккензи показал мне письмо, полученное им от тогдашнего начальника отдела безопасности Министерства иностранных дел Кэри-Фостера, предупреждавшего Маккензи о прибытии Берджесса. Кэри-Фостер считал, что удерживать его от чудачеств в большом посольстве будет легче, чем в маленьком. Он перечислял все прошлые грехи Берджесса и в заключение написал, что худшее, может быть, еще впереди. «Что он имеет в виду под худшим?» — пробормотал Маккензи. Я сказал, что хорошо знаю Гая, что он остановится у меня и что я буду присматривать за ним. Маккензи был очень доволен тем, что оказался еще кто-то, готовый разделить с ним ответственность.

В свете последующих событий мое решение согласиться с предложениями Берджесса представляется серьезной ошибкой. Я много думал об этом в течение последних 15 лет. Бесполезно оправдываться тем, что нельзя предвидеть, какой оборот примут события через несколько месяцев, — меры безопасности должны предусматривать даже непредвиденные случаи. Но чем больше я думаю об этом, тем больше мне кажется, что мое решение поселить у себя Берджесса ускорило не больше чем на несколько недель те события, в результате которых я оказался в центре внимания публики. Эти события побудили Беделл-Смита энергичнее требовать в своем письме к шефу моего отзыва из Вашингтона. Может быть, мне даже повезло, что подозрение на меня пало преждевременно в том смысле, что оно приняло определенную форму, прежде чем накопились достаточно веские доказательства для передачи моего дела в суд.

В связи с приездом Берджесса возникла проблема, решить которую самостоятельно я не мог. Я не знал, следует ли посвятить его в тайну источника утечки в английском посольстве[58], по поводу чего продолжалось расследование. Решение ввести его в курс дела было принято после того, как я в одиночестве совершил две автомобильные поездки за пределы Вашингтона. Мои советские коллеги сказали мне, что, по имеющемуся мнению, посвящение Гая в этот вопрос может оказаться полезным. Поэтому я полностью ввел его в курс дела, подробно рассказав обо всех деталях. В дальнейшем мы постоянно обсуждали этот вопрос. Трудность для меня заключалась в том, что за 14 лет я видел Маклина лишь однажды, и то мельком.

Я понятия не имел, где он живет и как живет, короче говоря, я не знал о нем практически ничего.

Теперь пора вернуться к делу, пояснить, в каком положении

оно находилось и какие были с этим связаны проблемы. Ход дела внушал мне серьезное беспокойство. Оно было насыщено множеством неясных факторов, оценка которых могла строиться лишь на догадках. СИС получила с десяток сообщений, касающихся источника утечки, в которых он фигурировал под кличкой «Гомер», однако установить его личность не удавалось. ФБР продолжало посылать нам стопы бумаг об уборщицах посольства и без конца вело изучение нашего обслуживающего персонала. Для меня это остается самой необъяснимой чертой всего дела. Уже до этого имелись данные, что в Министерство иностранных дел Великобритании проник какой-то агент. Об этом заявили и Кривицкий, и Волков. Правда, не говорилось о том, что имевшиеся сообщения относились к одному и тому же лицу. Даже и сейчас нет оснований так думать. Но если бы такое предположение все же сделали, особенно если бы информацию Кривицкого сопоставили с вашингтонскими данными, то, не теряя времени, начали бы расследование среди дипломатов, возможно, еще до моего появления в Вашингтоне.

Но еще более странной была другая сторона дела. Должен признаться, я обладал большим преимуществом: с самого начала я знал почти наверняка, кто замешан в этом деле. Но даже если отбросить это преимущество, мне казалось совершенно очевидным из содержания сообщений, что дело касается не мелкого агента, который подбирает обрывки бумаг из корзин и случайные копирки. Некоторые из сообщений Гомера касались довольно сложных политических проблем, и о нем не раз говорили с уважением. Можно было не сомневаться, что речь шла о человеке, занимающем довольно высокое положение. Нежелание начинать расследование в соответствующем направлении можно объяснить лишь неким психологическим барьером, который упорно мешал заинтересованным лицам поверить, что уважаемый член их общества способен на такие вещи. Существование такого барьера полностью подтвердилось комментариями, которые последовали за исчезновением Маклина и Берджесса, да и после моего побега. Вместо того чтобы признать очевидную правду, давались исключительно глупые объяснения.

Я понимал, что эта странная ситуация не может продолжаться вечно. Когда-нибудь кто-нибудь в Лондоне или Вашингтоне посмотрит на себя в зеркало, и его осенит догадка. Начнется изучение дипломатов, и рано или поздно дело прояснится. Главный вопрос заключался в том, когда наступит это «рано или поздно».

Из бесед с моими друзьями на встречах в окрестностях Вашингтона я сделал два основных вывода. Во-первых,

обязательно вытащить Маклина, прежде чем он попадется в сети. Это было принято за аксиому. Вопрос о том, как он может быть использован Советским Союзом в дальнейшем в случае побега, не обсуждался. Достаточно было того, что это старый коллега. Некоторым читателям, возможно, трудно будет это понять. Я и не прошу их об этом. Но пусть меня не винят, если в последующем им придется пережить неприятные минуты. Во-вторых, желательно было, чтобы Маклин оставался на своем посту как можно дольше. После его побега спокойствия ради было заявлено, что он был «всего лишь» заведующим американским отделом Министерства иностранных дел и, следовательно, не имел свободного доступа к особо важной информации. Но нелепо полагать, что опытный агент, занимающий важный пост в Министерстве иностранных дел, имеет доступ только к тем бумагам, которые попадают к нему на стол в связи с его повседневными служебными обязанностями. Я уже рассказывал, как получил доступ к делам английских агентов в Советском Союзе, когда считалось, что я лишь гоняюсь за немецкими шпионами в Испании. Короче, наш долг заключался в том, чтобы доставить Маклина в безопасное место, но не раньше, чем это станет необходимым.

Были и еще два осложнения. Меня послали в Соединенные Штаты на два года, и поэтому я ждал замены осенью 1951 года. Я не имел представления о том, куда меня назначат впоследствии. Это мог быть Каир или Сингапур, то есть места, где я буду далек от дела Маклина. Нащупывая в относительном неведении решение, мы пришли к выводу, что в интересах безопасности надо организовать спасение Маклина самое позднее к середине 1951 года. Второе осложнение вытекало из положения Берджесса. В Министерстве иностранных дел он чувствовал себя явно не в своей тарелке. У него не было ни со-, ответствующего темперамента, ни нужных качеств для работы в этом учреждении. Одно время он подумывал об уходе и кое-что подготовил для себя на Флит-стрит[59]. Такое настроение отражалось на его работе в Министерстве иностранных дел, так что его уход мог превратиться в увольнение. Во всяком случае, он стремился назад, в Англию.

В чьем-то мозгу — не знаю в чьем — эти две задачи объединились: возвращение Берджесса в Лондон и спасение Маклина. По возвращении в Лондон из английского посольства в Вашингтоне Берджессу, естественно, надо будет нанести визит заведующему американским отделом. Следовательно, он будет иметь хорошую возможность сообщить Маклину о намеченной операции по спасению. Он мог бы уйти в отставку в Вашингтоне и

без всякого шума вернуться в Лондон. Однако показалось бы странным, если бы Маклин исчез вскоре после добровольного возвращения Берджесса в Лондон. Нужно было устроить дело так, чтобы его отправили в Англию независимо от его желания. Эта идея очень понравилась Берджессу, и он осуществил ее самым простым способом. В течение одного дня его трижды задерживали за превышение скорости в штате Вирджиния, и губернатор отреагировал на это именно так, как мы и рассчитывали. Он послал в Государственный департамент гневный протест по поводу вопиющего злоупотребления дипломатическими привилегиями. Протест был показан послу. Через несколько дней Берджессу с сожалением сообщили, что ему придется покинуть США.

Как только была установлена возможность использовать Берджесса в операции по спасению Маклина, внимание переключилось на мое собственное положение. Несмотря на все предосторожности, могла вскрыться связь Берджесса с Маклином и расследование его деятельности могло бросить тень на меня. Казалось, вряд ли тут можно было что-нибудь сделать, но я подумал, что мне удастся отвлечь от себя подозрение, если я сам сделаю положительный вклад в расследование дела об утечке информации в английском посольстве. До сих пор я держался в стороне, предоставив ФБР и МИ-5 делать все, что было в их силах. Теперь, когда уже вырисовывался план спасения, у меня не было причин не подтолкнуть расследование в нужном направлении.

С этой целью я написал докладную записку в Лондон, указав, что мы, возможно, тратим зря время на дотошное изучение обслуживающего персонала посольства. Я по памяти напомнил показания Кривицкого, из которых следовало, что начальник отдела советской разведки по Западной Европе в середине 30-х годов завербовал одного молодого человека, который только что поступил в Министерство иностранных дел. Этот молодой человек происходил из хорошей семьи и получил образование в Итоне и Оксфорде. Он оказывал помощь советскому разведчику по идейным соображениям, а не за деньги. Я порекомендовал сопоставить эти данные со сведениями о дипломатах, работавших в Вашингтоне в 1944–1945 годах, то есть в период, к которому относились сведения об утечке информации. Я получил ответ от Вивьена, в котором он заверял меня, что эта сторона дела тоже имеется в виду. Однако из материалов не было видно, что в этом направлении что-то делается, а ошеломляющая скорость, с какой начали развиваться последующие события, показала, что эта идея была относительно новой.

Сопоставление материалов Кривицкого с данными об утечке

информации в посольстве позволило составить список из шести имен, который был послан нам из Лондона с сообщением, что ведется интенсивное расследование. В списке были имена Роджера Мейкинса[60], Пола Гор-Бута[61], Майкла Райта и Дональда Маклина (можно было возразить, что Маклин не учился ни в Итоне, ни в Оксфорде, и он в самом деле не учился там, но МИ-5 не придала особого значения этой детали, считая, что, по мнению иностранцев, все молодые англичане из хороших семей должны учиться в Итоне и Оксфорде). Этот список доставил Бобби Маккензи одну из счастливейших минут в жизни. Внимание Бобби привлек Гор-Бут. Почему? Он учился в Итоне и Оксфорде; он поступил в Министерство иностранных дел в середине 30-х годов; он был знатоком классической литературы, и поэтому кличка «Гомер» вполне подходила к нему, а кроме того, имя Гомер по-русски созвучно с именем Гор. Что касается убеждений, то Гор-Бут был христианином и трезвенником. Чего еще надо? Это была неплохая идея, и я надеялся, что она займет Лондон, по крайней мере, на несколько дней.

Берджесс собрал свой багаж и уехал. В последний вечер мы ужинали в китайском ресторане, где в каждой кабине был репродуктор и играла музыка, которая помогала заглушать наши голоса. Шаг за шагом мы обсудили весь план. По прибытии в Лондон Берджесс должен был встретиться с советским связным и информировать его обо всем. После этого, заготовив лист бумаги с указанием времени и места встречи, он должен был нанести визит Маклину в его кабинете и передать ему этот листок. Затем ему предстояло прийти на эту встречу с Маклином и ввести его в курс дела. С этого момента я уже отключался от операции. Берджесс выглядел расстроенным, и я догадывался, что у него на душе. Когда на следующее утро я привез его на станцию, моими последними словами, сказанными полушутя, были:

— Смотри и сам не убеги.

Осенившая Маккензи идея насчет Гор-Бута не произвела особого впечатления на МИ-5. Изучая свой короткий список, они искали человека из ряда вон выходящего, который меньше всего соответствовал обычному типу дипломата. Это был разумный метод, и в результате они поставили имя Маклина во главе списка. Он не любил посещать светские рауты дипломатического корпуса и предпочитал общество независимых умов. В отличие от него, все другие люди в списке удивительно соответствовали нормам своего круга. Сообщив нам свои выводы, МИ-5 информировала нас, что Маклином, вероятно, займутся, когда дело против него будет завершено. Тем временем ему будет закрыт доступ к некоторым документам Министерства

иностранных дел, а сам он будет взят под наблюдение. Два последних решения, принятые, видимо, с целью успокоить американцев, были неразумными. Но я не видел причин критиковать их. Я рассудил, что со временем они могут сослужить мне хорошую службу в случае, если что-то пойдет не так, и оказался прав.

Тем не менее меня встревожила скорость, с какой развивалось дело, и на следующей встрече с советским связным я предупредил его, что надо торопиться. У меня оказался также предлог написать прямо Берджессу. Заведующий транспортом посольства дважды спрашивал меня, что делать с «линкольном» Берджесса, который тот оставил в гараже. Использовав этот предлог, я написал Берджессу, что, если он немедленно не примет мер, будет слишком поздно, потому что я отправлю его машину на свалку. Ничего другого я сделать уже не мог.

Однажды рано утром мне позвонил по телефону Джеффри Патерсон и сообщил, что только что получил ужасно длинную телеграмму из Лондона с грифом «весьма срочно». Он отпустил свою секретаршу на неделю в отпуск, а лично ему потребуется целый день, чтобы расшифровать телеграмму. Не мог бы я прислать ему в помощь мою секретаршу? Я отдал необходимое распоряжение и присел, чтобы успокоиться. Это наверняка было то самое. Попался Маклин или успел скрыться? Мне не терпелось броситься в посольство и самому помочь в расшифровке телеграммы. Но, несомненно, было благоразумнее заняться своими обычными делами, будто ничего не случилось. Придя в посольство, я пошел прямо в кабинет Патерсона. Он был бледен.

— Ким, — прошептал он, — птичка улетела.

Я изобразил на лице выражение ужаса (надеюсь, мне это удалось).

— Какая птичка? Неужели Маклин?

— Да, — ответил он. — Но хуже того: Гай Берджесс бежал вместе с ним.

Тут уж мой ужас был неподдельным.

ИСПЫТАНИЕ

Бегство Берджесса вместе с Маклином поставило меня перед судьбоносным решением. Еще в самом начале, когда мы обсуждали план побега Маклина, мои советские коллеги допускали, что какие-либо непредвиденные обстоятельства могут поставить меня в опасное положение. На этот случай мы разработали план побега для меня, и решение о введении его в действие я должен был принять сам в случае крайней необходимости. Было ясно, что исчезновение Берджесса вызывало такую необходимость, но была ли она крайней? Пришлось отложить решение на несколько часов, чтобы успеть освободиться от некоего оборудования, хранившегося у меня дома и способного скомпрометировать меня, и прощупать настроение в ФБР, так как от этого могли зависеть детали моего побега. В первую очередь, пожалуй, следовало избавиться от оборудования, но я решил, что это подождет, так как показалось бы очень странным, если бы, услышав новость о Берджессе и Маклине, я сразу покинул посольство. Кроме того, телеграмма Патерсона давала мне благовидный предлог для того, чтобы безотлагательно прощупать ФБР. Телеграмма заканчивалась распоряжением информировать о ее содержании Лэдда. Патерсон, предвидя, что ему придется немало краснеть, к концу беседы попросил меня сопровождать его, на том, видимо, основании, что два красных лица лучше, чем одно. То обстоятельство, что мое лицо было скорее серым, чем красным, не меняло в принципе положения вещей.

Лэдд выслушал новость с удивительным спокойствием. Лукавые искорки в его глазах заставляли думать, что он, возможно, был даже доволен, что проклятые англичане сели в такую лужу. Но я догадался, что его спокойствие скрывает личную озабоченность. Лэдд часто встречался с Берджессом у меня дома и приглашал его к себе. Как ни странно, они очень неплохо ладили. Оба обладали вспыльчивым характером и нередко с удовольствием обменивались оскорблениями. При первой встрече Берджесс набросился с нападками на коррупцию и подкуп, которые, как он утверждал, лишили всякого смысла автомобильные гонки в Индианаполисе. При этом он не преминул мимоходом обругать американский образ жизни в целом. Лэдду это явно понравилось. Он, видимо, никогда не слышал, чтобы чопорный англичанин разговаривал таким образом. В данной критической ситуации он не был бы Лэддом, если бы не задавался вопросом, в какой мере «шеф», Гувер, знает об их отношениях с Берджессом. Я решил, что личная

заинтересованность Лэдда будет мне на руку. От него мы прошли к Лэмферу, который реагировал на новость вполне нормально. Мы обсудили побег дипломатов, и он в своей солидной, серьезной манере выдвинул несколько теорий, которые показали, что он был еще далек от истины. Покидая здание ФБР, я почувствовал значительное облегчение. Я допускал, что Лэдд и Лэмфер были хорошими актерами и одурачивали меня, но не было смысла сражаться с ветряными мельницами. Надо было действовать исходя из того, что ФБР еще ничего не знает.

МИ-5 в любой момент могла попросить ФБР взять меня под наблюдение. Это легко могло быть сделано без моего ведома, связавшись через представителя ФБР в Лондоне напрямую с Вашингтоном. Но я все-таки чувствовал, что у меня будет несколько дней передышки. Не похоже, чтобы МИ-5 напустила на меня иностранную службу безопасности без предварительной консультации с МИ-б, а последняя, по моему мнению, подумала бы, прежде чем порочить репутацию одного из своих старших офицеров. Должен подчеркнуть, что все это были лишь мои догадки, которые остаются догадками до сего дня. Однако они подтвердились тем, что в течение нескольких дней меня никто не трогал.

Когда мы с Патерсоном вернулись в посольство, было уже за полдень, и я мог с полным правом сказать ему, что хочу сходить домой выпить виски. В своем гараже, который служил также кладовой, я взял садовую лопатку, сунул ее в портфель и спустился в подвал. Завернул фотоаппарат, треногу и другие принадлежности в непромокаемую материю и все это положил в машину. Я часто мысленно репетировал необходимые действия и выработал определенный порядок. У меня вошло в привычку выезжать на Грейт-Фолс, чтобы провести спокойных полчаса между визитами в ФБР и ЦРУ. По дороге я наметил место, подходящее для такого случая, в котором в настоящее время возникла необходимость. Я оставил машину на пустынном участке дороги, где слева нес свои воды Потомак, а справа стоял лес с высоким подлеском, достаточно густым для укрытия. Я прошел пару сотен ярдов через кустарник и принялся за работу. Через несколько минут я вышел из леса, поправляя брюки. Вернувшись домой, я некоторое время повозился еще в саду с лопаткой. Итак, что касается неодушевленных предметов, могущих скомпрометировать меня, я был чист как агнец.

Теперь я мог уделить внимание проблеме побега. Поскольку в течение последних недель я время от времени думал над этим вопросом, у меня к концу дня уже созрело решение остаться на месте. Я считал, что, пока имеются хоть какие-то шансы, мой долг

— бороться до конца. Несомненно, мне придется на некоторое время прекратить всякую деятельность, а это может затянуться и, разумеется, будет для меня тяжело. Но зато, когда этот период кончится, у меня вполне могут оказаться дальнейшие возможности для работы. События подтвердили мою правоту.

Проблема сводилась к оценке моих шансов уцелеть, если я останусь. Мне казалось, что их баланс складывается в значительной степени в мою пользу. Следует учесть, что я имел огромные преимущества перед людьми, подобными Фуксу, которые почти ничего не знали о разведывательной работе. Я же проработал в Секретной службе одиннадцать лет, семь из них я занимал довольно высокое положение, а в течение восьми лет работал в тесном контакте с МИ-5. На протяжении восьми лет я поддерживал, хотя и нерегулярно, отношения с американскими секретными службами, а почти два года был тесно с ними связан. Я считал, что достаточно хорошо знаю противника, чтобы предвидеть в общих чертах те шаги, которые он, вероятно, предпримет. Я знал главное оружие противника — его досье и, кроме того, был знаком с теми ограничениями, которыми связывают его деятельность законы и формальности. Было также очевидно, что найдется много людей, которые занимают видное положение в Лондоне и которым очень захочется доказать мою невиновность. Они будут склонны истолковывать в мою пользу любые сомнения, а я, со своей стороны, должен создать как можно больше оснований для таких сомнений.

Какие известные мне доказательства могли быть выдвинуты против меня?

К ним можно отнести юношеские связи с левым движением в Кембридже. Об этом было широко известно, и потому не имело смысла что-либо скрывать. Однако я никогда не вступал в Англии в коммунистическую партию, и, конечно, будет трудно доказать по прошествии 18 лет, что я был на нелегальной работе в Австрии, тем более что большей части моих венских друзей, к сожалению, наверное, уже нет в живых. Была также одна компрометирующая фраза в показаниях Кривицкого о том, что ОГПУ послало в Испанию во время гражданской войны одного молодого английского журналиста. Но не имелось никаких подробностей, по которым можно было бы установить личность этого журналиста, а в то время многие молодые люди с Флит-стрит побывали в Испании. Не в мою пользу говорило также то, что поступить в разведку мне помог Берджесс. Но я уже решил обойти этот факт, назвав имя одной известной дамы, которая *могла* быть ответственной за мое привлечение в Службу. Если она признает это, все будет хорошо. Если же будет отрицать, я буду

настаивать и заявлю, что не назвал бы ее имени, если бы действительно не верил, что именно она привлекла меня в Секретную службу.

Может, конечно, возникнуть крайне затруднительное положение, если служба безопасности установит, какие материалы я брал из архива, работая в центральном аппарате, так как это докажет, что мои интересы выходили далеко за пределы официальных обязанностей. Единственно возможный аргумент в мою защиту — а именно то, что я страстно интересовался работой Службы, — прозвучит малоубедительно. Впрочем, я знал, что книги учета выдачи документов периодически уничтожаются, и считал маловероятным, чтобы они пережили массовую чистку ненужных бумаг, проводившуюся после войны. Был также ряд дел, как, например, дело Волкова, которые я вел и которые окончились неудачно для СИС по так и не установленным причинам. Но каждую неудачу можно было бы объяснить, не раскрывая моей истинной роли; к тому же были два важных дела, которые, несмотря на все мои старания, окончились не так, как хотелось бы. Хотя удачные дела и не оправдывают меня полностью, но могут в какой-то мере поставить под сомнение мою ответственность за неудачу в других случаях.

Действительно трудная задача заключалась в том, чтобы объяснить мои отношения с Берджессом. У нас было очень мало общих интересов, очень мало общих друзей и разные вкусы. Главное, что нас связывало, — политические взгляды, а именно это нужно было постараться по возможности скрыть. В этом отношении до некоторой степени помогала география. Когда я был в Австрии, Берджесс был в Кембридже; когда я был в Испании, он был в Лондоне; большую часть войны он провел в Лондоне, а я был во Франции, Хэмпшире и Хартфордшире; потом я уехал в Турцию, и мы снова встретились лишь через год в Вашингтоне. Поэтому я мог показать, что между нами никогда не было по-настоящему близких отношений, что он был просто интересным, но случайным компаньоном. Даже тот факт, что он остановился в Вашингтоне в моей квартире, можно было превратить в преимущество: неужели я настолько глуп, чтобы афишировать свою связь с Берджессом, если бы нас связывала какая-то тайна.

Другая трудность заключалась в том, как выглядела моя карьера. Чем больше я думал, тем меньше мне это нравилось. Начиналась она с известной всем связи с левыми организациями в Кембридже и, возможно, известной коммунистической деятельности в Вене; затем следовал полный «разрыв» с моими английскими друзьями-коммунистами, за которым слишком

быстро началась «дружба» с нацистами в Лондоне и Берлине; потом я из всех возможных мест выбрал франкистскую Испанию, чтобы сделать карьеру журналиста; далее поступление в Секретную службу при помощи Берджесса и специализация на антисоветской и антикоммунистической работе; и наконец, моя осведомленность о тех действиях, которые было намечено предпринять против Маклина, и его побег. Картина получалась не очень красивая. Я приходил *к* неизбежному заключению, что у меня нет надежды доказать свою невиновность.

Однако это заключение не слишком удручало меня. Основания для доказательства моей виновности могли быть достаточными для сотрудников разведки, но их было недостаточно для юриста. Юристу необходимы улики. Цепь косвенных улик, которые могли быть выдвинуты против меня, была длинной, но, рассматривая каждое отдельное звено этой цепи, я полагал, что их можно разбить все по очереди. А если все звенья разбиты, что остается от цепи? Поэтому, несмотря на внешне неблагоприятные признаки, я считал, что у меня неплохие шансы. Следующая задача заключалась в том, чтобы, играя в открытую, начать сеять семена сомнений так далеко и широко, как только возможно.

Последующие несколько дней дали мне для этого уйму возможностей. На работе у нас с Патерсоном только и было разговоров, что о Маклине. Иногда к нам присоединялся и Маккензи. Не думаю, что в то время Патерсон о чем-либо догадывался, но в Маккензи я был уверен меньше. Это был ленивый, но далеко не глупый человек, и временами мне казалось, что я ловлю в его взгляде подозрительность. Во время этих разговоров я старался сформулировать теорию на основе известных фактов и как можно крепче вбить ее в голову моих собеседников. В этом мне помогло неумное решение МИ-5, о котором я уже упоминал: не допускать Маклина к некоторым документам и установить за ним наблюдение. Взяв этот момент за отправной пункт, я создал версию, которую, по крайней мере, было невозможно опровергать. Она заключалась в следующем.

Показания Кривицкого свидетельствовали о том, что Маклин работал не меньше 16 лет. Следовательно, он был опытным и компетентным агентом. Такой человек всегда настороже, и, естественно, он должен был быстро заметить, что некоторые документы от него стали скрывать. Это его встревожило. Несомненно, он сразу же должен был проверить, не следят ли за ним, и, поскольку за ним *действительно* следили, быстро это обнаружил. Эти открытия насторожили Маклина и поставили его перед дилеммой: цель слежки заключалась в том, чтобы поймать

его в момент встречи с советским связным, а без помощи советского друга его шансы на побег значительно уменьшались. Пока он размышлял, в дело вмешался сам Господь Бог: появился его старый друг Берджесс. (Я не собирался приводить доказательств того, что между Берджессом и Маклином существовала давнишняя связь, но тот факт, что они бежали вместе, придавал моему предположению достаточный вес.) Появление Берджесса, разумеется, решило проблему Маклина, поскольку все необходимые приготовления можно было сделать через Берджесса и его советского связного. Это подтверждалось тем, что именно Берджесс занимался такими деталями, как, например, наем автомобиля. Но почему бежал сам Берджесс? Патерсону и Маккензи было ясно, что Министерство иностранных дел больше не нуждалось в Берджессе и что его карьера шла к закату. Несомненно, его советские друзья решили, что ему лучше уйти со сцены, где его присутствие могло стать опасным для других.

Такова была моя версия, и я твердо придерживался ее. Ее преимущества заключались в том, что она основывалась на известных фактах и почти неопровержимых выводах из них. Единственными людьми, которые могли ее опровергнуть, были те двое исчезнувших и я сам. Я с удовольствием отметил также, что эта версия оказалась вполне приемлемой для ФБР. Она понравилась и Лэдцу, и Лэмферу, и сам Гувер в короткой беседе со мной ухватился за эту версию. В его глазах высшее достоинство ее заключалось в том, что всю вину можно было свалить на МИ-5. Не сомневаюсь, что он нажил на этом деле большой политический капитал как в Капитолии, так и в последующих сделках с МИ-5. Гувер одержал немного побед своими собственными силами, но был не из тех людей, которые смотрят в зубы дареному коню.

Позиция ЦРУ была более неопределенной. Поскольку это дело являлось прерогативой ФБР, я не мог обсуждать все его тонкости с ЦРУ, не подвергаясь риску вызвать гнев Гувера и Лэдда, которых я всеми силами старался не сердить. Исходя из этого, в своих беседах с сотрудниками ЦРУ я ограничивался общеизвестными деталями дела, которые с запозданием и в несколько искаженном виде появились в прессе. Я не боялся формалиста Даллеса; через несколько лет я был удивлен тем, что президент Кеннеди, принявший всерьез планы Даллеса по подготовке авантюры в заливе Свиней, совершил такую ошибку. Другое дело — Беделл-Смит. У него были холодные, рыбьи глаза и мозг как тончайший прибор. При нашей первой встрече я представил ему на рассмотрение и отзыв документ из более 20

параграфов об англо-американских военных планах. Он пробежал глазами страницы и, отбросив документ в сторону, стал детально обсуждать со мной излагавшиеся в нем вопросы, безошибочно ссылаясь по памяти на номера параграфов. Я успевал за ним лишь потому, что зазубривал все утро документ наизусть. Тревожное чувство подсказывало мне, что Беделл-Смит сумеет понять, что дважды два — четыре, а не пять…

Прошло еще несколько томительных дней. Когда новость появилась в широкой прессе со всеми присущими ей прикрасами, я начал чувствовать себя неловко в обществе. На одном из приемов у посла жена какого-то сотрудника посольства одарила меня презрительным ледяным взглядом. Но Лондон зловеще молчал. Пришла лишь одна телеграмма, в которой говорилось: «Насколько известно», я знал Берджесса лично, так что не могу ли я пролить свет на его поведение? Но я-то ждал телеграмму от самого шефа с грифом «срочно, расшифровать лично», предлагающую мне выехать в Лондон. Наконец вызов пришел, но в весьма любопытной, наводящей на размышление форме. В Вашингтон прилетел по текущим. делам один сотрудник разведки, специализировавшийся на фабрикации дезинформационных материалов. Он нанес мне визит вежливости, во время которого вручил письмо от Джека Истона. Письмо было написано рукой Истона. В нем сообщалось, что вскоре я получу телеграмму с вызовом в Лондон в связи *с* делом Берджесса — Маклина. Очень важно, чтобы я быстро откликнулся на вызов. Хотя смысл сообщения был достаточно ясен, форма его поставила меня в тупик. Почему Истон предупреждал меня о предстоящем вызове и почему он написал письмо лично, если приказ так или иначе придет по обычным телеграфным каналам? Вообще в Секретной службе часто возникают причины для необычных действий; возможно, была причина и в этом случае. Мне подумалось тогда, что, если бы я не отказался от идеи побега, письмо Истона явилось бы для меня сигналом поскорее начать сборы в дорогу.

Через несколько дней пришла телеграмма. Я взял билет на следующий день и приготовился навсегда распрощаться с Вашингтоном. Встретился с Энглтоном, чтобы провести с ним приятный часок в баре. Он, по-видимому, не понимал серьезности моего положения и попросил, когда я буду в Лондоне, заняться некоторыми вопросами, представляющими общий интерес. Я даже не стал запоминать их. Затем я нанес визит Даллесу, который попрощался со мной и пожелал удачи. Следующим в моем списке был Лэдд, с которым мы провели часть вечера. Он, видимо, был искренне озабочен положением, в какое я попал, и

любезно посоветовал, как избежать неприятностей в Лондоне. Отчасти его озабоченность можно было объяснить сознанием личной замешанности в деле Берджесса, но в то же время сочувствие было искренним, за что я благодарен ему. Каким бы безжалостным ни был Лэдд, он все же был человеком.

Я прибыл в Лондон около полудня и сразу же стал участником весьма странного происшествия. Я вошел в автобус аэропорта и занял место у самой двери. Когда автобус заполнился, на подножке появился какой-то взволнованный тип. Он начал лихорадочно осматривать пассажиров. Посмотрел через мое левое плечо, потом через правое, попытался взглянуть через мою голову и наконец посмотрел мне в лицо. Его физиономия выражала растерянность. Потом он исчез. Это был Бил Бремнер, занимавший довольно высокий пост в административном аппарате СИС. Я прекрасно знал, кого он искал. Если бы я был от него на расстоянии двух ярдов, а не двух футов, он, конечно, сразу же заметил бы меня. Раньше меня никогда официально не встречали. Учитывая письмо Джека Истона и назначение в качестве «комиссии по встрече» офицера в ранге Бремнера, я не мог пожаловаться, что меня не предупредили. Пока автобус шел в Лондон, красные огни сверкали для меня очень ярко!

Я отправился на квартиру матери и после лэнча позвонил Истону. В трубке явственно послышался вздох изумления. После паузы Истон спросил, где я нахожусь. Я ответил. Не слишком ли я устал, чтобы сразу прийти в Бродвей? Конечно, нет. Иду. Дорогой я с удовольствием думал о том, какая бы поднялась паника, когда Бремнер сообщил, что я не прибыл. У Истона был несколько растерянный вид, когда я вошел к нему в кабинет. Он сказал, что мой звонок удивил его, потому что он посылал Била Бремнера в аэропорт, чтобы «помочь мне, если надо». Объяснение было неубедительным, и я почувствовал, что выиграл первый раунд. Он, конечно, не представлял никакой ценности, но чувство победы ободрило меня. Позже мне пришла в голову, пожалуй, фантастическая мысль, что Бремнера послали в аэропорт отчасти для того, чтобы МИ-5 не обошла СИС, арестовав меня по прибытии. Дальнейшие события показали, что это предположение, в общем-то, было необоснованным, так что я упоминаю о нем шутки ради.

Истон сказал мне, что нас обоих с нетерпением ждет Дик Уайт. Мы поехали через парк к Леконфилд-хаус на Керзон-стрит, где находилась штаб-квартира МИ-5. Это был первый из многих допросов, хотя вначале пытались скрыть этот малоприятный факт. Истон сидел молча, пока Уайт задавал мне вопросы. Роль Истона, по-видимому, заключалась в том, чтобы следить за

соблюдением правил справедливой игры. Можно себе представить, что у меня были некоторые опасения, а собеседники мои были несколько смущены. Я не мог считать Уайта близким другом, однако наши личные и служебные отношения были всегда превосходными, и он, несомненно, с удовольствием воспринял мое назначение вместо Каугилла. Он не умел притворяться, но старался, чтобы наша беседа протекала в дружеской форме. Он сказал, что нуждается в моей помощи: надо разобраться в этом ужасном деле Берджесса — Маклина. Я сообщил ему многое о прошлом Берджесса и свои впечатления о нем. Позиция моя сводилась к тому, что просто непостижимо, каким образом такой человек, как Берджесс, любивший быть на виду, а не прятаться, к тому же известный своими неразумными поступками, мог оказаться иностранным и тем более советским разведчиком, от которого требуется самое строгое соблюдение правил конспирации. Я не рассчитывал, что это мнение прозвучит сколько-нибудь убедительно в свете имеющихся фактов, но надеялся создать впечатление, что косвенно защищаюсь против невысказанного обвинения в том, что меня, опытного сотрудника контрразведки, Берджесс обвел вокруг пальца. В отношении Маклина я сказал, что ничего не знаю. Разумеется, я слышал о нем и, возможно, встречал его где-нибудь, но не мог вспомнить даже его лица. Поскольку с 1937 года я встречался с ним только дважды по полчаса, причем оба раза на конспиративной основе, я мог спокойно позволить себе это легкое искажение истины.

Я предложил коротко изложить на бумаге все, что сказал. Я не исключал, что наша беседа записывалась на пленку, и поэтому хотел иметь письменную запись, чтобы исправить неточности, которые мог зафиксировать микрофон. Когда через несколько дней я пришел на второй допрос, Уайт бегло просмотрел мои записи, а затем перешел к тому, что интересовало его больше всего. Он сказал, что мы можем внести ясность в положение дел, если я расскажу ему о своих отношениях с Берджессом. При этом будет полезно подробно рассказать и о моей собственной карьере. Как было сказано в предыдущей главе, в моей карьере имели место некоторые сомнительные зигзаги, но я постарался объяснить их как можно лучше. При этом я нечаянно проговорился Уайту об одном обстоятельстве, в чем потом горько раскаивался. Однако со временем они наверняка раскопали бы эту деталь, и, может быть, даже к лучшему, что я с самого начала рассказал о ней.

Вопрос касался моей поездки во франкистскую Испанию, которую я совершил еще до того, как «Таймс» послала меня туда в качестве своего корреспондента. По-видимому, МИ-5 не имела

сведений об этой поездке и полагала, что «Таймс» отправила меня в Испанию прямо из своей редакции на Флит-стрит. Когда я рассказал об этом Уайту, он сразу же спросил меня, совершил я эту поездку за свой счет или нет. Это был неприятный вопрос, поскольку я ездил по заданию советской разведки, которая, как и сказал Кривицкий, оплатила все расходы. Один взгляд на мой банковский счет того периода показал бы, что у меня не было средств на протулку по Испании. В этом эпизоде таилась еще одна опасность: дело в том, что мои финансы пополнялись через Берджесса. Я объяснил, что моя испанская поездка была попыткой пробиться в мир большой журналистики, на что я делал большую ставку, продав поэтому все свои личные вещи (главным образом книги и пластинки), чтобы оплатить путешествие. Это было довольно правдоподобное объяснение, которое невозможно было опровергнуть. Причастность Берджесса к моим испанским приключениям так и не была вскрыта. Я заранее приготовил эту версию, но и без того мне предстояло объяснять слишком многое.

Когда я предложил записать нашу вторую беседу, Уайт согласился, но заметил при этом, чтобы я меньше писал о Берджессе и сосредоточил внимание на собственной карьере. Теперь почти все выплыло наружу, и я не удивился, когда меня вызвал шеф. Он сказал, что получил резкое письмо от Беделл-Смита, которое исключает возможность моего возвращения в Вашингтон. Позже я узнал, что письмо было подготовлено Биллом Харви, чью жену Берджесс однажды грубо оскорбил на дружеском приеме в моем доме. Я извинился тогда за его поведение, и извинения будто бы приняли, поэтому было трудно понять, почему Билл затаил в душе злобу. Меньше всего я ждал этого от него! Второй вызов к шефу, когда он с видимым огорчением сказал мне, что я должен подать в отставку, был простой формальностью. Он проявил великодушие, выдав мне вместо пенсии 4000 фунтов стерлингов. Однако моя тревога возросла, когда он тут же добавил, что не выплатит всю сумму сразу. Сейчас мне выдадут 2000 фунтов, а остальные будут выплачиваться каждые полгода по пятьсот фунтов. Предлогом для рассрочки платежа было опасение, что я могу растратить деньги в необдуманных спекуляциях на бирже, но, поскольку я никогда в жизни не спекулировал, этот предлог выглядел наивно. Более вероятной причиной было стремление застраховаться на случай, если в течение этих трех лет меня упрячут в тюрьму.

Итак, я остался с 2000 фунтов в кармане и большой черной тучей над головой. Я провел лето в поисках жилья и наконец устроился в деревушке около Рикменсуорта. Был уже ноябрь, когда мне позвонил шеф и попросил зайти к нему в 10 часов утра

на следующий день. Я ехал в Лондон прекрасным зимним утром, любуясь инеем, покрывавшим зеленые изгороди. Шеф заявил, что начато официальное расследование обстоятельств побега Берджесса и Маклина. Расследование возглавляет королевский советник Милмо, который во время войны работал в МИ-5. Я должен дать показания, и шеф выразил надежду, что я не буду возражать. Упоминание имени Милмо означало, что приближается кризис. Я знал Милмо и слышал о нем. Этого опытного следователя МИ-5 обычно привлекали, когда надо было кого-то уничтожить. Пока мы ехали с шефом через Сент-Джеймс-парк в Леконфилд-хаус, я готовился к тяжелому испытанию, втайне надеясь, что выдержу любой придирчивый допрос, основанный на тех доказательствах, которые мне известны. Но я не мог быть уверен, что в руки Милмо не попали новые доказательства, которые мотут погубить меня.

По прибытии в Леконфилд-хаус меня представили начальнику юридического отдела МИ-5, а затем провели к Милмо. Это был дородный мужчина с румяным круглым лицом. Слева от него сидел Артур Мартин, спокойный молодой человек, один из главных следователей по делу Маклина. В течение всего допроса он молча наблюдал за мной. Когда я выглянул в окно, он сделал пометку; когда покрутил пальцами, сделал другую. Сухо поздоровавшись, Милмо перешел на официальный тон и попросил меня воздержаться от курения, поскольку это — «судебное расследование».

Разумеется, все это были пустые слова. У меня мелькнула мысль попросить у Милмо официальное разрешение на допрос или заявить, что штаб-квартира МИ-5 является неподходящим местом для судебного расследования. Но это не соответствовало бы той роли, которую я решил играть, то есть роли бывшего сотрудника СИС, который, так же как и сам Милмо, жаждет помочь в установлении истины о Берджессе и Маклине. В течение почти трех часов я отвечал на вопросы или довольно мягко парировал их, позволяя себе слегка рассердиться лишь в тех случаях, когда делался прямой выпад против меня. Я знал, что бесполезно пытаться убедить в чем-то бывшего сотрудника контрразведки Милмо, и поэтому видел свою задачу лишь в том, чтобы не делать признаний, которые ему как юристу нужно было от меня получить.

Я был слишком заинтересованной стороной в допросе, поэтому не могу высказать объективного мнения о профессиональных достоинствах Милмо. Большая часть вопросов была мне уже знакома, и мои ответы, подготовленные заранее, вызывали у него лишь окрики. В начале допроса он обнаружил

слабость своей позиции, обвинив меня в том, что доверил Берджессу «личные конфиденциальные документы». Обвинение было настолько абсурдным, что мне не пришлось даже разыгрывать недоумение. Оказалось, во время обыска в квартире Берджесса после его побега был найден мой диплом из Кембриджа. Много лет назад я вложил этот бесполезный документ в книгу. Каждый мог бы сказать Милмо, что Берджесс был неисправим в отношении книг: он брал их как с разрешения хозяина, так и без такового. Тем самым Милмо хотел показать, что я сознательно принижаю степень моей близости с Берджессом. Это была попытка с негодными средствами, и она в значительной степени укрепила мою уверенность в исходе дела.

Однако Милмо выложил, по крайней мере, два непредвиденных козыря, которые показали, что цепь косвенных улик против меня была длиннее, чем я предполагал. Через два дня после того, как информация по делу Волкова достигла Лондона, было отмечено значительное увеличение объема радиообмена по каналам НКВД между Лондоном и Москвой, за которым последовало аналогичное увеличение обмена по тем же каналам между Москвой и Стамбулом. Далее, вскоре после того, как мне официально сообщили об утечке информации из посольства в Вашингтоне, произошел такой же скачок в объеме радиообмена по каналам НКВД с Москвой. Взятые в сочетании с другими фактами, эти два момента были изобличающими. Но для меня в роли допрашиваемого они не составили проблемы. Когда Милмо громовым голосом предложил мне объяснить эти совпадения, я просто ответил, что не могу объяснить их.

Я уже начал уставать, когда внезапно Милмо сдался. Он попросил меня подождать несколько минут. Меня пригласили в соседнюю комнату; Милмо исчез, и вместо него появился советник МИ-5 по юридическим вопросам. Он попросил меня сдать паспорт, сказав, что они могли и сами его взять, но что добровольные действия с моей стороны помогут избежать огласки. Я охотно согласился, так как мой план побега, разумеется, не предусматривал использования документов. Мое предложение послать паспорт тем же вечером заказным письмом было отвергнуто, так как считалось «слишком рискованным». Со мной послали домой Джона Скардона, чтобы он взял у меня паспорт. По дороге Скардон пытался читать мне проповеди о целесообразности пойти навстречу властям. Я испытывал слишком сильное облегчение, чтобы их слушать, но к этому чувству примешивалось понимание, что я еще далеко не вышел из зоны опасности.

В течение последующих недель Скардон несколько раз

приходил продолжать допрос. Он был исключительно любезен и отличался прямо-таки изысканными манерами, а его внимание к моим взглядам и поступкам даже льстило мне. Он был гораздо более опасен, чем неспособный Уайт или мечущий громы и молнии Милмо. Воспоминание о том, что Скардон сумел войти в доверие к Фуксу (а это привело к гибельному исходу), помогало мне не поддаваться на его любезности. Во время нашей первой долгой беседы я обнаружил две маленькие ловушки, которые он ловко и умело подготовил для меня, и сумел избежать их. Не успел я поздравить себя, как мне в голову пришло, что он мог расставить и другие ловушки, которых я не заметил.

Но даже Скардон допускал ошибки. Один из допросов он начал с того, что попросил у меня письменную доверенность на проверку моих банковских счетов. Он мог получить на это законное разрешение независимо от моего согласия. Поэтому я не возражал, зная, что он не найдет в этих счетах никаких признаков незаконных вкладов, потому что их не существовало. Получив мою доверенность, он все же начал расспрашивать меня о состоянии моих финансов, и я использовал эту возможность, чтобы хоть как-то дезинформировать его. Для этого у меня была серьезная цель. Я сумел найти благовидное объяснение для большинства сомнительных моментов в моей карьере, но не для всех. Поэтому там, где не помогала изобретательность, я мог лишь ссылаться на провалы в памяти. Я просто не мог вспомнить то или иное лицо, тот или иной случай. Расспросы о состоянии моих финансов предоставили мне возможность лишний раз доказать, какая у меня плохая память. Если уж я не мог вспомнить, какие проделал финансовые операции, то вряд ли можно было ожидать, чтобы я припомнил все детали моей светской и профессиональной жизни.

После нескольких таких допросов Скардон перестал приходить ко мне. Он не сказал, удовлетворен он нашим общением или нет, дело просто повисло в воздухе. Он был, конечно, убежден, что *я* скрываю почти все, что имело значение. Я бы многое отдал, чтобы взглянуть на его заключение. Не было сомнения в том, что улики против меня оказались внушительными, но они не были решающими. Однако еще один вызов в Бродвей показал мне, что я ошибаюсь. На этот раз меня допрашивали Синклер и Истон. Неприятно было бесстыдно лгать честному Синклеру; надеюсь, теперь он понимает, что, когда я лгал ему, я так же твердо защищал свои принципы, как и он. Но дуэль с Истоном доставила мне удовольствие. У меня уже был опыт допросов с Уайтом, Милмо и Скар-доном, поэтому я шел по проторенной дорожке и не думал, что он преуспеет там, где они

потерпели неудачу. Так оно и вышло.

ТУЧИ РАССЕИВАЮТСЯ

В течение более чем двух лет меня не трогали, вернее сказать, сохранялось состояние вооруженного нейтралитета. Я не надеялся на то, что мое дело окончательно закрыто, хотя никаких обвинений против меня выдвинуто не было. Я даже сохранил дружеские отношения с некоторыми бывшими коллегами по МИ-5 и СИС. Это было тревожное время. Я располагал 2000 фунтов и перспективой получить еще 2000 и, кроме того, 2000–3000 фунтов по страховому полису. Надеяться на хорошую работу не приходилось, потому что, куда бы я ни обращался, первым вопросом было, почему я ушел с дипломатической службы. Лучшей возможностью для меня была, пожалуй, журналистика, и мои мысли обратились к Испании, где я начинал свою деятельность. Я был уверен, что сумею вскоре вновь встать на ноги, и полагал, что мой отъезд в Испанию укрепит позиции тех, кто все еще сомневался в моей виновности. Мадрид находился достаточно далеко от железного занавеса. Поэтому я написал письмо Скар-дону с просьбой вернуть мой паспорт. Он был прислан немедленно без всяких комментариев.

Мое пребывание в Испании было очень коротким. Я пробыл в Мадриде недели три, когда получил письмо с предложением работать в Сити. Жалованье предлагалось скромное, но соразмерное моему полному невежеству в коммерческих делах. В течение года я занимался торговлей, совершая ежедневные поездки из Рикменсуорта на Ливерпуль-стрит и обратно. Я совершенно не подходил для этой работы и даже почувствовал облегчение, когда моя фирма оказалась на грани банкротства из-за опрометчивых действий транспортного отдела, с которым, к счастью, я не имел ничего общего. Хозяева мои только обрадовались, когда я уволился, избавив их от необходимости платить мне жалованье. С тех пор я зарабатывал на жизнь как свободный журналист, что было делом трудным, требовавшим большой способности к саморекламе, а это никогда не было моей сильной стороной.

Мое довольно серое существование несколько оживил любопытный эпизод, который начался с письма от одного консерватора — члена парламента от округа Арундельи-Харшем, пригласившего меня на чашку чая в палату общин. Объяснив мне, что его самого уволили из Министерства иностранных дел, он чистосердечно признался, что ведет войну против министерства в целом и Антони Идена в частности. Его положение, сказал он, неуязвимо: у него одно из самых прочных мест в парламенте, а

местная организация консервативной партии пляшет под его дудку. Он слышал, что меня тоже уволили с дипломатической службы, и полагал, что я теперь должен испытывать чувство обиды. Он был бы очень благодарен, если бы я предоставил ему какой-либо материал, позволяющий облить грязью Министерство иностранных дел. Он долго распространялся на эту тему, сопровождая взрывами смеха собственные остроты. Я ответил, что понимаю причины, побудившие руководство Министерства иностранных дел потребовать моей отставки, и тут же удалился.

Несколько раз в течение этого периода я обдумывал план побега. План был разработан первоначально для американских условий и требовал лишь незначительных изменений. Надо было приспособить его к условиям Европы. В некоторых отношениях осуществить побег было даже проще из Лондона, чем из Вашингтона. Но каждый раз, когда я думал об этом, мне казалось, что крайней необходимости для побега нет. Наконец произошло событие, после которого я выбросил из головы эти мысли. Сложнейшими путями я получил сообщение от моих советских друзей, призывавшее меня не падать духом и предвещавшее возобновление в скором времени связи. Это коренным образом меняло дело. Я больше не был одинок.

Приободрившись, я наблюдал, как собирается очередная буря. Она началась с побега Петрова в Австралии[62] и некоторых «открытий», сделанных им по делу Берджесса — Маклина. Флит-стрит снова подняла шум о «третьем человеке», но на этот раз в прессу просочилось мое имя. Поразительно, что в условиях, когда пресса тратила сотни тысяч фунтов на выискивание пустяковых и ложных сведений об исчезнувших дипломатах, ей потребовалось четыре года, чтобы добраться до меня, и то благодаря чьей-то неосторожности. Один из моих друзей из СИС сказал мне, что эту утечку допустил старший офицер полиции, вышедший в отставку. Обоим нам он был известен как болтун. Объяснение казалось довольно правдоподобным, поскольку первыми новость узнали полицейские репортеры. Говоря о «третьем человеке», «Дейли экспресс» упомянула об «офицере службы безопасности» из английского посольства в Вашингтоне, которому предложили уйти в отставку. Это было явной неточностью. Я никогда не был офицером службы безопасности, но догадка была довольно близкой, и я морально подготовился к тому, чтобы возбудить иск о клевете против первой газеты, которая упомянет мое имя.

Вскоре появился первый посетитель с Флит-стрит. Он позвонил мне из Лондона и попросил интервью. Я предложил ему изложить свои вопросы в письменной форме. Через два часа он позвонил мне со станции, и я решил действовать с ним строго

формально. Я заявил, что не скажу ничего, если он не даст мне письменной гарантии, что ни одно слово не будет напечатано без моего одобрения. Я объяснил, что большая часть моих сведений по делу Берджесса — Маклина исходит из официальных источников и что меня могут обвинить в нарушении закона о государственной тайне, если я буду обсуждать это дело.

Позвонив своему редактору, корреспондент удалился с пустыми руками. Но после этого пресса перешла в наступление.

Я должен объяснить, что переехал из Хартфордшира в Суссекс и жил в Кроуборо, на полпути между Акфилдом и Эриджем. По счастливому совпадению я оказался не единственной достопримечательностью в этом округе. В Акфилде в то время жила принцесса Маргарет, а в Эридже — Питер Таунсенд. Репортеры занимались принцессой утром, а Таунсендом — после обеда, или наоборот. В обоих случаях они нападали на меня во время ланча. Это было удачно с двух точек зрения. Во-первых, тот факт, что корреспонденты надоедали мне так же, как и моим великосветским соседям, изменил местное общественное мнение в мою пользу. Мой садовник, здоровый малый, предложил мне проткнуть вилами любого репортера, на которого я укажу. Во-вторых, регулярность визитов репортеров позволила мне избегать их, для чего я просто перевел часы на три часа вперед. Я вставал в 5 часов, завтракал в 6 часов, устраивал лэнч в половине десятого, а когда корреспонденты собирались у моего дома, гулял в Эшдаунском лесу. Когда в 3 часа я возвращался, их уже не было. Эта система подвела меня лишь однажды. Одна дама из «Санди пикториал» пробралась в дом в субботу поздно вечером и попросила меня срочно прокомментировать «очень опасную для меня статью», написанную одним «моим другом». Статья должна была появиться на следующее утро. Я отказался читать ее, отказался комментировать и выставил даму из дома чуть ли не силой. На следующее утро я купил «Санди пикториал» и не нашел ни одного слова о себе. «Друг» струсил.

Когда обстановка накалилась, я связался *с моими* друзьями из СИС. Они убеждали меня не делать никаких заявлений, которые могли бы повредить делу. Правительство обещало провести дебаты по этому вопросу, и было очень важно не подливать масла в огонь. Они попросили меня, во-первых, согласиться на последний допрос, который проведут не сотрудники МИ-5, а двое моих бывших коллег по СИС. И во-вторых, снова сдать паспорт. Я согласился на то и на другое: сдал паспорт и дважды съездил в Лондон, чтобы ответить на вопросы. Беседа шла по знакомому руслу, что свидетельствовало об отсутствии каких-либо новых

улик. Между тем тот факт, что я не пытался бежать в течение такого долгого времени, начал действовать в мою пользу. Постепенно старые следы терялись, и дело было достаточно темным, чтобы сбить с толку любого юриста.

Поскольку я находился в центре внимания, я отменил двё встречи с моими советскими друзьями. Но когда наступил день третьей встречи, я решил, что они, вероятно, нуждаются в информации, а мне, конечно, требовалась поддержка. Это заняло целый день. Я выехал из Кроуборо рано утром, в Тонбридже оставил машину на стоянке и отправился поездом в Лондон. На пустынной платформе сел в поезд последним. Сошел на вокзале Ватерлоо и, как следует осмотревшись, поехал на метро до станции «Тоттенхем-Корт-роуд». Выйдя из метро, купил шляпу и пальто и часа два бродил по улицам. Перекусив в баре, прибег к испытанному приему: купил билет в кино, занял место в заднем ряду и вышел из зала в середине сеанса. Я был уверен, что за мной нет слежки, но провел еще несколько часов, чтобы окончательно убедиться в этом. Бродил по районам, где никогда не бывал, ехал автобусом, потом снова шел. Через час или два после наступления темноты я отправился наконец к месту встречи. То, что там было, не должно интересовать читателя.

Новость я прочитал, стоя в вагоне метро. Взглянув через плечо соседа, увидел свое имя в заголовках газеты «Ивнинг стандард». Полковник Маркус Липтон, член парламента от Брикстона, спрашивал премьер-министра, намерен ли он продолжать скрывать сомнительную деятельность «третьего человека» — мистера Филби[63]. Первой моей реакцией было глубокое разочарование. Липтон пользовался привилегией члена парламента, и я не мог привлечь его к суду. Кроме того, он разбил мою мечту выбить весьма большую сумму у одной из газет Бивербру-ка за клевету. Но пришлось подавить в себе досаду, надо было действовать. У меня уже был разработан план разбросать семью по стране, что я немедленно и сделал. А сам временно поселился у матери в Дрейтон-гарденз и от нее позвонил друзьям из СИС: решил сказать им, что больше молчать не моту. Они согласились, что я должен когда-нибудь что-то сказать, но опять убеждали отложить выступление в печати до окончания дебатов в палате общин.

Ким Филби в возрасте 7 лет

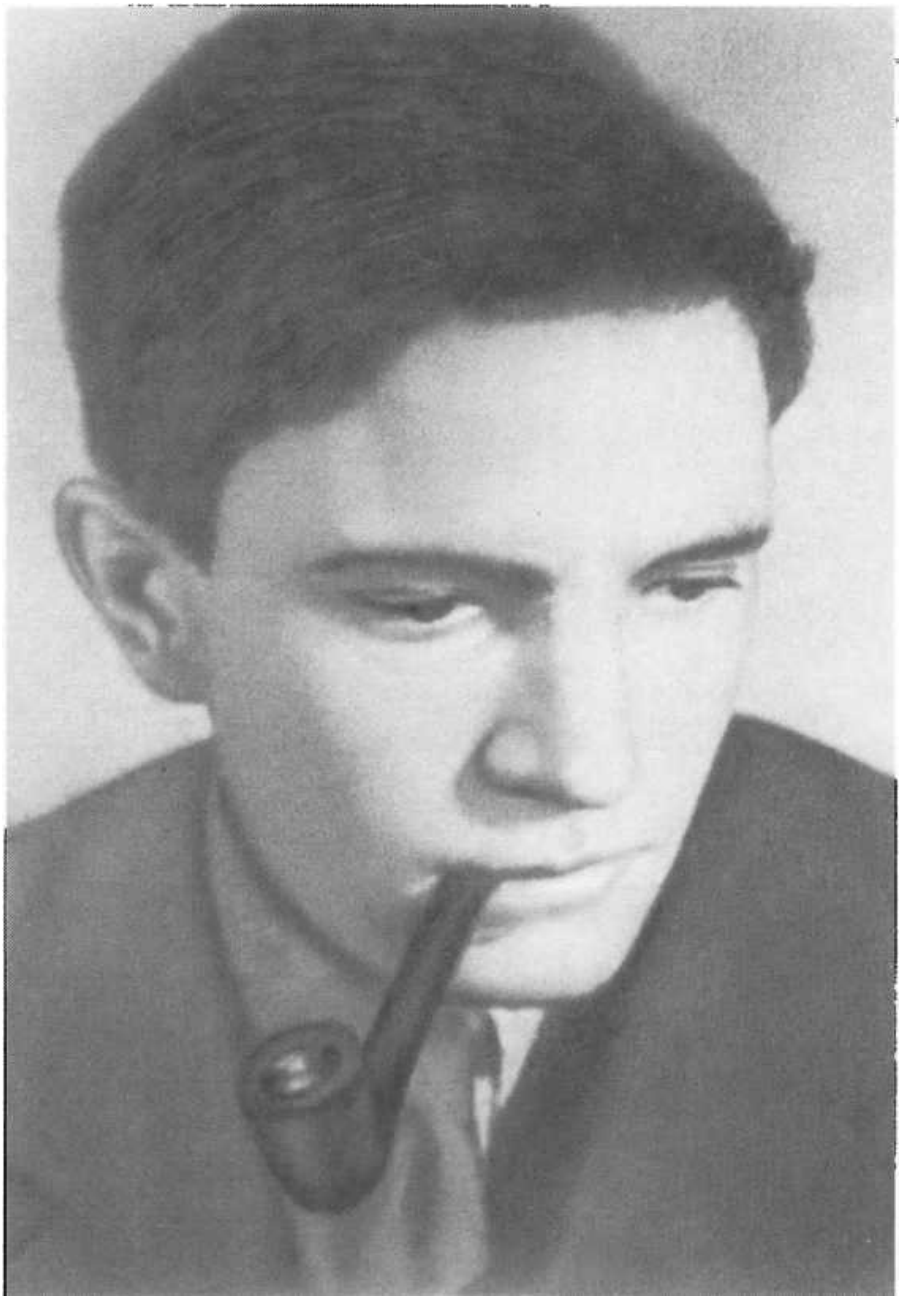
Семья Филби *(справа налево)'.* бабушка Кима Мэй, сестра Пат, Ким, мать Дора, кузен Фрэнк, кузина Аверил и сестра Дайана

Ученик Вестминстерской королевской школы. 1924 г.

Ким Филби (12 лет), выпускник подготовительной школы в Истборне.

Ким Филби с отцом Сент-Джоном в Риаде, Саудовская Аравия

Джон Филби — фотокорреспондент во Вьетнаме. 1968 г.



Ким Филби — выпускник Кембриджа. 1933 г.

Студенческая демонстрация в Кембридже. 1934 г. Во втором ряду стрелкой отмечен Д. Маклин

Österreichischer Arbeiter-Bauern-Hilfsbund

Legitimation Nr. 45/18

Zahlstelle Absberg

Ausgestellt am 1933

Österreichischer Arbeiter- u. Bauern-Hilfsbund Bundesleitung

Die Bundesleitung

I. Soli.-M.

Für das Jahr 1933

HERAUS

Jänner | Februar | März | April

Mai | Juni | | |

Dezember

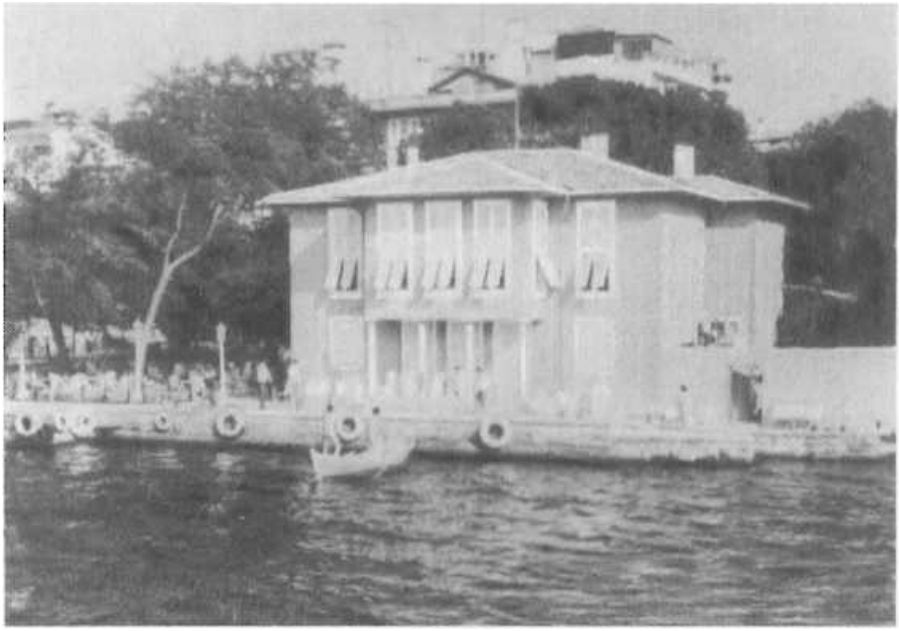
Beitritts-Marke | Kontrolle

Билет Кима Филби, члена Австрийского рабоче-крестьянского союза помощи. 1933 г.

Ким Филби — корреспондент «Таймс» *(четвертый слева)* на встрече с королем Георгом VI *(третий слева),* Франция. 1939 г.

Ким Филби *(крайний справа)* после ранения осколком снаряда. Испания. 1937 г.

Гора Арарат, сфотографированная Кимом Филби с турецкой границы

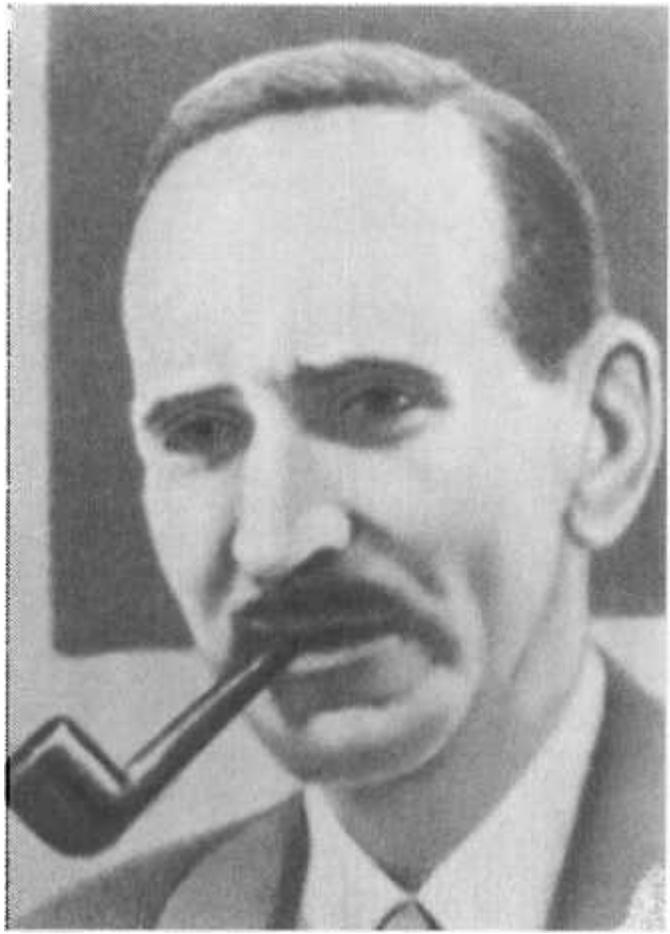


Вилла на берегу Босфора, где Ким Филби жил в 1947–1949 гг.

Ким Филби на приеме в Бейруте. 1960 г.

Последняя фотография Кима Филби для британского паспорта. 1962 г.

Следователь МИ-5Х. Милмо



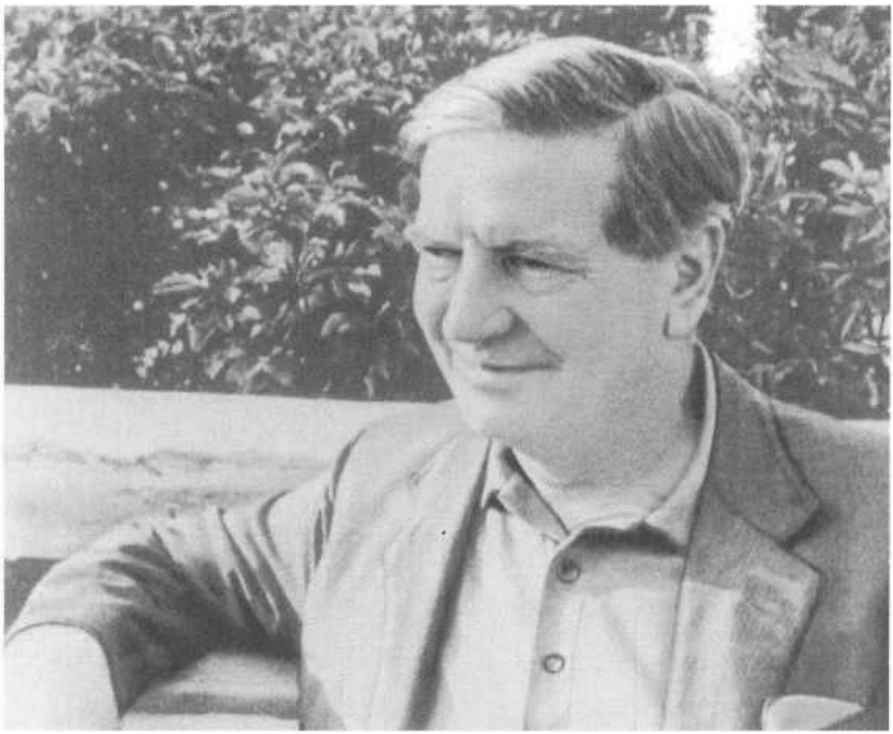
Следователь У. Скардон.

Член английского парламента М. Липтон, выступивший с обвинениями в адрес Кима Филби в октябре 1955 г.

Пресс-конференция Кима Филби после снятия с него всех обвинений в парламенте 8 ноября 1955 г.

С матерью Дорой

С дочерью Джозефиной



Ким Филби на московском бульваре. 1964 г.

В кабинете московской квартиры

Ким и Руфина Филби в Академгородке в Новосибирске. 1972 г.

С рыбаками в Вологде. 1970 г.

Молодожены на лыжной прогулке в Дубне. 1971 г.

Прозрачная вода Байкала. Руфина и Ким Филби на берегу озера. 1971 г.

Ким Филби на берегуБайкала

Пикник на берегу Ангары. *В центре* — К. Филби, Р. Филби, Г. Агеев. 1971 г.

Ким и Руфина Филби на Братской ГЭС

В Ангарске. *Слева* — В. Новокшенов. 1972 г.

В любимом кресле

Ким Филби за работой

Встреча со сборной СССР по хоккею с шайбой. Новогорск. 1978 г.

Прогулка по Черному морю

«Все выше и выше…» Крым. 1976 г.

«Рыбацкое счастье» улыбается не всем

Ким Филби *(второй справа)* с коллегами; *крайний справа* — Олег Калугин. 1977 г.

(Верные друзья». Армения. 1971 г.

Ким Филби с Тодором Бояджиевым. Болгария. 1975 г.

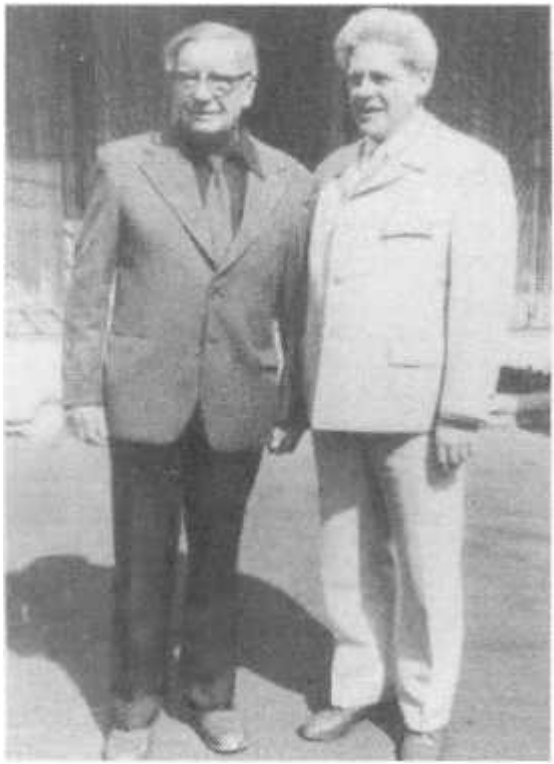
Чета Филби на отдыхе в Семеново. Болгария. 1979 г.

На рыбацком катере с дочкой Джозефиной и внуками. Болгария. 1979 г.

Ким Филби в музее КГБ

Путешествие по Венгрии, г. Мышковец. *Слева* — Гайдош — «Нет проблем»

С заместителем министра Ш. Райнои (в 1982–1989 гг. — посол Венгрии в Москве). Венгрия. 1975 г.



Встреча с министром внутренних дел ВНР А. Бенкаи. Будапешт. 1975 г.

Встреча с советскими военнослужащими Западной группы войск.

Венгрия. 1976 г.

Ким Филби и Маркус Вольф, шеф разведки ГДР. Берлин. 1980 г.

В Дрездене

«Дамский угодник»

На катере по Вайсензее. Берлин

С шарманщиком в берлинском ресторане

Встреча с Грэмом Грином. *Слева направо:* Т. Кудрявцева, Г.

Боровик, Э. Федорова, К. Филби, Р. Филби, Г. Боровик, А. Дементьев, Г. Грин, О. Дементьева, С. Федоров. 1987 г.

На Кубе. 1978 г.

В семейном кругу. *Справа налево:* Джон Филби, Виктория Францевна, мама Руфины, дочь Джона Шарлотта, Ким Филби

С внучкой Шарлоттой

Рождественский ужин

В московской квартире. 1986 г.

На съемках фильма в Риге

На даче в Подмосковье

Интервью английскому журналисту Филиппу Найтли

Юбилейный почтовый конверт, на марках которого портреты выдающихся советских разведчиков

До дебатов оставалось 12 дней. Я отключил дверной звонок и запрятал телефон под гору подушек. Мать не разрешила мне снять дверной молоток исходя из того, что его все равно не слышно. Да это и не потребовалось, потому что репортеры за два дня выворотили его. Кухонное окно пришлось держать занавешенным и днем и ночью, потому что какой-то журналист, заглянувший в него с пожарной лестницы, напугал кухарку. Впрочем, она была храброй женщиной и отлично кормила нас в течение всей осады. Между тем я готовил свое заявление для прессы. Очень многое зависело от того, сумею ли я придать этому заявлению правильный тон. Если не заставлю Липтона взять свои слова назад, у меня останется один выход — бежать.

Я ждал благоприятного исхода. Мне приходилось бывать на многих пресс-конференциях, и я знал, какой там царит беспорядок, когда все сразу задают вопросы. Для меня было важно сохранить контроль за ходом пресс-конференции хотя бы в течение получаса, сосредоточив внимание журналистов на заявлении Липтона, и представить им абсурдность его чудовищных обвинений. А потом уже не важно, что меня будут спрашивать: все мои ответы были готовы. Простая логика привела меня к заключению, что обвинение Липтона ни на чем не основано. Я полагал, может быть ошибочно, что если бы он имел веские доказательства, то передал бы их соответствующим

властям, вместо того чтобы предупреждать меня публичным выступлением в палате общин. И если бы власти получили такие веские доказательства от Липтона или от кого-нибудь еще, они бы уже приняли меры и арестовали меня. Следовательно, ни Липтон, ни кто-либо другой веских доказательств не имели[64]. Решающим фактором в данной ситуации было бездействие службы безопасности, которая знала по этому делу в десять раз больше, чем публика с Флит-стрит. Поэтому мне нужно было опасаться не прессы, а службы безопасности.

Наступил день парламентских дебатов. Выступая от имени правительства, министр иностранных дел Гаролвд Макмиллан сказал, что я исполнял служебные обязанности добросовестно и умело (что соответствовало действительности) и что нет никаких доказательств того, что я предал интересы страны (что буквально было тоже верно). Это заявление дало мне зеленый свет. Я снял с телефона подушки и попросил мать говорить всем, кто будет звонить, что я смогу принять посетителей с 11 часов утра следующего дня. В течение 20 минут последовало с полдюжины звонков. Потом стало тихо. Я позвонил знакомому в СИС, чтобы предупредить его о моем предстоящем публичном выступлении, затем лег спать и проспал девять часов.

В дверь начали звонить в половине одиннадцатого, но, памятуя о необходимости сохранить контроль над ситуацией, я не торопился ее открывать. Я сказал — в 11 часов, значит, так и будет. Точно в назначенное время я открыл дверь и воскликнул: «Боже мой!» Я ждал с десяток посетителей, а увидел огромную очередь, спускавшуюся по лестнице. Казалось невероятным, что все эти люди поместятся в гостиной, но они как-то поместились. Минут пять непрерывно сверкали блицы, потом фотографы исчезли, давая нам возможность передохнуть. Когда все уселись, я попросил одного репортера, развалившегося в кресле, уступить место даме, которая жалась у дверей. Он вскочил как ужаленный, а женщина робко уселась. Это был удачный маневр: он подтверждал, что я контролирую ситуацию.

Об этой пресс-конференции в то время много писали на Западе, и потому нет нужды пересказывать вопросы и ответы. Я начал с того, что раздал отпечатанное заявление, в котором говорилось, что в некоторых вопросах я вынужден проявлять сдержанность в своих высказываниях, с тем чтобы соблюсти положения закона о государственной тайне. С этой оговоркой я готов отвечать на вопросы. В одном из первых вопросов был упомянут Липтон, и я ухватился за эту возможность. «А, Липтон, — сказал я, — это как раз подводит нас к самой сути вещей». Название романа Грэма Грина знала не только пресса.

Затем я бросил вызов Липтону, предложив ему представить доказательства службе безопасности или повторить свое обвинение вне стен палаты общин. Минут через двадцать несколько журналистов вежливо извинились и поспешили к выходу. «Хорошо, — подумал я, — это, пожалуй, будет в вечерних газетах». Теперь мне стало легче, и я предложил задавать дальнейшие вопросы. Что я думаю о Берджессе? Был ли я другом Маклина? Чем я объясняю их исчезновение? Где они? Каковы мои политические взгляды? Являюсь ли я «третьим человеком»? Отвечать было легко.

Примерно через час мы перешли в столовую, где было пиво и херес. (К счастью, число гостей сократилось.) Репортеры стали относиться ко мне заметно дружелюбнее. Лишь представитель «Дейли экспресс» проявлял излишнее рвение, и поэтому на большинство его вопросов я злорадно отвечал: «Комментариев не будет!» Впоследствии я узнал, что он в течение 11 лет работал над книгой по этому делу и (цитирую по книге Антони Пёрди «Берджесс и Маклин») «в течение пяти из них почти ничего другого не делал», поэтому я не виню его за назойливость. Я бы только посоветовал ему пройти двухнедельный курс ведения допроса у Скардона.

Уже прошло время моего ланча, когда ушел последний посетитель. Сообщения о пресс-конференции в вечерних газетах не оставляли желать лучшего. Вызов Липтону был напечатан черным по белому точно теми же словами, в каких я его высказал. Утренние газеты, вышедшие на следующий день, в общем подтвердили благоприятное впечатление. Один хорошо относившийся ко мне репортер позвонил *и* поздравил с успешно проведенной пресс-конференцией, теперь очередь была за Липтоном. В первый вечер Би-Би-Си сообщила, что он присутствовал на заседании палаты общин, но хранил молчание. На следующий вечер он сдался. Один парламентский репортер передал мне его точные слова и спросил, могу ли я их прокомментировать. Я попросил его перезвонить минут через пять. Я почувствовал такое облегчение, что в первое мгновение мне захотелось поздравить Липтона с благородным поступком, но *я* решил, что он не заслуживает такого доброго отношения, и ограничился уклончивой формулировкой: «Я думаю, что полковник Липтон поступил правильно. Что касается меня, то инцидент исчерпан». Впервые за две недели я повел мать в местный бар.

Инцидент был действительно исчерпан и оставался таковым свыше семи лет. Пресса бросила меня, как раскаленный кирпич. В свете последующих событий легко обвинять Макмиллана, а

вместе с ним и правительство в том, что они выдали мне свидетельство о благонадежности. Но это не их вина. Никто из правительства и особенно из службы безопасности не хотел делать публичное заявление в 1955 году. Доказательства были неубедительными, против меня не могли выдвинуть формального обвинения, но и не хотели полностью меня оправдать. Им пришлось, тем не менее, открыто высказаться из-за шума, поднятого плохо информированной широкой прессой, а также из-за глупой промашки Маркуса Липтона.

Особую ответственность за это грандиозное фиаско несет пресса Бивербрука. Именно она из-за дурацкой вражды Бивербрука с Иденом и Министерством иностранных дел начала и продолжала, то и дело совершая просчеты, выступать на эту тему. Было бы интересно сравнить расходы нашей дипломатической службы за рубежом с тем, сколько «Дейли экспресс» потратила на поиски обрывков информации о деле Берджесса — Маклина. Но нет худа без добра. Я должен благодарить Бивербрука за семь лет спокойной жизни и за возможность продолжать дело, которому посвятил жизнь.

Ким Филби

ЛЕКЦИЯ РУКОВОДЯЩЕМУ СОСТАВУ ПГУ (1977 г.)

Перевод *М.Ю.Богданова*

Спасибо за теплые слова в мой адрес, дорогие друзья!

Приглашение выступить с лекцией в этом коллективе явилось бы для меня большой честью в любое время, но особенно почетно это в нынешнем, 1977 году.

Это год принятия новой Советской Конституции. Год 60-летия Октябрьской революции.

Среди всей своей кипучей деятельности — создания ЧК, налаживания работы железнодорожного транспорта, забот об урожае, срочных выездов в Грузию для урегулирования возникших там беспорядков — Дзержинский находил время покровительствовать развитию спорта. В связи с этим позволю себе напомнить, что в 1977 году проводится 40-й чемпионат СССР по футболу. *{В зале удивлены неожиданным поворотом, затем раздается смех.)*

Итак, нынешний год навсегда останется в памяти каждого из нас. У меня к тому же есть глубоко личный повод запомнить его до конца жизни. В этом году я впервые посетил штаб-квартиру советской разведки. Добирался я сюда долго. Дорога моя началась в лондонском парке, в солнечный полдень более 43 лет назад. И на этом длинном пути мне довелось побывать в штаб-квартирах целого ряда спецслужб несколько иной окраски. У меня были официальные пропуска в штаб-квартиры семи ведущих спецслужб: четырех британских — СИС, УСО, МИ-5 и Правительственной школы кодирования и шифрования; трех американских — ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности. Теперь я моту сказать, что успешно проник в восьмую по счету крупную разведывательную организацию. *(По аудитории проносится гул замешательства, как будто в преддверии надвигающегося скандала. Филби делает ощутимую паузу, испытующе оглядывая напрягшийся зал.)*

Излишне говорить, что здесь я испытываю совершенно иные чувства. Там я находился в окружении волков; а здесь я знаю, что вокруг меня друзья, коллеги и соратники. *{Бурные аплодисменты.')*

Вы все, друзья, являетесь высококвалифицированными офицерами разведки. Более того, вы владеете такими методами ведения разведывательной и контрразведывательной работы, о каких в период моей активной деятельности мы и не слышали.

Поэтому, с вашего позволения, я не буду подробно останавливаться на технической стороне современной разведработы. Я бы предпочел сосредоточить внимание на личных аспектах моей профессиональной карьеры и, отталкиваясь от них, попытаться предложить некоторые идеи.

ЧТО МНОЮ ДВИГАЛО

Скажу несколько слов о том, что мною двигало.

Осенью 1929 года, когда мне было 17 лет, я поступил в Кембриджский университет. Было это всего за несколько недель до краха на Уолл-стрит, ознаменовавшего начало наиболее серьезного и всеобщего кризиса капитализма.

Я не могу дать вам убедительной картины интеллектуальных установок, которых я тогда придерживался, по той простой причине, что моя интеллектуальная позиция в ту пору еще не сформировалась. Но в эмоциональном отношении я уже был на стороне бедных, слабых и обездоленных в их противостоянии богатым, сильным и беспринципным. А вы наверняка знаете, что в Великобритании той поры было много беспринципных, самоуверенных людей. Великобритания была центром величайшей в мировой истории империи и еще могла разговаривать более или менее на равных с Соединенными Штатами.

Я не знаю, откуда у меня появилось сострадание к слабым. Возможно, сработали гены. Мой отец, несмотря на свою известность крупного ученого-ориенталиста, был весьма эксцентричным человеком: еще в 1924 году он покинул правительственную службу в знак протеста против сионизма.

Лично мне кажется, что на формирование моих убеждений повлияло отношение к религии. С самого раннего детства — с четырех или пяти лет — я воспринимал христианские идеи — Бога, Христа, Троицы, Воскресения и пр. — не более чем сказку. Помнится, еще в детском саду я ввел в замешательство свою бабушку, заявив ей, что Бога нет!

Поскольку идея христианства проходила красной нитью в процессе моего образования, нельзя исключить, что отрицание ее внесло существенный вклад в то, что я стал отрицательно относиться и к обществу, в котором жил. Как бы там ни было, одним из первых моих шагов в университете было вступление в Общество социалистов Кембриджского университета (ОСКУ). Недавно мне напомнили, что Дзержинский тоже вступил в политическую жизнь в семнадцатилетнем возрасте. Но на этом,

боюсь, сравнение и заканчивается!

Вполне естественно, я поддерживал лейбористскую партию, находившуюся тогда у власти. Я наивно ожидал от нее действий, выдержанных в духе социалистических идей и направленных на разрешение все возраставших проблем — безработицы, низкой оплаты труда и т. д. Но происходило все наоборот. Положение рабочего класса продолжало ухудшаться, в то время как аристократия и буржуазия по-прежнему наслаждались, грабя империю. А когда летом 1931 года финансовый кризис достиг своего апогея, лидеры лейбористов, предав дело социализма, вступили в альянс с консерваторами и либералами, образовав так называемое «национальное правительство». Меня это сильно шокировало — и не только меня. Многих из нас это подтолкнуло к пересмотру всех наших идейных установок. Расширились ряды и деятельность коммунистической фракции в ОСКУ — и меня повлекло в эту сторону. С помощью коммунистов я открыл для себя Маркса, а через него, в свою очередь, познакомился с трудами Энгельса, Ленина и многих других авторов: Розы Люксембург, Бабеля, Каутского, Плеханова и других.

Обращение в новую веру произошло не сразу. Два года ушли на изучение трудов, дискуссии, споры и — время от времени — участие в политических акциях. Думаю, что те два года не пропали зря. Если обращение в другую веру происходит внезапно, так же внезапно может произойти и поворот обратно. Если же это является результатом двухлетней борьбы ума, такое обращение скорее всего пустит глубокие корни.

Буквально в последнюю неделю занятий в Кембридже я сделал окончательный выбор — посвятить жизнь делу Коммунизма. Это оказало важное влияние на мою дальнейшую судьбу, о чем я расскажу ниже.

Я собирался провести год в Австрии, с тем чтобы усовершенствовать мой немецкий, изучить историю, экономику и текущие политические проблемы Центральной Европы. Соратник по коммунистической фракции в Кембридже — известный профессор, скончавшийся несколько месяцев назад, — представил меня коммунистической организации в Вене. Там-то я и начал свою подпольную жизнь, сотрудничая с Коммунистической партией, находившейся на нелегальном положении.

Значение именно такого начала карьеры очевидно. В Англии не имелось никаких следов моей коммунистической деятельности. Если бы они были, вряд ли мне когда-либо в дальнейшем удалось стать офицером СИС.

ВЕРБОВКА

Вскоре после моего возвращения в Британию в мае 1934 года меня посетил приятель — коммунист, который сообщил о намерении «чрезвычайно важного человека» встретиться со мной. Как я уже упоминал, солнечным июньским днем меня привели замысловатым обходным путем в один лондонский парк, где представили некоему человеку, — впоследствии я узнал, что он является нелегальным резидентом в Великобритании. Назовем его Арнольдом. От него я услышал предложение, принятие которого и привело после многочисленных зигзагов и изломов судьбы к тому, что я стою здесь перед вами.

Еще несколько слов о том, что мною двигало. У вас может возникнуть вопрос, почему *я* принял сделанное мне Арнольдом предложение, вместо того чтобы, отвергнув его, посвятить себя работе на Коммунистическую партию Великобритании.

В то время, в 1934 году, Гитлер уже был у власти в Германии. Япония уже вторглась в Китай. Шел процесс формирования «оси» Берлин — Рим — Токио, и наиболее вероятным прогнозом развития международной обстановки было совместное нападение держав «оси» на Советский Союз. Советский Союз являлся первым в мире социалистическим государством, лидером и вдохновителем коммунистического движения. Крах СССР отбросил бы это движение на несколько поколений назад. Поэтому мне представлялось очевидным, что для каждого истинного коммуниста, которому дороги интересы международного коммунистического движения, защита Советского Союза должна быть главным приоритетом, более важным, чем интересы любой отдельной национальной компартии. Вот по какой причине я, товарищи, принял предложение Арнольда.

А теперь я более подробно остановлюсь на том, как протекала вербовка и что собой представлял вербовщик. Мне это представляется чрезвычайно поучительным примером использования перспективной агентуры длительного залегания.

Много лет спустя, когда я занимал ответственный пост в СИС, мы вели нескончаемые беседы о преимуществах использования перспективной агентуры. Но как только доходило до дела, во главу угла ставилось быстрое достижение искомого результата. На всех сотрудников СИС оказывалось сильное давление как со стороны, так и изнутри службы выдавать «на-гора» разведывательные данные сегодня, а не завтра. (*Тут Филби не удержался от ехидной ремарки*: «Я не сомневаюсь, что в нашей Службе дела обстоят абсолютно иначе», — *чем опять на какой-то момент вызвал замешательство в зале.)*

Итак, рассмотрим мое положение на момент знакомства с

моим новым другом в лондонском парке.

У меня не было доступа ни к какой секретной информации, да и вообще ни к какой информации, кроме радио и газет. У меня не было работы. Я даже не знал, куда мне удастся устроиться, считал только, что мои надежды скорее всего могут быть связаны с журналистикой. И тем не менее меня завербовали. Единственное, что было известно обо мне резиденту нелегальной разведки, это мое желание работать на дело Коммунизма (даже в нелегальных условиях, если потребуется), да еще то, что я происходил из безукоризненной буржуазной семьи, получил буржуазное воспитание и образование. По сути, он вытянул из пачки чистый лист бумаги в надежде на то, что в один прекрасный день он сам или кто-то другой сможет написать на нем что-нибудь полезное.

Разрешите сказать несколько слов об этом человеке.

В то время я был очень молод — мне было чуть более двадцати — и не слишком умудрен в общении с людьми. Так что, возможно, в каких-то деталях я воспринимал Арнольда неправильно. Но и сегодня, с позиций многих прожитых лет и несравненно более богатого опыта, я все равно считаю его идеальным чекистом. Человеком, которого мог лично подобрать Дзержинский.

Это был трезвомыслящий и широко образованный марксист-ленинец. Он свободно рассуждал на философские, политические и экономические темы и всегда был способен помочь разобраться в наиболее трудных концепциях нашего учения. Арнольд был отлично информирован в вопросах современной политики. Он читал множество газет и журналов на английском, французском и немецком языках. Мы вели долгие дискуссии по актуальным проблемам Европы, Америки и Дальнего Востока.

При этом он отличался редкой человечностью. Никогда не забывал, что у любого человека, как бы ни был он предан делу, может возникнуть потребность обсудить личные трудности, личные проблемы. Он неизменно был внимательным слушателем и, если в этом возникала необходимость, давал советы. Обсудив профессиональные вопросы, мы зачастую начинали болтать о всяких пустяках. Ему было присуще чувство юмора. И часто мы хохотали до упаду.

Вскоре после нашего знакомства он превратился для меня в нечто среднее между приемным отцом и старшим братом. Отцом — когда дело касалось напутствия, совета и авторитета; старшим братом — когда мы вместе веселились. Идеальные отношения!

Но он бывал также и очень твердым. Без конца читал мне лекции о правилах безопасности. Помнится, как-то раз, когда он

наставлял меня в вопросах безопасности, я вспылил и сказал, что слышу одно и то же в десятый раз.

— Всего в десятый, — заметил он. — Не волнуйтесь. Прежде чем я закончу с вами работать, вы услышите это сто раз.

Возможно, его настойчивости я во многом обязан тем, что стою сегодня перед вами, вместо того чтобы гнить в тюрьме, если не в гробу.

И последнее, что мне хотелось бы отметить: долготерпение Арнольда.

Я уже говорил, что в момент вербовки был безработным. В том же 1934 году материальная нужда подтолкнула меня к тому, чтобы устроиться на работу в совсем незаметный ежемесячный журнал. В течение двух лет результатов от моей, с позволения сказать, «разведработы» не было никаких. Поэтому можно было бы понять моего советского друга, если бы он стал думать, что неплохо было бы вернуть меня в компартию. Но он подобных мыслей не высказывал. А упорно продолжал строить разные планы и проекты на будущее, правда, все они упирались в тупик. С глубокой грустью я думаю о том, что, кода во многом благодаря его усилиям я впервые прорвался в ряда британского истэблишмента, получив назначение в качестве корреспондента «Таймс» во франкистскую Испанию, повторяю: в тот момент он исчез из моей жизни. И урожай, посеянный и взращенный им, был собран другими. Но я надеюсь, что добрая память о нем не умрет. Естественно, я так и не знаю его настоящего имени.

Тут мне хотелось бы вспомнить об инциденте, который, несмотря на его трагичность, явился для меня источником вдохновения на всю жизнь. Речь идет не о моем первом советском контакте, а о втором — Павле. По моим оценкам, он был резидентом нелегальной разведки в Западной Европе со штаб-квартирой в Голландии, хотя встречался я с ним как в Англии, так и во Франции.

Мы все знаем, что в ЗО-е годы некоторые хорошие люди, включая членов нашей с вами организации, пали жертвами имевших, к сожалению, место нарушений социалистической законности. Как мне кажется, в их число в итоге попал и мой второй контакт.

Я познакомился с ним в первой половине 1938 года во Франции. Он сообщил, что получил распоряжение вернуться в Москву, и я почувствовал, что он расстроен. Тем не менее его последние слова поистине вдохновили меня — они были сказаны, на мой взгляд, в традиции Феликса Дзержинского. Он сказал: «Ким, мы, очевидно, никогда больше не встретимся. Что бы ты ни услышал обо мне в будущем, продолжай свято служить делу,

которое ты избрал».

Я действительно больше ни разу о нем не слышал, но, по крайней мере, старался оставаться верным его последнему завету.

А теперь хотелось бы сказать несколько слов о том, какие чувства я испытывал в ту пору — не ради привлечения внимания к своей персоне, а потому, что для вас может оказаться интересным узнать психологическое состояние, по крайней мере, одного из агентов, работавших на идейной основе.

Я уже упоминал о том, что за первые два года не дал никаких положительных результатов. Но это не совсем верно. Самое первое разведывательное задание, которое я получил, было мне по душе и, как оказалось впоследствии, принесло реальные плоды. Мой советский друг поручил мне вновь посетить Кембридж, а также съездить в Оксфорд, где у меня был ряд связей, с тем чтобы осторожно восстановить контакты с бывшими друзьями из числа коммунистов или тех, кто сочувствовал коммунистическим идеям. Задание заключалось в том, чтобы составить подробный список вероятных кандидатов на вербовку с описанием их личных и политических качеств, перспектив и так далее.

Я привез такой список. Не открою большого секрета, если скажу, что в этом списке, в частности, фигурировали Гай Берджесс и Дональд Маклин. Боюсь, что другие имена из того списка еще не следует публично упоминать — даже в этой очень ограниченной аудитории.

Не успела эта операция закончиться, как я получил строгий приказ — неизбежный в создавшейся обстановке, но, тем не менее, воспринятый мною чрезвычайно болезненно. Мне было велено порвать абсолютно все открытые контакты с коммунистическим движением. Мне предстояло отказаться от подписки на марксистские издания, продать всю марксистскую литературу из моей библиотеки и никогда, никогда не покупать новых книг подобного рода.

Что еще хуже: я должен был разорвать отношения со всеми друзьями-коммунистами, причем таким образом, чтобы убедить их, будто я всегда являлся не тем, за кого себя выдавал. И действительно, вскоре я случайно натолкнулся в публичной библиотеке на одного из бывших соратников, который ужалил меня вопросом: «Ты что, и в Вене работал на полицию?» Что я мог ответить? Повернулся и ушел.

Тем не менее, друзья, я вовсе не собираюсь разжалобить вас до слез. Как гласит английская мудрость, «время залечивает все раны». Года через два-три мне удалось загнать боль утраты друзей в подкорку. Но это имело два важных для меня

последствия. Во-первых, в вопросах личной дружбы я стал полностью зависим от моих советских контактов — а их сменилось немало. Во-вторых, я начал рассматривать далекую Москву в качестве своего единственного дома. В Советском Союзе меня часто спрашивают, тоскую ли я по родине. Отвечаю я всеща одинаково, и ответ этот исходит из глубины души: «А я и живу на родине». *(Бурные аплодисменты.)*

Хотелось бы особо подчеркнуть один факт — беспредельную зависимость агента от советского оперативного работника, у которого он находится на связи. Это накладывает на последнего огромную ответственность глубоко гуманного характера. Если у вас нет этого в крови, вы должны научиться этому. То, что я здесь сейчас говорю, — в определенном смысле крик души, обращенный к вам от имени всех тех, кто сотрудничает и будет сотрудничать с нашей Службой. Пожалуй, это самое важное из всего, что я собираюсь вам сегодня сказать.

Как меня предупредили, друзья, все вы в общих чертах знакомы с основными вехами моей карьеры, поэтому я не буду подробно останавливаться на различных эпизодах, имевших место в Германии, Испании, Франции, Англии или где-то еще. Вам, однако, следует знать, что с самого начала мой первый оперативный руководитель, а также двое его преемников упорно нацеливали меня на британскую Секретную службу как на главный объект проникновения. Задача эта казалась практически безнадежной. Официально Секретная служба вообще не существовала; сведения о ее личном составе содержались в строжайшем секрете, как и сведения о местонахождении штаб-квартиры. С какого конца начинать проникновение? Единственное, что я мог придумать, это сделать осторожные намеки нужным людям в нужных местах. Работа в «Таймс» обеспечила мне немало высокопоставленных контактов, в беседах с которыми я имел возможность обозначить неудовлетворенность журналистикой, а с началом войны — выразить желание заняться чем-то, напрямую связанным с военными усилиями. В конце концов у меня были все задатки для разведывательной работы. Я знал немецкий, французский и испанский языки; много путешествовал по Европе; о том, что представляет собой фашизм, знал не понаслышке. Поэтому в предположении, что я могу принести пользу на разведывательном поприще, не было ничего подозрительного или нереального. Само собой разумеется, о моем настоящем преимуществе — уже имеющемся практическом опыте работы с плащом и кинжалом — я умалчивал.

И вдруг неожиданно — до сих пор не могу понять, как это случилось, — мне удалось засунуть ногу в чуть приоткрывшуюся

дверь. Меня вызвали в Военное министерство и после короткого собеседования направили в одну из лондонских гостиниц для дальнейших бесед. Буквально в считанные дни я получил официальное приглашение на работу в СИС, причем исходило оно от самой Секретной службы!

Я рассказываю все это для того, чтобы подчеркнуть: операция заняла в общей сложности шесть лет. Вот оно — настоящее долгосрочное проникновение в объект! Следует добавить, что, если бы не война, могло понадобиться более длительное время.

Я уже обещал, друзья, не занимать вашего внимания пересказом моей долгой и сложной карьеры в СИС. Я предпочел бы выделить три проблемы, представлявшие для меня определенную трудность, и изложить их вам для размышления. Если одному из наших агентов удается внедриться в спецслужбы противника, принято считать, что чем выше занимаемое им там положедие, тем лучше для нас. Во многом это, конечно, так. У офицера, занимающего высокое положение, как правило, более широкая сфера деятельности, чем у младших чинов. Однако мой личный опыт свидетельствует о том, что у агента, занимающего высокую должность, возникают проблемы особого рода.

Я действительно продвигался по службе очень быстро. В 1944 году мне поручили возглавить только что созданный контрразведывательный сектор, занимавшийся международной деятельностью СССР и Коммунистической партии, а годом позже я уже руководил всей внешней контрразведкой СИС.

Необходимо пояснить, что ресурсы СИС были урезаны военными действиями против держав «оси» и поэтому начиная с 1939 года против Советского Союза не велось никакой работы. И только в 1944 году, когда поражение «оси» было предрешено, СИС обратила взор на следующего врага — то есть на нас. И я, едва заняв новый пост, сразу столкнулся с неимоверно сложными ситуациями. Я не мог себе позволить работать спустя рукава, ибо меня тут же уволили бы. В то же время, добейся я ощутимых успехов, это нанесло бы ущерб нашим интересам.

В целом я принял на вооружение тактику оттягивания решений, с тем чтобы иметь возможность проконсультироваться с советским другом и, если позволяли обстоятельства, дать ему время посоветоваться с Москвой. Но порой надо было принимать решения незамедлительно, в течение нескольких часов. В подобных ситуациях приходилось полагаться только на собственное разумение.

Несомненно, я совершал ошибки — кто их не совершает? Не о них речь — я просто ставлю перед вами дилемму. На мой взгляд, готовых рецептов ее разрешения не существует, в каждом

конкретном случае следует действовать исходя из обстоятельств. Высокая должность дает возможность оказывать влияние на принятие политических решений, и это очень важный аргумент «за». С другой стороны, имеются свои плюсы и в том, чтобы агент занимал более незаметное положение, — это обеспечивает определенную степень анонимности, а следовательно, его персона может не привлечь к себе пристального внимания в случае, если произойдет какой-то крупный срыв.

Позвольте мне поставить вопрос в следующей форме. Если вам предоставится выбор: завербовать в качестве агента майора, работающего в архивах Пентагона, или председателя Объединенного комитета начальников штабов — кого вы предпочтете? Может показаться, что ответ очевиден. А вот для меня не совсем. Поразмышляйте над этой проблемой. Хочется надеяться, что в один прекрасный день кто-то из вас окажется перед необходимостью такого выбора.

Теперь я затрону другую проблему, с которой мне пришлось столкнуться, а именно проблему работы против двух или более спецслужб противника, сотрудничающих между собой.

Когда я только начал изучать марксизм, мне труднее всего давалась концепция диалектики — во многом по той причине, что она играет малозаметную роль в любой из английских философских систем. Однако чем старше я становлюсь, тем чаще замечаю диалектическое начало в окружающей действительности; я все больше убеждаюсь в том, что любая ситуация таит в себе семена своей будущей трансформации.

Мои первые служебные контакты с американскими спецслужбами произошли через две-три недели после нападения Японии на Пёрл-Харбор. Эта совместная работа достигла апогея в 1949 году, когда меня назначили руководителем миссии связи СИС в Вашингтоне. Британские и американские спецслужбы существенно выиграли от объединения усилий. Получив доступ к информационным массивам партнера, каждая из сторон повысила собственную информированность и обрела возможность для более правильного анализа. Но здесь таилась и колоссальная опасность. Глубоко внедряясь в американские спецслужбы, британская сторона автоматически позволяла американцам существенно проникнуть и в свои секреты.

С моей точки зрения, мой вашингтонский пост имел большое преимущество по сравнению с должностью руководителя контрразведывательного сектора в Лондоне. Хотя бы потому, что между англичанами и американцами шел интенсивный и всеобъемлющий обмен информацией и даже имело место определенное сотрудничество в оперативной области. Должен

сказать, что это сотрудничество по линии разведки и в проведении операций чрезвычайно важно и для нашей работы сейчас.

Сегодня нам противостоит НАТО. Не хочу преуменьшать опасность, исходящую от этого блока. И тем не менее существование НАТО — опять-таки в соответствии со старушкой диалектикой! — открывает перед нами большие возможности. НАТО подразумевает объединение усилий, причем не двух стран, а целых одиннадцати. Стоит внедриться в одну из спецслужб, и вы получаете доступ, хотя бы частичный, ко всем другим.

Я вовсе не собираюсь утверждать, что полный объем информации, имеющейся в распоряжении, скажем, американцев, автоматически передается всем натовским партнерам. Это наверняка не так. Однако в последние несколько лет мне показывали документы, поступившие от неизвестного мне источника, которые явно несут на себе признаки своего британского, американского или немецкого происхождения, и многое свидетельствует о том, что эти документы рассылались и в другие натовские страны. Поэтому я, подобно бедному Мартину Лютеру Кингу, могу сказать, что у меня есть мечта. Она заключается в том, что в один прекрасный день мы (возможно, это будет кто-то из вас) завербуем, к примеру, молодого норвежского офицера или даже курсанта военного училища. Пройдет несколько лет, и вы, взрастив этого молодого человека, внедрите его в норвежскую военную разведку, а затем наконец и в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Такая операция может занять пять, даже десять лет. Но согласитесь: время будет потрачено не зря.

И последняя проблема, с которой мне довелось столкнуться на собственном опыте. Как известно, летом 1951 года Маклин и Берджесс прибыли в Советский Союз, оставив меня в нелегком положении. Здесь имел место ряд ошибок, в том числе и совершенных мной. Но главная ошибка заключалась в том, что Берджессу разрешили уехать вместе с Маклином. Кто ее совершил, я не знаю. Но незамаскированная связь между Берджессом и Маклином приводила ко мне. Что было делать?

У меня был план побега в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Следовало ли мне тоже бежать в укрытие или стоило попытаться отбиться?

Я знал почти наверняка, что с карьерой в СИС было покончено. Но, как гласит английская поговорка, «где жизнь, там и надежда», и мне подумалось, что, если удастся пережить шторм, я смогу еще принести пользу, возобновив работу по прошествии некоторого времени и в новых условиях. Поэтому я решил

остаться и принять бой.

Заметьте: у меня было три огромных преимущества. Во-первых, многие высокопоставленные сотрудники СИС — от самого директора и ниже — были бы серьезно дискредитированы в случае доказательства моей работы в пользу Советского Союза. Они с удовольствием приняли бы на веру все, что бы я ни сказал.

Во-вторых, я в мельчайших подробностях был знаком с архивами СИС и МИ-5. Я знал, что именно может быть вменено мне в вину. Например, Кривицкий сообщил, что советская разведка направила в Испанию молодого британского журналиста; от Волкова были получены сведения о том, что советский агент возглавляет в Лондоне сектор контрразведки. Таким образом, у меня было время подготовить ответы.

В-третьих, будучи в прошлом вовлеченным в подготовку многих процессов по делам немецких, итальянских и советских агентов, я досконально знал процедуру работы британских служб безопасности. Я знал, например, что значительная часть имеющейся в их распоряжении информации не может фигурировать в суде в качестве улик либо потому, что ее невозможно подтвердить, либо из-за нежелательности раскрывать деликатные источники ее поступления. В подобных случаях контрразведка стремится в ходе допросов подозреваемого добиться от него само-, разоблачения. И когда служба безопасности начала работать надо мной, я сразу понял, что в ее распоряжении недостаточно информации, чтобы начать судебный процесс. Итак, я знал, что, если буду упорно отрицать какую-либо связь с советской разведкой, все обойдется. Это была затяжная битва нервов и умов, длившаяся с перерывами пять лет.

Затем, после дебатов в парламенте, мне сообщили из СИС, что вопрос решен в мою пользу, и решение состояло в том, что мне предложили работать в качестве сотрудника СИС на Ближнем Востоке под прикрытием журналиста. Я согласился.

Из сказанного выше можно извлечь следующий урок. Судя по моему опыту, а также по опыту других бывших агентов, с которыми мне приходилось беседовать, советские оперработники в целом не любят обсуждать с агентурой линию их поведения в случае ареста. Я не сомневаюсь, что наши сотрудники исходят при этом из нежелания подорвать моральный дух агента. Отдавая должное подобному подходу, я, тем не менее, осмелюсь предположить, что он неверен. Каждый агент рано или поздно задумывается над вероятностью ареста, и, если он спрашивает об этом оперработника, это означает, что такая мысль уже посетила его.

Я видел однажды агента, который, будучи арестован,

сознался и был посажен в тюрьму. Я случайно встретился с ним после того, как он вышел, и спросил, почему он признался.

Он сказал, что неоднократно спрашивал своего куратора, как быть, если его арестуют, и тот сказал: «Если мы работаем по правилам, такого не случится». Поэтому, когда его арестовали, он решил, что может поступать, как вздумается. И сознался — так было проще. Многие агенты верят, что получат меньший срок, если будут сотрудничать с теми, кто их арестовал. Они не понимают — не зная, в каких рамках работают спецслужбы восточноевропейских стран, — того, что, не признавшись, они могут вообще выйти сухими из воды.

Поэтому я рекомендую всем вам принять во внимание следующее: агенту, спрашивающему, как быть в случае ареста, да, наверное, и тем агентам, которые об этом не спрашивают, следует, безусловно, дать четкую инструкцию. Агенту следует объяснить, что ни при каких обстоятельствах он не должен признаваться в сотрудничестве с советской или какой-либо другой разведкой. Ему не следует признавать достоверность каких бы то ни было улик против него, тем более что многие из них могут оказаться сфабрикованными. Ни в коем случае он не должен подписывать изобличающих его документов. Если бы все провалившиеся агенты последовательно придерживались этих инструкций, наверное, половине из них удалось бы избежать суда, не говоря уже об обвинительном заключении. Мы всегда должны помнить о том, что буржуазное законодательство призвано в первую очередь оберегать частную собственность. Поэтому оно содержит всевозможные уловки, направленные на защиту прав индивидуума. И наша задача — использовать буржуазные законы в своих интересах.

И последнее. Любое признание подразумевает предоставление противнику информации. А значит, яснее ясного: признаваться нельзя.

Итак, я уже упоминал, что в 1956 году отправился на Ближний Восток, в Бейрут. Восстановил связь *с* нашей Службой и продолжал успешно работать до января 1963 года. Но тут прозвенел последний звонок. Специально прибывший из Лондона сотрудник СИС сообщил мне, что контрразведка наконец получила неопровержимые доказательства того, что я работал на советскую разведку вплоть до 1949 года. Исходя из предположения, что после этого я перестроился, мне предложили сделку: если я расскажу все, что знаю, против меня не будет предпринято никаких действий. Хороша сделка!

Мне оставалось одно — бежать. Хотелось бы от души поблагодарить всех товарищей, участвовавших в этой операции, и

поздравить их с блестящим ее осуществлением.

Итак, товарищи, я наконец добрался до своего дома, до Москвы. Должен признаться, что первым делом я нарушил полученную еще летом 1934 года инструкцию, запрещавшую мне пользоваться марксистской литературой. Я подписался на «Правду» и начал воссоздавать свою утраченную библиотеку марксистской литературы.

Трудно передать словами, насколько тепло и дружески я был встречен здесь. *(Аплодисменты.)* Правда, в конце 60-х годов был период, когда я считал, что мои возможности используются не полностью, — я чувствовал себя потерянным. Но в последние годы я снова приобщился к делу и меня загружают работой.

О прошлом я не жалею, если не считать ошибок в личной жизни и профессиональной деятельности. Но я нахожу успокоение в размышлениях о том, что человеческая жизнь, прожитая без ошибок, должно быть, редчайшее явление. А пока мой мысленный взор обращен не в прошлое, а в будущее, которое, как мне представляется с позиций сегодняшнего дня, поставит перед нашей Службой не менее дерзновенные задачи, чем в прошлом.

Наш основатель Феликс Дзержинский сказал в последние годы своей (к сожалению, слишком короткой) жизни следующую фразу: «Если бы мне предстояло начать жизнь снова, я бы начал так, как начал». Мне хотелось бы выразить ту же мысль, только иными словами. Если бы меня спросили, чего я хочу, я пожелал бы еще сорок три года активной деятельности в рядах КГБ. *{Бурные аплодисменты.)*

Позвольте от души пожелать вам всем успехов в важном и ответственном деле. Лично я надеюсь, что буду по-прежнему вносить свою скромную лепту — в любом качестве, в каком руководство сочтет полезным. Большое всем спасибо. *{Бурные продолжительные аплодисменты. Все встают.)*

Москва, 1977 год

ПЕРЕПИСКА

Перевод *М.Д. Малкова*

ПИСЬМА ГРЭМУ ГРИНУ

П/я 509 Главпочтамт Москва 29 апреля 1968 года

Мой дорогой Грэм!

Я только что отправил телеграмму с «одобрением» предисловия, написанного тобой к моей книге. Это выглядит с моей стороны столь чудовищно дерзко, что я непременно должен дополнить ее письмом.

Я всегда считал, что ты — один из немногих людей в Англии, кто действительно понимает меня. Но даже зная это, я был потрясен теплотой твоего панегирика (я не могу назвать это иначе). Можешь не сомневаться — разумеется, мне не могло не померещиться, что ты преувеличил мои достоинства и исключительно милостиво пренебрег многочисленными ошибками. Я должен согласиться с твоими коррективами ко многому из написанной обо мне чепухе, и особенно это касается неоднократной клеветы в адрес моего отца, которого я, имея на это более чем достаточные основания, всегда считал своим замечательным, хотя уже и довольно далеким другом.

Недавно из сообщения в «Таймс» я узнал, что ты принял решение не ездить в Советский Союз, пока не будут выполнены определенные условия. Конечно, это твое суверенное право. Позволь разделить с тобой надежду на то, что эти условия скоро будут выполнены — не только потому, что это было бы правильно, справедливо и достойно, но еще и по той причине, что это принесло бы внезапный дивиденд в виде новой серии наших продолжительных застолий.

С теплыми воспоминаниями о прошлом и надеждами на будущее.

Всегда твой *Ким*

Миссис Э. Деннис для м-ра Грэма Грина. Хизлендс, Стиип, Н. Кроуборо.

Сассекс. Англия

Гавана, Куба

Бар «Флоридита», где родился коктейль «Дайкири». Новогодние поздравления от вашего Фэна в Гаване. Не счесть «Дайкири» в баре «Флоридита»!

П/я 509 Главпочтамт Москва 5 апреля 1980 года

Мой дорогой Грэм!

Мне всегда приходится начинать письма к тебе с извинений — на этот раз за то, что поместил тебя в один ряд с Маггериджем. Сама ассоциация естественна, однако же случайна и второстепенна: просто вы были единственными литераторами среди остальных нас — обывателей 5-го сектора. И я тебя понимаю. В своих «Хрониках» Магг замечает, что он никому не желает зла. Однако он, похоже, думает зло почти обо всех и вся, за исключением Джорджа Оруэлла и Китти. Последняя либо бесконечно долготерпелива, либо святая, а возможно, и то и другое. Кто-то из твоих мексиканских персонажей говорит, что канонизации должны предшествовать чудеса. Истинное чудо Китти — долготерпение длиною в жизнь по отношению к калейдоскопическим вывертам Магга. Я должен не без скрипа согласиться, что большинство из его текстов являются обязательным чтением — за исключением религиозных пассажей, которые я, зная его столько лет, нахожу тошнотворными.

Не думаю, что мне когда-нибудь удастся увидеть «По ком звонит колокол», однако, судя по твоей рецензии в «Таймс», ты находился в приятном расположении духа, когда писал ее. «Доктор Фишер из Женевы» должен скоро прийти — я полагаю, более трезвое произведение. Прискорбно, что «Санди таймс» оскорбила тебя, заказав свою рецензию этому поносному шарлатану Бернарду Левину. Еще новость — я заменил восемь истрепанных пейпербэков Грина на новенькие хайнемановские издания; я также получил хайнемановское издание твоего старого друга Нарайяна. Я чувствую себя в Мальгуди как дома и удивляюсь этому. Документальное доказательство гласит, что (Маль-худи находится) в доброй тысяче миль от места моего рождения — Амбалы, так что, вероятно, сходства быть не должно. Может быть, Мальгуди вызывает к жизни какие-то давно похороненные образы. Еще более вероятно, что все дело в мастерстве автора. Твое интервью Энтони Бэр-джессу в «Обсервер», похоже, больше говорит о нем самом, нежели о тебе. Между прочим, я никогда не писал, что больше всех в <…> мне нравится Буллер. Я полагаю, что сопоставление меня *с* Гарольдом Эктоном слишком смехотворно и нелепо. А может быть, ЭБ просто передергивает. Итак, похоже, мы оба опять на слуху. «Пэнтер Гранада» выдало две перепечатки моей книги вслед за брехней Эндрю Бойля. Читал ли ты «Климат»? Если нет, то и не стоит — крайне слабая вещь, пестрящая тривиальными ошибками, легко достигающими четырехзначного числа. Очевидная неудача. На минутку возвращаясь к интервью ЭБ: кто

первым назвал твоих персонажей жалкими? Мой собственный номинант — твой брат Хью в «Нью стейтсмен», когда он и ты (под псевдонимом) приняли участие в конкурсе на лучшую пародию на твое творчество. Термин «жалкие» фигурировал в его пародии, плюс что-то подозрительное за кустом малины. Кажется, он завоевал первое место: ты — второе. Чудеса да и только! Я даже не могу вспомнить десятилетие, не говоря уже о годе. Склероз крепчает.

Да, как ты говоришь, теперь все упирается во власть, но я по-прежнему размышляю над твоей теорией деления. Значительная часть мира уже поделена, а остальная не желает. Не принимая во внимание последний аспект (какая разница, чего хочет Ботсвана?), подобное разделение должно быть взаимно согласовано. А согласия на этот счет достичь, вероятно, труднее, чем договора по ОСВ (SALT), включающего раздел соли в Мировом океане. Между тем нам суждено болтаться между разрядкой и «холодной войной». Что предпримет Картер после Олимпиады? Станет тратить деньги на Диего-Гарсия? Еще один авианосец в Индийском океане? "Антракс"? Ему необходим новый конек, чтобы дотопать до ноябрьских выборов. Разумеется, он переборщил с реакцией на Афганистан. К несчастью, не он один.

Все это уже навязло в зубах — нечто такое, с чем мы уже свыклись. Гораздо больше сейчас тревожит меня то, что принято называть качеством жизни. Единственное спокойное место, обнаруженное мной в Советском Союзе, — это моя квартира — тихая заводь в центре Москвы, где я слышу лишь стрекот моей пишущей машинки да мягкий, нежный, грудной голос моей жены. Везде и всюду меня приводят в ярость шум транзисторов, стерео, моторок, легковых и грузовых автомобилей, самолетов — все эти треклятые децибелы. Дискотек тут пока нет, по крайней мере уличных. Зато есть синие джинсы — непонятная мода — с плоскими бессмысленными карманами и больно жмущие в паху. Молодежь хватает палатки, спальные мешки, еду и прочее и исчезает на несколько дней в лесах. Но это не дело для стареющих джентльменов, принадлежащих к тому, что Оден называл табачно-алкогольной культурой. Я никогда не пробовал наркотиков и слегка завидую твоим вьетнамским опиумным грезам.

И снова я написал больше, чем намеревался. Наверное, чтобы заполнить длительные промежутки между письмами. Всего наилучшего и опрокинь стаканчик «кира».

Твой *Ким*

П/я 509

Главпочтамт Москва 6 июня 1980 года

Мой дорогой Грэм!

Твое письмо добралось до Москвы, когда мы наслаждались нашим ежегодным постзимним пребыванием в Крыму для небольшой протяжки легких. Так что к тому времени, когда ты получишь это, ты уже, вероятно, примешь решение по кубинскому вопросу. Так или иначе, я не думаю, что смог бы сказать что-то полезное. Я с ходу отверг уже несколько предложений Би-Би-Си — по двум причинам. Во-первых, радио и телевидение предполагают приемы и методы, о которых я не знаю ничего, кроме того, что форма столь же важна, как и содержание. Однако, как бы тщательно я ни подбирал слова, враждебное истолкование может придать им нелепый оттенок, если не сказать больше. Во-вторых, как бы добросовестно ни повела себя Би-Би-Си, ее позиция ни к чему не обязывает других. Недавний пример может быть тебе интересен, поскольку ты оказался в этом невольно замешан. По твоему предложению Ченселлор попросил меня написать рецензию на «Климат» для «Спектейтора». *Я* лаконично и вежливо отказался, пояснив, что объективная рецензия может повлечь за собой недопустимые разоблачения, а необъективная, по всей видимости, заведомо неприемлема. К моей крайней досаде, это письмо попало на радио «Свобода» (вот ведь незадача!), и его Русская служба воспользовалась им как удобным поводом, чтобы навязать своим слушателям крайне неприглядную и насквозь фальшивую картину моего теперешнего положения. С тех пор моя досада давно уже рассеялась благодаря комбинированному воздействию времени, морского воздуха и талики здравого смысла, и я настоятельно прошу тебя не возбуждать этот вопрос перед Ченселлором, если эта тема не будет раздута вновь. Пусть это будет «предано тихому забвению», которое мудро отводится Церковью для второстепенных вопросов. (Между прочим, твой чешский заместитель счастливо отделался: у условного знака в три звонка оказались далеко идущие последствия.)

Между нами, мы, похоже, поместили Маггера туда, где ему и место. Отлично. Мир праху его. Жаль только, что он не попросил *меня* дополнить его биографию; вот *это* был бы непреодолимый соблазн.

Итак, тебе не по душе твои 75. Мне до этого рубежа еще семь, так что могу выразить тебе лишь сочувствие. Мой собственный шестой десяток оказался наиболее счастливым по сравнению с любым другим периодом. Работа идет довольно успешно, насколько позволяют вынужденные ограничения избранной мною профессии (не мною избранной, но я не считаю, что те, кто

избрал ее для меня, поступили неверно), и моя личная жизнь такая богатая, смесь всего, что мне по силам: никаких утомительных общественных обязательств и достаточно путешествий, чтобы по достоинству оценить родные Пенаты, ожидающие моего возвращения. Полученное воспитание подсказывает мне, что восхвалять свою жену — это дурной тон (наша десятая годовщина в сентябре, Боже мой!). Так что я просто скажу, что и теща у меня тоже замечательная. Конечно, есть вещи, которые мне уже не положены, например взбираться бегом по лестнице или поднимать тяжести. Но я нахожу подобные минусы вполне терпимыми. «Доктор Фишер» прибыл одновременно с твоим письмом. Я еще не прочел его, так как Нина[65] вцепилась в него первой. Около полуночи она поставила меня в тупик, спросив, что означает «фарфелю». К счастью, у меня есть «Лярусс». Если ты все-таки решишься высказаться насчет Кубы, можно ли будет получить фотокопию? Я сомневаюсь, что нам удастся повторить свой визит, так как не хотел бы снова щекотать свои бронхи. Это может подорвать мои шансы на то, чтобы попробовать, что такое 75.

Всего наилучшего!

Твой *Ким.*

П/я 509
Главпочтамт
Москва
13 октября 1984 года

Мой дорогой Грэм!

«Генерал» прибыл одновременно с моим номером «Таймс», в котором сообщается о кончине Холодильника. Срок его службы был длинным — в отличие от быстротечной и блестящей карьеры Генерала, он верховодил долго и злобно. О Центральной Америке я знаю очень мало, но предчувствую, что в ближайшие несколько лет там случится много безобразий, и очень сомневаюсь, чтобы визит Иоанна-Павла II в Эспаньолу чем-то помог тамошним «десампарадос». Я не люблю весь этот шоу-биз — целование земли у трапа и тд., а взгляды (папы) на вопросы пола представляются мне примитивными и недобрыми. Что касается политики, то он замешан в ней воленс-ноленс и должен это понимать. Возможно, его преемником станет кардинал Грех? Прискорбно, что ты потерял своего друга в такое время. (Во мне тоже отозвалась острой болью смерть Андропова. Он задавал много вопросов и в самом деле слушал ответы.)

Не знаю, поздравлять ли мне тебя *с* восьмидесятилетием, ведь пять лет назад ты писал мне, что не слишком рад 75.

Возможно, Генерал и Доктор сделали тебе, каждый по-своему, стимулирующие инъекции. Твои многократные упоминания о ламанчском вине в «Кихоте» (чудо мудрости, нежности и веселья) и о «черной этикетке» в «Генерале» наводят на мысль о добром здравии, несмотря на твои операции. Когда я читал обо всех твоих мотаниях по Центральной Америке, у меня кружилась голова.

Всего наилучшего и спасибо за новую книгу. Что там на подходе?

Ким

П/я 509
Главпочтамт
Москва
10 октября 1985 года

Мой дорогой Грэм!

Множество запоздалых благодарностей за «Десятого». Как ты предрекал, он позабавил меня — и даже более того. Мне подумалось, что если бы «Десятый человек» был экранизирован, а «Третий» позабыт, я мог бы отчасти избавиться от печальной известности.

Надеюсь, у тебя в голове еще есть люди, борющиеся за появление на свет. Говорят, числа «семь» и «тринадцать» кабалистически значимы, но не могу вспомнить почему. Будь я остряком (а это не так), то сказал бы, что ты предпочитаешь ординарное кардинальскому.

Мне хотелось бы, чтобы папа не выступал против контроля над рождаемостью в «третьем мире», а пустозвон из Белого дома не говорил о ней вообще, и точка.

Всего наилучшего и еще раз спасибо.

Твой *Ким*

П/я 509
Главпочтамт
Москва
24 сентября 1986 года

Дорогие друзья!

Пока воспоминания о вашем визите еще свежи, хочу сказать, как он нам дорог. Без всякого побуждения с моей стороны Руфа сказала, что три дня, которые мы провели вместе, были одними из счастливейших в ее жизни. Что касается меня, то я, похоже, страдаю от острого приступа exprit d'escalier[66] — столько вопросов хотел задать, но не задал; столько всего хотел сказать, но так и не сказал. Что ж, пробел в 35 лет не заполнишь за

несколько часов. Zut alors![67]

Я был более чем удивлен, что ты выразил некоторое сомнение насчет нашей готовности встретиться с вами. В целях устранения какого бы то ни было недоразумения я прошу считать это письмо постоянно действующим приглашением (вернее, категорическим требованием) встретиться, как только ты в следующий раз появишься в наших пределах. Может быть, ты остановишься на Литве. На мой взгляд, Вильнюс красив, а копченый угорь (там) великолепен. En route[68] ты найдешь водку и сигареты chez nous[69].

С огромной любовью к вам обоим от нас обоих.

Руфа и *Ким*

P.S. Когда вы ушли, я обнаружил, что Ивонна оставила свой бокал виски с содовой наполовину недопитым. Естественно, я допил.

П/я 509

Главпочтамт Москва 18 ноября 1987 года

Мой дорогой Грэм!

«Ловец шпионов» прибыл через два месяца и несколько дней после отправки. Болыпое-пребольшое спасибо. Руфа глубоко благодарна за посвящение и я тоже, особенно потому, что ты поставил имя Ивонны в качестве со-дарителя.

Твоя записка с уведомлением об отправке (книги), посланная позже самой книги, пришла недели на две раньше. Шрифт и почтовый штемпель — Майнхед — подсказывают, что ты навещал сестру и Родни. Они обосновались там на покой? *Я* провел там несколько часов более 50 лет назад. Бог знает, почему и как. Тогда это было внешне симпатичное местечко, во всяком случае из окна экскурсионного автобуса и бунгало. Надеюсь, ты передал им от меня привет.

Мы часто обсуждаем твое возможное возвращение, и я надеюсь, что ты придумаешь для этого повод. Если понадобится толчок с этой стороны, дай мне знать.

Боюсь, что из-за волнения во время нашего расставания я забыл извиниться за отвратительный обед в «Арагви». Это было больше, чем просто разочарование. В прошлом году мы приглашали туда гостей, и все было хорошо.

После знаменитого собрания были бесчисленные упоминания о некоем Гремгрине, возможно родственнике гремлинов, наводивших ужас на пилотов Королевских ВВС во время войны.

Довольно! С любовью к вам обоим. A bientôt![70]

Ким

П/я 509
Главпочтамт
Москва
27 января 1988 года
Мой дорогой Грэм!

Спасибо за письмо из «Пит Эрли, инк.» (Вот так имечко!) Я рад, что ты не дал ему никаких авансов, а мне советуешь игнорировать любые подкаты с этой стороны. Это была бы уже пятая биография только на английском — я уверен, ты согласишься, что это перебор, как минимум, на четыре.

На днях у нас были заморские друзья, и мы повели их в «Арагви», ожидая самого худшего. На деле же нам подали вполне приемлемую еду: много зелени плюс четыре бутылки грузинского вина, в дополнение к традиционному питью. Мы подумали, что Ивонна оценила бы последнее, и скрежетнули зубами соответственно.

Спасибо также, что ты верно сориентировал меня насчет твоего майнхедского следа. Тем самым ты дал мне понять, что твоя сестра в добром здравии, и я рад это слышать.

Не забудь нас, когда в следующий раз приедешь в СССР. С любовью к Ивонне и тебе.

Ким

P.S. Извини за опечатки. Руфа стоит надо мной со скалкой, загоняя за вечерний стол

ПЕРЕПИСКА С ЭРИКОМ ДЕ МОНИ[71]

Хейшо Фарм
Дейкр
Хэрроугейт
Северный Йоркшир
23 сентября 1977 года
Дорогой Ким!

После долгого отсутствия я снова еду в Москву — прилетаю в воскресенье 2 октября — на две недели. Главная цель — сорокапятиминутный радиорепортаж о 60-й годовщине Революции, который займет меня почти целиком. Тем не менее наверняка у меня будет какое-то свободное время, так что, *я* думаю, не могли бы мы встретиться? Кроме того, что я буду счастлив возобновить контакт, у меня еще есть идея, которую мне хотелось бы обсудить, — не *полностью,* по моему разумению, оторванная от проекта, находящегося в работе — идея создания фильма о твоей жизни.

Я точно не знаю, в какой гостинице остановлюсь, — попросил, чтобы в «Национале» или в «Метрополе», но «Интурист», по своей кошмарной привычке, никогда не сообщает заранее. Как бы то ни было, есть минимум два простых способа связаться со мной и дать знать, как мы могли бы повидаться. Первый — черкнуть мне записку на адрес московского корреспондента Би-Би-Си: Садово-Самотечная, дом 12/24, кв. 72 (с пометкой «личное»); или позвонить и оставить для меня сообщение по любому из следующих телефонов: 295-85-13 или 294-72-56 (оба — Би-Би-Си), или 221-90-28 или 295-80-19 (оба — Рейтер). Ты можешь назваться Леном Брауном (это мой бывший банковский менеджер, который до ухода на пенсию несколько раз посещал Москву). Я еду вместе с продюсером Радио-4 по имени Питер Белл, но, разумеется, его в это дело посвящать не надо.

На данный момент о своем расписании могу сообщить следующее: прибытие в Москву в воскресенье вечером, 2 октября; неделя в Москве до позднего вечера следующего воскресенья; затем два дня в Ленинграде — 10-го и 11-го, обратно в Москву утром в среду, 12 октября, а вылет обратно в Лондон — во второй половине дня в субботу, 15 октября. Очень надеюсь, что мы сможем увидеться.

Твой *Эрик (де Мони)*

П/я 509 Главпочтамт Москва 20 октября 1977 года

Мой дорогой Эрик!

Очень жалею, что мы разминулись. Я получил твое письмо вчера, вернувшись домой после месячной травли форели в венгерской Матре. Рыба была приемлемо дружелюбна, но приходилось по-ястребиному цепко следить за поваром, чтобы он, по обыкновению, не бросал улов в кипящее свиное сало, прежде чем ты успеешь произнести «Франц Шуберт». Думаю, что мы могли бы встретиться, и я с огромным удовольствием сыграл бы роль банковского служащего. Если идея, которую ты намеревался обсудить, по-прежнему жива, может быть, ты черкнешь мне об этом несколько строк — хотя невозможно поручиться, что я смогу что-то в этом смысле сделать. Но ведь попытка не пытка! За этот год, похоже, в СМИ был явный переизбыток материалов, эксплуатирующих тему «твоего покорного». Несомненно, все это приурочено к празднованию сотой годовщины со дня рождения Феликса Дзержинского путем привлечения внимания к его выдающемуся ученику. Находясь в благостном расположении духа, я надеюсь, что заинтересованные лица не потеряли на этом слишком много денег.

До меня время от времени доносится твой голос, но не так

часто, как хотелось бы. Как правило, ты кого-то интервьюируешь, вместо того чтобы делиться своими собственными, более интересными мыслями. А что ты там делаешь, в Северном Йоркшире? В последний раз, когда мы виделись, ты, кажется, собирался покупать (или уже купил) дом в Лондоне. Кстати, я получил удовольствие от нашей главы в «Русской перспективе» — весьма справедливый комментарий, хотя, по-моему, я вряд ли могу считать себя твоим "обсидиановым" Кимом.

Всего наилучшего!;

Хейшо Фарм
Дейкр
Хэрроугейт
Северный Йоркшир
6 ноября 1977 года

Дорогой Ким!

С огромным удовольствием признаюсь и со *слюноотделением,* ибо ты упоминаешь форели с шубертовскими обертонами, прочитал твое письмо, но как жаль, что мы не смогли встретиться. Как теперь ясно, это было бы, наверное, сложно в любом случае. Почему-то *Госкомитет по радио и телевидению* продемонстрировал в отношении меня исключительное усердие, так что мои две недели в Москве и Ленинграде прошли в сплошном дыму встреч и интервью. Надеюсь, если в будущем нам удастся встретиться, это произойдет при более спокойных обстоятельствах!

Ты спрашиваешь: почему Северный Йоркшир? Тут целая долгая и запутанная история, но я попытаюсь подсократить ее. Мой первый брак распался И лет назад, вскоре после того как я, завершив свой первый срок в Москве, возглавил парижское отделение. Примерно 4 года спустя — после проходившего одновременно процесса о разводе, слишком мучительного для детального пересказа, — я снова женился на женщине по имени Элизабет Бауэр, которая начинала как провинциальная журналистка, работала в Рейтер (в том числе какое-то время в Западной Африке), в МИД, а к тому времени, когда я ее встретил, успела уже несколько лет отработать на Би-Би-Си. Так что, как видишь, мы вполне профессиональная пара! Следует добавить, что в 1968 я принял католичество — Лиз уже была католичкой, а со стороны матери происходит из традиционно нонконформистской семьи (я был принят в лоно Церкви в перерывах между репортажами о пылающих баррикадах парижского студенческого восстания). Теперь у нас двое детей: Марк, которому шесть с половиной, и Аликс, маленький буйный

рыжик, которой на Рождество исполнится четыре. Почему именно Йоркшир? Лиз — северянка с обеих сторон и всегда имела тут глубокие корни. Так что, когда мы решили вернуться на родину, после шести лет в Париже и еще двух в Москве, нам показалось вполне естественным обосноваться в старом сельском доме, на природе, и мы очень счастливы тут уже почти три года — сейчас я обычно работаю на Би-Би-Си первые три дня недели и могу довольно плавно перемещаться между Лидсом и Лондоном. Оставаясь неисправимыми *капиталистамищъш. также* имеем старый сельский дом в Нормандии, который приобрели в бытность мою парижским корреспондентом, и именно там, я полагаю, мы и обоснуемся окончательно после моего ухода на покой с Би-Би-Си года через три. Как ты знаешь, я по натуре, можно сказать, безродный космополит, хотя и родился в Лондоне, рос в Новой Зеландии… однако у меня все же есть такое странное чувство, что какие-то мои корни — в Нормандии, ведь именно оттуда предки моего отца появились два поколения назад, и я не думаю, что это всего лишь сантименты, к тому же там по-прежнему можно купить весьма приличное *vin de table*[72] 'по 50 пенсов за бутылку, не говоря уже о нашем знаменитом местном кальвадосе! Наконец, наши дети родились во Франции, и нам хочется, чтобы они были двуязычными. А кроме их воспитания мои амбиции ограничиваются разве что желанием снова научиться как следует играть на фортепьяно, а также, быть может, создать один-два маленьких шедевра.

Как ты пишешь, твоя карьера дала в последние месяцы обильную пищу журналистам. По-прежнему доносятся слухи о предполагаемом фильме, в котором, похоже, главная роль теперь поручена Роберту Шоу; в дополнение к этому есть еще спектакль в Вест-Энде под названием «Старая родина» (я пока что не видел), в котором тебя изображает Алек Гиннесс, — я дам тебе знать, убедительно ли, когда посмотрю. Я настраивался на более скромную цель, когда впервые обратился к тебе несколько лет назад. Мне подумалось, что мы могли бы подготовить «профильную» передачу для радио или телевидения, или для обоих, в форме продолжительного интервью, от 30 до 45 минут. Несомненно, есть некоторые темы, которых ты предпочел бы не касаться, но при этом наверняка есть немало иных аспектов твоей жизни и эпохи, которые мы могли бы обсудить, и я нисколько не сомневаюсь в том, что итог мог бы стать одновременно информационно насыщенным и увлекательным. Короче, если *ты* готов рискнуть якшаться со *мной* публично, я вполне готов к тому же со своей стороны. Кроме того, хоть я и не отношусь К адептам журналистской теории «сенсация любой ценой», я

абсолютно уверен, что конечный продукт будет иметь колоссальный отклик — а это занятно *и* само по себе, и как нечто такое, о чем будет рассказать внучатам!

Дай знать, что ты об этом думаешь. Бессмысленно обсуждать важные вопросы или подлежащие освещению темы до того, как мы прежде всего определимся относительно целесообразности всего проекта в целом. Но если ты сочтешь его стоящим, я, вероятно, мог бы нанести предварительный визит в Москву, чтобы обсудить эти вопросы до перехода к практическим действиям, направленным на непосредственное создание программы.

Поразмыслив, отказываюсь от «обсидианового»; Как тебе вместо этого просто «прочный»?

Твой *Эрик*

P.S. Я довольно крепко привязан к нескольким проектам в ближайшие два-три месяца. Может быть, нам подумать о том, чтобы встретиться ранней весной?

П/я 509 Главпочтамт Москва

26 ноября 1977 года

Мой дорогой Эрик!

Как приятно было узнать все твои новости. На твою долю выпали мучительные испытания, и я очень рад, что все в конце концов обернулось для тебя хорошо. Правда, невольно вздрагиваешь от мысли о толпах маленьких новых Де Мони, выпускаемых на волю в наш беспокойный мир, особенно насчет буйных рыжиков. Я полагаю, они достигнут своей активнейшей стадии как раз ко времени твоего ухода на покой в бедную Нормандию, которая, как мне представляется, достаточно пострадала в 1944 году. Ты пишешь, что собираешься оставить службу через три года. Значит, тебе 57? 62? Во время наших слишком нечастых встреч на Востоке я никогда не замечал разницы в возрасте, но она, должно быть, была. Через пять недель мне стукнет 66, однако, несомненно, в связи с жестокой задержкой умственного развития я не чувствую себя намного старше, чем в Бейруте. Память у меня уже явно не та, что была прежде, и опечатки случаются чаще — вероятно, подкрадывается склероз. Но я надеюсь, что мои мозги продержатся еще лет десять — двадцать, ибо для них пока еще довольно много работы.

Я, разумеется, с удивлением узнал о твоем обращении; хотя еще один мой старый друг — Грэм Грин — проделал тот же, путь — от КП к Церкви. Лично я был рад услышать, что твоя жена происходит из нонконформистской семьи — у Филби тоже есть свой «скелет в шкафу». Говорят, что последним повешенным в

Тайбэрне был Филби-католик, после чего семья аккуратненько приспособилась к англиканскому истэблишменту. Прискорбный эпизод и, я надеюсь, недостоверный. Ты наверняка в равной мере удивлен моей пожизненной приверженностью к марксизму. Конечно, я не считаю, все написанное КМ Священным Писанием. Но я действительно верю, что он и его лучшие последователи нащупали оптимальный инструмент для объяснения поведения человека в обществе. Что касается любых религиозных догм, они никогда не трогали меня с тех пор, как примерно 60 лет назад я шокировал мою бабушку заявлением о том, что Бога нет. В своей брошюре обо мне Г. Т-Р изобразил меня ископаемым, видимо потому, что я пришел к марксизму в Кембридже и остался верным ему по сей день. Но ведь и сам Т-Р на старшем курсе был убежденным тори и остается таковым. Если он хочет присоединиться ко мне в палеонтологическом музее, я подвинусь и дам ему место. В целом же, он был честным, хотя и заблуждающимся критиком. Но это уже «большие глубины» — не для частной переписки!

Итак, вы с женой оба приговорены к журналистике пожизненно. Несмотря на упорные слухи о сотрудничестве с АПН, я стряхнул газетную пыль со своих ног в ту самую ночь, когда не без спешки покинул Бейрут, и с тех пор целиком посвятил себя своей истинной профессии. Я снова женился, как и ты, тоже на рыжей женщине с взрывным нравом, хотя за семь лет (никак не меньше!) нашей супружеской жизни взрывы были редкими и очень, очень короткими. Она, вопреки сообщениям, вовсе в прошлом не переводчица, а редактор из Академии Наук. Теперь она уже довольно прилично владеет английским, но еще далеко не на переводческом уровне. Тем не менее ей двавды неожиданно пришлось переводить *мой* русский на русский, понятный несколько озадаченной аудитории. Не знаю, хвалюсь ли я или принижаю себя, говоря, что ее мать на десять дней моложе меня! Во всяком случае, могу сказать с уверенностью, — как, надеюсь, можешь сказать и ты, — что закат моей жизни — золотой!

Как я понимаю, спектакль с Гиннессом рассказывает о моей жизни в Советском Союзе. Удивительно, что такой актер, как Гиннесс, позволил себе пойти на явную фальшивку, явную потому, что никто, даже мои дети, ничего не знают о моей жизни. Собственно, год для меня начинается где-то в середине сентября, когда все мои коллеги возвращаются из летних отпусков. Я упорно тружусь до середины мая, лишь с двухнедельным перерывом в январе или феврале, который я провожу в более южных краях, в Советском Союзе или за его пределами. Затем в середине мая, как правило, отдыхаем положенные 24 дня в

санатории в Крыму. Нас селят в номере «люкс» (в моем возрасте это, вероятно, позволительно?), и доктора теперь уже знают, что мы парочка психов, которые не любят быть объектом внимания медиков. А потому они оставляют нас в покое, и мы вволю катаемся на катерах наших коллег-пограничников. Потом — назад, в Москву, на несколько недель спазматической работы, которая зависит от присутствия или отсутствия коллег. Конец лета мы проводим в той или иной дружественной стране, частично — у воды (у моря, озера или реки), частично — в горах. Никаких ограждений вокруг нас не устраивают, просто мы шагаем осторожно, ставя одну ногу впереди другой. И наконец, с сентября все начинается сначала.

Теперь о твоем предложении. Мне, конечно же, надо пропустить его через «машину», которая в надлежащее время, возможно, выдаст ответ. Несколько лет назад было сделано приблизительно такое же предложение, и ответ был — категорическое «нет». Ты, может быть, помнишь тот случай: телепередача обо мне, приведшая к бешеной сваре между Т-Р и стариной Челфонтом (кстати, последний в эти дни, похоже, водит весьма странную компанию — принцесса Ашраф, король Марокко Хасан, кто следующий?). Уже эти двое на пару в состоянии инсценировать вакханалию невообразимой продолжительности и разнообразия. В общем, наш резон тогда был, что Би-Би-Си пусть себе говорит что хочет, но мы в этом не участвуем. Изменились с тех пор подходы или нет, я могу только догадываться. Лично я считаю, что на данный момент достаточно выставлялся, хотя, в общем-то, мне это безразлично. Куда серьезнее отношусь к, по-видимому, неизбежному обвинению в том, что все, о чем бы я ни говорил или ни писал, продиктовано моими коллегами. Безусловно, есть вещи, которые я не могу, да и не стану обсуждать. Но, обременный годами, почестями и более сложным грузом богатейшего материала, я достаточно опытен, чтобы самому решать, что именно можно обсуждать, а что нельзя, и, главное, как обсуждать. Поверишь ли ты этому или нет, твое дело. Но у меня нет оснований вводить в заблуждение старых друзей, в честности которых я не сомневаюсь. Лживые сукины дети — другое дело!

Итак, Эрик, скоро ты примешься за мемуары среди коров и садов Нормандии. Даже при прочих равных условиях — а таковых наверняка не предвидится — я сомневаюсь, что когда-нибудь смогу навестить тебя там. Наиболее известная продукция в этой области вызывает у меня сильнейшую аллергию вплоть до (прошу прощения) рвоты — даже в такой замаскированной форме, как кальвадос. Эта недееспособность много раз ставила меня в весьма

неудобное положение в обществе — вспомнить хотя бы ливанцев, которые так гордятся своими зловонными яб-ми. Любое «по-нормандски» бросает меня в дрожь, а с начала сентября и далее *я не могу* зайти в московский овощной магазин или крытый рынок из-за того, что могу описать лишь словом смрад. Тут, должно быть, действует некая темная генетическая сила, ибо единственный из известных мне аллергиков на то же самое — это моя младшая сестра, которая, как и я, не терпела их в доме. Похоже, я снова заплыл куда-то не туда, поэтому резко меняю тему и пожелаю тебе и твоему семейству всего наилучшего — пока в Йоркшире, а затем на земле твоих предков.

Всегда твой, *пока прочный,*

Ким

P.S. *Возможный* компромисс по поводу твоего проекта приходит мне на ум, но лишь такой, который вряд ли может стать самостоятельным поводом для твоего визита в Москву, — это можно вмонтировать в приезд с более серьезной целью. Я имею в виду возможную беседу, во время которой мы могли бы поговорить более или менее свободно в предусмотренных рамках, а затем ты смог бы облечь это в форму собственных размышлений. В этом случае — технически — ответственность нес бы ты, а не мои коллеги и не я. Возможно, стоит подумать. Возможно, нет.

P.S. Ты написал «Форель» *с* маленькой буквы. Ай-яй-яй!

ПЕРЕПИСКА С ДИКОМ БИСТОНОМ[73]

«Дейли телеграф»
Ричард Бистон
$^{12}/_{24}$ Садовая-Самотечная, кв. 54
Москва
17 ноября 1979 года

Дорогой Ким!

Учитывая нынешний интерес всей. Британии к «делу Бланта», хочу попросить тебя о комментарии, хотя и понимаю, что твое согласие маловероятно. Если более конкретно, то мне хотелось бы услышать от тебя хоть что-нибудь о самом Бланте и твое мнение о том, как эта тема трактуется в Британии, в частности о лишении его рыцарского звания и о том, что советские переводчики называют на своем несколько причудливом английском «шумихой».

Я обещаю рассматривать любой твой письменный ответ как приватный, если ты сам не выделишь в нем какую-то часть,

которая может быть опубликована. Хочу также поблагодарить тебя за твой вклад в успех Года «Дейли телеграф»! Смотри вырезку.

Я не знаю, в какой мере твое вмешательство помогло нам обрести крышу над головой, но буквально спустя несколько дней после нашей встречи все стало возможным. Так или иначе, я чрезвычайно признателен тебе за участие, и отныне мы обитаем в весьма элегантной квартире с высокими потолками, построенной немецкими военнопленными и из хитрой механики оборудованной лишь (я надеюсь) настенными часами с громким перезвоном. Было бы чудесно, если бы вы оба зашли к нам как-нибудь повидаться по-семейному.

Мы планируем провести Рождество в Лондоне (в доме на Кенсингтоне, принадлежащем Тони и Ширли Ирвинг, которых ты, возможно, помнишь по Бейруту — он архитектор — и которые сейчас живут в Греции). Таким образом мы сможем пообщаться с детьми, а также надеемся повидать Патрика Сила, Бринтонов, возможно, Майлса и, несомненно, прочих ближневосточных «мафиози».

Еще раз огромное спасибо за помощь. Наилучшие пожелания тебе и Нине.

Дик

П/я 509 Главпочтамт Москва 29 ноября 1979 года

Мой дорогой Дик!

Боюсь, что должен ответить «нет». Будь у меня что сказать, ты и Эрик — единственные журналисты, которым я бы это сказал. Однако, выражаясь актуальным слогом, в нынешний момент времени мы забрались бы глубоко в «запертую зону». Искренне жаль!

Итак, на Рождество ты будешь в СК[74]. Конечно, я помню Ирвингов — Ширли, стройную и миловидную, и дородного и не столь миловидного Тони. Что он делает в Греции? Пытается усовершенствовать Парфенон? Я видел Патрика Сила и прочих на французском ТВ, где речь шла, в основном, о твоем покорном слуге. На мой туповатый слух, его акцент был безупречен, так что бедняге Тревору-Роуперу пришлось на этот раз стать заднескамеечником. Я полагаю, Бринтоны покинули Бейрут насовсем; кто бы поступил иначе? Теперь, когда «Таймс» доступна вновь, я с нетерпением жду новых «соленых» выступлений Майлса в защиту деятельности сам-знаешь-кого. Если увидишь Эрика, пожалуйста, передай ему, что я получил оба его письма с уведомлением о его налете на Москву примерно неделю назад и оба одновременно — слишком поздно для каких-либо действий.

Это опоздание вызвано тем, что наша квартира подверглась изнурительной пластической операции, вынудив нас путешествовать как можно дольше, чтобы держаться подальше от краски, молотков, жара и пыли. Я чувствую себя виноватым перед Эриком и давным-давно задолжал ему письмо. Пожалуйста, передай ему, что, как только звезды снова обретут благоприятную конфигурацию, я стряхну свою летаргию и напишу. Как избавиться от летаргии при отвратительной ноябрьской погоде, выдавшейся в нынешнем году, это уже отдельный непростой вопрос.

Еще я виноват, что не поблагодарил за «Элизабетиану», полученную много месяцев назад. Итак, молодая Бистон занялась фотографией. Ей следует равняться на Дейва Данкена, с которым я был шапочно знаком более 30 лет назад. Дейв женился на сестре потрясающей Мари Анж, с которой я впервые встретился у барной стойки в твоей бейрутской квартире. Интересно, какие проделки теперь у нее на уме?

Мы отдохнули на побережье с Джозефиной (моей старшей) и ее тремя бойкими подростками. Они дали мне почувствовать мой собственный возраст. Джо говорила, что у нее есть снимок со всеми нами на каком-то пляжном пикнике под Бейрутом. Я что-то этого случая не помню и не думаю, что помнишь ты. Она читает «ДГ», потому что (по ее словам) кроссворд в ней проще, чем в «Таймс».

Всего наилучшего вам обоим. Нина[75] шлет приветы с теплым чувством к тебе после твоих отзывов о ней в «ДТ». О, тщеславие! Но неужто я действительно сказал «клянусь жизнью»? Я пробовал повторить это несколько раз, но оно звучит как не мое. Более вероятно «клянусь Богом», но ты, с присущим тебе тактом, изменил формулировку из опасения, что мое обращение ко Всевышнему может привести к возникновению у меня неприятностей с властями.

Еще раз прошу прощения за отказ.

Твой *Ким*

ПИСЬМО ПРОФЕССОРУ РИКМАНСУ

Отель «Нормандия»
Бейрут
7 октября 1960 года

Дорогой профессор Рикманс!

Благодаря любезности г-на Дардо я получил Ваше доброе послание и трогательную дань моему отцу. Он всегда *с*

глубочайшим уважением отзывался о Вашей эрудиции, так что Ваши щедрые похвалы в его адрес особенно ценны, для меня. Ваше письмо будет бережно храниться в нашей семье.

Конец наступил внезапно, как того хотел бы мой отец. Он прибыл в Бейрут во вторник и в среду и четверг был в превосходном расположении духа. В середине дня в пятницу он пожаловался на трудности с дыханием, и мы немедленно отвезли его в больницу. Дежурный врач поставил диагноз — отек легких, вызванный закупоркой коронарных сосудов, а проще — отказ легких из-за сердечной недостаточности. Во второй половине дня он ненадолго почувствовал себя лучше, и я спросил о его самочувствии. Он ответил: «Я устал». Почти сразу после этого он потерял сознание и около пяти часов скончался. Мы похоронили его утром в субботу на бейрутском кладбище Башура по мусульманскому обряду. На его могиле будет установлено надгробие с простой надписью: «Выдающийся исследователь арабского мира». Если Вам доведется посетить Бейрут, я почту за честь прийти туда вместе с Вами.

Мой отец хотел, чтобы его книги и бумаги перешли во владение г-на Джорджа Рентца, главы управления Арамко по связям с правительством и выдающегося ученого-арабиста. Г-н Рентц будет в Бейруте на следующей неделе, и я с огромным удовольствием попрошу его направить Вам материалы, имеющие отношение к Вашей экспедиции. Я также передам ему хранящийся у меня атлас-факсимиле и попрошу его предпринять необходимые действия для того, чтобы привлечь к этому атласу внимание короля Сауда.

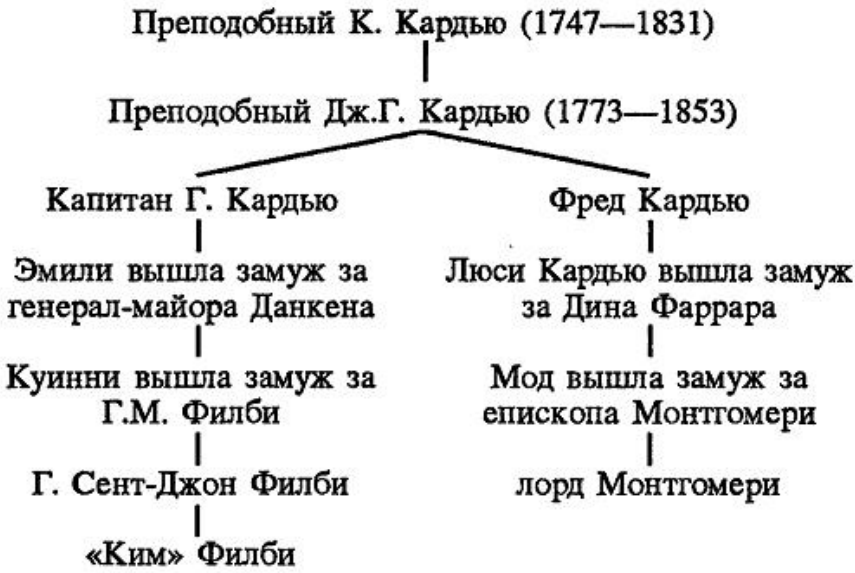
Еще раз благодарю за теплое и трогательное послание. Искренне Ваш, *Г.А.Р. Филби*

ПИСЬМО У.А. ВАЙЗМАНА

4 октября 1967
Главному редактору
«Санди таймс»
Грейз Инн Роуд,
Лондон
Дорогой сэр,

Вашим читателям, вероятно, будет интересно узнать, что два человека, о которых вы так подробно писали в номере за прошлое воскресенье, — виконт Монтгомери и г-н «Ким» Филби — имеют общего предка — преподобного Дж. Г. Кардью, 1773–1853. Схема родства прилагается.

Преподобный К. Кардью (1747–1831)
Преподобный Дж. Г. Кардью (1773–1853)


Преподобный К. Кардью (1747—1831)
Преподобный Дж.Г. Кардью (1773—1853)
Капитан Г. Кардью
Фред Кардью
Эмили вышла замуж за генерал-майора Данкена
Люси Кардью вышла замуж за Дина Фаррара
Куинни вышла замуж за Г.М. Филби
Мод вышла замуж за епископа Монтгомери
Г. Сент-Джон Филби
лорд Монтгомери
«Ким» Филби

Искренне Ваш, *У.А. Вайзман*

ПЕРЕПИСКА С ФИЛИППОМ НАЙТЛИ[76]

«Санди таймс»
Лондон
23 сентября 1977 года
Дорогой мистер Филби!

Давно ничего не было слышно о Вас, потом я получил сообщение через Джона Бута из «Квартета». Тут много чего происходит, особенно в том мире, который Лич и я назвали «Филбианой». «Гранада» выпустила 31 мая девяностоминутную документальную драму под названием *Филби, Берджесс и Маклин,* которая получит телевизионный эквивалент «Оскара». Это дало повод для продолжительной охоты на «Четвертого», причем покойный бедняга Бивс оказался у публики подозреваемым номер один (Вы наверняка все это видели). Затем Бенни Фитц раскрутил свой фильм с Робертом Шоу, играющим Вас; сценарий Артура Хопкрафта, консультант — Г.Т.П. (с немалым гонораром). «Пингвин» приобрел права на книгу Сила для переиздания; она выйдет одновременно с фильмом (Фитц тоже купил Юппу Сила). «Сфера» купила Пейджа, Лича, Найтли — публикация в ноябре (в пику «Пингвину»). Между тем… за океаном Эй-Би-Си снимает «пилот» для тринадцатисерийного документального фильма о

Филби, Б. и М. по сценарию забавного Энтони Кейва Брауна («Телохранитель лжи»). Между тем здесь, на Шафтсбери-авеню, Алек Гиннесс сыграл Вас на сцене «Куинз» в «Старой родине», спектакле по пьесе Алана Беннетта, посвященной жизни Филби в Москве. (Занавес падает в тот момент, когда Вас увозят в аэропорт для отправки в Лондон, чтобы обменять — в какой-то степени против Вашей воли — на кого-то, кого Москва хочет вернуть из Англии.) Между тем… «Почетный ученик», последний роман Джона Ле Карре, целиком посвящен отчаянным попыткам СИС спасти оставленные Вами руины. Возможно, есть еще кое-что, но пока это все, что приходит на ум.

Ах да. Вы тоже, я слышал, над чем-то работаете. Все это позволяет сделать некий немаловажный вывод, вот только какой — пока не ясно.

С наилучшими пожеланиями, *Филипп Найтли*

П/я 509
Главпочтамт
Москва
30 октября 1977 года
Мой дорогой Найтли!

Я благодарен Буту за то, что он передал мое письмо, и был рад получить Ваш ответ, вернувшись домой после нескольких недель активного вторжения в частную жизнь форели в Карпатах; весьма кстати был и данный Вами краткий обзор массированного вторжения в мою частную жизнь в текущем году. Вы пишете, что все это вкупе позволяет сделать некий вывод, но какой именно? Я подскажу Вам. В 1977 году исполняется 100 лет со дня рождения Феликса Дзержинского, основателя ЧК, и рекламирование выдающихся учеников Ф.Д. — подходящий способ отпраздновать эту дату. Я слышал о фильме «Гранады» из нескольких источников, в том числе и от моей старшей дочери, которая дала в целом положительную оценку, «за исключением женщин», которые, по ее мнению, «излишне стервозны». Видео чего-то-там имеется, так что, возможно, скоро я это увижу. Нет сомнения, что какие-то моменты вызовут отвращение. Фильм Бенни Фитца (неужели это реальное лицо?) для меня новость, равно как и спектакль с Гиннессом и «марафон» Энтони Кейва Брауна. Прочитал «Телохранителя» с наслаждением; хитрая книжка, на 70 % правда, и большая часть из этих 70 % — важна; 15 % — совершеннейшая неправда, а остальное — отвлекающее внимание украшательство (типа того, что адъютант Монти ел на завтрак в день высадки в Нормандии). Вся загвоздка в том, что неспециалист не сможет отличить, какие страницы подпадают

под категорию абсолютной неправды. Я заказал «Почетного ученика». Из предисловия Ле Карре к Вашей книге я вынес расплывчатое впечатление, может быть неправильное, что я ему не нравлюсь. Но мы люди щедрые и не против того, чтобы посодействовать увеличению его и без того обширного состояния. Вы не знаете, почему он называет себя «Честнягой»?

Бут — Ваш друг? Если да, то я, надеюсь, он не обиделся на меня за то, что я отказался написать предисловие к книге моего отца о царице Савской. Поскольку я никогда не слышал о существовании <этой книги>, а уж тем более не читал ее, а также потому, что ничего не знаю о предмете, за исключением отрывочной дезинформации, почерпнутой в начальной школе, которую предпочел бы забыть, я просто не представляю себе, как я мог бы серьезным образом выполнить эту задачу.

Пожалуйста, передайте от меня привет Дэвиду Личу. Два года назад мы обменялись презабавными письмами (т. е. презабавными были его письма). С тех пор — тишина. Живет ли он все еще в «Маленькой Венеции»? И кстати, если Вы увидите этого плутишку Джона Филби, пожалуйста, передайте, что он задолжал мне письмо — я жду его уже примерно 18 месяцев — с тех самых пор, когда была обчищена его новая квартира в доме № 7. Несмотря на то, что он ленится писать письма, он будет самым желанным гостем, если решит вновь посетить Москву.

Просмотрев написанное, я вижу, что задал Вам множество вопросов. Пожалуйста, не мучайте себя ответами на все сразу. По мере наличия времени и желания.

Всего наилучшего, *Ким Филби*

P.S. Насчет Бивса. Скандальное дело. Персональные извинения Хеннесси были безупречны, но издательский «отвод» не был извинительным никак. Что происходит в ПГС? Что касается кроссворда, который будит меня по утрам, и кукушки Челфонта, который играет на руку нашим «ястребам», я предпочитаю промолчать. А некрологи, разумеется, держат меня в курсе.

П/я 509
Главпочтамт
Москва
28 июля 1978 года

Мой дорогой Найтли!

Огромное спасибо за Вашу изумительную индийскую гастрономию. Время, когда советское правительство будет брать с Индии плату за «Миги» в виде карри и тому подобных товаров, еще не настало. Так что Ваш подарок как нельзя кстати, и в

ближайшие недели блюда с карри украсят наш стол.

Возвращаясь к темам предыдущей переписки, в частности к Гернике, я недавно узнал, что Брайан Крозьер по-прежнему отстаивает свое мнение, что немцы никогда ее не бомбили. Эту точку зрения он обосновывает двумя доводами: а) мнением командира авиакрыла Джеймса, летчика, который осматривал местность вскоре после события, и б) собственным визитом в Гернику «три года назад», когда он обнаружил, что старая, центральная часть городка выглядит нетронутой, а все здания новой постройки расположены на окраине. Отсюда вывод: Гернику сожгли баски.

Оба аргумента наивны. Джеймс был целиком на стороне Франко, неизменно поддерживал официальную франкистскую пропаганду и, кроме того, по всем меркам был просто болваном (я не раз сталкивался с ним в Испании).

Второй аргумент вызывает еще больший протест, ибо может привести к поразительным выводам, если применить его где-нибудь еще. Например, используя примерно те же аргументы, я смог бы «доказать», что осада Ленинграда никогда не имела места. Я был в Ленинграде «три года назад», и могу Вас уверить, что центр города выглядит вполне «нетронутым». «Все новые здания расположены на окраинах». Так что блокада — это просто пропагандистский трюк. То же самое можно сказать и о Варшавском восстании, о битве за Будапешт и т. д.

Мне сдается, что отдел журналистских расследований «СТ» может обнаружить прелюбопытный материал, покопавшись в подноготной Института исследования конфликтов Крозьера, — на редкость «темная» организация за этой вывеской!

Еще раз огромное спасибо за деликатесы. В качестве ничтожной компенсации посылаю немного местного продукта, который вряд ли способен раздобыть даже такой талантливый журналист, как Вы. Я с нетерпением жду появления Вашей книги о военных корреспондентах, которая вроде бы, по Вашим словам, должна <выйти> этой осенью.

Я пишу это в последний день визита Джона, и меня постоянно прерывают — телефонные звонки и тому подобное. Так что извините за очевидную спешку и нестройность письма.

Мои наилучшие пожелания и приветы,

Ким Филби

ПИСЬМА МАЙКЛУ[77]

Москва

16 января 1982 года

Мой дорогой Майкл!

Я был очень рад твоим пожеланиям к Рождеству, дню рождения и Новому году, хотя, возможно, в моем возрасте напоминание о дне рождения не слишком приятно! Также болыпое-пребольшое спасибо за огромную посылку с разными разностями — все прямо в точку. Ты просишь дать тебе ориентировку в этом смысле, но мне кажется, что она, тебе ни к чему. Так или иначе, не беспокойся, пожа-луйста, о моих материальных потребностях, ибо снабжают меня исключительно щедро — в значительной степени благодаря тебе. Если позднее в этом году у меня иссякнет запас какой-нибудь обиходной «роскоши», я непременно дам тебе знать.

Да, я представляю себе, что твой путь в эти дни усеян скорее минами, нежели розами. Впервые я по-настоящему начинаю бояться того, что могут замышлять эти безумцы из Вашингтона, ну и, конечно, пудель Рейгана (миссис Т.) тут как тут. А вот британская политика впервые становится интересной. Не скажу, чтобы я с восторгом относился к либералам или социал-демократам — все это старая команда, только они решили сменить одежду. Ты наверняка знаешь обо всем этом больше меня, так что не стану дальше распространяться.

Еще раз большое спасибо за добрые пожелания и роскошную посылку. Желаю тебе всяческих успехов и счастья в 1982 году; мы должны предпринять решительные действия, чтобы в этом году обязательно повидаться. На лето у меня уже многое запланировано, но я не сомневаюсь, что нам удастся что-нибудь куда-нибудь втиснуть.

Всего самого наилучшего.

Чао!

К.

Москва

8 июля 1982 года

Мой дорогой Майкл!

Я только что узнал, что Альфред Великий сегодня заедет, поэтому пользуюсь случаем, чтобы черкнуть коротенькую записку и поведать тебе, как мне было грустно и, поверь, совестно, что я не смог повидаться с тобой перед твоим отъездом, — кажется, это совсем недавно и уже так давно! Все дело в том, что я был здорово измотан после одной из моих не слишком успешных поездок, да и треклятый бронхит снова навалился на меня. Но сейчас я иду на поправку, так что волнения прочь! Что меня особенно терзает, так это то, что я лишился возможности

получить действительную актуальную инфо<рмацию> о текущей обстановке, полезную для очередной группы. Как говаривал Курт Воннегут, прежде чем окончательно сбрендил, — «такие дела!»

Кроме того, заранее должен поблагодарить тебя за гостинцы, которые Ал сегодня нам забросит. Я очень признателен тебе за хлопоты. С огромной радостью узнал, что ты прожил свой первый год без липших треволнений, и желаю тебе всяческих успехов в будущем.

Надеюсь, что в следующем году мы сумеем подготовиться получше и изыскать возможность по меньшей мере для одной исчерпывающей беседы. Мне чрезвычайно полезно контактировать с молодыми, свежими, более динамичными умами. Многие из моих собственных воззрений, похоже, покрываются пылью времен.

Итак, мой добрый друг, до встречи! Всего наилучшего и еще раз большое спасибо.

К.

ПИСЬМО ТОДОРУ[78]

П/я 509

Главпочтамт Москва 9 января 1984 года

Мой дорогой Тодор!

Я почти, хотя и не окончательно, готов поверить в телепатию. Множество раз прошлой осенью предавался я грустным размышлениям о долгом времени, прошедшем с момента нашей последней встречи, и об отсутствии какой-либо связи. Написать мешали отчасти лень (в которой ты, к моему утешению, тоже признаешься), отчасти ноющая неуверенность в том, дойдет ли до тебя письмо и когда. Ты, вероятно, помнишь, что мое первое письмо попало к тебе спустя шесть недель; недавно я получил письмо от моей невестки, которое шло из Лондона целых пять *месяцев.* Согласись, подобное обстоятельство не благоприятствует литературному творчеству. Это сущая нелепица, если не сказать безобразие.

Твое письмо я получил в дни празднования 7 Ноября, и ты вправе спросить, почему я не ответил раньше. Что ж, это долгая история, наполовину хорошая, наполовину плохая. Как принято, сначала плохие новости. Твое письмо совпало у меня с очередным приступом бронхита, к которому я привык с колыбели. Но этот перешел в двустороннее воспаление легких, так что лечение потребовало госпитализации, а период выздоровления (на мой

взгляд) неоправданно, затянулся. А теперь хорошие новости. Почти сразу же после моего выздоровления состоялся долгожданный визит моей старшей дочери вместе с мужем и моим старшим внуком — на Рождество и Новый год. Ты, возможно, помнишь мою дочь и ее детей по 1979 году, когда обедал с нами в Созополе, — малый, разумеется, изменился до неузнаваемости, ему уже 20, и он вполне сам себе голова. Для нас такое событие было чрезвычайно приятно, хотя и слишком утомительно, и это мешало поддерживать частную переписку. Сейчас мы возвращаемся к нормальной жизни и я надеюсь вскоре возобновить работу.

Но, к сожалению, я не исчерпал плохие новости. Руфа время от времени страдает от приступов крайней слабости, иногда на протяжении двух-трех дней. Было предложено несколько диагнозов, однако ни один из них, похоже, не соответствует истине. Нынешняя теория, пока не подтвержденная окончательно, состоит в некой адреналиновой недостаточности. Возможно, ей придется лечь в больницу на исследование, чтобы установить диагноз и, мы надеемся, пройти эффективное лечение. Ну и, наконец, самая неприятная новость из всех. Здешние доктора, по всей видимости, пришли к выводу, что в определенном возрасте резкая перемена климата губительна для здоровья. Теория состоит в том, что акклиматизация плюс реакклиматизация при возвращении в Москву — это слишком большое испытание для моего организма. Поскольку наше руководство, похоже, не желает спорить с медиками, может статься, что в Болгарии мне больше не бывать никогда. В свои 72 я давно исчерпал все ресурсы. Грустная мысль, почти невыносимая, но, как кто-то заметил, «в каждой жизни есть дождливая пора», а до сих пор, надо признаться, мне исключительно везло.

Нам компенсировали потерю, в какой-то мере, выделив очень симпатичную дачу — три комнаты с большой террасой, со всеми современными удобствами, включая центральное отопление. Она стоит на опушке леса, вдали от проезжей дороги, так что ужасы автомобильного движения нам не помеха. К тому же недалеко от центра, от нашей квартиры, поэтому я с чистой совестью отправляюсь на дачу в начале мая *и* живу там до конца сентября, зная, что мои коллеги могут всегда связаться со мной по работе. Руфа очень довольна — в отличие от известных трех сестер, она всегда, мечтала выбраться из Москвы, особенно в жаркие летние месяцы. Свежий воздух ей очень полезен.

Возвращаясь к уже написанному, я ощущаю, что, возможно, переборщил с негативом, Может быть, это реакция на международную обстановку, в которой на данный момент я

замечаю очень мало проблесков света. Пока безграмотные клоуны вроде Рейгана могут обеспечить себе поддержку для завоевания президентского кресла в США (Сумасшедших Штатах Америки), нам всем предстоит долгий и опасный путь, требующий терпения, выдержки и силы, возможно в первую очередь, увы, именно силы. Надежда — на более отдаленную перспективу. А может быть, для мрачного настроя есть более прозаическая причина. После нескольких обычных зим вот уже вторая подряд просто ужасна: в январе — дождь, ну где это видано, позволь тебя спросить! — и непробиваемая, похоже, пелена низких, серых облаков. Все время пишу и читаю при электрическом свете — вот тебе и экономия энергии!

Моя личная жизнь, Тодор, по-прежнему очень счастливая, счастливее даже, чем во время нашей первой встречи с тобой. Она была бы еще счастливее, если бы я знал, что мы скоро встретимся снова. Из вышеизложенного ты, наверное, понял, что такая встреча может состояться теперь только у нас, и я уверен, что время от времени служебные дела будут приводить тебя в Москву. Нет нужды говорить, что старая двуспальная кровать всегда в вашем с Радкой распоряжении (Радке гарантируем сколько угодно фасолевого супа, но чубрицу привози с собой). Даже если вы остановитесь в официальной резиденции, мы надеемся, что вы сумеете выкраивать для нас время от времени свободный вечерок.

Всего наилучшего тебе и всему твоему семейству. Мы с большой теплотой вспоминаем обо всех вас. Пожалуйста, передай мои горячие приветы министру и товарищам Шопову, Савову и всем тем, кто нас, возможно, по-прежнему помнит.

Твой *Ким*

М.Ю. Богданов
ШКОЛА ФИЛБИ

О последней трети жизни Филби — с 1963 по 1988 год — известно крайне мало. Если, конечно, не считать того, что выявилось в ходе случайных встреч с западными журналистами, из переписки с корреспондентом «Санди таймс» Ф. Найтли и публикаций в связи с возобновившейся дружбой с Грэмом Грином. Сам Ким никогда не поощрял интереса к собственной персоне, а тем более к своей профессиональной работе. Правда, отдельные упоминания о том, чем в действительности занимался Филби в Москве, есть в книге К. Эндрю и О. Гордлевского «КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева»[79], но они базируются в основном не на опыте личного общения, а на сведениях, почерпнутых одним из авторов, О. Гордлевским, от третьих лиц.

Отсутствие информации о «таинственном супершпионе» способствовало тому, что на Западе стали появляться самые разнообразные домыслы относительно участия Филби в «кознях Москвы». Апофеозом явилось произведение Фредерика Форсайта «Четвертый протокол»[80], где Филби приписывалось авторство дьявольского плана организации ядерной диверсии в Британии. Кстати говоря, узнав о выходе книги, Филби очень просил поскорее достать ему экземпляр и с большим интересом ознакомился с тем, что же он, оказывается, «натворил». Впоследствии он держал этот детектив на видном месте в своей библиотеке.

В реальной жизни все выглядело гораздо более прозаично. Ким действительно выступал в качестве консультанта КГБ по вопросам деятельности западных спецслужб, хотя к мнению его, мягко выражаясь, не каждый раз прислушивались, а уникальный опыт высококлассного профессионала далеко не полностью оказался востребованным. Филби увлеченно читал, работал над своими воспоминаниями. Во время многочисленных поездок по стране встречался с коллективами сотрудников территориальных органов КГБ.

Но было у Кима на склоне лет еще одно занятие, которое его чрезвычайно вдохновляло и к которому он относился с колоссальной ответственностью. Кто не мечтает о том, чтобы воплотить себя, хотя бы частично, в учениках, создать собственную школу последователей? И вот у Кима появились «воспитанники».

Надо сказать, что с началом 70-х годов в жизни Филби произошли значительные изменения в лучшую сторону. Он женился, стал больше путешествовать по Союзу и странам социалистического лагеря. Среди руководящих сотрудников разведки появились более молодые и менее консервативно настроенные люди, которые смогли оценить, какой клад советские спецслужбы имеют в лице Кима. Одним из мероприятий в череде участившихся контактов с действующими оперработниками была встреча с молодыми разведчиками, занимающимися английской проблематикой.

…Декабрьский вечер 1975 года. На принадлежащей разведке конспиративной квартире в центре Москвы молодежь с трепетом ожидает появления легендарного «корифея разведки». Как признался потом Ким, он тоже волновался: еще бы, первая встреча с целым коллективом коллег за почти 13 лет!

Несколько вступительных слов, мгновенно снявших напряжение, и вот уже Ким увлеченно рассказывает о том, кем он собирался стать, поступая в Кембридж. Отвечая в ходе импровизированной пресс-конференции на последний вопрос о своих хобби, гость, в частности, сказал: «.-..с удовольствием перечитываю классиков английской литературы. Люблю хоккей (в качестве зрителя, конечно). И еще одно хобби: кулинария. Если сомневаетесь, приходите в гости».

Вот из этого «приходите в гости» и зародилась идея регулярных встреч Филби с молодыми сотрудниками, в ходе которых он мог делиться *с ними* своим опытом раз-. ведработы. Правда, в квартиру Филби ребят еще долго не пускали: по-прежнему действовали старые табу. Было решено каждый год создавать группу из трех человек во главе с «дядькой» — ответственным сотрудником английского отдела политической разведки, в обязанности которого входило присутствие на занятиях и поддержание контакта с «кураторами» Филби из контрразведывательного подразделения.

«Семинар Филби» действовал с небольшими перерывами с 1976 года почти до самой кончины Учителя. Через него за это время прошло в общей сложности полтора десятка молодых сотрудников-«англоведов». И каждую пятницу, отправляясь к своим воспитанникам на конспиративную квартиру, Ким страшно нервничал. Он печатал подробные памятки и перечитывал массу литературы. «Могу ли я, давно оторванный от английских реалий, сообщить им что-то такое, чего они пока не знают? — делился он своими сомнениями. — Порой мне кажется, единственное, на что я способен, это привить молодым людям чутье охотника».

Надо сказать, что эти сомнения усилились, когда на одной из

встреч появился приехавший в отпуск «живой» сотрудник лондонской резидентуры КГБ. Филби буквально с открытым ртом слушал его рассказ о современных методах работы британских спецслужб против советских представителей и, кажется, даже расстроился. После чего стал еще тщательнее готовиться к семинарским занятиям.

И все-таки сомнения Филби были абсолютно напрасными. Он сам по себе являлся для молодежи величайшей шкалой. Например, ребятам иногда удавалось «подсмотреть» за ним на подходе к конспиративной квартире. Ким умел ходить как-то неприметно и в то же время так, что постоянно держал в поле зрения обзор градусов на 150. Это достигалось за счет проявляемого им неподдельного интереса к окружающим мелочам — выработанная годами привычка, доведенная до такого совершенства, что проверка на предмет выявления слежки вовсе не выглядела таковой. Затем он неожиданно появлялся в дверях с одной из неизменных своих шуток. Например: «Вы знаете, адрес нашей берлоги я запомнил следующим образом. Номер дома — по Джеймсу Бонду — 007, а квартиру — по номеру воротничка первой сорочки, купленной мною в Москве».

На журнальном столике, вокруг которого в креслах и на диване размещалась группа, — скромное угощение к полуденному чаю и бутылка коньяка. Ким пил армянский или грузинский коньяк, разбавляя его водой, — получалось нечто вроде американского бурбона. Курил дешевые сигареты без фильтра «Дымок», а в случае прибытия посылки из Лондона — свои любимые «Житан» или «Голу-аз» (французские сигареты из черного нерафинированного табака).

Два-три часа занятий пролетали как одно мгновение. За вступительным словом Учителя (который, кстати, настаивал, чтобы его называли на «ты» — «Ким» или в крайнем случае «товарищ Ким») следовала оживленная дискуссия. Естественно, на английском языке. Затем начиналось самое интересное: Филби с ходу (или с предварительной подготовкой дома) предлагал различные оперативные ситуации с их последующим разбором. Вот он —= агент английской контрразведки, пытающийся выведать у только что приехавшего в страну советского дипломата его истинную ведомственную принадлежность. В следующей ситуации Учитель преображался в официальную связь, бросающую в ходе беседы «втемную» золотую крупинку ценной информации, которую оперработник должен заметить и «раскрутить». К концу каждого занятия с воспитанников катился пот в три ручья.

Маленький пример. Филби в ходе обмена мнениями о

международных событиях вскользь, среди многих других вещей, упоминает, что, по сведениям из Ватикана, папа римский в предстоящей энциклике собирается изложить в такой-то трактовке такую-то концепцию римской католической церкви. Ученик не замечает этой крупицы информации и усиленно «выжимает» из своего собеседника другие, как ему кажется, более интересные сведения. При разборе, однако, выясняется, что предстоящие изменения в акцентах Ватикана, по всей вероятности, окажут влияние на общественное мнение в латиноамериканских странах в сторону усиления антиамериканских настроений, что, несомненно, скажется и на политике государств региона. Вот как сам Филби описывал в одной из памяток методику своих занятий со слушателями:

«Участвуя в этих учебных дискуссиях, все слушатели вначале проявляли себя крайне слабо, до последнего защищая каждый аспект политики СССР. Я же пытался убедить их, что главной целью является не защита любой ценой советской политики, а установление хорошего контакта с людьми; добиться же этого в условиях плюралистического общества можно лишь допуская, что они, будучи искренними и неглупыми людьми, могут иметь свои взгляды, отличные от взглядов сторонников советской политики. Тут они сталкиваются с самой настоящей дилеммой: а) им нельзя наносить ущерб советской политике безответственной болтовней; б) с другой стороны, они не должны докучать людям и отталкивать их бесконечным повторением положений, строго соответствующих партийной линии.

В этом плане были достигнуты неплохие результаты, и на занятиях в конце концов имел место ряд действительно интересных собеседований. Слушатели научились, лишь кратко коснувшись невыгодного вопроса, уйти от его обсуждения либо полностью обойти такие проблемы, как, например, Афганистан, которые лишь вызывали нескончаемые споры, насыщенные бездоказательными утверждениями. В то же время они приобрели навык концентрировать внимание собеседников на таких темах, по которым в результате обмена мнениями может быть достигнута высокая степень согласия (например, проблемы мира, разоружения, торговли между Востоком и Западом и т. п.)».

Зачастую на занятиях, подчеркнув, что «к счастью, здесь присутствуют только представители политической разведки», Филби позволял себе достаточно откровенные по советским меркам заявления.

Он говорил, что не верит в советскую угрозу для Европы, так же как и в то, что со стороны НАТО существует угроза для России.

Значение «семинара Филби» для его слушателей невозможно

переоценить. Это не только «чутье охотника», это сгусток жизненной мудрости и азбука свободного общения с различными категориями англичан. Это, наконец, давало непревзойденную возможность «развязать язык», оттренировать навыки беседы с «настоящим англичанином».

Здесь уместно вспомнить еще об одном эпизоде работы «семинара Филби», который имел практическое продолжение на британской земле. Как-то раз один из воспитанников под влиянием кулуарных разговоров в газете, где он в то время находился «под крышей», принес на занятие только что услышанную «новость», оказывается, существует всемирный еврейский заговор, изложенный еще в конце прошлого века в «Протоколах сионских мудрецов». Филби спокойно, с мягкой улыбкой выслушал сие «откровение» и произнес примерно следующее:

— Дорогой друг! Боюсь, я не принадлежу к сторонникам той или иной теории заговора. Мой совет — никогда не поднимать этот вопрос в общении с англичанами. На Британских островах существует, конечно, как и везде, антисемитизм, и ты это почувствуешь, особенно в глубинке. Но в целом британцы весьма терпимы в национальном вопросе, и поэтому лучше не делать на этот счет каких-либо резких заявлений. И вообще я не советовал бы допускать критических высказываний в адрес той или иной нации, даже самой малой, — это может отрицательно сказаться на твоей работе.

Молодой оперработник выслушал мнение Учителя, но не до конца поверил ему. Спустя несколько месяцев, оказавшись в кругу английских журналистов, освещавших ежегодную конференцию консервативной партии Великобритании, он допустил шутку в отношении «всесилия евреев». За столиком паба, несмотря на изрядное количество выпитого, воцарилась гробовая тишина, а затем самый маститый из англичан (а англичанами по национальности были все присутствовавшие) произнес:

— Мы приняли тебя в свою компанию потому, что ты показался нам симпатичным, умным и трезво мыслящим парнем. Будем считать, что ты случайно спорол ерунду. Иначе нашей дружбе — конец.

Прошло еще какое-то время, и вот наш оперработник сидит на званом ужине в доме одного из асов британской журналистики. В пылу полемики о росте влияния «Солидарности» в Польше он позволяет себе уничижительное высказывание относительно «неблагодарных поляков», о которых, дескать, с подозрением отзывались еще Достоевский и Энгельс. Тут неожиданно взрывается жена хозяина (австрийка по

происхождению), которая едко замечает, что русским всегда был присущ великодержавный шовинизм в отношении менее крупных наций. В своем доме она привыкла принимать людей, не страдающих комплексом национального превосходства.

Ужин, а вместе с ним и многообещающее знакомство едва удалось спасти. Вернувшись домой, оперработник первым делом вспомнил слова из известной песни Аллы Пугачевой: «Даром преподаватели время со мною тратили. Даром со мною мучился самый искусный маг…» Кто скажет после этого, что «семинар Филби» работал зря?!

Однако и это еще не все. По просьбе тогдашнего руководства английского отдела разведки Филби писал на выпускников семинара краткие, но чрезвычайно емкие характеристики. Каждая из них представляет собой ще-девр психологического анализа личности, филигранной оценки оперативных качеств и возможностей молодого разведчика. В лаконичных этих характеристиках нет ни единого обидного слова, но, прочитав их, создается достаточно полная картина в отношении перспектив использования того или иного оперработника.

Для сопоставления и наглядности приведем воображаемую типовую характеристику на оперработника советской разведки 70-х (да и не только 70-х) годов.

> «Иванов Иван Иванович — 19_года рождения, русский, член КПСС с 19_ года, партбилет №_____, образование высшее — в 19_году окончил_____ в органах госбезопасности с 19_года, оперуполномоченный__отдела ПГУ, капитан.
>
> Тов. Иванов И.И. работает в центральном аппарате ПГУ с 19_года. Зарекомендовал себя как исполнительный и дисциплинированный сотрудник. К выполнению служебного долга относится ответственно, освоил порученный ему участок работы. Выезжал в краткосрочную загранкомандировку в капиталистическую страну со сложной обстановкой, с поставленными перед ним задачами справился.
>
> Постоянно работает над повышением своего профессионального и идейно-политического уровня, активно выступает на семинарах школы научного коммунизма.
>
> Принимает активное участие в общественной жизни коллектива, является парторгом подразделения.
>
> По характеру выдержан и уравновешен. Принципиален и честен. Пользуется уважением в

коллективе. На критические замечания реагирует правильно. Внешне подтянут. Хороший спортсмен. Увлекается театром и чтением исторической литературы.

Женат, имеет сына, воспитанию которого уделяет много времени. Отношения в семье нормальные. Морально устойчив.

Государственную и служебную тайну хранить умеет. Делу Коммунистической партии и социалистической Родине предан.

Рекомендуется для направления в командировку в капиталистическую (социалистическую) страну».

Для полноты картины добавим, что такую или подобные характеристики можно найти в личных делах как сотрудников, вставших на путь предательства, так *и* всеми уважаемых руководителей советской разведки. Конечно, попадались в них отдельные критические фразы (типа: «вместе с тем ему рекомендуется уделять больше внимания вопросам чекистской подготовки» или же «эмоционально невыдержан, в спорах допускает горячность»), но упаси Боже, чтобы их было много! Чиновники из кадрового аппарата либо заставят сгладить углы, либо будут настаивать на отстранении уже подготовленного сотрудника от командировки.

А теперь посмотрим, что пытался сообщить о своих воспитанниках Филби, не ведавший премудростей кадровой политики ПГУ. Вот некоторые отрывки из составленных им характеристик.

ВЛАДИСЛАВ. В целом будет хорошо принят в английском обществе. Ему не составит труда сойтись с представителями большинства слоев, и особенно с образованными людьми. Жителям пригородов, однако, отдельные полеты его мысли могут показаться весьма странными. В большей степени ему удастся работа с людьми, обладающими оригинальным, неортодоксальным складом ума.

Знание английского языка вполне достаточно для выполнения любой обычной задачи. При этом необходимо сделать оговорку, что иногда владение языком не поспевает за полетом его мыслей, в результате чего Владислава порой трудно понять. Иногда происходит следующее: я понимаю его английский, я понимаю его мысли, но их не сразу разберешь.

Хорошие оценки за живость ума, оригинальность и

предприимчивость. Но в нашей работе необходимо контролировать эти положительные качества. Некоторые из его идей слишком сложны для того, чтобы можно было надеяться на их претворение в реальной жизни. Конечно, хорошо иметь оригинальные идеи и уметь их детально разрабатывать, однако введение в схему слишком большого количества неизвестных увеличивает риск неудачи. В любом случае пусть Владислав продолжает изыскивать пути подхода к решению проблем. В дальнейшем он столкнется с необходимостью упростить их и подумать над параллельными путями достижения стоящей перед ним цели более прямым и простым способом.

Владислав, вероятно, наиболее нервный и легко возбудимый из всей группы. Это заставляет меня задуматься над некоторыми вопросами (должен подчеркнуть, что искусственные условия наших встреч не позволили мне с уверенностью на них ответить):

— Сможет ли он контролировать себя в условиях перерастания дискуссии в горячий спор?

— Сможет ли он сохранять спокойствие перед лицом резко враждебной атаки личного или политического характера?

— Насколько хладнокровно поведет он себя в условиях серьезного профессионального кризиса?

Как уже было сказано, я не имею возможности ответить на эти вопросы; не исключено, что истинные ответы будут в пользу Владислава. Однако, наблюдая за его характером, я пришел к выводу, что эти вопросы требуют рассмотрения.

ВЛАДИМИР (второй год участвует в занятиях). Хотя Владимир занимается в моей группе второй год, дать ему оценку труднее, чем остальным. Он умеет располагать к себе людей, и англичане могли бы найти его приятным человеком. (Внешне он сошел бы за английского дипломата.) И в то же время, несмотря на мои неоднократные попытки вытащить его из скорлупы и заставить проявить свою личность, я узнал о нем очень мало, а потому не решаюсь сформировать окончательное мнение; могу лишь сказать, что нахожу его человеком, внушающим большую симпатию.

…Однако беспокоит меня то, что в конце второго года занятий он все такой же застенчивый, каким был в начале первого. Иными словами, в своей работе с ним я не добился успеха. Ему, безусловно, надо предпринять решительную попытку преодолеть свою робость, ибо в противном случае его пригодность к работе будет в значительной мере ограничена. Будучи располагающим к себе человеком, он, очевидно, мог бы произвести благоприятное впечатление на готового агента; но у

меня гораздо меньше уверенности в его способности добиться углубления отношений со своими собственными контактами. В этой связи возникают вопросы:

— Не является ли он сверхвпечатлительным человеком?

— Или же он слишком сосредоточен на самом себе?

— Способен ли он выдержать возможное напряжение?

У меня недостаточно наблюдений, чтобы ответить на эти вопросы, но тот факт, что я их поднимаю, демонстрирует мои сомнения.

МАРАТ. Очень хорошо будет принят в английском обществе. Во время наших занятий я часто ловил себя на мысли, что, родись он в Англии, он вполне мог бы сегодня работать в Форин офис. Он будет с удовольствием принят в кругах британского истэблишмента, в клубах сотрудников госаппарата, среди представителей свободных профессий и в академическом мире. Возможно, несколько сложнее ему будет сойтись с более упрямыми и несговорчивыми бизнесменами.

Знание английского языка достаточно для выполнения любой обычной задачи; я полагаю, что после небольшой практики в стране он сможет говорить по-английски действительно очень хорошо. Дело здесь не просто в знании языка: сочетание степени владения языком и личных качеств, комбинация серьезности намерений со скромностью — именно это делает его типичным «англичанином».

Хорошие оценки за рассудительность, подход к проблеме и самоконтроль (хотя мои суждения могут быть обусловлены искусственными условиями наших встреч). Я с уверенностью поручил бы ему задания, требующие этих качеств, а помимо этого он наверняка справится с решением личных и профессиональных проблем деликатного свойства.

Мое единственное сомнение в отношении Марата заключено в слове «скромность». Это прекрасное качество для успешного ведения работы с представителями английского общества. Но наша работа иногда требует проявления значительной степени самоуверенности со стороны оперработника.

Большинство агентов (и почти всегда) нуждаются в том, чтобы к ним относились с сочувствием и пониманием. Но иногда некоторых агентов надо держать в «ежовых рукавицах». Я уверен, что Марат исключительно подойдет для работы с первой категорией агентуры. А вторая категория? Этот вопрос я не смог решить в ходе наших встреч, так что оставляю его на ваше усмотрение.

Что сталось с этими необычными характеристиками? В последующие годы они, по-видимому, никому не понадобились — по крайней мере, если судить по тому, что оригиналы оказались в кипе старых документов, предназначенных к сожжению, откуда их чудом спасли два бывших «воспитанника».

А что сталось с самими характеризуемыми? Вместе с «второгодником» Владимиром в лондонской резидентуре работал О. Гордиевский, который, по его словам, был готов полностью подписаться под характеристикой, данной Филби[81]. Можно по-разному относиться к Гордиевскому, но его слова подтверждает тот факт, что в данном случае «сомневающийся» Филби был гораздо ближе к истине, чем специалисты по кадрам ПГУ, направившие Владимира на работу в одну из самых сложных западных стран.

Не ошибся Ким и в случае с Владиславом. По прошествии двух лет загранкомандировки он крайне иррационально повел себя в момент эмоциональной увлеченности и был срочно отозван в Москву, на чем его разведывательная карьера, собственно, и закончилась.

Оперативная судьба Марата складывалась в целом более успешно. И тем не менее его излишнюю мягкость, тонко подмеченную Филби, отмечали в дальнейшем практически все, с кем ему приходилось сталкиваться по чекистской работе, — и на том берегу, и на этом.

Филби неоднократно говорил, что ощущает на себе груз ответственности за каждого из своих питомцев. Он живо интересовался их успехами, а с некоторыми поддерживал регулярную переписку. Вот вьщержки из его писем:

«Я чрезвычайно рад был услышать о твоем новом ответственном назначении, о чем свидетельствует полученная из Лондона открытка с видом собора Св. Павла и его окрестностей. От всего сердца желаю удачи — а она, как я неоднократно говорил вам, очень и очень тебе понадобится!»

«Желаю всем вам профессиональных успехов, и если в этом вы будете хотя бы в малой степени обязаны тому, что я. вам преподавал, то я горжусь этим и чувствую себя счастливым человеком».

«Я почти начал верить в существование телепатии. В момент прибытия твоей посылки я читал роман, один из героев которого заказал себе «пиммз № 1» — напиток, о котором я ни разу не вспомнил с тех пор, как в 1956 году навсегда покинул Англию. Мне подумалось: как же я за эти года оторвался от английских реалий, — и тут неожиданно появляется бутылка этого самого напитка! Более того, недавно я отправил дочери небольшой

список заказов, забыв включить в него острый сосус «Ли-энд-Перринс» и соевый соус. Пока размышлял над тем, стоит ли посылать вдогонку второе письмо, оба соуса также прибыли в твоей посылке. Спешу добавить, что дело здесь все-таки не в телепатии, а в том, что, когда люди хорошо узнают друг друга, как в нашем с тобой случае, между ними быстро устанавливается интуитивная связь».

Филби, видимо, под влиянием уроков 30-х годов, когда были репрессированы многие из его оперативных руководителей, крайне болезненно переживал бесследное исчезновение ставших ему близкими людей — он просто не мог смириться с такими потерями. Одного из его бывших учеников (речь идет о выдворенном из Великобритании оперработнике, фигурировавшем на обложке журнала «Таймс») долго не пускали навестить Учителя под предлогом «нездоровых идейных настроений» последнего. Плюнув на все запреты, молодой человек все же отважился нанести Киму визит. Тот встретил воспитанника в слезах и бросился ему на шею со словами: «Я думал, что никогда уже тебя не увижу и никак не мог понять, почему». Как впоследствии вспоминал ученик, в тот момент его охватил ужас при одной мысли о том, что ему придется сказать: «Причина в твоей неблагонадежности, Учитель». К счастью, Филби перевел разговор на другую тему.

С годами Филби становилось все труднее вести «семинар». «Ким был страшно рад ученикам, — вспоминала впоследствии его жена Руфина Ивановна, — так как они помогали ему ощущать свою полезность». Тем не менее он иногда пропускал занятия. Это случалось тогда, когда Ким чувствовал огромную физическую усталость, но, будучи человеком гордым, не хотел это показывать. Он вообще не любил, когда его видели немощным. Как-то раз, отказавшись от встречи с учениками, он воскликнул: «Ах, если бы с этого начать 25 лет назад! А то столько времени потрачено впустую!»

Руфина Ивановна рассказала об этом уже потом, когда Кима не стало. А на очередном занятии ученики ничего не заметили. Перед ними, как всегда, сидел бодрый, излучающий теплый юмор и доброту Учитель.

Если существует какая-то форма сознания по ту сторону жизни, то Ким Филби видел, как в день его смерти стайка наиболее преданных питомцев его «семинара» примчалась на квартиру к потрясенной вдове. Ожидали встретить столпотворение соболезнующих друзей, высокопоставленных сотрудников Комитета. Но дома была лишь убитая горем Руфина Ивановна и — по долгу службы — заходили «кураторы» из

контрразведывательного подразделения. Ученики разделили горечь первых рассказов о только что произошедшей утрате. Затем, на пышной панихиде в Центральном клубе им. Дзержинского, воспитанники положили к подножию гроба Учителя огромный букет алых гвоздик. А вот на кладбище они держались подальше от объективов иностранных журналистов, ибо большинство из них еще находились в рядах действующих разведчиков.

Со временем жизнь разбросала кого куда. Но школа, выучка Филби остались. Учитель передал ученикам не только профессиональные познания во «второй древнейшей профессии», как иногда называют разведку, и не только «чутье охотника». Он приучил их широко и объективно смотреть на окружающий мир. Принципиально важно, что он, вопреки расхожему стереотипу, сложившемуся о нем на Западе, да и некоторым установкам в советской разведке тех лет, учил работать не ПРОТИВ, а ПО Британии, США и т. д.

Но самое главное, вероятно, заключается в том, что он сумел укрепить, закалить в большинстве своих учеников моральный стержень, убедил на собственном примере — именно убедил, а не скомандовал — никогда не отказываться от однажды данной присяги самому себе или своим убеждениям.

В различных уголках Великобритании, попадая в университет или колледж, нередко можно встретить седого, благородного старика-принципала — бывшего дипломата в ранге посла или высокопоставленного сотрудника гос-службы в мягком твидовом пиджаке с кожаными налокотниками и в вельветовых брюках. Он строго и в то же время с любовью следит за шалостями резвящихся вокруг юношей, а те, в свою очередь, с почтением выслушивают его мудрые наставления, не всегда, правда, следуя им.

Киму Филби удалось, насколько это было возможно, создать нечто подобное в стране, которую он считал своей Родиной. Не это ли одна из причин, почему он ушел из жизни счастливым человеком?

Р.И, Пухова-Филби

ОСТРОВ НА ШЕСТОМ ЭТАЖЕ (Моя жизнь с Кимом Филби)

…Могу сказать с уверенностью,
что закат моей жизни — золотой!

Ким Филби

МОЯ ЖИЗНЬ ДО КИМА

Я родилась 1 сентября 1932 года в Москве на улице Рождественке, в самом центре города. В тот год Ким стал казначеем Общества социалистов Кембриджского университета, посвятив себя идеалам социализма.

— Когда ты родилась, я уже начал свой путь к тебе, — любил повторять Ким.

Мой отец, крестьянин по происхождению, был родом из города Малоярославца. С десяти лет он жил в Москве, куда его отправили родители осваивать профессию скорняка. Он стал уникальным специалистом по выделке и окраске мехов. Мать родилась в Польше, в городе Седлеце, в семье банковского служащего. Когда ей было два года, в 1914 году, ее семья переехала в Москву.

В 20-е годы Польша отделилась от России, стала самостоятельным государством, и мамины родители попытались вернуться туда, но их не выпустили из Советского Союза. Мой дедушка умер в 1933 году, а бабушке удалось уехать в Польшу лишь в 1957 году, за год до смерти.

Я не помню своего первого дома, так как через два года после моего рождения мы переехали в другую квартиру, в новостройку на окраине Москвы. Этот район так и назывался — Новые дома. В отличие от старого сырого дома с печным отоплением здесь были большие удобства — центральное отопление и даже ванная, но без горячей воды. Мы с мамой и папой занимали 12-метровую комнату в коммунальной квартире, где помимо нас размещались еще три семьи. Комната была сухая и светлая, но узкая, как пенал. В поисках лишнего пространства мы часто передвигали мебель и неизменно радовались полученному результату, в полной уверенности, что стало свободнее.

Наш пятиэтажный дом, построенный в виде буквы «п», окаймлял обширный двор, где было предостаточно места для детских игр. На открытой, четвертой, стороне были протянуты веревки в несколько рядов между столбами и деревьями. Там постоянно, круглый год, сушилось белье. Помню хруст замерзшего белья и исходящий от него приятный запах морозной свежести.

Когда началась война, мне было восемь лет. В то лето мы жили в подмосковном поселке Томилино на даче у маминой подруги. День объявления войны — 22 июня 1941 г. — навсегда запечатлелся в моей памяти. В тот день, яркий и солнечный, все взрослые собрались в доме и, затаив дыхание, слушали радио.

Потом разом заголосили:

— Война, война!..

Тогда я плохо понимала реальный смысл этого слова — мое детское воображение рисовало ужасы сражений сказочных героев. Я видела встревоженные заплаканные лица и была страшно напугана.

Моя мама, не подозревавшая о грядущих событиях, рано утром уехала по делам в Москву, и я побежала на станцию встречать ее. Это трагическое известие она приняла удивительно спокойно и, утешив меня, сразу повела в ближайший магазин, где мы купили крупу, сахар, соль и спички…

На дачном участке, свободном от деревьев, папа выкопал землянку (ее называли «щель»). Во всю ее длину вдоль стен соорудил узкие дощатые скамейки. Эта щель служила бомбоубежищем всем обитателям дома, а их было около десяти. На всю жизнь мне запомнился гнилой запах сырой земли и свист летящих бомб. Особенно устрашающий звук издавали фугасные бомбы — как будто паровоз грохотал над головой.

В то лето бомбежки следовали одна за другой. Ночи напролет приходилось проводить под землей, сидя на жесткой покатой скамейке. Мы кутались в одеяла, но и они не спасали от пронизывающей до костей сырости. Зато днем мы перестали обращать внимание на бомбежки. Мне особенно запомнился один жаркий день. В синем безоблачном небе мелькали самолеты, и завывала сирена воздушной тревоги, а тем временем мама, как ни в чем не бывало, купала меня на открытой полянке в тазу с водой, нагретой солнцем.

Однажды мы проснулись среди ночи от канонады. Все, кроме нас с мамой (папа оставался в Москве), успели спрятаться в бомбоубежище. Мы вышли на крыльцо. Вокруг со свистом падали осколки. Под этим градом невозможно было пробежать даже несколько шагов до спасительной щели. По небу бегали, перекрещиваясь, полосы прожекторов. Я видела самолет, пойманный ими и подби-; тый снарядом. Все небо светилось, усыпанное вспышками разрывов, как звездочками. Было бы очень красиво, если бы не было так страшно. Нам пришлось простоять на крыльце всю ночь, «любуясь» этим фейерверком.

Все военные годы моя семья провела в Москве. Родители не захотели эвакуироваться. Подвал каждого дома служил бомбоубежищем, но мы никогда не спускались туда. Во время ночной воздушной тревоги меня будили и полусонной одевали. Меня била нервная дрожь, от страха стучали зубы, но я непременно одевала свою куклу и не выпускала ее из рук. Все соседи выходили в коридор и там сидели на стульях в ожидании

отбоя. Наш район особенно часто бомбили, так как рядом было много заводов.

Помню всеобщую панику и массовое бегство из города в октябре 1941 года, когда немцы вплотную подошли к Москве. Мои родители не поддавались панике, и папа в тот день, как обычно, ушел на работу. Там он застал полный хаос, двери были распахнуты настежь. На комбинате не осталось ни одного человека. Папа запер все помещения и вернулся домой. Постепенно паника улеглась, и те, кто не успел уехать, вернулись на свои места.

За всю войну я только один раз побывала в бомбоубежище в Москве. Как-то мы с мамой приехали на улицу Горького, чтобы получить продукты по карточкам (тогда все были прикреплены к определенным магазинам). В это время завыла сирена. Мы бросились через дорогу к вожделенному магазину, где стояла длинная очередь. На полпути нас схватил милиционер и силой загнал в бомбоубежище. Когда мы вышли оттуда после отбоя, на месте магазина полыхал пожар…

Половину нашей кухни занимала большая плита, которая топилась дровами. Доставать дрова было трудно, поэтому все жильцы готовили пищу на керосинках и примусах. Осталось в памяти, как я, стоя на табуретке, варила на керосинке свой любимый грибной суп. (Скорее всего суп сварила мама, а я его только разогревала.) Разумеется, керосина и денатурата тоже не хватало. Однажды папа где-то раздобыл бензин. Ночью, когда все соседи спали, мои родители разливали бензин при свече, так как электричества не было. Вдруг на папе вспыхнула одежда. В мгновение ока он превратился в огненный шар, но не растерялся, выскочил из квартиры, помчался по лестнице с нашего второго этажа и стал кататься по снегу. К счастью, тогда стояла снежная зима с большими сугробами. Я не помню, получил ли папа серьезные ожоги.

Папа всю свою жизнь проработал на Ростокинском меховом комбинате. Он был незаменимым специалистом, и ему выдали бронь, освобождающую от воинской службы. (Зато он успел пройти всю гражданскую войну.) Он организовал на комбинате школу, где обучал Молодежь секретам своего мастерства. Его мечта — одеть меня в беличью шубку, когда я повзрослею, — так и не осуществилась. За всю свою трудовую жизнь папа не сумел приобрести никаких мехов ни для меня, ни для мамы. После его смерти комбинат подарил шубы всей нашей семье. Нам с мамой — из цигейки, а брату — из козлика.

Мама до войны не работала, а во время войны плела сети из тонкого шпагата — ловушки для самолетов. Эти сети поднимали

высоко в небо на аэростатах. В 1943 году ее мобилизовали на военный завод, где она стала сварщицей и проработала там до конца войны. Родители часто работали в ночную смену или возвращались домой глубокой ночью. Транспорт не работал, улицы не освещались, все окна были наглухо затемнены — полный мрак. Мама рассказывала, как добиралась до дому переулками и закоулками в кромешной тьме. Шла наощупь, вытянув перед собой руки. А путь был не близкий — около полутора часов.

Чтобы подкормить семью, мама ездила в отдаленные от Москвы деревни, шла через поля и леса, обменивая там разные вещи на продукты. Удивительно, что в это тяжелое время мама ни разу не подверглась нападению ни в деревенской глуши, ни в ночной Москве. Зато после войны, в 1949 году, мы были ограблены в своем доме.

А за несколько лет до этого, во время войны, мне удалось победить грабителя. Это случилось, когда я покупала в магазине хлеб по карточкам. В очереди за мной стояла девочка. Она была старше меня, крупная и упитанная. Мы вместе вышли из магазина, и она под каким-то предлогом завела меня в подъезд своего дома. Как только мы очутились в темноте подъезда, девочка сказала:

— Отдай мне хлеб! — и стала вырывать мою сумку.

Но я вцепилась в сумку мертвой хваткой. Мы долго боролись. Наконец я выдернула свой хлеб и пулей понеслась домой. До сих пор помню лицо этой девочки с темной родинкой на щеке.

Мы не голодали в полном смысле этого слова, но лепешки из отрубей (они предназначались для выделки меха, и папа иногда приносил их с работы) запомнились как редкое лакомство. О недоедании я моту судить по тому сладостному ощущению, которое мне доставлял школьный завтрак — кусочек черного хлеба, слегка смазанный джемом. Учительница приносила в класс буханку хлеба, на наших глазах нарезала ее тонкими ломтиками и давала каждому из нас по половинке. К концу войны питание улучшилось настолько, что в школе вместо черного хлеба мы стали получать по бублику. Я проглатывала лакомство мгновенно, а моя соседка по парте резала его лезвием бритвы на маленькие кружочки и медленно поедала, растягивая удовольствие.

В начале 1946 года папу арестовали, нашу комнату обыскали. Не знаю, что именно послужило поводом для этого. Помню, он рассказывал, что ему показали донос, написанный его другом, с которым они вместе работали. Основное обвинение состояло в том, что папа женат на польке.

Папе повезло, его выпустили без суда всего через три месяца. Он вернулся из тюрьмы очень худым и сгорбленным. В свои 45 лет он выглядел глубоким стариком и казался сломленным. Не спал ночами, прислушиваясь, ожидая зловещего стука в дверь. Его характер изменился до неузнаваемости — он стал мрачным и замкнутым и таким запомнился мне.

В декабре 1946 года родился мой брат Костя, а в декабре 1948-го отец умер от рака легких. Как известно, беда не приходит одна, и всего через полгода, летом, пока мы были на даче, нас обокрали — начисто, не осталось даже постельного белья. Помню распахнутый пустой шкаф и висящие пояса от платьев — сами платья жулики унесли вместе с вешалками.

Осенью 1949 года я поступила в Редакционно-издательский техникум. Мама тяжело заболела, и маленький брат был всецело на моем попечении. Эти два года были особенно трудными для нашей семьи. Как только мне исполнилось 17 лет, я стала работать корректором в издательстве и продолжала учиться в вечернем техникуме. Перед работой отводила брата в детский сад и забирала его домой после работы.

Хотя здоровье мамы улучшилось и она стала работать, она все же часто болела и получала денег гораздо меньше меня. Таким образом, я оставалась главным кормильцем и несла большой груз семейных обязанностей. Годы «беспечной юности» для меня оказались самыми тяжелыми. Возможно, поэтому я долго не помышляла о замужестве. И все-таки нельзя сказать, что моя жизнь состояла из одних забот: каким-то образом я успевала ходить и на студенческие вечеринки, и на свидания с мальчиками.

После смерти папы мы переехали в другую квартиру, тоже коммунальную, с меньшими удобствами, но зато в центре Москвы. Дом был трехэтажный, очень старый и ветхий, поговаривали, что в нем когда-то размещались монастырские кельи. Наша комната (те же 12 квадратных метров) теперь была не узкой, но и не квадратной, а неправильной формы — как бы перекошенной трапеции. Здесь мы находили еще больше вариантов для перестановки мебели.

Бессмысленность этого занятия стала очевидной, когда наша семья увеличилась. К нам переехала бабушка (мамина мама), покинув своего второго мужа, с которым прожила около 20 лет. В нашу комнату вмещалось всего два спальных места — диван и кровать. Теперь нам пришлось делить их на четверых, и лучше не вспоминать, как мы готовились ко сну.

Отношения бабушки и мамы всегда были натянутыми. Бабушка не могла простить маме, что та вышла замуж за

русского, «кацапа», как их называли в Польше и на Украине, хотя 'и признавала достоинства зятя. Характер у нее был деспотичный. Она смягчилась и немного потеплела, лишь когда родился мой брат, и даже признала себя бабушкой (я называла ее «тетя Марта»).

Бабушка прожила с нами около трех лет, до своего отъезда в Польшу в 1957 году. Ей удалось разыскать свою многочисленную родню. Все братья и сестры, с которыми оборвалась связь со времени ее отъезда в 1914 году, остались живы, несмотря на войну и оккупацию. Она поселилась в Варшаве у своей младшей сестры, но мечта всей ее жизни осуществилась слишком поздно. Она не узнавала свою любимую Варшаву — все стало чужим. Реальность не имела ничего общего с ее воспоминаниями. Бабушка чувствовала себя несчастной и обманутой и скончалась, не прожив там и года…

После окончания техникума в 1953 году *я* поступила в заочный Полиграфический институт на факультет редактирования и журналистики.

В 1958 году во время подготовки дипломной работы я тяжело заболела. (Мне было 26 лет.) Все специалисты сошлись на одном диагнозе: лимфогрануломатоз (одна из разновидностей рака) и не оставили мне надежды на выздоровление. Основным лечением была рентгенотерапия, которая чуть не убила меня, а спасло многократное переливание донорской крови. Мне пришлось взять академический отпуск на один год. Диплом я получила только в 1960 году и вскоре стала работать редактором.

Мой брат был очень энергичным и шаловливым ребенком, а с возрастом его проказы становились опасными. (Правда, в сравнении с изощренными «забавами» современной молодежи они кажутся по-детски невинными.) Но один его «подвиг» мог иметь серьезные последствия.

Однажды, когда мама лежала в больнице, а я поздним вечером вернулась с работы домой, меня ждал около подъезда возмущенный мужчина. Он сказал, что Костя, которому тогда было 10 лет, раздобыл где-то духовое ружье, заряженное дробью, и стрелял из нашей форточки в дом напротив. Брат оказался метким стрелком и попал в окно, выходившее на лестничную площадку. Дробь пробила стекло, но, к счастью, никто не пострадал.

Нам с мамой, слабым женщинам, было нелегко справляться с ним, и мы обрадовались, когда в 18 лет его забрали в армию. Хотелось надеяться, что он остепенится и приобретет профессию. Его определили в часть, расквартированную в Калининградской области. Оттуда в 1968 году на своем танке он въехал в Прагу и

был искренне удивлен, что девушки не встречали цветами «героев-освободителей», кем он себя считал под влиянием нашей пропаганды…

Дом, в котором мы жили, уже много лет находился в аварийном состоянии, того и гляди совсем развалится. В лестничном пролете подъезда во всю высоту его стоял толстый столб, подпиравший крышу. Мы надеялись, что получим новую квартиру, вернее комнату, так как претендовать на отдельную квартиру не могли. В те. годы существовала определенная квота на жилую площадь — 6 квадратных метров на одного человека. Получить квартиру или комнату можно было в районном жилищном отделе либо на работе. Разумеется, своей очереди приходилось дожидаться многие годы.

Однажды ко мне с работы направили двух сотрудников, членов месткома. Они хотели удостовериться, достаточно ли плохое у меня жилье, чтобы я могла претендовать на получение более благоустроенной квартиры. Когда они увидели этот столб, разбитую лестницу и покосившиеся перила, один из них сказал другому:

— Ты иди, а я подожду тебя на улице — у меня все-таки дети.

Тем не менее от работы я так ничего и не получила. В 1968 году после сложных обменов и трехкратных переездов мы оказались в отдельной двухкомнатной квартире общей площадью 28 квадратных метров. (Благодаря своему заболеванию я имела право на дополнительную жилплощадь.) Это было самым счастливым событием в жизни нашей семьи, о котором раньше мы не смели и мечтать. Впервые у меня появилась отдельная комната, хотя и небольшая, размером в 9 квадратных метров.

Вскоре произошло еще одно радостное событие: вернулся «с победой» из Чехословакии мой брат.

Моя болезнь помимо постоянного недомогания напоминала о себе часто повторяющимися плевритами и пневмониями. Переборов очередное обострение, я продолжала работать и вообще жила обычной нормальной жизнью. У меня было много друзей и знакомых, и большинство из них, кроме самых близких, не подозревало о моей болезни. Мы часто устраивали вечеринки по разным поводам, ходили в театры и кино, на концерты и выставки. Я не поддалась на уговоры наблюдавшего меня онколога бросить работу и оформить инвалидность: наша семья и так едва сводила концы с концами, а без моей зарплаты нам было бы и вовсе не прожить.

Я не была послушной пациенткой и возмущала врачей своим легкомыслием. Стараясь забыть о своей болезни, пропускала назначенные обследования, так как врачи только расстраивали

меня. Из лучших побуждений, пытаясь подбодрить, они напоминали, что прошел уже год, два, а я все еще жива… Они, конечно, не подозревали, что такое «утешение» оказывает на меня противоположное воздействие.

Однажды я все-таки пожалела себя, позавидовав героине романа Ремарка «Жизнь взаймы» (тогда все зачитывались его книгами). Девушка, обреченная на скорую смерть от туберкулеза, решила прожить оставшиеся дни в свое удовольствие. Она купила три шикарных платья и стала наслаждаться жизнью.

Эту книгу я читала в больнице и, невольно сравнивая себя с героиней, подумала, что, зная о своем близком конце, я не в состоянии ни в чем изменить свою жизнь, не могу купить даже одно новое платье…

Однако такие настроения быстро проходили, и я не поддавалась отчаянию. Скорее всего именно «легкомыслие» и помогло мне выжить.

Моя очередная пневмония осложнилась туберкулезом, и в 1966 году я попала в специализированную больницу, где меня вылечили всего за полтора месяца. Хотя мое здоровье значительно улучшилось, нагрузка в издательстве была для меня непосильна, и я стала подыскивать работу с более легким режимом.

ЦЭМИ — Центральный экономико-математический институт, куда я перешла в середине 1969 года, как нельзя лучше соответствовал моим запросам. Здесь царила атмосфера свободы и безмятежной расслабленности.

Многие из экономистов, которые трудились в ЦЭМИ, такие как М. Петраков, С. Шаталин, впоследствии стали широко известными. Возможно, именно такая обстановка способствовала расцвету их способностей.

Я впервые попала в учреждение, где большинство сотрудников только время от времени появлялись на работе, а многие из них просто не имели определенных занятий. На этом фоне я оказалась «белой вороной», так как была полностью загружена. Помимо своих основных обязанностей — редактирования — мне пришлось выполнять еще и административные функции. Тем не менее эта нагрузка не шла ни в какое сравнение с моей предыдущей работой в издательстве «Высшая школа».

В то время ЦЭМИ не располагал собственным помещением и его лаборатории были рассредоточены в различных зданиях по городу. Дирекция института и несколько других отделов, включая тот, где работали мы с Идой, (моей подругой, будущей женой Джорджа Блейка), находились в небольшом старинном особняке

на территории Нескучного сада.

Сотрудницы не замедлили оповестить меня, что у Иды роман с иностранцем. Вскоре Ида познакомила меня с этим таинственным иностранцем — Джорджем. (К тому времени они поженились.) Я ни о чем не расспрашивала и только из отдельных реплик Иды поняла, что Джордж — бывший разведчик, но никакого представления о его деятельности не имела.

Ида была переводчицей. Изредка ей приносили работу со словами: «Это срочно». Она небрежно бросала бумаги в стол в полной уверенности, что об этой «срочной» работе никто не вспомнит, — у нее был достаточный опыт деятельности в ЦЭМИ.

А тем временем я добросовестно корпела над рукописями. Такое усердие на фоне всеобщего безделья раздражало Иду, и она частенько отбирала мою работу со словами:

— Хватит заниматься этой ерундой. Идем гулять, — и уводила меня в парк.

Во время одной из наших прогулок я впервые услышала о Киме Филби. О том, что он бывший советский разведчик, нетрудно было догадаться. Ида сказала, что он интересный человек, к тому же привлекательный мужчина, но с одним недостатком — пристрастием к алкоголю. Тогда я не проявила любопытства и вспомнила слова Иды, только когда увидела Кима.

ЗНАКОМСТВО

С Кимом я познакомилась совершенно случайно жарким июльским днем 1970 года.

Тогда в Москве проходили гастроли американского айс-ревю. В те годы приезд зарубежных артистов был редкостью и большим событием. За билетами выстраивалась длинная очередь, и они раскупались мгновенно. Некоторая их часть распространялась среди членов творческих союзов, и, поскольку моя мама работала в Доме актера, Ида попросила меня достать билеты. *Я* купила четыре билета: три для Иды, Джорджа и его матери («мутер», как ее называла Ида), гостившей тогда у них, и один для себя.

Представления балета проходили на льду спортивного комплекса в Лужниках, и мы с Идой договорились встретиться у станции метро «Спортивная». Там впервые я и увидела Кима. Как оказалось, «мутер» слегка занемогла и Джордж вместо нее пригласил Кима. У того как раз гостил сын Том, которого Ким прихватил с собой в надежде достать лишний билет на месте.

Итак, мы все встретились около метро. Солнце слепило глаза, и я была в темных очках. Ким, знакомясь со мной, попросил:

— Снимите, пожалуйста, очки. Я хочу видеть ваши глаза.

Я выполнила его просьбу, не придав этому значения. Ким не произвел на меня никакого впечатления: я видела перед собой пожилого мужчину с добрым, но довольно помятым лицом. Могла ли я тогда предположить, что эта встреча перевернет всю мою жизнь?!

Мы с Ццой шли впереди, болтая, мужчины следовали за нами. Позже Ким говорил, что в течение этих минут, по пути до стадиона, он решил жениться на мне. Мы часто возвращались к этому эпизоду, вспоминая нашу первую встречу, и Ким неизменно гордился своей прозорливостью.

— Я такой умненький, — говорил он. Когда я допытывалась, что же ему удалось разглядеть во мне, да еще сзади, он добавлял с загадочной улыбкой:

— Если б ты знала, как ты гуляешь! — имея в виду мою походку. Воистину, «любовь зла»…

Лишнего билета не оказалось, и Ким с Томом отправились домой, предварительно пригласив всю нашу компанию после балета к себе «на шампанское». По окончании спектакля мы с Идой и Джорджем сели в троллейбус, идущий к центру. Не доезжая до дома Кима, я пересела на метро и отправилась в одиночестве домой, а они явились «на шампанское» без меня, к большому разочарованию хозяина.

Вскоре Ида пригласила меня на выходные к себе на дачу в Томилино. (Именно в этом поселке почти 30 лет назад меня застигла война.) Неожиданно для меня там появился Ким с двумя огромными сумками, заявив, что приготовит на обед французское блюдо — «coq au vin» («петух в вине»). Он привез все компоненты для этого, включая вино, белые грибы, овощи, а также кастрюлю и сковородку. Не забыл, разумеется, и соответствующие напитки.

Ким вдохновенно священнодействовал на кухне, а нам с Идой лишь доверил почистить грибы и овощи.

Петух удался на славу. Застолье наше затянулось до глубокой ночи. Все утомились, кроме Кима и «мутер». Они продолжали увлеченно разговаривать, когда я вслед за Идой и Джорджем ушла в свою комнату. Оживленная беседа за стенкой не давала мне уснуть. В непонятном для меня диалоге на английском повторялось только одно знакомое слово — мое имя. Наконец и они разошлись.

Вдруг в наступившей тишине я услышала скрип: осторожно открывалась моя дверь. В кромешной тьме появился красный огонек и стал медленно приближаться ко мне. Зрелище в духе ночного кошмара. Огонек оказался сигаретой, которую курил Ким. Он осторожно присел на краешек моей кровати и

торжественно произнес:

— Я английский мужчина.

— Да-да, — ответила я, — вы джентльмен.

— Я английский мужчина, — повторил он с пьяным упорством.

— Это прекрасно, — сказала я, судорожно вспоминая английские слова из своего скудного запаса, — Tomorrow, tomorrow (завтра — *англ.)*.

Это, казалось, его убедило, и он медленно удалился, старательно прикрыв за собой дверь.

Вряд ли Ким успел дойти до своей комнаты, так как снова раздался тихий скрип и снова заплясал огонек. И все повторилось: «я английский мужчина» — «tomorrow»… Опять осторожно закрывается дверь и через мгновение снова приоткрывается. Я твержу «tomorrow», корчась от смеха. Это представление походило на кинематографический прием — повторяющийся кадр. Казалось, ему не будет конца. После третьего или четвертого раза я продолжала *с* замиранием сердца всматриваться в темноту — «английский мужчина» больше не появился… Я уснула.

На следующий день после завтрака мы отправились в лес. Сидя в машине рядом с Кимом, я украдкой разглядывала его и впервые подумала, что он в самом деле привлекательный мужчина: крупная голова великолепной формы, скульптурный профиль, густые серебристые волосы, ярко-голубые глаза и никаких следов загула на свежевыбритом лице. Меня поразило его перевоплощение: серьезный и подтянутый, он ничем не напоминал вчерашнего «английского мужчину». Ким сосредоточенно молчал, и я решила, что он переживает ночной эпизод. Во время прогулки, чтобы отвлечь его от неприятных воспоминаний, я сорвала колокольчик и шутливо преподнесла ему. Он был очень растроган, бережно хранил его всю дорогу, и долго суетился по возвращении, подыскивая для цветка подобающий сосуд.

Спустя много дней, когда я напомнила Киму ночной спектакль в Томилино, он признался, что наутро ничего не помнил и страдал только от головной боли. Напрасно я его жалела!

Второй день прошел спокойно, и, глядя на Кима, трудно было поверить в реальность вчерашнего эпизода. Он деловито стучал на машинке, редактируя рукопись будущей книги Джорджа. Потом мы гуляли по поселку и оказались на той самой улице, где прошло несколько лет моего детства. Я рассказала Киму, каким мне запомнился первый день войны. Наибольшее впечатление в

моем рассказе на него произвело то, что моя мама не растерялась и запаслась самым необходимым. Впоследствии я слышала, как он пересказывал мои слова и перечислял, загибая пальцы: соль, сахар, спички…

Вечером Ким уехал, сказав, что приглашен на рыбалку под Вологду. Позже он вспоминал, что это был не отдых, а сплошное мучение. Мало того, что он никогда не увлекался рыбалкой, ему не было суждено насладиться и красотами природы. Безбрежная гладь озер взрывалась и пенилась от бешеного рокота бесцельно снующих моторок (Ким очень удачно имитировал этот звук, сводивший его *с ума)*. Едва удавалось заснуть, как в палатку вваливался подвыпивший рыбак с шумными приветствиями и неизменной бутылкой. Днем и ночью — ни минуты покоя!

Через некоторое время после нашей встречи с Кимом в Томилино Ида пригласила меня на свой день рождения. Там оказалась только одна гостья — пухленькая миловидная женщина. Это была Мелинда, жена Дональда Маклина, которую я встретила в первый и последний раз. О ее романе с Кимом, как и о том, что этот роман уже угас, я слышала от Иды, но не знала, что они приглашены. Однако Ким не явился, дабы не ставить себя в пикантное положение. Его отсутствие, как и присутствие Мелинды, меня тогда ничуть не взволновало.

Спустя неделю-две Ида предложила поехать с ними в Ярославль, сообщив, между прочим, что Ким тоже едет. Я не придала этому значения — меня привлекало путешествие само по себе. Оставалось только получить недельный отпуск на работе. И тут не было препятствий. Впоследствии Ким признался, что эту поездку он организовал ради встречи со мной.

Джордж сел за руль своей черной «Волги», рядом с ним мутер; Ида, Ким и я уместились сзади. Путешествие было необычайно приятным. Мы побывали в прекрасных старинных городах — Павловском Посаде и Владимире, Юрьеве-Польском и Ростове Великом, Переславле-Залесском и Ярославле.

Где-то на пути из Владимира в Ярославль мы заглянули в маленькую заброшенную церквушку, по-видимому, приспособленную под клуб. Стоя там на высоком деревянном помосте и разглядывая фрески, я стала пятиться и свалилась. Но это было не падение, а замедленный полет, во время которого я успела удивиться тому, что джентльмены не пытаются меня поймать. Они остолбенели и со страхом смотрели на меня. Ким был в ужасе: он не сомневался, что я сломала себе шею. А я перевернулась в воздухе и удачно, как кошка, приземлилась, ничего себе не повредив. Больше мне никогда так не везло, впоследствии мои падения даже на ровном месте всегда

кончались нелегкими травмами.

Ким говорил о моем «полете» как о некоем чуде, хотя и не в религиозном смысле. Будучи атеистом и большим скептиком, он ни во что сверхъестественное не верил, но при этом часто вспоминал, как чудом уцелел в годы гражданской войны в Испании. Он находился в машине, когда в нее попала советская бомба. До этого он всю дорогу сидел на одном месте и потом не мог понять, почему после короткой остановки обошел машину и сел на другое место. Рассказывая об этом, он рисовал наглядную схему и показывал стрелкой свой путь. Бомба угодила именно туда, где он сидел раньше. Все были убиты, а Ким отделался легким ранением в голову.

В Ярославле мы поселились в уютной старой гостинице в центре города. Среди ночи меня разбудил громкий стук и голос с требованием немедленно открыть дверь. *Я* открыла. Ворвалась дежурная, обшарила цепким взглядом все углы, заглянула в ванную и, бросив на ходу, что я кого-то заливаю, удалилась. *Я* не стала углубляться в размышления по этому поводу и снова уснула. Утром *я* рассказала всей нашей компании о ночном эпизоде. Оказалось, что этажом ниже, как раз подо мной, жил Ким. В его номере, как и в моем, все было в порядке. Что (или, вернее, кого) у меня искали? Скорее всего мужчину. Дело в том, что дежурная по этажу в гостинице исполняла функции своего рода «полиции нравов» и рассчитывала застать меня на месте преступления. В ее глазах одинокая молодая особа, да еще в компании с иностранцами непременно должна быть женщиной легкого поведения. К ее удивлению и разочарованию, я спала сном праведницы.

Я постоянно ощущала пристальное внимание Кима. Он был натянут как струна, и невозможно было не заметить его влюбленности, а меня это только тяготило. Несмотря на то что мне было приятно и интересно общаться с Кимом, мои чувства к нему еще не пробудились: пожилой мужчина с одутловатым лицом не мог быть героем моего романа! Ким несправедливо обвинял Блейков, что они стараются не оставлять нас наедине. На самом деле я сама его избегала.

Наконец Ким потерял терпение. В последний вечер нашего пребывания в Ярославле он схватил меня за руку, усадил на скамейку и решительно заявил:

— Карты на стол. Я хочу женаться с тобой, — именно так он сказал, но мне было не до смеха.

По-видимому, он долго готовил эту фразу, но с падежами и союзами так и не справился. И впоследствии они давались ему с трудом. Например, он говорил: «Я ухаживаю тебя, потому что

люблю за тобой». Подобные пассажи в его устах звучали забавно, и я не всеща его поправляла.

Предложение Кима застало меня врасплох, и я онемела. Он, неправильно истолковав мое замешательство, решил, что мне не понятен смысл выражения «карты на стол». В полной растерянности я стала бормотать: «как можно», «мы едва знакомы». Ким был настроен решительно, утверждал, что уже успел узнать меня. Сказал, что он сильный мужчина, и спросил, хочу ли я иметь детей. Его интересовали мои вкусы. Что я предпочитаю из еды? Картошку. Это развеселило его. Обрадовался, что я люблю путешествовать, и пригласил меня в Сибирь. Было ясно, что принятое решение он хорошо обдумал.

Я, тем не менее, пыталась обратить все в шутку, но он оставался серьезным и непреклонным. Тогда я стала его отговаривать, пугая тем, что я ленивая, бесхозяйственная, к тому же слаба здоровьем. Но он не отступал. Не остановило его и предостережение Иды. Еще до знакомства с Кимом в порыве откровенности я рассказала ей, что когда-то врачи поставили мне роковой диагноз. Прошло много лет, и уже трудно было сказать, ошибка это или произошло чудесное излечение. Спустя годы после нашей свадьбы Ким признался:

— Ида сказала, что ты в любой момент можешь умереть, а я ответил, что это может случиться с каждым из нас.

Тогда, в Ярославле, Ким говорил, что не торопит с ответом, что не мальчик и может терпеливо ждать моего решения. Чтобы закончить этот тягостный разговор, я пообещала подумать. Когда мы возвращались в гостиницу, он задержал меня у самой двери и спросил:

— Могу ли я надеяться?

Я милостиво кивнула.

Ворочаясь в постели до рассвета, я перебирала в памяти пережитые эпизода, полузабытые романы, быстротечные и «вялотекущие». В свои 38 лет я трезво оценивала себя и к тому времени была убеждена, что обречена на одиночество. А что если попробовать изменить эту серую жизнь? Чем я рискую? Ведь в искренности чувств Кима невозможно усомниться. Стоит ли отвергать такой дар?.. Но я так и не заставила себя прислушаться к голосу разума и заснула с мыслью, что не способна изменить свою судьбу, что, по обыкновению, все испорчу, упущу и этот, скорее всего последний, шанс, о чем буду жалеть всю оставшуюся жизнь.

Наступило утро — конец нашего путешествия. Я проснулась с легким сердцем — предложение Кима и мои терзания по этому поводу казались нереальными, как сон. Ким спозаранку, еще до

завтрака, успел сбегать на рынок и преподнес каждой из трех дам по букету белых хризантем. По дороге домой он спрашивал, обратила ли я внимание на цветы.

— Конечно, — говорила я, — они очень красивые.

К его огорчению, я не заметила главного: в моем букете было одиннадцать хризантем, тогда как в других — по десять. А я-то, глупая, не сообразила их пересчитать! К тому же я чуть было не оставила цветы в гостинице. К счастью, Ида вовремя напомнила мне о них.

На обратном пути в Москву Ким очень нервничал и, когда мы останавливались в лесу, чтобы размяться после долгого сидения в машине, шептался с Джорджем. Словом, вел себя как мальчик, хотя накануне и утверждал обратное. Потом он мне говорил, что Джордж успокаивал его: раз я разрешила платить за себя в гостинице, значит, он может рассчитывать на победу. (В Ярославле тоном, не терпящим возражений, Ким заявил, что считает меня своей гостьей, и не вызывало сомнений, что мой отказ его бы очень обидел.) Такой аргумент очень удивил Кима, но вместе с тем его воодушевило то, что Джордж все время повторял:

— Ты такой счастливый!

Мы сидели рядом в машине, когда Ким, улучив момент, пригласил меня на ланч в «Метрополь». Приняв приглашение, я закрыла глаза, притворившись спящей. Он боялся пошевелиться, охраняя мой мнимый сон, и шикал на Иду, громко читавшую путеводитель.

Мы уже в Москве. Машина свернула с шоссе на мою улицу и остановилась.

— Джордж устал, — сказала Ида.

Я попрощалась и поволокла свой чемодан к автобус-ной остановке: «Кончен бал, Золушка!» Обернулась, помахала рукой, заметив недоумение на лице Кима. Он не знал, что до моего дома надо было проехать еще две остановки на автобусе.

На следующий день, собираясь на свидание, я столкнулась с извечной проблемой: нечего надеть. В бессмысленных метаниях между костюмом и платьем, в равной степени не претендующими на элегантность, прошло изрядно времени. Так и не научившись приходить вовремя на свидания, на этот раз я мучилась угрызениями совести — не мальчик же он! Безнадежно опаздывая и уже не надеясь на встречу, утешала себя тем, что позвоню и извинюсь (свой телефон и адрес Ким нацарапал мне на клочке бумаги, когда мы возвращались из Ярославля).

Подбегая к «Метрополю» с опозданием на 45 минут, вижу Кима в легком синем костюме и белоснежной рубашке. Стоит под

жарким солнцем, устало прислонившись к стене. При виде меня его лицо озаряет счастливая улыбка, и мое сердце тает. (Кажется, в этот момент в моей душе зародилось ответное чувство.) Я что-то лепечу о том, как перепутала время, а он только улыбается.

За обедом Ким спросил, смогу ли я уделить ему время для уроков русского языка. Я согласилась, и он деловито и серьезно стал составлять график наших занятий… которых так и не последовало.

Я чувствовала себя *с ним* непринужденно и с легкостью приняла приглашение на чай. Мы сидели и разговаривали на кухне в его квартире. После чая появился коньяк. Было по-домашнему уютно, как будто на этой кухне я бывала много раз. Ким даже пошутил, что пригласил меня на чай, а я, кажется, собираюсь остаться на ужин. Отведать ужина мне не довелось, хотя мы засиделись дотемна. Ким снова предложил мне руку и сердце. Теперь я уже была во власти его обаяния: в нем ощущались сила, уверенность и надежность в сочетании с необычайной деликатностью. На этот раз его предложение не показалось мне столь абсурдным, как раньше, и я приняла его. Это было 12 августа 1970 г. — день, ставший знаменательным для нас обоих.

Через несколько дней Ким пригласил на ужин меня, а также семейство Блейков и своего куратора Святослава — сотрудника КГБ. (Стоит особо остановиться на тех людях, которых я условно называю «кураторы». О них я расскажу в отдельной главе.) Ким торжественно объявил меня хозяйкой и усадил во главе стола. Это звание было чисто символическим, так как все угощение он приготовил сам. Пытаясь соответствовать отведенной мне роли, я относила освободившиеся тарелки на кухню.

На этот раз мне было неуютно под сверлящим взглядом Святослава. Он рассматривал меня настороженно и недоброжелательно, как человека «со стороны». Я не имела никакого отношения к КГБ, и мое появление в доме Кима было неожиданным и нежелательным для куратора, в чем впоследствии он признался. Ким, напротив, всячески подчеркивал свое расположение ко мне. Напоследок он окончательно смутил меня, подарив на виду у всей компании льняную скатерть, привезенную из Вологды, и бутылку из-под виски с соком черной смородины собственноручного приготовления.

Мы стали часто встречаться, и Киму хотелось, чтобы я переехала к нему. Я все еще не была готова изменить уклад своей жизни — для меня события развивались слишком стремительно. Поэтому, даже приняв предложение Кима, я намеревалась большую часть времени проводить в своем прежнем доме. Ким не

оказывал на меня давления и соглашался на все мои условия, но неожиданно для себя всего месяц спустя я поселилась у Кима, и только иногда мы наведывались в мою старую квартиру.

В новую жизнь я вошла легко и естественно. Вместе с тем перспектива «породниться» с КГБ даже косвенно, через Кима, мало радовала меня. Я относилась к тому большинству, у кого эта организация вызывала вполне, определенные ассоциации. Как и многие люди моего поколения, я испытывала генетический страх перед всесильным НКВД — КГБ, хотя сама впрямую не сталкивалась с его представителями. Благодаря Киму я познакомилась с некоторыми его сотрудниками — людьми достойными и интересными, а также и с не очень приятными, что естественно для любой организации. И должна признать, что впоследствии это «родство» не доставило мне особых неприятностей, но и игнорировать его я не могла.

Поначалу принадлежность Кима к КГБ меня несколько настораживала. Я не испытывала благоговения перед Кимом как перед знаменитостью не только потому, что мне не свойственно это чувство, но прежде всего потому, что я в полной мере не представляла, кто такой Филби. До нашей встречи я просто не подозревала о его существовании, как и большинство моих соотечественников. В Советском Союзе он постоянно жил в атмосфере строгой секретности со времени своего приезда в 1963 году. Насколько Филби был знаменит на Западе, настолько неизвестен здесь. Только в 1967 году в газете «Известия» появилась статья «Здравствуйте, товарищ Филби!» — единственная прижизненная публикация о нем (и ту я, кстати, не читала). Тогда в редакцию газеты пришли десятки восторженных писем, которые передали Киму. Он хотел поблагодарить читателей через газету, но ему почему-то отказали в этом.

Что касается меня, то профессию разведчика я не окружала романтическим ореолом, скорее испытывала к ней некоторое предубеждение. Когда Ким сделал мне предложение, я поделилась своими сомнениями с близкой подругой, и та ответила мне со свойственной ей иронией:

— Ну и что из того — мы же любим детективные истории.

Но стоило мне сблизиться с Кимом, как я забыла о своих сомнениях. Живя с ним бок о бок, трудно было помнить о его шпионском прошлом. Я никак не могла связать этого мягкого, в чем-то беспомощного человека с образом легендарного разведчика. Этот образ запечатлен в многочисленных документальных и художественных произведениях преимущественно английских авторов. Помимо этих книг, целиком посвященных Филби, которые занимают большую полку

в его кабинете, имя «Ким Филби» часто мелькало на страницах английских газет и журналов и даже упоминалось в тех триллерах, что я читала по-английски.

На самом деле о московской жизни Кима ничего не было известно, и это вызывало самые нелепые домыслы, часто совершенно противоположные. На Западе либо писали, что он живет в нищете, полностью забытый и заброшенный, либо утверждали, что он купается в невероятной роскоши.

«Как я понимаю, спектакль с участием Гиннесса посвящен моей жизни в Советском Союзе.

Удивительно, что такой актер, как Гиннесс, позволил себе пойти на явную фальшивку, явную потому, что никто, даже мои дети, ничего не знают о моей жизни. Собственно, год для меня начинается ще-то в середине сентября, когда все мои коллеги возвращаются после летних отпусков. Я упорно тружусь до середины мая, лишь с двухнедельным перерывом в январе или феврале, который я провожу в более южных краях, в Советском Союзе или за его пределами. Затем в середине мая мы, как правило, отдыхаем положенные 24 дня в санатории в Крыму. Нас селят в номере «люкс» (в моем возрасте это, вероятно, позволительно?), и доктора теперь уже знают, что мы парочка психов, которые не любят быть объектом внимания медиков. А потому они оставляют нас в покое, и мы вволю катаемся на катерах наших коллег-пограничников. Потом — назад, в Москву, на несколько недель спазматической работы, которая зависит от присутствия или отсутствия коллег. Конец лета мы проводим в той или иной дружественной стране, частично — у воды (у моря, озера или на реке), частично — в горах. Никакой чепухи типа веревок и крючьев — просто мы шагаем осторожно, ставя одну ноту впереди другой. И наконец, в сентябре все начинается сначала.

...Лично я считаю, что на данный момент достаточно выставлялся, хотя, в общем-то, мне это безразлично. Куда серьезнее я отношусь к, по-видимому, неизбежному обвинению в том, что все, о чем бы я ни говорил или ни писал, продиктовано моими коллегами. Безусловно, есть вещи, которые я не могу да и не стану обсуждать. Но обремененный годами, почестями и более сложным грузом богатейшего материала, я достаточно опытен, чтобы самому решать, что именно можно обсуждать, а что нельзя, и, главное — как обсуждать. Поверишь ли ты этому или нет, твое дело. Но у меня нет оснований вводить в заблуждение старых друзей, в честности которых я не сомневаюсь», — писал Ким 26 ноября 1977 г. своему старинному другу Эрику де Мони, многолетнему корреспонденту московской службы Би-Би-Си.

Между тем сам Ким не стремился к популярности и отвечал отказом на многочисленные предложения иностранных журналистов. Впервые, уже в последний год своей жизни, он согласился дать интервью английскому журналисту Филиппу Найтли, который добивался этой встречи в течение нескольких лет. Вскоре Ким принял участие в документальном телевизионном фильме, посвященном Грэму Грину, и незадолго до своей кончины выступил на латвийском телевидении.

Книга Филби «Моя незримая война» была написана в Москве в 1968 году и тогда же опубликована в 11 странах, но… не в Советском Союзе. О всех перипетиях, связанных с этим изданием, подробно рассказал коллега Кима Станислав Рощин в газете «Советская молодежь — сегодня», выходящей в Риге на русском языке. Привожу выдержки из этого интервью.

«…Он писал свою книгу с большой заинтересованностью, полностью самостоятельно и придавал этому обстоятельству большое значение. Ему важно было рассказать о своей позиции, своей работе.

К этому надо добавить следующее. За полгода до выхода книги появились обширные публикации в Англии, по-моему, в «Обсервер» и «Санди таймс», с результатами журналистских расследований, связанных с Филби. Журналисты, упорно работая в течение года, подготовили колоссальный материал о нем…

Далее события приняли драматический характер. В Англии существовал как бы неофициальный комитет, который выполнял ту же роль, что и наша официальная цензура… Представитель комитета попросту собирал главных редакторов массовых изданий и говорил им примерно так: «Джентльмены, вот об этом событии было бы желательно не писать…»

Комитет запретил публикацию материалов о Киме Филби. И впервые в истории эти две газеты взбунтовались и опубликовали свои очерки… Позже, уже в связи с книгой Филби, погорел министр иностранных дел Англии Браун. Еще до ее выхода в свет в Америке, когда об этом стало известно, Браун выступил на обеде газетных магнатов, где официально заявил, что если в Англии кто-нибудь посмеет издать книгу или станет ее распространять, то будет привлечен к ответственности по закону «О государственной тайне».

…Еще до скандала с министром, когда книга была написана, перед нами встал вопрос о ее публикации… Сейчас не припомню, но то ли из «Обсервер», то ли из «Санди таймс» поступило предложение издать книгу у них (в Англии. — *Р.П.-Ф.'*). Мы не возражали. Однако через некоторое время пришло письмо с извинениями, где сообщалось о невозможности опубликования

ими книги. Тогда мы по своим каналам связались с одним крупным парижским издательством. Его представитель приехал сюда, договорился об условиях, заключил договор с Кимом. Ждем.

Вдруг совершенно неожиданно французы сообщают, что продали права на книгу некоему американскому издательству…

Однако самое драматичное вмешательство произошло с совершенно неожиданной стороны, когда все наши опасения уже были позади и до выхода книги на прилавки магазинов Америки оставалось буквально несколько дней. Меня вызвало начальство и, поинтересовавшись, какова ситуация с книгой, вдруг заявило: «Надо все остановить!» Для меня, естественно, это было как гром среди ясного неба. Мне поясняют, что в Будапеште только что закончилось Международное совещание руководителей компартий, в ходе которого тогдашний председатель компартии Великобритании Джон Галлан обратился к Михаилу Суслову — второму лицу в КПСС — и сказал, что им известно о готовящемся в Америке издании книги Филби и что эта публикация нанесет ущерб английской компартии. Поэтому он просит не допустить ее публикации.

Суслов, вернувшись в Москву, тут же отдал соответствующее распоряжение, не поинтересовавшись даже, зачем и почему издается книга. Все мои попытки привести какие-то доводы, в том числе и то, что придется заплатить колоссальную неустойку за нарушение контракта, естественно, ничего не дали.

…После тяжких раздумий я принял рискованное решение: пришел к начальству и сказал, что поздно что-то предпринимать — книга уже вышла. Все там, конечно, прекрасно понимали, что это неправда, но, поскольку сами в душе разделяли мое чувство, спокойно отреагировали: "Хорошо, так и доложим Суслову”».

В 1972 году книгу выпустили в Чехословакии и Болгарии, также опередив нас. Подготовка этих изданий вдохновила Кима на написание новой книги. Однажды он сказал: «Моя вторая книга будет начинаться с твоего имени». Вскоре, в начале 1972 года, он показал мне первую главу. Это были воспоминания детства, которые начинались словами: «Руфина сказала мне…» Тем временем русское издание книги «Моя незримая война» откладывалось по разным причинам. Эти проволочки охладили творческий порыв Кима, и первые пятнадцать страниц будущей книги так и не нашли продолжения.

Только в 1978 году книгу решили издать в Москве. Как обычно, началась спешка. Я редактировала русский перевод, и нам даже пришлось из-за этого отложить намеченную поездку. Неожиданно издательский процесс приостановился. Объяснялось

это политической ситуацией, а именно сложными отношениями между компартиями СССР и Великобритании. Такое объяснение звучало по меньшей мере странно, поскольку в самой Англии книга вышла в 1968 году и переиздавалась много раз. В то же время вызывало возражение и содержание книги. Автору ставилось в вину то, что в нормальных условиях считалось бы заслугой. «Объективизм!!!», «объективистское суждение!» — возмущался один из тех, кто принимал решение об издании книги. Такими заметками были испещрены поля рукописи.

В конце концов в начале 1980 года «Моя незримая война» на русском языке увидела свет. Издательство «Воениздат» выпустило ее тиражом в 100 тысяч экземпляров. Книга была напечатана на газетной бумаге и выглядела невзрачно. Она разошлась в узком кругу, не дойдя до широкого читателя. Не появились на прилавках магазинов и последующие два издания.

Полулегальное положение Кима обязывало и меня «уйти в подполье». Прежде чем перебраться в новую квартиру, я устроила прощальную вечеринку для старых друзей, утаив от него это событие (с тех пор у меня больше не стало секретов от Кима). Собралось человек пятнадцать. Они пришли 1 сентября, чтобы по старой традиции отметить мой день рождения, и никто тогда не подозревал, что я прощаюсь с ними. Мою тайну я доверила только самым близким друзьям, которых впоследствии познакомила с Кимом, и они стали регулярно бывать в нашем доме. С остальными друзьями и знакомыми мне пришлось прекратить отношения, оставив их в недоумении. Я вынуждена была скрывать имя своего мужа и новый адрес. Одни пытались разыскивать меня, другие обиделись.

Здесь невольно напрашивается параллель с потерей друзей Кимом, о чем он пишет в своих биографических заметках. Когда в ЗО-е годы его завербовала советская разведка, ему пришлось играть определенную роль, демонстрируя крайне правые взгляды, и старые друзья от него отвернулись. Кое-кто на Западе считает, что Ким получал удовольствие от своей «игры» и, втайне посмеиваясь и злорадствуя, наслаждался этим обманом. Могу утверждать, что эти предположения совершенно беспочвенны. Ким часто говорил, что самое трудное в его профессии — необходимость идти на обман. И ему, человеку необычайно честному и правдивому, это было особенно тяжело. Он очень ценил дружбу и глубоко переживал свое вынужденное предательство.

Разумеется, мои неприятности не идут ни в какое сравнение с тем, что пришлось пережить Киму. Я была полностью поглощена им и уже этим счастлива, к тому же сохранила самых близких

друзей. В отличие от Кима, мне не пришлось надевать маску, и от меня никто не отвернулся. И все-таки мне было досадно обижать тех, кому я уже не могла уделить внимание.

ПОД КОЛПАКОМ

Я уже упоминала о реакции Святослава на мое «вторжение» в жизнь Кима. Сам Ким не рассказывал мне, как в КГБ отреагировали на его заявление о женитьбе. Думаю, что это не вызвало там восторга — вряд ли меня сочли достойной кандидатурой на роль жены Филби. Прежде всего из-за моих контактов с диссидентами, которые не могли остаться незамеченными бдительными сотрудниками КГБ.

Правда, контакты эти были самыми невинными и носили случайный характер, никакого участия в политической деятельности я не принимала.

Так случилось, что друзья и родственники моих близких друзей, в доме которых я часто бывала, стали диссидентами. Там мы и познакомились. В этом гостеприимном доме всегда собиралось большое интересное общество. Но это были не политические сходки, а дружеские посиделки, иногда литературные вечера, где гости читали свои стихи или произведения любимых поэтов. Так, мне посчастливилось быть среди приглашенных на незабываемом домашнем вечере, где Александр Галич выступал со своими песнями перед самым отъездом в эмиграцию. Было грустно наблюдать, как сужался круг друзей — одни эмигрировали, другие уходили в никуда. Большинство из них вынужденно покидали свою страну, поставленные перед выбором: либо на Запад, либо в ГУЛАГ.

Несмотря на то что мои контакты с диссидентами ограничивались застольными беседами, сам факт этого общения был компрометирующим с точки зрения сотрудников КГБ. Мои друзья регулярно снабжали меня запрещенной самиздатовской литературой, которую я читала на глазах у Кима, а он хорошо понимал, что за это можно угодить в тюрьму. Тем не менее он выписал для меня из-за границы собрания сочинений Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, в то время опальных, а также запрещенного Гумилева и для себя трехтомник Солженицына (тоже запрещенного) на английском языке и очень удивился, что книги благополучно дошли до нас по почте.

— Только никому не показывай, — сказал он, вручая мне книги, а своего Солженицына держал на книжной полке, на виду.

Разумеется, я не могла оставаться равнодушной, зная о

гонениях и преследованиях диссидентов, что называется, из первых рук, и делилась этими впечатлениями *с* Кимом. При всей симпатии к диссидентам Ким был достаточно здравомыслящим и осторожным в своих высказываниях. Он не боялся за себя, но опасался, что его «вольнодумство» отзовется на мне, понимая, насколько злопамятна организация, с которой он связал свою судьбу.

— Я боюсь осложнить твою жизнь, поэтому не всегда поступаю так, как следовало бы, — говорил он, сдерживая мой пыл.

Однажды Кима привезли домой после встречи с Андроповым на банкете («Он был человеком, который задавал много вопросов и действительно слушал ответы», — писал Ким Грэму Грину 13 октября 1984 г.), и участники банкета продолжали праздновать у нас это событие. Через некоторое время появились два молодых генерала — В.К. Крымов и О.Д. Калугин. Как оказалось, они непосредственно руководили операцией по выдворению из страны Солженицына (это случилось в феврале 1974 г.) и прибыли к нам прямо из Шереметьево. Генералы были в радостном возбуждении и предложили тост за успешное завершение этого мероприятия. Я застыла с рюмкой в руке и уже открыла рот, чтобы высказаться, но Ким метнул на меня испуганно-предостерегающий взгляд, и я промолчала.

О. Калугин впервые появился у нас дома в 1972 году. Он отличался от большинства сотрудников КГБ свободной формой общения, критическими высказываниями в адрес членов ЦК КПСС и Политбюро. Вместе с коллегами Калугин навещал нас по большим праздникам. Среди наших посетителей выделялся не только свободой мышления, но и своей эрудицией М.П. Любимов (теперь он известный писатель). Ким получал удовольствие от общения с ним. Потом, когда Любимов работал в Дании, у них завязалась оживленная переписка.

Самым знаменательным днем для Кима было 27 января — день приезда в Советский Союз. Гости обычно являлись без приглашения — просто ставили нас перед фактом, сообщая о своем визите. Кима такая манера очень удивляла, как и то, что нас никто (из сотрудников) не приглашал к себе в гости, за исключением супругов Калугиных, у которых мы побывали дважды.

Праздничные визиты Калугина продолжались до 1980 года — до его «ссылки» в Ленинград, и их можно пересчитать по пальцам. Результатом этих визитов, по-видимому, и стали воспоминания о Киме в книге О. Калугина «Первое управление». Не могу судить о достоверности всего произведения прежде всего потому, что мне

достаточно было ознакомиться с главой, посвященной Киму, чтобы потерять всякое желание читать дальше. В связи с этим мне вспомнилось высказывание Кима о книге одного американского писателя: «Такие книги опасны. Они содержат 25 процентов важных фактов, 25 процентов незначительных фактов, 25 процентов несущественных искажений, 25 процентов абсолютной неправды. Беда в том, что, если читатель не знает предмета лучше, чем автор, он не может сказать, что есть что».

К последним 25 процентам следует отнести те события, непосредственной участницей которых, по словам Калугина, была я. Описание его первого визита к нам — вымысел от начала до конца. Проблема алкоголизма действительно существовала, и я сама пишу об этом, но мы с Кимом справились с этим еще до знакомства с Калугиным. Таким, каким он изобразил Кима, никто не мог его видеть в мою бытность с ним. Мало того, что Калугин пишет небылицы, он еще щедро «цитирует» меня.

Эпизод с мебельным гарнитуром, купленным с помощью Калугина, фальшив до приторности. Достаточно было хоть немного знать Кима, чтобы понять, как мало значили для него материальные ценности (кстати, сам Калугин упоминает об этом). И снова приходится повторять, что «мой рассказ» здесь — чистый вымысел. Непонятно, зачем автору понадобилось даже реальные факты опутывать паутиной лжи. Такой вымысел был бы оправдан в художественном произведении, но этот труд считается документальным.

Несомненно, в то время О. Калугин сыграл положительную роль в жизни Кима (исполняя ли приказ сверху или по своей инициативе), привлекая его к активной деятельности, улучшая бытовые условия.

…А в тот февральский день 1974 года В. Крымов, с которым я встретилась впервые, разглядывал меня с доброжелательным любопытством. Обворожительно улыбаясь, он сказал:

— Интересно наконец-то познакомиться *с* тобой — до сих пор я изучал тебя только по бумагам.

Я, конечно, могла предполагать, как тщательно изучается моя подноготная, хотя и старалась не думать об этом. Но одно дело — предполагать и совсем другое — услышать такое откровение, от которого у меня холодок пробежал по спине.

Ким постоянно ожидал со стороны КГБ каких-то неприятностей, был уверен, что получит выговор по поводу моих «неблагонадежных» друзей. Каждый раз, когда куратор предупреждал о своем визите по телефону, Ким мрачнел. В ожидании прихода гостя он нервно ходил из угла в угол, сосредоточенно глядя в пол. После ухода куратора я

обеспокоенно спрашивала Кима:

— Ну, что он сказал?

— Мы обсуждали только профессиональные проблемы, — обычно отвечал Ким.

Теперь я допускаю, что он мог утаить от меня неприятную беседу для моего же блага и покоя.

Обычно Ким со своими коллегами закрывался в кабинете, откуда не доносилось ни звука. Но однажды я услышала неожиданно резкий гневный голос Кима. Он не только кричал, но еще и стучал кулаком по столу. Дверь — кабинета распахнулась, и оттуда выскочил куратор с перекошенным от злости лицом и пылающими ушами. А разъяренный Ким, захлопнув за ним входную дверь, носился по квартире и бушевал:

— Они хотели, чтобы я *это* подписал!

' Это было письмом, обличающим диссидентов.

В таком состоянии я видела Кима впервые.

Среди советских людей, в большинстве своем критически относившихся к существовавшему режиму, оказался лишь ничтожный процент тех, кто решился на открытый протест, — горстка отважных диссидентов. Основная масса ограничивалась критикой на кухне, пересказывая политические анекдоты и изливая душу друг другу. Тогда мало кто верил в возможность перемен.

И я, сталкиваясь с недостатками нашей жизни, выливала свое возмущение на Кима. А он не умел выпускать пар в кухонных беседах и эту боль носил в себе. Человек дела, он не видел смысла в пустых разговорах:

— Что толку болтать, надо действовать!

Он переживал так, как будто чувствовал свою ответственность за все пороки, присущие советскому строю, тяготился своим бездействием и вместе с тем понимал, что новые потрясения ему не по силам:

— Я слишком стар, чтобы начинать все сначала.

Наблюдая за переживаниями Кима, я себя корила, что своими высказываниями посыпаю его раны солью, и в дальнейшем старалась сдерживаться и не задевать болезненную тему. По существу, у нас не было предмета спора: Ким все понимал не хуже меня и обычно обрывал поток моих эмоций:

— Я все знаю.

Зато при встречах с сотрудниками КГБ он открыто высказывал свое мнение:

— Вам следовало бы бороться с настоящими преступниками вместо того, чтобы преследовать диссидентов.

Мне особенно запомнился один вечер с М.П. Любимовым,

когда мы с жаром говорили об антисемитизме, диссидентах, Солженицыне, обо всем, что наболело. Мы с Кимом нападали на Любимова, а он с трудом отбивался. При всем желании не кривить душой он не мог тогда признать жестокой правды. Пытаясь балансировать между истиной и служебным долгом, такими несовместимыми в то время понятиями, он не на шутку рассердился и выскочил из-за стола со словами:

— А я-то здесь при чем?!

Ким, продолжая атаковать, не щадил и себя:

— И ты виноват, и я, мы оба виноваты!

Ким так же откровенно высказывался и в своих письмах. 2 января 1980 г. он напишет Грэму Грину:

«Я боюсь, что перед нами трудный год. У меня нет веры во второе пришествие, я не верю в советскую угрозу Европе, я не верю в угрозу НАТО Советскому Союзу (хотя я верю, что возобновятся усилия отделить наших союзников от Варшавского договора). Но я думаю, мы проведем большую часть года, говоря и делая мерзости друг другу, пока не кончатся разные выборы, таким образом отвлекая энергию и способности от конструктивных целей.

Тогда, в 1981 году, с новыми лидерами или со старыми лидерами, почувствовавшими облегчение после перевыборных волнений, мы сможем снова взяться за серьезные дела. А пока много невинных людей пострадает и умрет от голода. Такие дела.

…Когда ты опять купишь «Правду» в своем местном киоске, ты увидишь, что я выражаю мои личные взгляды (если в самом деле это можно назвать взглядами), но отнюдь не правительственные».

В наших с Кимом политических дискуссиях обычно я была нападающей стороной, а он, не желая подливать масла в огонь, старался меня утихомирить. Пытался что-то оправдать, чему-то найти объяснение. Не находя весомых аргументов в споре, говорил:

— Там, у нас (имея в виду Запад), тоже не все так хорошо, как кажется отсюда.

Я на это заметила:

— Теперь тебе следует говорить: там — у них, здесь — у нас.

Он закивал с улыбкой:

— Ты права, — и больше никогда не ошибался.

А я на этом не успокаивалась и продолжала не без ехидства:

— Но то, что естественно для их, буржуазной, морали («их нравы»), недостойно нашей, коммунистической.

Однажды в пылу спора я бросила:

— Ты разговариваешь со мной как передовица «Правды».

Такое сравнение его очень обидело, тем более что он сам часто повторял в шутку: «Нет правды в "Известиях", как нет известий в "Правде"». Тогда мне показалась слабой аргументация Кима, послышалась фальшивая нота в его ответах, и у меня непроизвольно вырвалось то, о чем старалась не думать:

— Может быть, нас подслушивают?!

Ким ничего на это не ответил, только посмотрел на меня долгим взглядом.

В то время мне казалось, что ему следовало предупредить меня о подслушивании, если он знал или подозревал об этом. Теперь я понимаю, что Ким поступил мудро, не посвятив меня в эти грязные игры. Он слишком хорошо знал мой взрывной характер и мог представить себе мою реакцию на такое открытие. Я бы не смогла спокойно жить, помня о постоянном наблюдении. В то же время я не способна была взвешивать свои слова в расчете на чьи-то заинтересованные уши и просто не выдержала бы такого напряжения. Думаю, что Ким, как и я, старался не думать об этом.

Но тогда я не могла успокоиться и через некоторое время снова спросила, знает ли он, что наша квартира прослушивается. На этот раз он сказал:

— Не знаю, а если нас и подслушивают, то мне на это наплевать!

В другой раз, когда я затронула волновавшую меня тему, Ким заметил:

— Вся процедура настолько сложная и дорогостоящая, что вряд ли в этом есть смысл.

Тем не менее, вопреки здравому смыслу, наша квартира прослушивалась, о чем мне стало известно много лет спустя. Здесь логика подвела Кима, поскольку, как поется в нашей патриотической песне, «мы за ценой не постоим». Подтверждение тому я получила от бывшего сотрудника КГБ, работавшего с Кимом в 70—80-е годы. Навестив меня после событий августа 1991 года, он спросил:

— Как вы думаете, ваша квартира теперь не прослушивается?

Я буквально подпрыгнула от возмущения:

— Мне бы следовало спросить об этом вас. А раньше она прослушивалась?

— Конечно, и Ким знал об этом.

Мои друзья также напомнили мне, как Ким многозначительно показывал пальцем вверх, на люстру, когда наша беседа переходила опасную черту.

Если у меня и оставались некоторые сомнения в том, что наша квартира прослушивалась, то их окончательно развеял наш

бывший куратор Владимир. Он намного дольше, чем другие, состоял при Киме и был отлучен лишь после того, как Калугина, возглавлявшего контрразведку, перевели на работу в Ленинград. Кстати, *и* Калугин в своей книге «Первое управление» упоминает о том, что *и* телефон, и квартира Кима прослушивались, как о чем-то само собой разумеющемся.

Может быть, эту аппаратуру так и забыли отключить?

Владимир предложил мне встретиться у памятника героям Плевны, недалеко от Лубянки. Прошло 14 лет со времени окончания его работы с Кимом, и теперь он пенсионер. Мы сидели на бульваре, греясь в лучах солнца уходящего лета, и я с интересом слушала рассказ Владимира.

— Он подставил меня под технику, — в сердцах сказал Владимир о своем непосредственном начальнике, по воле которого оказался объектом слухового наблюдения заодно с нами. Этот начальник, другой куратор, тоже Владимир, был с Кимом на дружеской ноге, часто бывал у нас в гостях с женой. Он же со своей дочкой сопровождал нас, когда мы вчетвером с Кимом, Джоном и его женой путешествовали по Волге. Тогда и Джон проникся к нему большой симпатией. Можно сказать, мы дружили семьями.

Не от избытка ли дружеских чувств к Киму Владимир и подключил нашу квартиру к подслушивающей аппаратуре?

Мой собеседник поведал мне и о том, как в середине 70-х годов было принято решение присвоить Киму звание генерал-лейтенанта. Владимир сам отнес соответствующий документ начальнику отдела кадров Г. Е. Агееву, который лично знал Кима. С ним мы познакомились в Иркутске в 1971 году, когда впервые посетили Сибирь. Тогда Агеев был председателем КГБ по Иркутской области и встречал нас как гостеприимный хозяин. Через год его перевели в Москву, где он стал секретарем партийной организации КГБ, а затем и начальником отдела кадров. Иногда Агеев по старой дружбе звонил нам, предупреждая, что «забежит на чаек».

Как рассказывал Владимир, Агеев должен был направить представление Филби на генеральское звание на подпись к Андропову (тот Кима обожал, по выражению Владимира). Но наш добрый друг почему-то этого не сделал, и бумага никуда не пошла.

В 1993 году «Литературная газета» опубликовала выдержки из досье Филби, где утверждалось, что он имел звание полковника. На самом деле никакого воинского звания ему присвоено не было. Надо признать, что Киму это было совершенно безразлично.

Мы с Владимиром все еще сидели на лавочке, беседуя, когда он неожиданно прервал свой рассказ, указывая на пожилого лысоватого мужчину в темном плаще.

— Ты узнаешь его?

— Нет, не узнаю.

— Это же Крючков. Он каждый день здесь гуляет.

Тот неспешно прогуливался по бульвару, с безмятежным видом поглядывая по сторонам, как будто не было ни августа 91-го, ни «Матросской тишины». И все-таки, несмотря на эфемерность нашей демократии, кое-что изменилось даже в сознании сотрудников КГБ. Пока Крючков восседал в своем кабинете, трудно было представить себе, что возможны такие откровения, которые я услышала в тот день от нашего куратора (хотя и бывшего). Тем не менее даже теперь, будучи пенсионером и ничем не рискуя, он меня предупредил:

— Имей в виду, в случае чего я откажусь от своих слов — у тебя же нет магнитофона.

Поэтому я и не называю полного имени нашего Владимира и привожу лишь некоторые отрывки из его рассказа.

НАЧАЛО СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Наше формальное бракосочетание состоялось лишь в декабре 1970 года, так как Киму пришлось менять просроченный паспорт, а также дожидаться в соответствии *с* советским законодательством истечения трехмесячного «испытательного срока». Считалось, что за это время вы способны принять окончательное решение либо успеть отказаться от него. Нашими свидетелями в ЗАГСе были кураторы Кима — Святослав и Валентин. Это событие мы отметили дома в кругу моей семьи, пригласив Блейков и кураторов. Получили свадебный подарок от КГБ — английский сервиз фирмы «Минтон».

По утрам Ким провожал меня на работу до самых дверей и вечером встречал. Это, естественно, вызывало любопытство моих сослуживцев, и мне было неловко. В мое отсутствие Ким, страдая от одиночества, прикладывался к бутылке. Когда меня отправили в командировку в Ленинград, он с радостью поехал со мной. Ким очень любил этот город и даже не прочь был переселиться туда. Провожая меня к месту работы, он собирался показать мне дом, в котором ему хотелось бы поселиться. Мы приближались к «его» дому, и он показывал мне окна, обращенные в Летний сад… Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что Ленинградский филиал ЦЭМИ расположен в этом самом доме,

так полюбившемся Киму.

Работы у меня было немного, и мы вдоволь налюбовались Ленинградом за пять дней моей командировки.

Я понимала, как необходимо Киму мое постоянное присутствие, и всегда волновалась за него, уходя на службу. Работа не приносила мне творческого удовлетворения, да и зарплата в 140 рублей не имела большого значения на фоне 500, а затем и 800 рублей, которые получал Ким. Поразмыслив, я вскоре покинула ЦЭМИ к великой радости Кима. К тому времени — февралю 1971 года — мой непрерывный трудовой стаж приближался к 23 годам, и я с чистой совестью могла дожидаться заслуженной пенсии до 1987 года.

Мою свободу — уход с работы — мы отметили поездкой в Дубну, куда отправились вместе с Блейками, прихватив лыжи. Там была приличная по тем временам и нашим стандартам гостиница, построенная для физиков-ядерщиков. Ресторан был тоже неплохой, и мы решили поужинать там и отдохнуть *с* дороги. Ким не любил шума и, как обычно, выбрал столик подальше от оркестра. Стоило ему ненадолго отлучиться (к телефону, объяснил он), как меня пригласили на танец. Ида с Джорджем последовали за мной.

Когда, передвигаясь в танце, мы с партнером оказались спиной друг к другу, я увидела разъяренного Кима. Он протянул руку и одним движением выдернул меня из круга танцующих. Мой ничего не подозревавший кавалер упоенно продолжал танцевать. Очнувшись и обнаружив мое отсутствие, он подошел к нашему столу и стал выяснять с Кимом отношения. Ким очень коротко, но убедительно послал его куда-то по-английски, и тот, как ни странно, понял и покорно удалился. Тогда эта мальчишеская выходка меня просто позабавила.

Утром отправляемся на лыжную прогулку. Пока мы с Кимом возимся с креплениями, Джордж с Идой исчезают за поворотом, оставив пару лыжных палок рядом с нами. Я спрашиваю Кима, что делать: то ли забрать их с собой, то ли ждать, когда за ними вернется хозяин? Ким не удостаивает меня ответом. Он всегда всецело поглощен одним-единственным делом, даже если это завязывание шнурков.

Я вижу вдалеке одинокую фигуру, но не могу разобрать, в каком направлении она движется. Ким сосредоточенно пыхтит, никак не реагируя на мое мельтешение. Наконец я различаю голубую шапочку Джорджа. Он приближается, забирает свои палки, и я успокаиваюсь. Тем временем Ким выигрывает битву с креплениями. Мы проходим несколько километров, и тогда он вопрошает:

— Кстати, что это за история с палками?

Теперь моя очередь замолчать.

Ким был настолько великодушен, что за 18 лет нашей семейной жизни я получила от него всего два замечания и запомнила их дословно. Это было в первые месяцы после нашей свадьбы. Он купил мне красивый стеганый халат, который был наряднее любого из моих платьев, и мне не хотелось его снимать. Увидев меня в этом одеянии в полдень, Ким сказал:

— Даже такая леди, как ты, не может себе позволить ходить в подобном виде среди дня.

Примерно в то же время я получила второе замечание. Но если первое было заслуженным, то второе. — неспра-ведаивым и очень меня обидело. Это случилось у Блейков, где находились также Валентин с женой и Святослав. Две пары танцевали в смежной комнате, а мы с Кимом и Святославом оставались в другой. Повисла неловкая пауза, и я, чтобы нарушить молчание, спросила Святослава, как он относится к танцам. Он не успел ничего сказать, так как за него ответил Ким:

— Неприлично приглашать мужчину танцевать.

Этого у меня и в мыслях не было. Я выскочила из комнаты как ошпаренная и убежала домой в слезах. (Вообще первое время жизни с Кимом мои глаза частенько бывали на мокром месте: наверное, сказывалось нервное напряжение.)

Тогда я не понимала, что такому поведению Кима есть простое объяснение: он был очень ревнив и даже столь невинное занятие, как танцы, воспринимал болезненно. Ему понадобилось некоторое время, чтобы убедиться в моей преданности и успокоиться.

Однажды в Праге, примерно через год, возникла аналогичная ситуация. Я сидела в ресторане в компании Кима, нашего шофера и телохранителя. Мне надоело наблюдать, как мужчины поглощают свое пиво, и я приняла приглашение на танец. Мой партнер, молодой чех, повторил свое приглашение, безошибочно обращаясь к Киму. Танцевал он чопорно и безмолвно, только уточнил, кто мой муж. Тем более было странно, когда после третьего танца мой кавалер, не спросив меня, обратился к Киму за разрешением пригласить меня за стол, где сидела его компания. Это было слишком, и Ким, который внешне держался спокойно, затеял с ним длинный диалог, вернее монолог, на разных языках:

— Do you speak English?

Чех пожимает плечами.

— Вы говорите по-немецки?

Мотает головой.

— По-французски? По-испански? По-итальянски?

Тот стоял и краснел, как школьник, не выучивший урок. Этот допрос закончился английским словом, очень коротким, но настолько выразительным, что смысл его оказался понятен чеху, как и тому русскому в Дубне.

В молодости я обожала танцы, но Ким постепенно отбил у меня охоту к ним. Последний раз я танцевала дома в компании старых друзей. Передвигаясь в паре с моим бывшим постоянным партнером, тоже большим любителем танцев, я поймала на себе косой укоризненный взгляд Кима, который пригвоздил меня к полу. Тот танец стал для меня последним. Но это была не очень дорогая плата за мир в доме. Кстати, однажды в Венгрии я увидела, что Ким прекрасно танцует, когда его пригласила, вернее вытащила, одна настойчивая дама. Меня он, однако, ни разу не осчастливил, считая это занятие слишком легкомысленным.

Когда я переехала к Киму, он по-деловому обрисовал мне свое материальное положение. Гонорар за свою книгу он получал в виде чеков серии «Д» (один такой чек равнялся пяти долларам). Увы, его валюта к тому времени была на исходе, и он уповал на пять тысяч долларов, которые ему была должна Мелинда. Не вникая в детали, я тут же бросила:

— Об этом надо забыть.

Он возмутился и даже обиделся:

— Я не имею в виду те деньги, которые давал ей. Эту сумму она взяла в долг для сестры и обещала вернуть сразу, как только получит дивиденды со своего капитала.

Вскоре он позвонил Мелинде, чтобы сообщить о своей женитьбе. Они договорились, что он вернет ее вещи. Мы вместе подъехали на такси к ее дому у Смоленской площади. Ким вышел, а я отправилась куда-то по своим делам.

Домой он вернулся в хорошем настроении, с чувством облегчения. Мелинда встретила его радушно, угостила кофе. Заметила, что, по-видимому, ему нужны деньги. Ким согласился. Она предложила ему двести чеков (тысяча долларов). Сказала, что это все, чем она пока располагает, и пообещала на днях вернуть оставшийся долг. Ким ответил, что это не настолько спешно и он готов подождать, но… не дождался.

В первые месяцы нашей совместной жизни Ким рассказал мне о своих отношениях с Мелиндой. Когда они познакомились, она жаловалась на Дональда, на свое одиночество. Ким был тоже одинок и предложил ей попробовать вдвоем избавиться от одиночества. Она согласилась и переехала к Киму, а от него часто звонила Дональду по телефону и говорила, что очень

соскучилась.

— И я, конечно, слышал это, — рассказывал мне Ким. Навещая Дональда, Мелинда то же самое говорила Киму по телефону. Надо было знать Кима, чтобы понять, каково ему было слышать это. Всецело отдаваясь своему чувству, он был вправе, на мой взгляд, ожидать того же от любимого человека. Это было проявлением не просто ревности, а скорее бескомпромиссности. Вскоре Мелинда получила собственную квартиру, куда могла уходить, когда его общество не доставляло ей удовольствия.

Однажды, прочитав о Киме очередную статью в английской прессе, я вслед за журналистом стала поддразнит вать его:

— Womaniser (дамский угодник).

Он на это очень серьезно ответил:

— У меня всегда была только одна женщина, — что звучало парадоксально (при его-то четырех женах!) только на первый взгляд.

В отличие от некоторых «примерных» мужей, проживших всю жизнь с одной женой, у Кима, насколько мне известно, не было параллельных связей.

Первый брак Кима можно считать фиктивным. Он сам называл его «политическим». Ким познакомился с Литци, австрийкой польского происхождения, в 1932 году в Вене, куда приехал по рекомендации французских коммунистов. В феврале 34-го они поженились, а в мае уехали в Лондон. Литци была членом Коммунистической партии Австрии, в то время нелегальной, и подвергалась преследованиям полиции. Только благодаря браку с Филби, получив британский паспорт и выехав из страны, Литци избежала ареста. Их брак оказался недолговечным. С отъездом Кима в Испанию в 1937 году пришел конец этому союзу.

В 1939 году, во время короткого отпуска в Лондоне, перед отбытием во Францию корреспондентом «Таймс», Ким познакомился с Айлин. Впоследствии она стала его женой и матерью всех пятерых детей.

Ким работал в Бейруте, когда получил известие о смерти жены. Айлин скончалась в Лондоне в 1957 году. Вскоре он женился на Элеоноре. Ей пришлось пережить его исчезновение из Бейрута в 1963 году. Элеонора дважды побывала у Кима в Москве, но в 1965 году они распрощались навсегда. В разрыве их отношений свою роль сыграла Мелинда. Элеонора уехала в Америку и там умерла в 1968 году.

Кто-то прилепил Киму ярлык соблазнителя Мелинды. Между тем ее брак с Дональдом распался еще в Америке, задолго до его отъезда в Москву. И все терялись в догадках, зачем она приехала

сюда с детьми. Трое детей, повзрослев и переженившись, при первой возможности уехали обратно. Вернулась в Америку и Мелинда, когда Дональд был уже смертельно болен. Наш общий куратор рассказывал, что Маклин умер в одиночестве, при нем оставалась только верная домработница…

При всей своей терпимости к людям Ким не мог скрывать неприязни к некоторым из них. Так случилось с Еленой, его домработницей, с которой я познакомилась, когда переселилась к нему. Ким мне сразу сказал, что она не только ленивый, но и неприятный человек, что ему хотелось бы избавиться от нее, но сам он не может решиться на этот шаг. Предполагалось, что она должна у него работать три раза в неделю по два часа. Но и эти встречи он с трудом выносил и, как только Елена появлялась, уходил со мной из дома.

По-детски радуясь, Ким рассказывал, как ему удается избегать Елену. Например, он отправлял домработницу за зубной пастой «Хлородонт» (на самом деле его устраивала любая паста) в магазин «Лейпциг», который та обожала. Там всегда выстраивались огромные очереди, не обходилось и без помощи милиции, так как товары из ГДР пользовались большим спросом. (Я побывала в «Лейпциге» всего один раз и то ушла с пустыми руками.) Магазин находился на другом конце города, и таким хитроумным образом Ким избавлялся от нее на целый день. Или просто говорил, что работы в доме нет, и она не приходила, исправно получая свои деньги.

Перебирая как-то рубашки Кима, я увидела грязные воротнички и принялась их стирать. Елена застала меня за этим занятием и возмущенно стала уверять, что они чистые, а если и не совсем, то тому виной ее слабое зрение (—9).

— Почему же вы не носите очки? — поразилась я. Будучи близорукой, я понимала, что с таким зрением работать без очков все равно что с закрытыми глазами.

— Я не люблю очки и никогда их не ношу, — гордо заявила она, а затем добавила: — Две женщины в доме — это всегда неудобно.

Я решила, что представился удачный случай, и согласилась, сказав, что с этой минуты всю домашнюю работу беру на себя. Судя по ее недоуменному виду, она, наверное, считала, что покинуть этот дом должна я.

Ким страшно обрадовался такому повороту событий. Он поручил мне выплатить Елене трехмесячное пособие и сказать, чтобы ключ от квартиры она оставила в почтовом ящике, лишь бы с ней не встречаться, и тут же увел меня на прогулку. Домработница, в отличие от Кима, сожалела о расставании с ним.

Она несколько раз звонила мне по телефону, предлагая свою помощь, от которой я отказывалась, так как следы ее «деятельности», вернее бездеятельности, мне пришлось буквально выскребать.

Этот эпизод свидетельствует о безграничном терпении Кима. Елена была вдовой бывшего сотрудника КГБ, и кто-то из коллег удружил Киму, порекомендовав ее. Вместе с тем Ким тепло вспоминал свою первую домработницу. Она закармливала его «огромными» завтраками, от которых ему пришлось отказаться, когда его талия стала принимать катастрофические размеры.

В домашних хлопотах мне помогала мама, пока не появилась Антонина. Она оказалась полной противоположностью Елены, хотя пришла к нам случайно, без всякой рекомендации. Ее прислали по моему вызову мыть окна из фирмы «Заря», сотрудники которой выполняли различные услуги по уборке квартир. Антонина сразу заявила, что нас обсчитали при заказе, и не захотела брать деньги сверх причитающихся по квитанции. С тех пор я стала изредка приглашать ее на генеральную уборку. И хотя Антонина каждый раз заявляла, что у нас чисто и мы только напрасно тратим деньги, трудилась не покладая рук по нескольку часов. При расчете она всегда пыталась вернуть лишние, на ее взгляд, деньги, и с ней приходилось долго спорить. Ким не мог не заметить трудолюбия и честности Антонины и относился к ней с большой симпатией. К сожалению, у нее было больное сердце, и она недолго проработала у нас.

МОЯ СЕМЬЯ, ДРУЗЬЯ

Ким сразу и безоговорочно принял мою семью. И это было не просто данью уважения ко мне. Он искренне привязался к моим родным, чьи проблемы принимал близко к сердцу. Ким очень любил и почитал мою маму:

— Мне бы стоило жениться на тебе хотя бы ради такой тещи, — говорил он и называл ее «мама», хотя она была на десять дней моложе его.

Моя мама прожила трудную, типичную для людей ее поколения жизнь. Она помнила революцию и войну, репрессии и бомбежки, разруху и голод. Ким восхищался мужеством и стойкостью наших стариков и не мог не заметить их полунищенского существования. Встречая дряхлых, сгорбленных старушек, он говорил:

— Это они выиграли войну!

Он не мог спокойно пройти мимо, чтобы кому-нибудь не

помочь — перевести через дорогу, донести сумку, проводить до дому. Его раздражали бравурные речи и лозунги:

— Наша прекрасная молодежь! — передразнивал он и возмущался: — Почему никто не говорит о стариках, об их бедственном положении? Вот кому надо помогать!

Что бы он сказал теперь, увидев толпы нищих?!

Однажды Киму принесли небольшой гонорар. Он не хотел брать эти деньги и просил передать их в фонд вдов. Ему ответили, что у нас не существует благотворительных организаций, и напомнили о вполне конкретной вдове — его теще. Ким успокоился, подарив ей свой гонорар. (Такие слова, как «милосердие», «благотворительность», уже затертые сегодня, в те времена вовсе не употреблялись, считались унизительными для советского человека.)

Бывая у нас, мама непрерывно хлопотала по хозяйству. Ким не мог к этому привыкнуть и с беспокойством спрашивал:

— Почему мама никогда не отдыхает?

Он также возмущался, что она неправильно питается, по русской привычке злоупотребляя хлебом в ущерб более полезным продуктам, и сам составил для нее дневной рацион. Перевоспитать маму ему так и не удалось. Зато Ким сумел приучить ее к шампанскому. Более того, однажды попробовав коктейль «шампань», она сама напоминала: «С коньячком, пожалуйста!» В час вечернего «дринка» Ким не забывал занести маме в комнату рюмочку коньяка или ликера. Стоило ему выпить сверх нормы, как мама становилась его навязчивой идеей, и он без конца приставал ко мне с одним вопросом:

— Ну, Руфа, ну, где мама?

В трезвом состоянии Ким не мог объяснить, почему это так волновало его накануне. Думаю, что, осознавая свой не совсем пристойный вид, он не хотел попадаться ей на глаза.

С такой же теплотой Ким относился и к моему брату. Костя, мастер на все руки, всегда приходил к нам на выручку — как слесарь, электрик или плотник и вообще помощник в любом деле. Ким называл его «скорая помощь».

Через несколько месяцев после нашей свадьбы Костя познакомил нас со своей невестой Наташей. Мы встретили их шампанским, к которому Наташа не притронулась. Она так стеснялась, что ни разу не улыбнулась, не произнесла ни единого слова, как мы ни старались ее разговорить. Они вскоре поженились. Наташа постепенно освоилась с нами и даже полюбила шампанское.

Когда у них родился сын Сережа, Ким в течение трех лет выплачивал Наташе ежемесячное пособие в размере ее зарплаты,

чтобы она могла оставаться дома с ребенком. Он также постоянно помогал маме, доплачивая к ее мизерной зарплате, а затем и к пенсии.

Семейство, увеличившееся до четырех человек, занимало все ту же 28-метровую квартиру. Хотя у мамы была отдельная комната в нашей квартире, большую часть времени она проводила со своим внуком, деля с ним 9-метровую комнату. Вторая комната служила одновременно столовой, гостиной и спальней для Кости и Наташи. Кстати, впервые за всю мамину жизнь своя комната у нее появилась в квартире у Кима.

Сережа был очень привязан к своей бабушке и тосковал, когда она уезжала. Она еще не успевала доехать до нашего дома, а он уже звонил нам по телефону и жалобно спрашивал:

— Где бабушка?

С младенческих лет Сережа любил бывать у нас в гостях — прежде всего благодаря возможности полакомиться икрой. Как-то раз Ким сделал ему замечание, когда он набросился на свое любимое блюдо, не дождавшись, пока остальные усядутся за стол. Сережа забрался под стол от обида и не вылезал оттуда до конца ужина. В другой раз, увидев рис, который я подала к карри, он возмущенно сказал:

— Не хочу кашу!

В детском саду, куда он ходил, детей каждый день кормили кашей, и его разочаровало такое угощение.

Ким заботливо относился ко всем членам моей семьи и не считал зазорным похлопотать ради Сережи о путевке в летний пионерлагерь для детей сотрудников КГБ, хотя не любил обременять своих коллег личными проблемами.

Ким был очень одинок в Москве, поэтому такой естественной стала его дружба с Джорджем Блейком, к которому он относился с теплотой. К тому же при вынужденном затворничестве у него не было выбора. Он не мог общаться ни с кем, кроме очень узкого круга своих коллег.

В первые годы нашей семейной жизни мы ретулярно обменивались визитами с Блейками, вместе проводили праздники. Казалось бы, Кима и Джорджа многое связывало, но при внешней близости они были слишком разными. Чем чаще мы встречались, тем больше проявлялись эти различия.

Окончательный разрыв произошел в 1975 году. Поводом для этого послужила публикация в Англии наших общих фотографий, выполненных Джоном, старшим сыном Кима. Джон снимал всю компанию на даче у Блейков с их согласия, и я была свидетелем этой договоренности. Ким напрямик спросил Джорджа:

— Ты не против, если Джон заработает на наших

фотографиях?

И тот ответил:

— Конечно, нет.

Прошло два или три дня, и в последний момент, перед самым отъездом Джона, нам позвонила Ида и сказала, ссылаясь на Джорджа, что они против публикации фотографий, поскольку такой договоренности не было.

Джон был расстроен: у него не оставалось ни времени, ни пленки для новых снимков. Для Кима это было делом принципа. Он всегда следовал правилу: давши слово, держи. Как бы то ни было, я считала, что следует отказаться от этой затеи, но ни Ким, ни Джон со мной не согласились. А Джордж сразу доложил об этом «куда надо». После этого наши отношения прекратились.

Джон все-таки опубликовал фотографии в журнале «Обсервер» и хорошо заработал, хотя был рассержен редакционными комментариями к ним…

В начале нашей совместной жизни мы встречались только с Блейками, пока я не познакомила Кима со своими друзьями.

Мои друзья сразу понравились Киму и стали часто бывать у нас. Один из них — физик-ядерщик — свободно говорил по-английски, и Киму доставляло большое удовольствие общаться с ним.

— I like his dry humour (мне нравится его тонкий юмор), — говорил он.

Другие не так хорошо владели английским, но зато все были близки ему по духу, и он легко находил с ними общий язык.

К приему гостей, как и к любому делу, Ким относился со всей ответственностью. Мы вместе обсуждали меню. Обычно я готовила закуски, а Ким основное горячее блюдо. Накрывая на стол, он продумывал, кого рядом с кем усадить, чтобы всем было удобно.

Если Ким сам любил принимать гостей, то от приглашений обычно отказывался. Его утомляли большие шумные компании, где по русской привычке все говорят одновременно, перебивая и не слушая друг друга. Он там терялся и уставал от напряжения, безуспешно пытаясь уловить нить беседы.

Ким очень привязался к новым московским друзьям и расстроился, когда одна пара решила эмигрировать в Америку. Они не были диссидентами и руководствовались чисто экономическими соображениями. Такое решение принял муж, а его жена (моя подруга, тоже редактор) не хотела уезжать и очень страдала. Ее положение было безвыходным. Даже решившись на развод, в случае отъезда мужа она как работник «идеологического фронта» автоматически теряла работу и оставалась с двумя

детьми без средств к существованию.

Ким пытался отговорить друзей от эмиграции. Он предупреждал, какие их ждут трудности, и вместе с тем не сомневался, что в итоге они добьются успеха. Ему не удалось их остановить. Тогда он пообещал, что употребит все свое влияние, чтобы помочь им вернуться обратно, если у них появится такое желание.

Наши друзья уехали в 1972 году. Тогда мы не могли надеяться, что когда-нибудь снова свидимся. Ким при всем его сочувствии не разделял в полной мере наших страданий. К самому факту эмиграции он относился спокойно, и ему было непонятно наше трагическое восприятие этого явления. Он считал, что каждый человек волен жить там, где ему угодно. Сам от ностальгии не страдал, называя себя космополитом.

Кстати, прогноз Кима полностью оправдался. На долю наших друзей в Америке вначале выпали тяжелые лишения и разочарования. Зато теперь они твердо стоят на ногах, имеют свой бизнес, о возвращении не помышляют и полностью излечились от ностальгии…

Мы с Кимом всегда приглашали друзей по случаю знаменательных дат. Мне запомнилось, как мы отмечали мое сорокалетие. Так как 1 сентября выпало на понедельник, мы решили праздновать накануне, в воскресенье. Собралась наша обычная компания, за исключением одной подруги, Лены, которая отдыхала с детьми на даче. Ее муж, Слава, пришел один, а Ким, как всегда, не забыл купить джин, который тот очень любил…

Гости разошлись далеко за полночь. Так как Слава не успевал на метро, мы уговорили его остаться у нас на ночь и уложили на диване в гостиной.

Наутро, выходя из спальни, Ким в испуге бросился обратно и стал меня будить:

— Руфа, там кто-то лежит и дышит!

Почему-то его особенно напугало то, что неизвестный дышит.

— Это Слава, — пробормотала я в полусне, повернувшись на другой бок, и тут вспомнила, что сегодня 1 сентября — первый день учебного года, а Слава преподает в институте.

Подбежав к Славе, который все еще спокойно дышал, спросила:

— Ты не опоздаешь на работу?

— Нет, — безмятежно ответил он, не размыкая глаз.

— Сегодня 1 сентября, — напомнила я.

— Что ты такое говоришь?! — подпрыгнул Слава и, проглотив чашку кофе, побежал к своим студентам.

Потом позвонила мама:

— Поздравляю тебя с 39-летием.

— С 40-летием, — поправила я.

Наш спор разрешил Ким, подсчитав с карандашом, что мне действительно стукнуло 39 лет, как ни трудно было ему поверить, что женщина в таком преклонном возрасте добавляет себе лишний год. А я кинулась обзванивать своих друзей, чтобы исправить свою ошибку и сообщить, какая я на самом деле молодая!

ПЕРВЫЕ МОСКОВСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Когда я встретила Кима, он уже семь лет жил в СССР. По его отдельным высказываниям я поняла, какие это были трудные для него годы. Вообще он был не из тех бойцов, которые любят вспоминать минувшие дни, и редко рассказывал о своих переживаниях. И только иногда у него прорывалось с болью:

— Ты не представляешь, какой я был несчастный человек!

Говорил Ким о первых годах жизни в Москве. Тогда он страдал от бездеятельности и ненужности:

— Я был переполнен информацией, и мне хотелось все отдать. Я писал и писал бесконечные меморандумы, пока не понял, что они никому не нужны, их даже никто не читает.

Удивляясь, что у нас в стране во всем разлад, Ким говорил: «Я прекрасный администратор и мог бы наладить любое дело, ну, к примеру, транспортное агентство. Только при условии, что мне не станут мешать и я буду сам подбирать кадры».

Тем временем на Западе писали, что Ким Филби каждый день отправляется в машине с шофером на Лубянку, где у него важный пост и собственный кабинет. На самом деле в стенах КГБ он побывал только в 1977 году, спустя 14 лет после своего приезда, да и то в качестве гостя. Выступая там перед коллегами, Ким не без иронии сказал: «…я обладал официальными пропусками в семь главных разведывательных центров: в четыре британских — СИС, УСО, МИ-5 и Школу кодирования и шифрования; в три американских — ЦРУ, ФБР и Агентство, национальной безопасности. Таким образом, я могу утверждать, что это восемь главных разведывательных организаций, в которые я сумел проникнуть».

А тогда, в 60-е годы, он пытался покончить с собой, перерезав вены.

Однажды я случайно нащупала жесткие шрамы на его левом запястье, и у меня непроизвольно вырвалось:

— Откуда это?

В тот момент Ким приканчивал третью порцию виски и высокопарно пробормотал, что было ему несвойственно:

— Мы, коммунисты, должны терпеть, быть сильными и не поддаваться слабости.

Тем не менее даже в таком состоянии он не проговорился и, отдернув руку и сжав кулаки, сказал:

— Никогда не спрашивай меня об этом.

И я не спрашивала.

Обычно Ким предпочитал вспоминать курьезные моменты. Он любил рассказывать мне о своих первых московских впечатлениях. Так, выйдя впервые на прогулку по городу, он решил заглянуть в гастроном. Открыв дверь, он пропустил вперед женщину. Вдруг, отталкивая его и женщину, туда хлынула толпа. Прижатый к двери, Ким долго стоял в позе регулировщика.

Вместе с тем в Киме была выделявшая его в толпе какая-то притягательная сила. С ним любили поговорить старушки и заигрывали дети. Его часто одолевали на улице вопросом: «Как пройти?..» Не зная русского языка, он выучил наиболее короткий ответ: «Туда» — и указывал направление. Москву Ким изучил досконально и составил схему, где отметил все общественные туалеты. Однако, когда он научился говорить по-русски и был в состоянии подробно объяснить вопрошающим, куда идти, его стали слушать с недоверием и обычно следовали в противоположном направлении.

Его постоянно предупреждали об опасности, о возможности покушения на его жизнь *и* советовали не выходить из дома. Как-то раз он все-таки рискнул посетить парикмахерскую. Она была совсем рядом, за углом. В зале ожидания сидели двое. Ким присел рядом. Открылась дверь, и вошедший что-то громко сказал. Сидящие посмотрели на Кима. Через некоторое время вошел другой и прокричал нечто непонятное. И снова все уставились на Кима. Ему стало не по себе. Сделав вид, что торопится, он озабоченно посмотрел на часы и выбежал из парикмахерской. А они всего лишь хотели узнать, кто последний.

Вскоре по приезде в Москву Ким стал обустраивать свой быт. Ему было нелегко обставить квартиру по своему вкусу. Прежде всего мебель, как и многое другое, была дефицитом, к тому же он не выносил полированные гарнитуры, которые тогда были в моде. Зато на мебельном комбинате в Лихоборах под Москвой делали вещи на любой вкус. Там Ким заказал по своим чертежам несколько секций с книжными полками и ящиками, комод для белья, журнальный стол, две тумбочки и тахту. Вскоре ему посчастливилось купить мягкую мебель, и надобность в тахте

отпала.

Через несколько дней после оформления заказа Ким снова поехал на фабрику, чтобы отказаться от тахты. Там еще и не думали приступать к работе, но сказали, что не могут изменить заказ без уважительной причины. Простое и правдивое объяснение не устраивало приемщицу, и это поставило Кима в тупик. Он не мог найти другого ответа на это «почему», пока не вспомнил, что глупый вопрос предполагает аналогичный ответ, и сказал:

— Потому что мой папа умер, — не удивлением увидел, как приемщица аккуратно вписала в графу эту фразу. То, что папы не было в живых уже пять лет, не имело значения.

В Москве Ким жил под вымышленным именем. В его советском паспорте было записано: «Федоров Андрей Федорович», а настоящее имя удостоверял другой документ — вид на жительство в СССР.

Трудно сказать, чем руководствовались те, кто выбрал фамилию Федоров. Наверное, тем, что она заурядная и не привлечет к себе внимания. Но стоило Киму впервые произнести ее вслух, как это вызвало настоящий фурор.

Так случилось, что у него разболелся зуб и пришлось идти к стоматологу.

— Ваша фамилия? — спросила врач.

— Ф-федоров, — старательно выговорил Ким, заикаясь. Ответом ему был взрыв хохота.

— Федоров?! — переспросила врач, сотрясаясь от смеха всем своим пышным телом. — Вы только посмотрите на него! Он Федоров!

Она долго не могла угомониться, тыча в Кима пальцем. В конце концов зуб ему все-таки залечили.

После этого Ким сам выбрал себе фамилию, более подходящую и вместе с тем нейтральную — Мартинс. Такую фамилию мог носить любой западный человек. Ему выдали новый паспорт, где записали: «Мартинс Андрей Федорович, латыш, родился в Нью-Йорке».

Со своим новым именем Ким так и не свыкся. Иногда, следуя за ним на расстоянии, я окликала его:

— Андрей Федорович!

Но он даже не оборачивался.

С новым паспортом Ким тоже попал впросак. Кто бы мог подумать, что однажды ему придется встретить «соотечественницу» в Тбилиси. Там в гостинице дежурная по этажу, у которой хранились наши паспорта, протягивая ему ключ от номера, радостно объявила:

— Я тоже латышка, из Риги.

Ким растерялся и, побоявшись расспросов, поспешно удалился в свои апартаменты. Мало того, что он ни слова не знал по-латышски, но даже никогда не был в Латвии (мы побывали там лишь в последний год его жизни). Мы старались не встречаться с нашей дежурной, а ей, наверное, такое поведение казалось высокомерным и обидным.

Однажды в Москве, когда Ким обедал в ресторане с сыном Джоном, сосед по столу, прислушиваясь к их беседе, спросил:

— Какой вы национальности?

— Чуваш, — ответил Ким.

— Вы чуваш?! — изумился сосед. — Это я чуваш!

Слова Кима о Гае Берджессе, который «никогда не сливался с каким-либо фоном», можно всецело отнести к нему самому в его советский период жизни. Он всегда выделялся в толпе, она его выталкивала как инородное тело. Ким так и не научился лавировать в людском потоке. В транспорте его толкали, а он сторонился, пропуская всех вперед, и я постоянно теряла его в метро. Даже если мы шли по просторному бульвару и впереди кто-то хромал, он терпеливо ковылял сзади, не решаясь обогнать инвалида. Однажды в поликлинике врач привела его на консультацию к специалисту, как водится, без очереди, Ким сбежал, не переступив порога кабинета, когда заметил, что другие пациенты ожидают приема. Я догнала его только на другом этаже, а консультация в тот день так и не состоялась.

БОРЬБА С АЛКОГОЛИЗМОМ

Уже в самом начале нашей семейной жизни мне пришлось столкнуться с тем «недостатком», о котором говорила Ида, когда впервые упомянула о Киме, — с его неумеренной тягой к спиртному.

Все начиналось вполне невинно. Ровно в 6 часов вечера Ким любовно готовил мне коктейль из коньяка с апельсиновым соком, который он называл «orange blossom» («цветок апельсина»), а себе виски или коньяк с водой. Мы разговаривали, слушали музыку, медленно потягивая коктейли. Ким наливал себе второй стакан, и этого было бы достаточно. Он быстро пьянел, и, когда брался за третий стакан, который был явно лишним, я пыталась его остановить, но он не мог понять, почему я хочу лишить его такого удовольствия;

Он продолжал наполнять свой стакан, угощая и меня, но теперь «цветок апельсина» вызывал у меня отвращение. Ким

полностью терял контроль над собой, его взгляд становился бессмысленным, глаза стекленели. Было нестерпимо наблюдать, как в течение вечера умница превращается в круглого идиота. Оставалось только ждать, когда он уснет.

Но покоя нет и ночью: во сне Ким мечется и громко вскрикивает. Стоит мне уснуть, как он шумно вскакивает, зажигает свет и беспрерывно курит. Ночь превращается в сплошной кошмар. Ухожу в другую комнату, но уснуть не удается: беспокойство не покидает. А вдруг пожар? На простынях, матраце — везде следы от сигарет. Когда он затихает, моя тревога усиливается. Осторожно подкрадываюсь и прислушиваюсь, дышит ли. И только услышав громкий храп, успокаиваюсь и, вконец измученная, засыпаю…

Просыпаюсь от звука радио, злая, с тяжелой головой, как будто напивалась я. А Ким как ни в чем ни бывало уже сидит со своим традиционным стаканом чая около приемника и слушает Би-Би-Си, совсем не похожий на вчерашнего пьяницу. О вчерашнем ему напоминает только головная боль, которая исчезает вместе с тремя стаканами чая и двумя таблетками аспирина.

— Чай лучше! — многозначительно говорит он, как будто я спорю!

Мой гнев проходит, трудно поверить, что это может повториться.

К сожалению, обычно в полдень Ким нередко повторял другое выражение: «The hair of the dog which bit you» («Шерсть собаки, которая укусила тебя», а по-русски это означало: «Клин клином вышибают») — и опохмелялся рюмкой водки. Тогда все начиналось сначала. Как-то в бессильной ярости я убежала в другую комнату и спряталась там. А он метался по квартире, искал и звал меня: И тут я увидела старого, беспомощного человека. Сердце защемило от жалости, и я поняла, что никогда не смогу оставить его.

Ким этого не знал и, как оказалось, боялся, что я уйду, хотя я не делала таких попыток и никогда этим не грозила. Но равнодушно наблюдать, как он убивает себя, не могла. Все мои усилия его остановить были бесполезными, если он начинал пить, и я старалась вразумить его, когда он приходил в нормальное состояние. Думаю, только мое вмешательство помогло сохранить Киму жизнь. Не случайно он как-то сказал, что пьянство — наименее болезненный способ самоубийства. Мои упреки и увещевания Ким всегда выслушивал безмолвно, опустив голову, не давая никаких обещаний.

Как-то зимним утром, когда мы одевались на прогулку, я

обнаружила, что пропал один сапог. Мы вопрошающе смотрели друг на друга и шарили по углам, удивляясь такой чертовщине. И вдруг Кима осенило. Он стукнул себя по лбу, пошел в кабинет и принес второй сапог. Накануне вечером, напившись, он спрятал его, чтобы я не сбежала. Это было и смешно, и грустно.

В состоянии опьянения Ким становился невменяемым, и трудно было представить, какой номер он выкинет. Как-то среди ночи он пытался разжевать тяжелую металлическую зажигалку в бархатном чехле величиной со спичечный коробок и чуть не подавился. К счастью, я вовремя вытащила ее у него изо рта.

После одной из таких бурных ночей мне не хотелось разговаривать с Кимом, и на его заигрывания я отвечала хмурым молчанием. А потом не могла сдержать улыбки, когда обнаружила в кастрюле (!) его записку: «Я люблю тебя, несмотря на…»

В периоды беспробудного пьянства Кима меня утешало лишь то, что при этом он никогда не уходил из дома. (Ким рассказывал, как Дональд Маклин, обычно спокойный и уравновешенный, в периода запоя скандалил и дебоширил в общественных местах. В пьяном виде его тянуло «выяснять отношения» то в английском посольстве, то в Доме журналиста. Впоследствии Маклин вылечился от алкоголизма и совсем не прикасался к спиртному.)

Ким никогда не только не скандалил, но даже не повышал голоса и в состоянии опьянения обычно оставался добрым и нежным. Его только сердило, если я отнимала бутылку, тогда он становился неуправляемым. Тогда я вынуждена была уступать — лишь бы он успокоился. Но иногда он становился совсем неузнаваемым и даже бессердечным.

Когда у меня случился приступ аппендицита, Ким сидел рядом на кровати и в знак сочувствия приканчивал бутылку виски. (Тогда это была его обычная реакция на любые трудности и неприятности.) Боль становилась нестерпимой, надо было вызывать «Скорую помощь», *и я* умоляла его прекратить пить, объясняя, что мне очень плохо. Кима это не отрезвило. Не двигаясь с места, он пробормотал: знаем, мол, эти женские уловки. Если бы тогда я испустила дух, он бы и не заметил. Мне удалось дотерпеть до утра, пока Ким не проспался, и тогда мы поехали в больницу.

Когда я впервые пригласила на ужин пару моих друзей, Ким вызвался приготовить свое любимое блюдо — индийское карри. Работая, он прикладывался к бутылке сухого вина и был навеселе задолго до прихода гостей. Он любил повторять:

— Хороший повар всегда немного пьян.

Мои попытки его остановить ни к чему не привели. Он искренне не понимал причину моего недовольства:

— Я же тебе все приготовил.

Было досадно представлять друзьям своего мужа, который нетвердо держался на ногах. Гости были смущены. Утешало лишь то, что это близкие люди, перед которыми не было слишком стыдно.

Запои, как правило, завершались обострением бронхита, а то и пневмонией, но это не уменьшало его тяги к алкоголю.

Как-то ночью он упал около кровати. Мне удалось его поднять и уложить в постель. Он опять свалился, и я снова его подняла. В третий раз, втаскивая его на кровать, я сорвала свой ноготь с кровью. Больше не было сил, и я оставила Кима на полу, накрыв одеялом и подложив ему под голову подушку.

Все это даром не прошло. К вечеру следующего дня у него поднялась температура, а ночью стало совсем плохо: он с трудом дышал, лицо побагровело. Я вызвала «Скорую», которая приехала довольно быстро. Но наш примитивный лифт по ночам не работал, и врач, пожилая грузная женщина, с таким трудом поднималась по лестнице, что, войдя в квартиру, сама нуждалась в «Скорой помощи». Чтобы добраться до нашего шестого этажа, бригаде потребовалось больше времени, чем доехать до дома.

Ким тогда долго и мучительно болел, но, едва поправился, снова стал «веселиться». Спустя годы, оглядываясь назад, я удивлялась, откуда у меня брались силы все это вынести. Я пускалась на всевозможные уловки, к которым обычно прибегают в таких случаях. Прятала бутылки, подливала воду в стакан, отливала виски из бутылки и т. п. С годами Ким стал быстро пьянеть и обычно засыпал после третьей порции.

К счастью, я избежала участи многих жен, которые спивались вместе со своими мужьями. Моя реакция была прямо противоположной. Не испытывая пристрастия к алкоголю как к таковому, я не чураюсь его в приятной компании. Но стоило мне увидеть подвыпившего Кима, мое настроение портилось и пропадало всякое желание пить.

— Бедное сердце, которое не умеет веселиться! — приговаривал он, а мне было не до веселья — хотелось плакать.

То, что Ким осознавал, как тяжело мне было все это выносить, я узнала только после его смерти, когда обнаружила странную надпись по-русски на папке с рукописью его незавершенной книги. Я передаю ее буквально, сохраняя орфографию автора: «Если бы Р.Ив. убила меня, я подтверждаю, что довольно причин для этого… К.Ф.» Очевидно, Ким написал это в 1970–1971 годах, в те первые, самые трудные для меня годы.

Какие тяжелые мысли его одолевали, когда он отвечал покорным молчанием на мои гневные упреки?!

Трудно сейчас вспомнить, когда именно наступил перелом, но однажды Ким сказал:

— Я боюсь тебя потерять и должен сделать выбор.

Выбор он сделал в мою пользу и стал мне помогать. Начиналось это так. Он наливал себе порцию в стакан и отдавал мне бутылку:

— Спрячь.

Но на этом никогда не останавливался, объясняя:

— Нельзя летать на одном крыле.

Вся процедура повторялась со вторым стаканом. Ким понимал, что не должен превышать этой нормы, но иногда просил третий, именно просил, не проявляя прежней агрессивности. Хотя мне и не нравилось, как он выглядел после третьего стакана, я старалась не перегибать палку, чтобы поддерживать его стремление к борьбе с собой. Так, постоянно балансируя, я помогала Киму выбираться из омута.

«EVERY DAY IS A HOLIDAY…»

Постепенно положение улучшилось настолько, что я не только перестала прятать бутылки, но и стала дарите Киму любимое виски в торжественных случаях. Как только он справился с алкоголизмом, для меня наступили безоблачные дни.

Других недостатков у него просто не было: «Too good to be true» («это слишком хорошо, чтобы быть правдой») — так можно было сказать о нем (эти слова я часто слышала от него о себе). Излечившись от своего недуга, Ким очень изменился — помолодел на глазах, лицо разгладилось, исчезла одутловатость. Стал соблюдать диету, чтобы избавиться от лишнего веса. Наша врач заметила, что ее пациент похудел, и сначала забеспокоилась, но потом убедилась, что это пошло ему на пользу — наоборот, он стал реже болеть.

Теперь, глядя на него, я думала: мне нечего больше желать — только бы он был жив и здоров. Это я постоянно повторяла про себя как заклинание. Вместе с любовью к Киму в моей душе поселился страх. Я уже не мыслила своей жизни без него и боялась его потерять. Меня пугала наша разница в возрасте, вероятность того, что я переживу его. На некоторое время я немного успокоилась, когда наша общая врач, осматривая меня, сказала Киму, что я гораздо слабее здоровьем, чем он. На самом деле тогда он был практически здоров, если не считать хронического бронхита, которым он страдал с раннего детства.

Но радость моя была недолгой — начиная с 1978 года здоровье Кима стало резко ухудшаться, и тревога уже не

покидала меня. Свой страх я глубоко запрятала, а пока ценила каждый день, каждую минуту, прожитую с ним. Трудно выразить в словах это непреходящее ощущение счастья. Не будет преувеличением сказать, что все 18 лет мы с Кимом прожили душа в душу, и он постоянно удивлялся, как такое «сокровище» досталось ему. Однажды, пока я хлопотала на кухне, он спросил мою подругу, почему я не была до него замужем. Она, не зная, что ответить, пришла ко мне с этим вопросом.

— Скажи, что меня никто не брал, — посоветовала я. Мне таких вопросов Ким не задавал. Наоборот, не хотел ничего знать о моей личной жизни, как будто боялся соприкоснуться с моим прошлым, не слишком бурным на самом деле. Иногда, вспоминая какой-то невинный эпизод из прежней жизни, я видела, что он буквально сжимается, как от боли. По-видимому, Ким предполагал, что и я так же ревниво отношусь к его прошлому. Наверное, поэтому он был шокирован, когда я сказала, что хочу (по совету Иды) почитать мемуары его покойной жены Элеоноры (книга стояла у него на полке). Ким изменился в лице и вышел из комнаты, не сказав ни слова. С тех пор я никогда не видела этой книги.

По своей натуре Ким был очень ревнив, ревновал меня даже к подругам. На самом деле у него не было поводов для этого, просто ему хотелось, чтобы я постоянно была рядом. Уже в начале нашей совместной жизни он не сомневался в моих чувствах и сам сказал: «Это же очевидно, что ты любишь меня», — хотя не переставал удивляться этому. Действительно, я была полностью поглощена Кимом. Вместе с тем хотела поддерживать отношения с друзьями, любила театр и кино. Ким всегда скучал в мое отсутствие, но виду старался не показывать.

Поначалу он воспринимал мои отлучки даже трагически, но я осознала это только после одного случая. Тогда с позволения Кима я ушла с подругой в кино на дневной сеанс. После кино мы еще погуляли. За разговором время прошло незаметно, и я отсутствовала дольше, чем Ким предполагал. Он простоял несколько часов у окна, высматривая меня, и, когда я вернулась, дрожал от волнения. У него было такое несчастное лицо, что мне было бы легче перенести его справедливый гнев, но я не услышала ни слова упрека. С тех пор меня не покидало чувство вины и я старалась надолго нигде не задерживаться. Со временем я узнала от подруг, что он обзванивал их, разыскивая меня, а позднее мне попалась на глаза его сумбурная записка.

У меня отсутствует чувство времени, и я часто всюду опаздывала, пока Ким не перевоспитал меня. Когда я собиралась куда-то, он всегда спрашивал, во сколько я должна уйти из дома.

Если меня ждали в гости в 7 часов, это не значило, что я поспею вовремя. Ким задолго до моего ухода начинал мерить шагами прихожую. Его нервозность передавалась мне, и я невольно поторапливалась. Сам Ким был необычайно пунктуальным. К своему уходу, как и к приему гостей, он готовился заранее и всегда был «при полном параде» задолго до намеченного времени. Если кто-то звонил по телефону и говорил: «Зайду через несколько минут», он уже не отходил от двери. Так же буквально понимал обещание: «Загляну на полчасика». Его обескураживало, что «полчасика» обычно затягивались на несколько часов, и удивляло, что я спешу приготовить угощение для неожиданного посетителя.

Ким ненавидел телефон, от него он постоянно ждал подвоха — кто-то звонит, чтобы увести меня. Хотя он никогда не останавливал меня, я не злоупотребляла предоставленной мне свободой, чтобы не огорчать его. Ким не выносил одиночества, и, если мне все-таки хотелось куда-нибудь пойти, я старалась подготовить его к этому «удару» исподволь, постепенно. Тем не менее он каждый раз менялся в лице, стоило ему услышать об очередном приглашении, но быстро брал себя в руки и всегда говорил:

— Ну, конечно, иди, если хочешь.

Мне, разумеется, хотелось бы выходить «в люди» вместе с Кимом, но он предпочитал уединение любому обществу, даже самому приятному. Он удивлялся, слушая рассказ некоей дамы, как им с мужем пришлось путешествовать с довольно неприятным попутчиком и, несмотря на это, они предпочитали его компанию своему уединению.

— Ведь скучно вдвоем! — объясняла она.

Ким не мог представить, что такое может случиться с нами, и, зная наперед мой ответ, часто спрашивал:

— Скучно вдвоем?! — А проводив гостей, обычно повторял: — Только с тобой, только с тобой!

Хотя мы много путешествовали, по-настоящему Ким был счастлив только дома, и, когда я заговаривала о новой поездке, у него заметно портилось настроение. Будь на то его воля, он никогда не покидал бы своей квартиры, которую и называл «наш остров».

Кима утомляли не столько поездки, сколько многочисленные встречи с людьми, на что он пожаловался в письме М. П. Любимову от 17 января 1978 г.:

«…В намеченной нами программе есть три периода, когда нас не будет в Москве, а именно: с конца февраля до начала марта; с конца мая до начала июня; с конца июля до начала августа. Вы

наверняка подумаете, что моя жизнь — сплошной отдых. На самом-то деле я куда больше отдыхаю, когда много спокойно работаю у себя дома, чем когда разъезжаю по разным чужим местам — все время люди, люди, люди!»

Сначала по приезде в Москву Кима поселили в районе станции метро «Сокол». Позднее показали эту квартиру, которая ему сразу понравилась своим расположением. Особенно его радовало, что окна выходят на три стороны света — запад, восток и юг. Дом стоит в самом центре. Москвы, недалеко от Пушкинской площади, в тихом переулке. Ким любил вид из окна своей квартиры — типично городской пейзаж с крышами разноэтажных домов (он называл их ласково «крышки») и шпилем высотного здания на горизонте. Мы наблюдали красочные закаты из кухонного окна, когда солнце медленно скользило по шпилю высотки…

Киму хотелось, чтобы я постоянно была у него перед глазами, и, даже когда я занималась домашними делами, он жаловался с самым серьезным видом:

— Я никогда не вижу тебя.

Перебегая из ванной в кухню и обратно, я затруднялась с ответом на его вопрос:

— Где ты сейчас будешь?

Он хотел это знать, чтобы посидеть поблизости, ходил за мной по пятам, повторяя:

— Скучно по-однбму!

Я понимала Кима, как никто другой. Привыкнув, что он всегда рядом, не находила себе места в те редкие часы, когда он уходил на официальные встречи. По другому поводу он никогда не отлучался из дома без меня, разве что в киоск за сигаретами.

Правда, однажды Киму пришлось отправиться на свидание вместо меня, чтобы вернуть книгу моему другу Юре, так как я лежала в постели с высокой температурой. Раньше они не встречались, и я сообщила каждому из них отличительные признаки: у одного курчавая борода, другой будет держать в левой руке «Литературную газету» и книгу. Юра вошел в образ шпиона, который пришел на явку, и потом любил рассказывать об этом. Операция «Книга» прошла успешно. «Шпионы» прониклись симпатией друг к другу, и впоследствии Юра побывал у нас в гостях.

Каждый раз, выйдя из дома, я видела, как Ким стоит у окна и неотрывно смотрит мне вслед, махая рукой. Я махала ему в ответ, прежде чем скрыться за поворотом.

Я любила бывать у своих друзей, где часто собиралось большое интересное общество. Гости приходили постепенно,

вразнобой, с 6 до 10 часов вечера. И когда уже все были в сборе и начинались самые увлекательные задушевные беседы, я спешила домой.

Какое бы удовольствие я ни получила от встречи с друзьями, от спектакля, фильма, другого зрелища, ничто не могло сравниться с той радостью, которая ждала меня дома. Свернув в своей переулок, я видела светящееся окно на последнем этаже. Домой я летела как на крыльях, но к моей радости всегда примешивалась щемящая грусть: я не могла отогнать от себя мысль, что наступит день, когда погаснет этот свет и Ким уже не встретит меня…

Помимо других своих достоинств Ким был необычайно легким человеком в быту. У нас никогда не возникало никаких трений. Его здравый смысл подсказывал, что в мелочах разумнее согласиться, чем спорить, поэтому он, например, сам спрашивал, какую надеть рубашку или галстук, предупреждая мое возможное неодобрение.

Несмотря на то что Ким был чувствительным и легкоранимым и сам говорил о себе: *«Я* очень сенситивный», он никогда не обижался на меня. Терпеливо и без раздражения сносил мои замечания и воспитательные «уроки» (вроде напоминаний мыть руки перед едой). Только иногда искренне удивлялся, протягивая мне руки:

— Разве они грязные?

Мне даже удалось со временем приучить его умываться под струей чистой воды, а не в раковине. Я не могла равнодушно видеть, как он плескается в умывальнике с мутной водой, *и* каждый раз вздрагивала от урчания стекающей воды — значит, Ким выдернул пробку, закончив свой утренний туалет. Ему нелегко было избавиться от многолетней привычки — большая часть его жизни прошла в те годы, когда еще не было смесителей для кранов с холодной и горячей водой. На мои мелкие придирки он отвечал шуткой и, передразнивая меня, часто спрашивал:

— Руки мыла?

У меня же не всегда хватало выдержки, и, когда *я* взрывалась, Ким восхищенно говорил:

— Какой темперамент! — с ударением на последнем слоге.

«Я снова женился, как и ты, тоже на рыжей женщине с взрывным нравом, хотя за семь лет (никак не меньше!) нашей супружеской жизни взрывы были редкими и очень, очень короткими. Она, как сообщают, вовсе в прошлом не переводчица, а редактор из Академии наук. Теперь она уже довольно прилично владеет английским, но еще далеко не на переводческом уровне. Тем не менее ей дважды неожиданно пришлось переводить *мой*

русский на русский, понятный несколько озадаченной аудитории. Не знаю, хвалюсь ли я или принижаю себя, говоря, что ее мать на десять дней моложе меня! Во всяком случае, могу сказать с уверенностью — как, надеюсь, можешь сказать и ты, — что закат моей жизни — золотой!» — признался Ким Эрику де Мони 26 ноября 1977 г.

Зато Ким не выносил критики по поводу своего курения и не скрывал раздражения. Он даже гордился своим 50-летним «дымным» стажем. С возрастом оставил трубку и сигары, но сигареты курил до конца своей жизни. Причем курил только самые крепкие и без фильтра. Очень любил французские «Житан» и «Голлуаз», которые ему иногда дарили ученики, но в основном довольствовался дешевыми советскими сигаретами без фильтра — «Дымком» или «Примой». «Это натуральный табак», — говорил Ким и презирал американские сигареты типа «Мальборо» или «Кэмел», называя их «синтетикой». Если за неимением его любимых попадались сигареты с фильтром, он демонстративно отрывал его. (Кстати, последние научные исследования подтвердили его правоту: вещества, содержащиеся в фильтре, гораздо опаснее для здоровья, чем чистый табак.)

Его день начинался с сигареты — он закуривал, едва проснувшись, — и заканчивался сигаретой, которую он гасил, выключая свет. При недомогании или приступе кашля Ким сразу хватался за сигарету, во время бессонницы курил все ночи напролет. Я, конечно, не надеялась, что он может бросить курить, и понимала, что после стольких лет это было бы даже опасно для здоровья. Видя, как он тянется за новой сигаретой, едва успев погасить окурок, я просила хотя бы контролировать себя. Ким уверял меня, что обходится одной пачкой в день, но я убедилась, что на этом он не останавливается, и сбилась со счета, всюду обнаруживая распечатанные пачки. Так как я сама покупала для него блоки сигарет, мне нетрудно было подвести итог, и он оказался неутешительным.

Однажды Ким взял лист бумаги и стал отмечать время каждой выкуренной сигареты. Он с гордостью показывал мне свой график. Так, постепенно снижая свою норму, он старался выкуривать не более одной сигареты в час. Когда на третий день он достиг рекордной цифры семь, эта игра ему наскучила и все вернулось на круги своя.

Только в последние годы своей жизни Ким пошел на уступки и стал курить «Яву» с фильтром. Он также вы-полнил мою просьбу не курить в спальне, но впоследствии я сама отменила этот запрет, видя, с каким трудом он поднимается с постели, чтобы пойти за сигаретой.

В большинстве случаев о Киме принято говорить как о глубоко несчастном человеке. Мой Ким никак не укладывается в этот шаблон. Наоборот, я видела человека жизнерадостного. Он буквально светился от счастья и любил напевать:

— Every day is a holiday because I married to you (каждый день — праздник, потому что я женился на тебе).

Я и сейчас вижу его лицо, яркие искристые глаза, слышу, как он заливисто смеется моим шуткам, запрокидывая голову. В письме Грэму Грину от 6 июня 1980 г. он писал:

«Итак, тебе не по душе твои 75. Мне до этого рубежа еще семь, так что моту выразить тебе лишь сочувствие. Мой собственный шестой десяток оказался наиболее счастливым по сравнению с любым другим периодом. Работа идет довольно успешно, насколько позволяют вынужденные ограничения избранной мною профессии (не мною избранной, но я не считаю, что те, кто избрал ее для меня, поступили не верно), и моя личная жизнь — такая богатая смесь всего, что мне по силам; никаких утомительных общественных обязательств и достаточно путешествий, чтобы по достоинству оценить родные Пенаты, ожидающие моего возвращения. Полученное воспитание подсказывает мне, что восхвалять свою жену — это дурной тон (наша 10-я годовщина в сентябре — Боже мой!). Так что я просто скажу, что и теща у меня тоже замечательная».

— Я так счастлив с тобой! — без конца повторял он, изумленно качая головой. — У меня никогда не было такой женщины.

Я не разделяла его восторга, считая себя заурядной личностью.

— Ты не можешь этого понять, — говорил он и пытался объяснить: — Мне никто никогда ничего не давал — все только брали.

А мне казалось, что его просто невозможно не любить, поэтому так хотелось доставлять ему радость!

— Ты так много делаешь для меня, — удивлялся он. Мою естественную заботу, каждую мелкую услугу он принимал как большой подарок. Возможно, для кого-то другого, я бы и не стала делать того, что с удовольствием делала для Кима, который сам излучал такую доброту, что она казалась осязаемой.

Страдая бессонницей, Ким постоянно принимал снотворное. И все-таки, несмотря на это, спал мало. Независимо от того, сколько времени ему удавалось поспать, он всегда поднимался рано. Накинув халат, сразу закуривал и шел на кухню, чтобы поставить чайник. Ровно в 7 часов уже слушал Би-Би-Си, сидя у своего старого приемника «Фестиваль» с традиционным стаканом чая. Ким был очень привязан к своему старомодному приемнику и предпочитал его новому транзистору, подаренному коллегами к очередному юбилею. Мой брат с трудом поддерживал жизнь «Фестиваля», подтачивая и подпаивая износившиеся детали.

Утренний чай Ким пил с лимоном из стакана в подстаканнике и называл это «русским» чаем. В 5 часов вечера готовил себе «английский» чай, очень крепкий, который пил с молоком из чашки старинного фарфора. В последние годы он разлюбил «английский» чай и пил только «русский».

Прихлебывая второй или третий стакан чая, он готовил себе тосты, которые ел с маслом и джемом (самый любимый — апельсиновый «Oxford coarse eut orange marmelade», который ему привозили из Англии дети и ученики). Покончив с тостами, принимался за кофе «эспрессо», который готовил в специальном итальянском кофейнике. Позднее, когда у него обнаружили глаукому, ему пришлось отказаться от кофе. Он говорил, что это не слишком большая потеря по сравнению с чаем, которого он не смог бы себя лишить.

Иногда Ким готовил себе на завтрак «bacon and eggs» (яичницу с беконом). Тонкие ломтики копченой грудинки обжаривал и осторожно выкладывал на бумагу, чтобы в нее впитывался жир (для этого он собирал толстую оберточную бумагу). Затем на той же сковородке поджаривал два кусочка хлеба, а потом два яйца. Все это раскладывал на большой тарелке: с одной стороны — хрустящий хлеб и сверху по одному яйцу на каждый кусочек, с другой — ломтики грудинки. У мамы, наблюдавшей однажды за этими манипуляциями, разыгрался аппетит, и она попросила то же самое приготовить для нее. С тех пор Ким каждый раз предлагал ей это блюдо.

После завтрака мы отправлялись на прогулку. Наш излюбленный маршрут пролегал по Тверскому бульвару и завершался в универсаме, откуда мы неизменно возвращались с тяжелыми сумками, нагруженными соками, минеральной водой, сухими винами и разными продуктами. Приспособившись к

московскому быту, Ким приучил и меня к оптовым закупкам. Несмотря на тяжелую поклажу, он успевал заметить на земле маленькую букашку и резко останавливал меня, чтобы я на нее не наступила.

— Осторожно! Смотри, какой маленький животник! — так любовно он называл насекомых.

В другой раз он встал на защиту кошки. Она на свою беду попалась на дороге здоровенному пьяному детине, который с размаху пнул ее ногой. Ким бросился на него с криком:

— You are a fool (ты дурак!)!

Я успела вовремя удержать защитника, буквально повиснув на нем, — этот громила мог стереть его в порошок.

Привыкнув к вечному дефициту, Ким часто повторял слово «запас», и я обнаружила у него целые залежи консервов, хотя у нас этим никого не удивишь. Несмотря на мои протесты, он однажды открыл вздувшуюся банку с сомом в томатном соусе и съел ее содержимое. А я в течение двух часов со страхом следила за ним, опасаясь отравления. Он только смеялся и говорил, что сом был очень вкусным, а его желудок способен переваривать и гвозди. После этого я стала постепенно украдкой выбрасывать банку за банкой из его «запаса». Кима позабавил мой испуг, и он часто подшучивал надо мной, вспоминая сома в томатном соусе. Но даже в погоне за дефицитом Ким оставался «белой вороной». Как-то в универсаме, взяв несколько банок сока, я оставила ему сумку и отправилась за другими покупками, а когда вернулась, то обнаружила всего одну банку.

— Там мало оставалось, и я отнес их обратно, — объяснил Ким.

Увидев, что к корзине, где лежат банки с соком, подходят люди, он подбрасывал туда банки из своей сумки.

Часто нарываясь на грубость продавцов в наших магазинах; Ким очень удивился, столкнувшись с этим в ведомственной аптеке КГБ, персонал которой обычно отличался вежливостью. Мы зашли туда по совету нашего невропатолога, чтобы купить корень валерьяны. Врач сказала, что нам обоим надо пить его настой долго и помногу: «Купите побольше, пока есть в нашей аптеке».

Я заплатила в кассу за десять пачек, но, видимо, не стоило принимать этот совет слишком буквально, так как, когда я подала чек, мне швырнули его обратно. Я бросила его и отошла в угол аптеки, не в силах сдержать слезы, доказав тем самым, что мне и десяти пачек мало. Бедный Ким не мог понять, чем вызван гнев аптекаря (возможно, виной тому были магнитные бури), и растерянно топтался около меня.

Трудно было найти ответ на многие «почему» Кима даже мне, прожившей в Москве всю свою жизнь. Помню, Киму приглянулась сумка в витрине ГУМа, и он захотел купить ее для меня. Он не поверил, когда я сказала, что она не продается, и терпеливо искал ее в разных секциях. Чтобы успокоить его, я позвонила по телефону в справочный отдел и дала ему послушать исчерпывающий отрицательный ответ.

Там, в ГУМе, Ким не мог понять, зачем выставлять на витрине то, что не продается. И снова столкнулся с этой проблемой в магазине около нашего дома, где мы постоянно покупали грейпфрутовый сок. Похоже, что, кроме нас, никто его тогда не пил, находя горьковатым и чересчур кислым. (Ким рассказывал, что, когда он покупал апельсиновый сок, слишком сладкий на его вкус, продавщица советовала добавлять туда побольше сахара.) На этот раз нам было сказано, что грейпфрутовый сок кончился, хотя за спиной продавщицы возвышалась целая горка из этих банок.

— С витрины не продается, — отрезала она.

Если нам не везло с соком в одном магазине, то могло посчастливиться с «живыми» апельсинами в другом. Гуляя по тихим переулкам, мы заходили в маленькие магазины, совмещая приятное с полезным, и покупали что-нибудь впрок, чтобы в дальнейшем избежать очередей.

Ким очень любил посещать рынок, невзирая на мучения, которые испытывал в яблочный сезон. Он страдал аллергией на яблоки, не переносил даже их запаха и стремительно пробегал по рядам, заткнув нос платком. Однажды он обеспокоенно носился по квартире, принюхиваясь, как ищейка, бормоча:

— Какой ужасный запах.

Оказалось, моя мама оставила кулек с яблоками в своей комнате, и Ким не мог успокоиться, пока я их не выбросила. Этот плод стал и для меня запретным.

Ким рассказывал, как в молодости бесславно закончилась его романтическая прогулка с дамой. Они случайно набрели на гору яблок. И пока она восхищалась спелыми плодами, он, зажав нос, спасался бегством. Роман так и не успел начаться.

Запаха груш и бананов он также не выносил, но разрешал мне съедать их, закрывшись в ванной, после чего я должна была немедленно уничтожать следы своей «преступной деятельности». Помню, как он удивил наших сопровождающих в Болгарии, когда мы прибыли в роскошные апартаменты, где в каждой комнате благоухали букеты роз. Нервно поводя носом, Ким устремился в самую отдаленную комнату: там в вазе с фруктами среди персиков и винограда притаился его злейший враг — одно-

единственное яблоко.

Непритязательный в еде, Ким не мог обходиться без овощей и всегда покупал их на базаре. Однажды я обратила внимание, как грузин (так мы обычно называли торгующих южан, которых теперь почему-то именуют «лица кавказской национальности» — чаще всего в криминальной хронике), смачно поплевывая, полировал до блеска помидоры грязной тряпкой, а затем укладывал их в аккуратную горку, которая соблазнительно рдела на солнце. Ким, конечно, направился к этим наиболее привлекательным плодам.

В тот день, когда мы накрывали на стол, я заметила, что он режет немытые помидоры, которые мы только что принесли с рынка. Еще раньше я обратила внимание на то, что Ким подавал к столу овощи прямо из холодильника. И тогда подумала, что, по-видимому, англичане убирают в холодильник предварительно вымытые овощи. То, что Ким вовсе не считал нужным их мыть, мне не могло прийти в голову.

— Ты никогда не моешь овощи? — всполошилась я.

— Только если они грязные. Но зачем мыть, когда они чистые? — простодушно ответил Ким, определявший чистоту на глаз.

Мне привиделся плюющий на помидоры грузин.

— Как можно? — захлебнулась я.

И тогда Ким мне объяснил, что Англия не стала бы великой империей, если бы англичане страдали брезгливостью. Именно отсутствие брезгливости да здоровый желудок помогли ему выжить на Востоке.

— Если бы ты только видела восточные базары, где мясо, рыба, фрукты — все скрыто под толстым слоем мух! Я помню очень вкусный суп, который ел в Турции. Но прежде чем приступить к еде, надо было выловить ложкой плавающих в нем мух, — рассказывал Ким.

После ланча, состоявшего из легких закусок, овощей и сухого вина, Ким любил подремать. В 5 часов пил чай, а в 6 — аперитив.

По вечерам Ким читал мне стихи (особенно любил Эдгара По) или мы слушали классическую музыку — Бетховена и Моцарта, Вивальди и Листа, Малера и Чайковского. Чаще других Ким отдавал предпочтение Вагнеру. Слушая «Тангейзера» или «Золото Рейна», он начинал вдохновенно дирижировать, того и гляди вознесется в своем кресле.

В 9 часов вечера Ким непременно смотрел информационную программу «Время» и никогда не пропускал спортивных передач. У нас был один телевизор, и я всегда уступала Киму место, когда передавали футбол, хоккей или бокс. Соревнования по фигурному

катанию мы обычно смотрели вместе. Ким знал по именам всех футболистов и хоккеистов, был отчаянным болельщиком и вместе с комментатором Николаем Озеровым истошно кричал: «Гол!!!»

Будучи патриотом, он болел за команду «Динамо», бывшую под покровительством КГБ, или советскую сборную. Кима дважды приглашали в учебно-тренировочный центр под Москвой выступать перед хоккеистами накануне чемпионатов мира. Об этом событии он рассказал в письме М.П. Любимову от 2 мая 1978 г.: «Другая причина того, что мы уезжаем так надолго, кроется в волнующем событии, которое я недавно пережил: мне пришлось выступить перед советской хоккейной командой накануне ее отъезда на чемпионат мира в Прагу. Мое предыдущее выступление перед командой «Динамо» было катастрофическим: они проиграли четыре матча подряд. И меня не слишком радуют первые выступления национальной команды в Праге. Четыре выигрыша — звучит неплохо, «о они играли против довольно слабого противника, а потому победы не слишком убедительны».

Из других телевизионных программ самыми любимыми были «В мире животных» и «Клуб кинопутешествий». Кинофильмы Ким смотрел редко. Зато «Иронию судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова, которую показывали в каждую новогоднюю ноль, Ким не пропускал никогда. Он восхищался игрой многих наших актеров — Смоктуновского, Чуриковой, Гурченко, Ахеджаковой.

По радио кроме новостей Ким слушал и другие программы Би-Би-Си — политические, спортивные, музыкальные. Не отходил от приемника, когда транслировался крикет или футбол. Еще с молодых лет он болел за английскую футбольную команду «Арсенал» и остался верен своей привязанности…

Ким был сластеной и постоянно изумлял меня странной смесью, которую готовил себе на десерт. Сдобное печенье курабье крошил в пиале, заливал сметаной или кефиром, туда же добавлял варенье и называл это пудингом. От курабье пришлось отказаться, когда он начал следить за своим весом. Тогда для пудинга я стала готовить домашний творог (он называл его «твой творог», а магазинный никогда не ел), который он смешивал с курагой либо инжиром и разбавлял кефиром или сметаной. Ким сам любил готовить протертую смородину и клюкву, которые тоже подмешивал в пудинг.

Большую часть времени Ким проводил, за чтением, сидя в своем любимом старом вольтеровском кресле, доставшемся ему в наследство от Гая Берджесса. По правую руку, на маленьком столике с хохломской росписью, у него стояла пепельница и рядом обычно лежал шоколадный набор, который опустошался с

такой же быстротой, *с* какой заполнялась пепельница. Ким не отрывался от книги, отправляя в рот одну конфету за другой, и вскоре с удивлением обнаруживал, что его рука шарит по дну пустой коробки. А я так и не успевала попробовать ни одной конфеты из набора, обычно предназначавшегося мне.

Коротать бессонные ночи Киму также помогал шоколад. Просидев на постели за книгой несколько часов в ожидании желанного сна, он отправлялся на кухню за плиткой шоколада. К шоколаду он обычно добавлял мацу, которую моя знакомая покупала для нас в синагоге во время еврейской пасхи. Маца заменяла Киму water biscuits (сухое пресное печенье). Он разламывал ее на кусочки, на каждый укладывал по дольке шоколада и эти маленькие «сэндвичи» раскладывал на большой тарелке. А я засыпала под его уютное «хрум-хрум».

Каждое утро Ким задавал мне один и тот же вопрос:

— What are your plans? (Каковы твои планы?).

На этот вопрос я редко отвечала определенно. Он не любил менять своих планов. Неожиданные перемены, даже самые незначительные, всегда вызывали у него досаду.

Например, мы решаем, что сегодня на обед приготовим курицу, а завтра бифштекс. Но мне неожиданно посчастливилось купить свежую рыбу, и я предлагаю курицу отложить на завтра.

— Мы же договорились, — возражает Ким и, хотя не спорит и соглашается, недовольства скрыть не может.

— Кухня моя, — заявил Ким, введя меня в свой дом.

Меня это хоть и удивило, но обрадовало. Кулинарные занятия не входили в число моих увлечений, и я без сожаления уступила Киму эту привилегию. Однажды, купив живого карпа, я решила приготовить его сама. Ким не возражал. Пока рыба жарилась, я кое-что постирала, а она тем временем, естественно, подгорела. Я очень огорчилась, что демонстрация моего кулинарного искусства закончилась сталь плачевно.

— Черный карп? — удивился Ким, но все-таки съел его и похвалил. И тут я прослезилась. Моя реакция его озадачила, и он настаивал, что было очень вкусно. Меня обидело, что он лукавит, следовало бы признать прямо и честно, что блюдо испорчено. На самом деле, несмотря на обгорелый бок, мне все-таки не удалось его окончательно испортить.

Но «черного карпа» Ким не забыл и часто дразнил меня. С ним-то такого никогда не случалось. Уж если он что-то готовит, то с кухни не уйдет. Мог сидеть часами, уставившись в духовку. В лучшем случае принесет газету с кроссвордом. Это — единственное, на что позволит себе отвлечься. Поэтому у него никогда ничего не пережаривалось, не переваривалось. Все

приготовленные им блюда были идеальны.

Впоследствии и мне удалось завоевать авторитет кулинара. Постепенно я почти полностью завладела кухней, хотя и не испытывала радости от своей победы. Ким стал лениться и все реже занимался стряпней. Он с удовольствием ел приготовленные мною блюда и больше не стремился властвовать на кухне. Когда же требовалось соблюдать точное время, я не могла соперничать с Кимом и оставила за ним привилегию запекать в духовке мясо и птицу.

Ким был вдохновенным кулинаром, но при этом неукоснительно соблюдал рецептуру, обложившись книгами. Очень любил острые блюда, особенно индийское карри. Его отец говорил, что карри только тогда настоящее, если после первой ложки вас прошибает пот. (Рассказывая об этом, Ким проводил ладонью по лбу, смахивая воображаемый пот.) Ким употреблял много острых специй. Если он и заказывал детям или коллегам привезти что-нибудь из-за границы, так это были соусы и приправы да еще апельсиновый джем.

Задумав приготовить на обед утку «по-пекински», Ким строго выполняет все советы китайского кулинара. Птица должна провисеть всю ночь на сквозняке, чтобы основательно просохнуть, прежде чем попасть в духовку. Только тогда мясо будет нежным, а корочка хрустящей. Ким долго выбирает подходящее место, куда бы подвесить тушку. Наконец вбивает гвоздь в косяк двери, ведущей на кухню. Правда, впоследствии я уговорила его жарить утку без предварительной экзекуции, и мы пришли к обоюдному согласию, что по своим вкусовым качествам она не уступает подвешенной.

Свою квартиру Ким очень любил, но жаловался, что маловата кухня. Ему было недостаточно места, чтобы развернуться в полную силу, и мешало даже мое присутствие. Поэтому я торопилась перемыть и почистить всякую снедь прежде, чем он приступит к стряпне. Ким работал поваром увлеченно и сосредоточенно и не терпел никакого вмешательства. Даже в кабинете, занимаясь своей основной работой за письменным столом, он не выглядел таким серьезным, как на кухне. Казалось, что именно на кухне, глядя в кастрюлю, он решает мировые проблемы. Пока он колдует, растет гора грязной посуды, которую я потихоньку перемываю, чтобы освободить ему поле деятельности.

Работая, Ким то и дело вытирает руки о свои брюки, и я спешу повязать ему фартук. Тем не менее его руки упорно тянутся к штанам. Пришлось сшить ему такой передник, который опоясывал его, как юбка, окончательно закрыв доступ к брюкам.

За чистоту брюк Кима я вела долгую и безуспешную борьбу. Он любил фланелевые брюки, но я не могла найти их в продаже. И только в Венгрии мне посчастливилось купить несколько отрезов фланели, из которой в Москве сшили пять пар брюк. Мне не удавалось приучить Кима аккуратно вешать свои брюки, и они быстро принимали неопрятный вид. А он уверял, что фланелевые брюки непременно должны быть старыми, мятыми и грязноватыми, чтобы чувствовать себя в них уютно. На мои замечания Ким отвечал, посмеиваясь:

— Это хороший стиль. Недаром обо мне писали, что я небрежно элегантен.

На это трудно было возразить.

Раз в неделю мы ходили на Главпочтамт, где Ким абонировал почтовый ящик. Там он получал газеты «Таймс» и «Геральд трибюн», а также журналы «Тайм» и «Санди таймс». Этот адрес, в отличие от домашнего, который тщательно скрывался, был известен за рубежом, и на него поступала корреспонденция со всего мира. Большинство писем благополучно доходило и с таким адресом: «Киму Филби. Кремль. Москва» или «Генералу Филби. Лубянка. Красная площадь». Помимо бесконечных просьб дать интервью он получал массу религиозных писем, а также… предложения вступить в брак.

Мне запомнилось письмо одной леди из Лондона с предложением руки и сердца. Копию этого письма, по ее словам, она отправила в ООН Курту Вальдхайму. Во втором письме «невеста» сообщала, между прочим, что составила завещание в пользу Кима. После продолжительного перерыва она прислала третье письмо, в котором объяснила свое молчание тем, что была в госпитале, но просила не беспокоиться о ее здоровье. К этому письму была приложена фотография. Когда я ее увидела, меня перестали терзать муки ревности. Больше писем от нее не приходило.

Среди некоторых сохранившихся писем я обнаружила такой комментарий Кима: «Любопытно заметить, что это письмо, пришедшее в мое отсутствие с канадской маркой, адресовано мистеру Киму Филби — Кремль, Москва, Россия. Странно, что половина писем, которые я получаю от религиозных маньяков, посланы из Канады, тогда как предложения вступить в брак приходят главным образом из Англии и Франции».

Мы шли к Почтамту всегда пешком по бульварам: Петровскому, Страстному, Сретенскому. Я едва поспевала за Кимом, который был неутомимым ходоком. При подъеме от Трубной площади к Сретенке я и вовсе не могла угнаться за ним и пищала: «Не беги». Возвращались мы тем же путем или на

такси, если ноша была тяжелой.

Дома, сортируя газеты, Ким всегда раздражался, так как приходили они в обратной последовательности. Так, например, 1 февраля он получил номера от 15, 16, 19, 20 января, а 8 февраля — от 5, 7,10 и 18 января. Кураторы его уверяли, что в таком порядке газеты присылают из-за границы (кажется, в этом их убедили на Почтамте). И газеты, и журналы были либо скручены в рулоны, либо сложены гармошкой. Ким, обстоятельный во всем, расправлял их, укладывая между тяжелыми атласами, и сверху водружал чугунный утюг.

На следующее утро он вытягивал из-под пресса один экземпляр «Таймс», сгорая от нетерпения приняться за, кроссворд, который называл гимнастикой для мозгов. Эти кроссворды были необычайно сложными, не имеющими ничего общего с нашими. Подаренную кем-то книгу подобных нашим английских кроссвордов Ким сразу отбросил — слишком легко и скучно. Однажды куратор попросил прочитанные Кимом газеты для какого-то англичанина, который потом спрашивал:

— Кто этот гениальный человек, который разгадывает все кроссворды? Я, прожив всю жизнь в Англии, до сих пор не могу понять их принципа.

Услышав это, я обрадовалась, мне стало легче мириться с собственной тупостью, так как и я не могла разобраться в системе и логике построения кроссвордов даже после объяснений Кима. Ему же удавалось разгадать любой кроссворд до конца, не оставив ни одной незаполненной клеточки.

СНОВА В ДЕЛЕ

Примерно через год-два после нашей свадьбы Кима стали время от времени загружать работой, которую приносили и уносили кураторы. Ким сразу включался в очередное задание, хотя внешне ничего не менялось в его поведении. Он продолжал заниматься обычными повседневными делами, пока вынашивал свои идеи, не делая никаких записей или пометок. Но даже во время нашей беседы я чувствовала, что его мысли далеки от меня.

Так проходили день, два, от силы неделя… Потом Ким садился за машинку и начисто печатал свой труд. Об окончании работы я сообщала куратору по телефону.

Когда куратор говорил, что задание срочное, Ким, понимая это буквально и ко всему относясь очень ответственно, немедленно принимался за работу и выполнял ее молниеносно. Его очень удивляло, что куратор не всегда спешил забрать

«срочную» работу.

Разумеется, я не имела никакого представления о содержании заданий, которые выполнял Ким. Во-первых, меня это совсем не интересовало, а во-вторых, я считала, что чем меньше знаю шпионских секретов, тем лучше для меня. Ким обычно коротко комментировал очередное задание: «Это довольно интересно» или: «Очень скучно». Последнее звучало чаще. Насколько я понимала из его сухих замечаний, он получал изложенные кем-то идеи или заготовки, которые ему приходилось доводить «до ума». Он часто выходил из себя, считая, что очередная идея не стоит и выеденного яйца, просто бессмысленная трата времени. Иногда Ким загорался энтузиазмом, говорил, что получил трудное, а значит, интересное задание. Однажды он сказал, что результат его труда получил большой резонанс, и очень гордился этим.

Спустя некоторое время характер работы Кима существенно изменился: она стала носить систематический и упорядоченный характер. Вместо куратора, выполнявшего роль курьера, у Кима появился постоянный работодатель — Георгий. Он приходил регулярно, раз в неделю, и они вдвоем на несколько часов закрывались в кабинете, куда я время от времени приносила чай, чтобы поддержать их творческую активность. Закончив свой труд, они переходили в гостиную и с чувством выполненного долга расслаблялись за бутылкой коньяка.

«Приступы лихорадочной профессиональной деятельности перемежались у меня с погружением в мое старое кресло, «чтобы заполнить пробелы в чтении газет». Грубо говоря, это означает, что между вспышками лихорадочной активности я лентяйничал. Когда Вы доберетесь до моего возраста, Вам, возможно, захочется поступать так же», — писал Ким М.П. Любимову 27 января 1980 г.

Как впоследствии рассказывал мне Георгий, это была его идея — привлечь Кима к активной работе. Он изложил свою идею О.Д. Калугину, который тогда руководил контрразведкой, и тот согласился.

В 1980 году у Георгия начались разногласия с его непосредственным начальником, причем настолько серьезные, что позднее ему пришлось поменять место работы. Его визиты к Киму неожиданно прекратились. Он просто исчез, как прежде исчезали наши кураторы. Вместо него пришел Анатолий, и работа продолжилась.

Спустя несколько месяцев после своего исчезновения Георгий неожиданно появился у нас (без предупреждения о своем визите по телефону, что было необычно) и рассказал, что ему было приказано прервать всякие контакты с Кимом, не вдаваясь в

объяснения. Тем не менее он счел своим долгом известить нас об этом. Георгий почему-то (!) говорил шепотом и выглядел необычайно взволнованным и таинственным. Он был первым из «пропавших без вести», кто в конце концов объявился.

Анатолий работал с Кимом недолго, вскоре уехал в командировку, предупредив об этом, и оттуда присылал трогательные послания. Юрий, сменивший Анатолия, работал с Кимом до самого конца. Ким ценил профессиональные качества всех троих. Ему было легко и интересно с ними работать.

Между тем ко многим действительно ценным советам Кима совсем не прислушивались в КГБ. Я помню, как однажды к нам пришел О.Д.Калугин. И радостно сообщил о победе исламской революции в Иране. Ким, наоборот, расстроился, предвидя опасность распространения ислама. Его удивляли недальновидность и некомпетентность наших политиков, не осознававших этой опасности. Свое отношение к аятолле Хомейни Ким изложил в письме Грэму Грину 2 января 1980 г:

«…Не думаю, что на основании лишь того, что я — сын своего отца (Сент-Джон Филби принял ислам. — *Р. П.-Ф.'),* я имею право говорить об аятолле. Я никогда не был человеком религиозным, и потому мне, наверное, труднее, чем многим, понять неразумность поведения, даже своего собственного. Я склонен рассматривать аятоллу омерзительным старым обманщиком, а его драгоценную Исламскую республику — бессмыслицей».

Далее Ким высказывает свою озабоченность проблемой с заложниками, когда иранцы захватили американское посольство в Тегеране. Эти слова особенно актуальны в наши дни:

«По-видимому, существуют две проблемы: заложники и будущее Ирана. Что касается заложников, я думаю, мы все находимся в согласии, поскольку только одному Аллаху известно, чье посольство на очереди быть разграбленным, разгромленным, сожженным или оккупированным. Но какой способ лучше подходит для их освобождения? Действие или бездействие? Я не могу проникнуть в мысли а. (аятоллы. — *Р. П.-Ф.)* или студентов, резвящихся на каникулах. По большому счету, твоя идея совместных действий, сосредоточенных в сферах влияния, пожалуй, выглядит привлекательно (я передал это компетентным органам). Но, разумеется, подобная операция предполагает взаимное доверие и добрую волю — товар, запас которого слишком скуден в эти дни, и он стремительно убывает (как мне кажется) с каждым часом».

Узнав о введении советских войск в Афганистан в 1979 году, Ким буквально схватился за голову. Он был в отчаянии, считая,

что эта преступная глупость обойдется нам несчетными потерями. Уже тогда, в самом начале войны, он предвидел трагический конец этой авантюры, вернее — бесконечную войну.

И снова Ким поделился своими огорчениями с Грэмом Грином в том же письме:

«…Теперь об этой жуткой истории в Афганистане. Едва ли нужно говорить тебе, как я всем этим огорчен, — тебя может удивить то, что я не встретил здесь никого, кто бы этому радовался. Судя по всему, было крайне необходимо избавиться от Хафизуллы Амина, который буквально устраивал кровавую баню, именовал себя афганским Сталиным и вел себя соответственно. Но было ли так уж необходимо выбирать военное решение проблемы, как это нынче называют? Не достаточно ли было тихо расправиться *с* Амином ударом кинжала? Но это, конечно, просто импульсивная реакция. Я не моту высказывать свое мнение, не зная всех фактов, приведших к такому решению».

Тем не менее я слышала, как Ким высказывал сотрудникам свое мнение по поводу вторжения в Афганистан в самой резкой форме. Но (увы!) его советы не повлияли на ход событий.

…Параллельно с «надомной» работой у Кима появились новые обязанности. Ему отвели роль наставника молодежи. Эта идея осенила М.П. Любимова в 1974 году, когда он стал начальником Третьего отдела Первого главного управления КГБ. По его словам, он предложил О.Д. Калугину использовать Кима для «оживления работы по Англии». Тогда это было особенно актуально, поскольку в 1971 году из Англии выдворили 105 советских дипломатов. Фактически вся резидентура была разгромлена. Там остался только один латыш Я. Лукашевич. (Несколько лет спустя мы встретились с ним в Латвии на съемках документального фильма о работе советской контрразведки.)

Итак, Ким был призван ковать новые кадры. С этой целью отобрали группу молодых людей, которым он передавал свой многолетний профессиональный опыт. Занятия проводились на конспиративной квартире в десяти минутах ходьбы от нашего дома. Группа обычно включала трех-четырех человек, ее состав иногда изменялся — одни студенты уезжали в командировки, их место занимали новички.

Ким заинтересованно отнесся к новому роду деятельности. Ему доставляло удовольствие общаться с молодыми людьми: он видел в них своих единомышленников и был с ними предельно откровенен. Меня радовало, что Ким нашел наконец занятие себе по душе, и я старалась поддерживать в нем интерес к этому делу, лишь бы он не замыкался в стенах нашего дома.

Ким делился со мной впечатлениями о своих учениках,

говорил, что они интеллигентные и способные. Среди них он особенно выделял одного — Майкла (как он его называл) — и давал ему самые высокие оценки, считая его подающим большие надежды.

— Этот просто блестящий, — говорил Ким о своем любимце и очень хотел познакомить меня с ним.

Знакомство наше состоялось не скоро. Я видела Майкла при жизни Кима всего один раз. Второй раз он навестил меня в день похорон Кима. Впоследствии я подружилась с ним и его семьей, и мы стали часто встречаться.

Бывая в командировках, ученики переписывались со своим учителем. Ким посочувствовал Майклу, работавшему в Англии в начале 80-х годов:

«…Да, я представляю себе, что твой путь в эти дни усеян скорее минами, нежели розами. Впервые я по-настоящему начинаю бояться того, что могут замышлять эти безумцы из Вашингтона, ну и, конечно, пудель Рейгана (миссис Т.) тут как тут. А вот британская политика впервые становится интересной. Не скажу, чтобы я с восторгом относился к либералам или социал-демократам — все это старая команда, только они решили сменить одежду. Ты наверняка знаешь обо всем этом больше меня, так что не стану дальше распространяться» (16 января 1982 г.).

Занятия Кима со студентами носили форму собеседований или деловых игр и в какой-то мере напоминали уроки актерского мастерства. Эти встречи проходили в непринужденной обстановке — за рюмкой коньяка и чашкой чая. Ким обучал своих подопечных умению произвести хорошее впечатление, манере поведения, общения, объяснял, как надо разговаривать, о чем беседовать. Его советы, даже в мелочах, в таких, например, как выбирать одежду, подобающую случаю, как уметь носить вещи, были необычайно полезны. Этому их никто другой научить не мог. Таким путем Ким помогал своим студентам войти в определенный образ, внедриться в чужую среду, стать «своим среди чужих», одним словом, *быть* англичанином.

Вместе с тем Ким сетовал, что его не использовали в свое время, когда он действительно обладал бесценными знаниями. Он считал, что его опыт безнадежно устарел, что он слишком отстал от жизни *и не* может принести достаточной пользы своим слушателям. Но студенты уверяли, что его опыт уникален, и очень дорожили этими семинарами. В письме к М.П. Любимову от 14 апреля 1977 г. Ким писал:

«На следующей неделе мы уезжаем в Ленинград (по делам), а через неделю — в Крым на отдых, который, надеюсь, я заслужил.

Тем временем я продолжаю говорить всякую ерунду мальчикам, а они, похоже, готовы меня слушать — возможно, они все же что-то от этого получают».

Ким тщательно готовился к своим занятиям — это было заметно по его сосредоточенному, даже отрешенному выражению лица, которое у него появлялось накануне встречи со студентами. При этом я не видела его сидящим за письменным столом, никаких конспектов или планов он не составлял, придумывая очередную тему семинара на ходу.

«Мы снова взялись за старое: в этом году у нас двое новеньких и один или двое из старого состава. Сегодня я встречусь с ними во второй раз и усиленно ворочаю моими бедными старыми мозгами, пытаясь придумать, что бы такого им сказать, чего они еще не знают.

Желаю тебе всяческих профессиональных успехов, и, если какие-то мои случайные замечания смогут этому способствовать, я буду горд и счастлив» (из письма Майклу от 31 октября 1983 г.).

В последние годы своей жизни Ким часто болел, и каждый выход из дома становился для него проблемой. Однажды, когда он шел на занятия, ему пришлось пешком подниматься на девятый этаж, так как испортился лифт. Домой он вернулся вконец обессиленным. После этого случая Ким предложил куратору перенести встречи с учениками на нашу квартиру. Эта просьба была выполнена, хотя *и* неохотно, поскольку считалось нежелательным расширять круг наших посетителей.

И все-таки даже дома Киму становилось с каждым разом все труднее справляться с этой нагрузкой.

«Дело в том, что я отметил конец нашего юбилейного года и начало нового самым неподходящим образом: в декабре меня жуткий прихватил бронхит, а в январе — грипп. Сейчас я только выбираюсь из всего этого и надеюсь возобновить беседы с нашими молодыми друзьями в будущую пятницу» (из письма М.П. Любимову от 17 января 1978 г.).

Ким жаловался мне, что говорить беспрерывно в течение двух часов очень утомительно. Со временем интервалы между семинарами стали увеличиваться, и мне приходилось все чаще звонить куратору, прося перенести очередной урок на неделю или на неопределенный срок. Тем не менее эти занятия, хотя и с большими перерывами, продолжались до последнего года жизни Кима.

«Сразу же после праздников я начну читать четвертый курс лекций молодому поколению. Кажется невероятным, что я прочел уже три курса. Тот, кто первый сказал: «Время летит», был наверняка прав» (из письма М.П. Любимову от 4 ноября 1979 г.).

Не прерывалась его связь и с учениками, работавшими за границей.

«Я только что выбрался из больницы и ко мне приехала старшая дочь с мужем и моим старшим внуком (ему теперь уже 20!) на Рождество, и мы только сейчас начали возвращаться к нормальной жизни.

…Мне очень понравилось твое интервью с Питером Устиновым. Я встречался с ним несколько раз в 1944–1946 годах, в начале его карьеры, но по-настоящему я знаю его отца. Клоп, как все его звали, был очень интересным человеком. После эмиграции его семья приняла немецкое гражданство, и Клоп поступил на службу в германское Министерство иностранных дел. Когда он работал в германском посольстве в Лондоне, его завербовало МИ-5. Он «дезертировал», когда при нацистах ему стало слишком жарко, но продолжал работать среди немцев и сделал немало хорошего. Когда в 1944 году он стал менее полезен для МИ-5, они предложили его мне, и я немало поспособствовал тому, чтобы отправить его в Лиссабон, где было много немцев, которые к тому времени главным образом беспокоились о том, как спасти свою шкуру. Вот тогда я узнал его достаточно хорошо.

Конечно же, я видел улыбающееся лицо нашего старого друга, смотревшее на меня с первой полосы «Таймс» в прошлом году. Ты говоришь, что он вел себя очень хорошо, и я чрезвычайно горжусь им. Ведь он отслужил полный срок и получил продление, чего мы, пожалуй, не ожидали. И, насколько мне известно, никто по его вине не пострадал. Что ж, Майкл, ты по-прежнему высоко держишь факел, и я вполне могу поверить, что тебе выпадают весьма тревожные минуты, мягко говоря. В наши дни трудно увидеть много просветов — что и говорить, когда такой невежественный клоун, как Рональд Рейган, находит поддержку и становится президентом США. Приходится надеяться на лучшее будущее, а пока терпеливо трудиться и сеять разумное, где бы мы ни находились. Я горячо сочувствую тебе — нелегко работать в такой враждебной атмосфере, но надеюсь, что благодаря твоим личным качествам ты найдешь все-таки людей, с которыми можно встречаться на человеческом уровне». (Из письма Майклу от 8 января 1983 г.).

ВСТРЕЧИ С ДЕТЬМИ

Приезд детей вносил приятное разнообразие в нашу жизнь. Все пятеро — три сына и две дочери, — а также четверо внуков

навещали Кима в Москве. Том был первым из них, кого я узнала. С ним и с Кимом я познакомилась одновременно. После этого он приезжал к нам два года подряд. У него был беззаботный жизнерадостный характер и экстравагантные замашки. Работая жокеем, он следил за своим весом и с самым серьезным видом уверял, что для этого ему необходима диета из икры и шампанского.

Однажды мы вчетвером отправились в ресторан. Том с моим братом шли впереди и оживленно разговаривали. Создавалось впечатление, что они прекрасно понимают друг друга. Мы с Кимом, следуя за ними, гадали, о чем и на каком языке они могли беседовать. Очевидно, каждый на своем, так как Том ни слова не знал по-русски, а Костя по-английски.

Затем я познакомилась со старшей дочерью, Джозефиной. Она приезжала чаще всех, почти каждый год. Сначала одна, потом со вторым мужем, иногда с детьми. (С первым мужем она посещала Кима еще до меня.)

Только с младшей, Мирандой, я не встречалась в Москве и познакомилась с ней в Лондоне уже после кончины Кима. Она приезжала к нему всего один раз, летом 1969 года, за год до нашего знакомства, вместе со старшей сестрой Джозефиной и ее тремя детьми, мал мала меньше. Ким повез семью к Черному морю, в Сухуми, где поручил куратору снять для них дом. Обещанный дом Ким получил, только не пустой, а со всеми домочадцами впридачу, которые любезно потеснились, уступив англичанам две комнаты. Там они и ютились вшестером. Об этом отдыхе мне в разное время рассказывал каждый из них, но плохие воспоминания у всех были общими.

Хозяева оказались хлебосольными, и в доме постоянно толпился народ. Они веселились и пили чачу, не оставляя без внимания и Кима. После возлияний его мучали кошмары, и он кричал по ночам, пугая детей. Оставив его в одной комнате, все остальные теснились в другой, пока Миранда не выбрала из двух зол меньшее и не переселилась к Киму. Подгулявшие взрослые пичкали малышей чем попало, и те постоянно маялись животами. Гости либо квартиранты спали повсюду — в коридоре, на полу, и о них приходилось спотыкаться.

Теплое море тоже не доставляло удовольствия Киму. Избалованный песчаными пляжами, он не мог привыкнуть к гальке. (Ким даже не мог носить ботинки с тонкими подошвами: его нежные ступни чувствовали малейшие шероховатости асфальта.) Прежде чем войти в воду, он надевал несколько пар носков и так плавал, изумляя окружающих.

На Миранду эта поездка произвела поистине неизгладимое

впечатление, отбив охоту к новым визитам в Советский Союз. Больше она к Киму не приезжала.

Спустя десять лет Джозефина снова решилась приехать с детьми, и мы ломали голову, куда с ними податься. Что мы можем предложить им, избалованным европейскими курортами, кроме «сухумского варианта», который Ким не хотел повторять? И ему пришла на ум Болгария. Во время очередного визита в эту страну Ким заручился согласием заместителя министра внутренних дел, и на следующий год мы приехали в Софию, чтобы встретить там беспокойное семейство из Лондона. Накануне этой поездки, 18 июля 1979 г., он написал М.П. Любимову:

«Задержка с ответом на твое письмо частично объясняется тем, что я опять плохо себя повел: сильнейший приступ бронхита уложил меня на пару недель. Сейчас все позади, и мы в начале будущей недели едем встречаться с моей старшей дочерью и тремя внуками в «одну социалистическую страну». Старший мальчик, которому шестнадцать лет, говорят, изрядно вымахал — он на несколько дюймов выше меня, так что мне придется вести себя с ним осторожно. Возможно, то обстоятельство, что я держу в руках тесемки от мешочка с деньгами, позволит мне осуществлять положенный деду контроль, но я сомневаюсь. Боюсь, нам предстоит напряженный «отпуск». Но я десять лет не видел их, так что это будет интересное сборище.

Лето у нас преотвратительное — то неделя жары, то неделя холода, а кроме того, много дождя в июле, когда он не очень-то нужен. Надеюсь, что в Б. (я имею в виду другую социалистическую страну) условия окажутся более благоприятными, а иначе будет весьма сложно развлекать детей. Мы стучим по дереву».

Из Софии отправляемся к морю, на Солнечный берег, на двух машинах — «Волге» и «Чайке». Старший из детей, Джулиан, великодушно уступил «Чайку» младшим — Люси и Джереми, и те постоянно сражались между собой за место рядом с шофером. Нас поселили в доме отдыха Министерства внутренних дел, неподалеку от старинного города Созополя. В день приезда Люси и Джереми шокировали чинную публику, затеяв драку в фонтане. Они исступленно колотили друг друга, не замечая осуждающих взглядов молчаливых зрителей, пока Ким грозным окриком не остановил это безобразие.

Погода никогда не была к нам так благосклонна, как в эти две недели. Все дни мы проводили у моря, но дети были разочарованы, лишившись своей «Чайки», которую заменил микроавтобус.

Джон, старший сын (он на два года моложе Джозефины), также часто наведывался к Киму — один или вдвоем с первой женой, а потом и втроем со второй женой и дочкой. Малышке не было еще и года, когда она впервые побывала в Москве.

К приезду Джона с первой женой Нишией («прекрасной израильтянкой из Йемена», как Джон написал в телеграмме, когда известил нас о своей женитьбе) Ким приготовил сюрприз — путешествие на теплоходе по Волге от Москвы до Астрахани и обратно. Он был уверен, что это доставит им удовольствие, но оказался прав только наполовину. Если Джон был в восторге от плавания, то Нишия скучала и была всем недовольна: ей было либо слишком жарко, либо слишком холодно. Для нее самые первые минуты в Москве оказались далеко не радостными, правда не по нашей вине. Неприятности начались еще в Лондоне, когда в последний момент перед посадкой им поменяли рейс.

Ким, приехав в Шереметьево (в тот раз я оставалась дома — готовила праздничный обед), не обнаружил никакой информации о прибытии самолета из Лондона. Обыскав вдоль и поперек аэровокзал, он вышел из здания, не зная, что еще предпринять. Там его внимание привлекла печальная фигура: женщина сидела на тротуаре, устало опустив голову. Он подошел и спросил:

— Нишия?

— Yes! (Да!) — удивленно ответила она.

Тем временем Джон метался в поисках Кима и был в полной растерянности: он не знал нашего адреса и не говорил по-русски. К счастью, все закончилось благополучно.

Наше путешествие по Волге длилось 16 дней. В этой поездке нас сопровождал очередной Владимир со своей дочкой-подростком. Он прекрасно ладил с Джоном, но сражался с ним за шахматной доской. Мы еще не успели расположиться в своих каютах, как нас вызвала на «собеседование» буфетчица, крашеная блондинка с беспокойными глазами, металлическими зубами и великолепной фигурой. Она сразу поняла, что имеет дело с солидными людьми, и предложила свои услуги по снабжению напитками. При этом она цепким взглядом ощупывала мужчин, пытаясь определить свою потенциальную жертву. Тем не менее свое обещание буфетчица сдержала, и мы были обеспечены пивом и минеральной водой на всем пути следования.

Мы побывали во всех приволжских городах. В крупных портах стоянка длилась по несколько часов, и каждый раз на причале нас ждали две черные «Волги», которые привлекали внимание всех пассажиров корабля. Нас радушно встречали местные представители КГБ и после осмотра достопримечательностей города угощали обильным обедом. Мы уже привыкли к подобным

мероприятиям и принимали их как неизбежность. Джону доставляло удовольствие русское хлебосольство, а для Нишии это было настолько мучительно, что она часто предпочитала оставаться на корабле. Ее недовольный вид и отсутствие аппетита вызвали сочувствие даже у суровой официантки, и та спросила Нишию, чего бы ей хотелось на завтрак.

— Marmelade, — грустно сказала Нишия и поневоле развеселилась, когда вместо джема, который подают к традиционному английскому завтраку, ей принесли коробку мармелада в шоколаде.

На очередном обеде *в* Костроме Джон был неприятно удивлен, что со стола убрали выпитую наполовину бутылку водки. Ее тут же заменили новой. Кима позабавило беспокойство Джона, непривычного к такому расточительству.

В Астрахани мы побывали в кремле, красоту которого, как и изобилие южного базара, трудно описать. Мы особенно подивились разнообразию форм и размеров помидоров всевозможных оттенков — лимонно-желтого, ярко-оранжевого и кроваво-красного — цветов. Большую часть дня мы провели на катере в заводи, купаясь и забрасывая удочки, ничего не поймав. К счастью, кто-то заблаговременно выловил большого осетра, которого разделали на наших глазах. Нас угощали свежей икрой, которую мы ели столовыми ложками, а потом ухой.

Речники прониклись особой симпатией к Джону: они с удивлением говорили, что никогда в жизни не видели, чтобы кто-нибудь выпил столько водки и при этом вел себя так прилично. Ему даже доверили штурвал корабля, которым он уверенно управлял на большой скорости. Огни города стремительно приближались к нам, и я зажмурилась от страха — мне казалось, что мы вот-вот врежемся в многоэтажный дом на берегу. Между тем Джон плавно подвел катер к причалу, вызвав одобрение команды.

Судя по тому, как часто у нас бывали Джон и Джозефина, им эти поездки доставляли удовольствие. Джон сам говорил об этом, но однажды удивил меня, когда, оглядывая кухню, сказал:

— Здесь все так примитивно, но, несмотря на это, мне так хорошо у тебя!

А я-то думала, что у нас шикарная кухня, так же считали и мои друзья, у которых все было гораздо скромнее. И только побывав в Англии, в гостях у детей, я поняла, какая бездна нас разделяет на бытовом уровне.

Самый младший сын, Гарри, приезжал при мне только один раз (он побывал в Москве еще до моей встречи с Кимом и ездил с ним в Эстонию). На этот раз он приехал в декабре. В тот год

выдалась на редкость морозная и снежная зима, и мы катались с ним на лыжах в Измайловском парке (для этого специально купили ему лыжи с ботинками), а потом мама угощала нас обедом с блинами. Обед ему пришелся по вкусу, но желания повторить лыжную прогулку у него больше не появилось, как и оказалось достаточно всего одного посещения открытого бассейна «Москва».

Мы старались показать Гарри все достопримечательности, но московская жизнь, как и сам город, не вызвали у него интереса. Я переживала, что мои усилия пропадают даром, не зная, чем его можно порадовать, а он утешал меня, что вполне счастлив и в такой мороз предпочитает оставаться дома и подолгу спать, как медведь в берлоге.

Дети обычно приезжали на две недели в разное время — в рождественские или пасхальные каникулы либо летом. К их приезду мы старались накапливать деликатесы, и у них создавалось впечатление, что икра не сходит с нашего стола *и в* повседневной жизни. В свою очередь, они радовали нас гостинцами из Англии.

Разумеется, мы хотели показать детям наиболее привлекательную сторону московской жизни и, кажется, преуспели в этом. Судя по всему, наши гости преувеличивали уровень благосостояния Кима, а он поддерживал эту иллюзию. Хотя их удивлял скудный ассортимент наших магазинов, они полагали, что к нам это не имеет отношения. Зато в те годы был большой выбор сувениров — всевозможные предметы из камня, металла и дерева, изделия с росписью из Хохломы и Палеха и многое другое. Мне доставляло удовольствие покупать им подарки, которые они сами выбирали.

Киму предоставляли служебную машину, когда мы встречали и провожали детей в Шереметьево, а также на дальние поездки, такие как в Звенигород или Суздаль. Ким никогда не получал отказа в своих просьбах, но в повседневной жизни мы редко пользовались такими услугами.

Радуясь приезду детей, Ким и расставался с ними без сожаления. Он привык к уединенному образу жизни, и любые гости его утомляли. Я тщательно готовилась к приему детей, любила их встречать (Ким оставался дома, пока я ездила в аэропорт) и всегда грустила, расставаясь с ними. Мне даже казалось, что эти визиты доставляли больше удовольствия мне, чем Киму.

У Кима часто сочувственно спрашивали, каким преследованиям подвергаются его дети. Советским людям было известно, что члены семьи неизбежно пострадали бы в

аналогичной ситуации в нашей стране. Они не могли поверить, что его шпионская деятельность никак не отразилась на жизни детей. Только однажды, когда Джон решил отправиться фотокорреспондентом на вьетнамскую войну, отголоски прошлого его отца напомнили о себе. Ему медлили с выдачей визы в паспортном отделе, и он считал, что причиной тому была фамилия Филби. Визу он все-таки получил и побывал во Вьетнаме. Кстати, никому из детей не чинили препятствий с поездками в Советский Союз.

Думаю, что труднее всех было самым младшим — Миранде и Гарри, когда умерла их мать, а вскоре они лишились и отца.

Братья и сестры, все пятеро, мало похожи друг на друга и еще меньше напоминают Кима. Я с трудом находила у них что-то общее во внешности с отцом. Иногда это сходство обнаруживалось в отдельных чертах лица, в походке или жестах. Джон, очень теплый, душевный, был наиболее близок Киму и разделял его политические взгляды.

Как-то во время майских праздников в Москве Джон стащил на улице два красных флага (удивительно, как ему удалось беспрепятственно прошагать с ними по городу) и растянул их над кроватью в спальне Кима, видимо в знак уважения к идеалам отца.

Патриция, младшая сестра Кима, выразила свое понимание в иной форме — она прислала вместе с теплым письмом пластинку Фрэнка Синатры. И среди его песен она выделила одну — «Мой путь», подчеркнув название и надписав «Киму от Пэт».

Там есть такие строки:

Я прожил жизнь сполна,
Я поступал так, как считал нужным,
Я все и всегда делал по-своему!
И всегда признавал, если был не прав,
… Да, я всегда шел своим путем…

Ким очень любил Патрицию, и этот знак внимания растрогал его, к тому же песня оказалась на удивление созвучна его убеждениям.

Вряд ли кто-нибудь из детей по-настоящему понимал мотивы поступка своего отца, но они предпочитали не высказываться на эту тему. Тем более было удивительно, что дети, такие непохожие друг на друга, в разное время говорили мне одни и те же слова:

— He was a great father! (Он был замечательным отцом!)

Первое время я пыталась выводить Кима «в свет», пока не убедилась, что это не доставляет ему никакого удовольствия. Я напрасно радовалась, когда достала билеты на премьеру английского фильма (забыла его название, но помню, что это была экранизация классического произведения), вообразив, что знакомый сюжет придется Киму по душе. Он ничего не смог понять и сбежал из зала, просмотрев всего несколько кадров, — его невыносимо раздражал русский перевод, заглушавший английскую речь.

Как-то раз мне удалось уговорить его пойти в Малый театр на «Царя Федора Иоанновича». Обычно он избегал драматических постановок, так как плохо понимал русскую речь. В этом случае я надеялась, что спектакль ему понравится: он очень хорошо знал русскую историю и любил Смоктуновского, который играл царя Федора. Моим надеждам не суждено было оправдаться. Уже к середине первого акта Ким заскучал, заерзал в кресле, а в антракте заявил, что хочет уйти домой. Я надулась и не стала его удерживать, а сама в гордом одиночестве досмотрела спектакль до конца, хотя и без прежнего удовольствия.

После этого похода в течение нескольких дней Ким выглядел задумчивым и озабоченным. Наконец, спросил:

— Кто такой Шурин? Почему я никогда не встречал этого имени?

Царь Федор, обращаясь к Годунову, который был братом его жены — царицы Ирины, всегда говорил «шурин» (brother-in-law), а для Кима это звучало как русская фамилия подобно Шуйскому или Годунову. Его расстроило собственное невежество, незнание одного из главных действующих лиц пьесы и истории, и он не находил себе места, пока не поговорил со мной и не закрыл это белое пятно в своих познаниях.

Как ни странно, Киму понравилась венгерская комедия «Проснись и пой» в Театре Сатиры с блистательной Татьяной Пельтцер. Он без труда разобрался в незамысловатом сюжете. Обычно же в кино и театрах Ким томился от. скуки, и у меня из-за этого портилось настроение. В конце концов мы пришли к компромиссному решению: он оставался дома, а я развлекалась с подругами. Зато я не отказывалась сопровождать его на хоккей и футбол, пока меня с радостью не заменил мой брат, такой же, как и Ким, страстный болельщик. Вот цирк Ким очень любил — там было все понятно.

Чаще всего мы ходили на симфонические концерты в Консерваторию и в Большой театр. Старались не пропускать

художественные выставки в Музее изобразительных искусств. Мы получили огромное наслаждение в Консерватории от концерта Лондонского симфонического оркестра, которым дирижировал Бенджамин Бриттен. В его исполнении даже наш тяжеловесный гимн прозвучал необыкновенно легко и радостно. Солистом был Ростропович, уже опальный. Это был его последний концерт на Родине. Первые ряды занимали почетные гости — иностранцы и знаменитости. Среди них оказались и наши места. Но уступив свои билеты друзьям, которые гордо восседали рядом с Шостаковичем, мы сами скромно сидели в последнем ряду, чтобы избежать нежелательных встреч.

Ким всегда опасался нечаянной встречи с иностранными журналистами в общественных местах. Надо же было такому случиться, что во время нашего посещения Большого театра мы наскочили на Дика Бистона, московского корреспондента «Дейли телеграф», и его жену Мойру, старых друзей Кима. Мойра спросила меня, часто ли мы бываем здесь. Не так часто, как хотелось бы, сказала я, потому что нелегко достать билеты.

— А что здесь легко? — раздраженно спросила она. Вопрос (риторический), который мы то и дело задаем друг другу.

В то время по поводу билетов, как и по любому другому, приходилось обращаться к куратору, но в роли просителя я старалась выступать как можно реже.

Бистоны пожаловались, что уже не один год живут у друзей — не могут найти квартиру. Ким обещал похлопотать. И потом очень радовался, что ему удалось помочь им. Он получал от них теплые письма и приглашения на Рождество, которыми, к сожалению, мы не могли воспользоваться. Когда вышла его книга на русском языке, Бистоны уже были в Америке, и я пошла на почту, чтобы отправить им подписанный Кимом экземпляр. Но мне не удалось сделать это, тогда как раз перестали принимать книги к пересылке за рубеж.

Поначалу я не владела английским языком, и мы с Кимом разговаривали по-русски. Его недостаточное знание этого языка не мешало нам понимать друг друга, и лишь иногда случались недоразумения.

— Что такое истимуться? — спрашивает Ким.

— Такого слова нет, — удивляюсь я.

— Ты сама только что это сказала, — настаивает он, и я пытаюсь вспомнить, о чем могла говорить.

Оказалось, моя фраза: «Иду вынести мусор» — для Кима слилась в одно слово: «истимуться», которым с тех пор мы стали называть эту процедуру. (Это мне напомнило, как в детстве я исказила слова популярной песни: «Любимый город в синей

дымке тает…» — и пела: «Любимый город, синий дым Китая…», завороженная непонятным смыслом этих слов.)

Со временем я немного овладела английским языком на бытовом уровне и старалась говорить с Кимом на его родном языке. Тогда он стал жаловаться, что я лишаю его возможности изучать русский. На самом деле он просто ленился и уже не стремился совершенствовать этот язык, так как со мной в роли переводчика мог обходиться и без него. Постепенно у нас возник свой язык — довольно нелепая смесь русского с английским, понятная только нам.

Русскую речь других людей Ким часто совсем не понимал, и многих удивляло, когда они слышали, как то же самое я снова объясняла ему по-русски. В разговоре с ним я подбирала те слова, которые ему были понятны, интуитивно чувствуя, что смысла некоторых слов он не мог уловить. Ким и моя мама также не понимали друг друга, и было забавно наблюдать за их беседой. Разговаривая, они оба вопросительно смотрели на меня в ожидании, когда я переведу их русский опять же на русский, но понятный каждому из них.

Хотя Ким четко и правильно выговаривал русские слова, его иностранный акцент оказывал гипнотическое воздействие на некоторых людей. Помню, как в магазине я поручила ему доплатить в кассу 48 копеек. Стоя в очереди в противоположном конце зала, я слышала, как Ким отчетливо произнес:

— Сорок восемь.

— Пятьдесят? — переспросила кассирша.

— Сорок восемь, — повторил он.

— Пятьдесят? — настаивала она, пока я не прибежала к нему на помощь.

Как-то раз, когда Ким пошел за сигаретами, я попросила его заглянуть в соседний киоск «Союзпечати», где я покупала периодические издания:

— Скажи всего два слова: «“Дон” есть»?

Он так и сделал.

— Что? — не понял киоскер.

И только на третий раз киоскер догадался:

— Ах, журнал «Дон», — и радостно добавил: — Нет!

Однажды, когда у нас гостил сын Кима Том, мы собирались к моей маме на обед, и я заказала такси. Обычно о выезде таксист предупреждал по телефону, иногда сразу звонил в дверь, а то и без звонка ждал у подъезда. На этот раз в дверь позвонили, когда я была в комнате. Я услышала, как Ким открыл дверь и что-то сказал. Когда мы вышли, такси стояло у подъезда. За рулем сидела женщина. Она сердито посмотрела на нас, когда мы

садились, и проворчала:

— Сначала отказываются, потом садятся.

Я вопросительно взглянула на Кима, а он приложил палец к губам: «Молчи».

Потом Ким объяснил, что, открыв дверь, увидел женщину, которая спросила:

— Сухари заказывали?

— Нет, не заказывали, — ответил он и закрыл дверь.

Тогда частенько ходили по подъездам и предлагали купить то картошку, то рыбу. Правда, никогда не предлагали сухари. Ким раньше не сталкивался *с* таксистом-женщиной, которая в своем пестром летнем платье выглядела совсем по-домашнему, и вместо «такси» ему послышалось «сухари».

В один из летних дней мы отправились на теплоходе в бухту Радости, которую Ким потом переименовал в бухту Ярости. Мы сидели под солнцем на палубе, прислушиваясь к пению птиц и тихому плеску воды, когда из громкоговорителя на нас внезапно обрушился грохот, даже отдаленно не напоминавший музыку. Я попыталась выключить его, но на меня угрожающе двинулась разъяренная особа:

— Вы тут греете свои старые кости, а мы хотим веселиться.

Мой призыв послушать пение птиц никто не поддержал, а большая разница в наших весовых категориях не оставляла мне надежды на победу. И хотя динамик продолжал надрываться от хрипа, других признаков веселья заметно не было. А на берегу каждая компания заводила свою музыку, и шум стоял неимоверный.

«…Единственное спокойное место, обнаруженное мною в Советском Союзе, — это моя квартира — тихая заводь в центре Москвы, где я слышу лишь стрекот моей пишущей машинки да мягкий, нежный, грудной голос моей жены. Везде и всюду меня приводят в ярость шум транзисторов, стерео, моторок, легковых и грузовых автомобилей, самолетов — все эти треклятые децибелы», — писал Ким Грину 5 апреля 1980 г.

Итак, получив заряд раздражения вместо радости, он снова окунулся в тишину своего острова на шестом этаже.

Мы долго придерживались устоявшейся традиции — по субботам обедать в ресторане. Ким считал, что в этот день там меньше народу. Мы приходили к часу, когда еще мало кто успел проголодаться. Нам нравился «Метрополь» — красивый интерьер и хорошее обслуживание, куда мы повели и Джозефину в один из ее приездов. В длинном меню большинство блюд было вычеркнуто. Никаких свежих овощей, кроме дежурного «столичного» салата из картошки под майонезом. И это в августе,

когда на каждом шагу продавались огурцы и помидоры!

В ответ на наше удивление пожилой официант доверительно сказал:

— Мне стало стыдно работать. Все заинтересованы только в банкетах.

Обслуживая сразу по 50—100 человек, легче мухлевать, *и* официанты получали такой барыш, что не были заинтересованы даже в щедрых чаевых Кима. Так мы охладели к «Метрополю». В «Раздане» нам испортил настроение откровенный обман официанта, а в «Центральном» просто нахамили.

Бывали и приятные исключения, но преобладали отрицательные впечатления, и этот печальный опыт постепенно отбил у нас охоту к ресторанам, тем более что любое из тех блюд, которое мы там пробовали, Ким готовил гораздо лучше. Мы долго испытывали свое терпение в знаменитом грузинском ресторане «Арагви». Так, заказав «цыпленка табака», получили половину вареной курицы, старой и холодной. Вместо жареной расплющенной тушки на тарелке горбилось то, что должно было называться «цыпленком табака». Обескураженно глядя на это бледное неаппетитное блюдо, я лишь спросила:

— А где же чесночный соус, который непременно подается к цыпленку?

— У нас нет чеснока, — было мне ответом.

В другой приезд Джозефины мы устроили в «Арагви» большой прием с участием коллег Кима, которые и заказали стол. Нас хорошо и вежливо обслуживали, но в сациви, которое готовится из кур, почему-то попадались рыбные кости. И все-таки мы не могли придумать ничего интереснее, чем «Арагви», когда приехал Грэм Грин. Потом Ким извинялся перед ним за качество еды. Зато нам повезло, когда мы ужинали там с супругами Найтли. Они остались довольны, и Филипп вдохновенно фотографировал наш пир, но… без пленки, что обнаружил только по возвращении в Лондон.

«На днях у нас побывали несоветские друзья, и мы повели их в «Арагви», опасаясь худшего. Тем не менее нам подали вполне приемлемую пищу с большим количеством зелени и четырьмя бутылками грузинского вина в дополнение к обычным закускам», — напишет Ким Грэму 27 января 1988 г.

Наш куратор Владимир с восторгом рассказывал о загородном ресторане «Русь», и мы поехали туда с Джозефиной. Пока Владимир заказывал стол, мы потоптались вокруг озера и набрели на уютный теремок, который оказался баром, но без единого посетителя. Я заказала по рюмке водки. Скучающий бармен чистил ногти и, не отрываясь от своего занятия, процедил

сквозь зубы:

— Чистую водку нельзя.

— А какую можно?

— Только в коктейлях.

— Тогда коньяк.

— Тоже нельзя.

— А из чего коктейль?

— Из водки, коньяка, шампанского и лимонной эссенции.

Вздрогнув от одного перечисления, мы покинули этот «гостеприимный» уголок. К тому времени наш стол был готов — заставлен закусками и откупоренными бутылками со сладким крепленым вином. Кима очень удивил такой принудительный ассортимент — он никогда не пил крепленого вина. Но сухого вина, как и. водки, здесь не было, и нам пришлось довольствоваться коньяком.

Среди посетителей ресторана выделялись две категории: иностранные туристы и советские торговые работники. Последние не оставляли сомнений в своей профессиональной принадлежности (теперь «сословные» различия не так бросаются в глаза, как бывало прежде, если не говорить о «новых» русских). Все признаки благосостояния были налицо: обтянутые кримпленом толстые животы, массивные золотые украшения, а под столом большие сумки, набитые бутылками с всдкой. Они заказывали музыку (в прямом и переносном смысле) и веселились от души. Пускались в пляс, обнимались и садились друг к другу на колени. Почему-то женщина танцевала с женщиной, и обиженные мужчины следовали их примеру. Иностранцы смотрели на все это как на аттракцион, считая, что видят истинную Русь.

Как-то в зимний морозный день *я* повела Кима в ресторан «Узбекистан». Об этом заведении у меня сохранились приятные воспоминания, когда мы наведывались туда нашей дружной редакцией во время моей работы в издательстве. Там можно было пообедать не только вкусно, но и дешево. Публика преобладала среднеазиатская, и мы каждый раз наблюдали одну и ту же картину: пока мужчины пировали, их жены сидели в коридоре и грызли бублики — и это весь их обед!

Но и в «Узбекистане» все изменилось: было тесно, дымно и невкусно. Не получив удовольствия от обеда, мы собрались уходить, но тут появилось неожиданное препятствие. Ресторан был переполнен, а снаружи напирала возбужденная толпа разгневанных мужчин в каракулевых шапках. Швейцар не мог выпустить нас, боясь, что все ринутся внутрь. Наконец ему удалось приоткрыть дверь, куда мы с Кимом протиснулись, и

сразу захлопнуть ее за нами. Едва успев подумать, что голодание пошло бы на пользу этим людям, я очутилась нос к носу с красным лоснящимся лицом. Его свирепое выражение не оставляло сомнения, что он собирается меня проглотить, а если не успеет этого сделать, то нас затопчут остальные. Придав своему лицу грозный вид, со словами «дорогу женщине!» я щелкнула его по лбу и сделала шаг вперед. Он вздрогнул и отшатнулся. Толпа затихла, стала расступаться, и мы прошествовали по образовавшемуся коридору.

Еще одно подтверждение правоты Кима: «Дома лучше», — слова, которые он часто повторял. От моей находчивости он был в восторге и любил рассказывать об этом эпизоде.

Сибирь

Летом 1971 года мы отправились в долгожданное путешествие по Сибири. Ким успел побывать там до меня со своим старшим сыном Джоном и полюбил этот край. До Иркутска путь не близкий — почти четверо суток, но Киму дорога не в тягость. Он неотрывно смотрит в окно, сверяя по своему справочнику названия промелькнувших городов. Питаемся домашними запасами. Главное, что чая в вагоне вдоволь. Он хотя и жидковат, зато обжигающе горяч. Ким непритязателен и умеет ценить маленькие радости.

От Иркутска до санатория добираемся на машине. Когда Ким только приехал в Советский Союз и попросил совета, где можно отдохнуть, то услышал примерно следующее: чтобы лечить печень, надо ехать в Кисловодск, желудок — в Железноводск, бронхи — в Ялту и т. п. Его очень удивило, что у нас это называется отдыхом. И тем не менее мы вынуждены были остановиться в санатории, так как это — единственное цивилизованное место на Байкале.

Наш санаторий приютился на пригорке в бухте Листвянка. Как ни странно, своим возникновением он обязан Эйзенхауэру. Когда Хрущев, будучи в Америке, пригласил Эйзенхауэра в Советский Союз, тот выразил желание побывать на Байкале. Но выяснилось, что принимать такого высокого гостя негде: ни одного приличного строения, только деревенские избушки. Спешно прокладывается дорога от Иркутска до Листвянки и строится двухэтажный деревянный коттедж. (В этом коттедже Г.Е. Агеев вместе с первым секретарем обкома устроили нам однажды пышный банкет.) Несмотря на все приготовления, высокий гость так и не приехал, и, чтобы не пропадала эта красота, напротив коттеджа возвели два корпуса совминовского санатория, куда мы и прибыли.

В столовой нас встретила врач в белом халате со стетоскопом на шее. Это привело Кима в шоковое состояние:

— What about a drink? (Не выпить ли нам?) — спросил он, нервно озираясь.

— Это санаторий, — терпеливо объясняю несмышленышу, — спиртные напитки здесь запрещены.

Одно упоминание слова «доктор» вызывало у Кима раздражение. Это была фамильная черта. Его отец, Сент-Джон Филби, также не любил лечиться. Когда у него случился

сердечный приступ, Ким, заранее приготовившись к гневному отпору, робко спросил, не вызвать ли врача. Неожиданно отец согласился, и Ким понял, что это действительно очень серьезно. Приехал доктор, сделал укол.

— Все надоело! — сказал Сент-Джон и уснул, а через час его не стало.

В нашем санатории преобладали особи выше средней упитанности. Ким решил, что все они очень больные люди, страдающие ожирением, и находятся на строгой диете. Каково же было его удивление, когда он увидел, как они уплетают макароны с хлебом, а остатки забирают *с* собой, хотя кормили там довольно вкусно и сытно. Излишний вес не беспокоил не только самих толстяков, но и врачей, несмотря на то что санаторий считался кардиологическим.

— Почему-то москвичи не хотят поправляться, — удивлялся врач, глядя на наши и без того не слишком худощавые фигуры.

Отдыхали там в основном сибиряки, было всего две пары из Москвы, любители экзотики, вроде нас.

Ким задался целью похудеть и, невзирая на проливные дожди, выходил на ежедневные прогулки в одиночестве (меня на такой подвиг не хватало). Укутавшись в плащ, он неизменно отмерял своим быстрым шагом не менее 5 километров. Через час возвращался усталый, промокший до нитки. Результат был налицо — Ким заметно подтянулся. Но увидев через десять дней, что его вес не изменился, очень расстроился. И как я ни убеждала, что его жир переродился в мускулы, не мог успокоиться. Завязав свою одежду в узелок, попросил меня ее взвесить, чтобы вычислить чистый вес. Результат его не утешил, и он бросил свои тренировки.

Территория санатория — ухоженная, но небольшая и замкнутая. Единственная аллея поднимается к утесу, откуда открывается дивный вид на Байкал. Другого места для прогулок нет. Вдоль берега тянется проезжая пыльная дорога, по которой грохочут грузовики, — место для моциона опасное и непривлекательное. Тем не менее даже здесь, у самой дороги, вода остается прозрачной и чистой, пригодной для питья. Это озеро — настоящее чудо природы. Оно обладает уникальной способностью к самоочищению. Байкальский омуль и хариус — самая вкусная и нежная рыба, которую я когда-либо пробовала. На пикнике нас угощали свежевыловленным омулем. Рыбаки насаживают его целиком на острие палки и зажаривают на костре. Омуля едят даже сырым в замороженном виде. Хариуса мы отведали на обеде у наших новых друзей, Новокшеновых, в Ангарске. Они запекали его, как шашлык, на углях, завернутым в

листья.

Прогулка на лодке по Ангаре — наше любимое развлечение (других забав там не было.) Любителей гребли среди отдыхающих было немного, но лодок еще меньше. Когда выдавалась сухая погода, на причале выстраивалась нервная очередь.

Лодки принадлежат санаторию, но распоряжается ими зловредный старикашка, который чувствует себя полновластным хозяином: «Хочу дам, хочу не дам». Валерий (представитель КГБ, «связной» из Иркутска, который иногда навещает нас), видимо решив помочь нам, что-то шепчет лодочнику, а тот в ответ нарочно громко и злорадно ворчит:

— А что мне ваше КГБ!

Наконец я догадываюсь всучить ему бутылку водки, что делает его более покладистым, и он больше не препятствует нашему законному праву получать лодку.

Выиграв очередную битву, я сажусь на весла, и мы отдаемся созерцанию живописных берегов Ангары. Кругом ни души, только диковинная птичка с хохолком неспешно прогуливается по песчаному берегу. Всегда на одном и том же месте она с завидным постоянством провожает нас. Легко грести по течению, я увлекаюсь, но Ким, обладая безошибочным чувством времени, охлаждает мой пыл — пора возвращаться. Мы меняемся местами, и я убеждаюсь в его правоте: на обратный путь против течения уходит вдвое больше времени.

Летом следующего года мы снова приехали в тот же санаторий, а затем отправились в плавание по Байкалу. Едва ступив на борт парохода, поняли, почему наши знакомые сибиряки так загадочно улыбались, когда мы собирались в эту поездку. Маленький кораблик с большой трубой, похожий на утюг моей прабабушки, как бы в насмешку назывался «Комсомольцем». Это был рыболовецкий сейнер, построенный в 30-е годы и позднее переоборудованный в пассажирское судно. Он оставался единственным средством передвижения по Байкалу.

Рассчитанный на 100 душ, «Комсомолец» вместил в себя около 400. Мы вдвоем занимали 4-местную, но очень тесную каюту (кубрик) с иллюминатором размером с чайное блюдце. В трех остальных разместились две солидные пары, наш сопровождающий и группа ученых-математиков, возвращавшихся из Новосибирска с симпозиума. Туристы остались без крыши над головой и на ночь разбивали палатку, где спали вповалку, занимая все пространство крошечной палубы. Глядя на них, мы стыдились своего «комфорта», но утешали себя тем, что наши два места не разрешили бы их проблемы.

Туалет, а точнеє гальюн, состоял из двух дырок, стыдливо

задрапированных зелеными занавесочками, разукрашенными бурыми мазками разной степени свежести. Надо было, затаив дыхание, изловчиться и, по возможности не прикасаясь к ним, проскочить к вожделенному отверстию. Кому довелось посещать подобные заведения на наших вокзалах, тот может представить себе этот уровень «гигиены». По утрам там выстраивались две угрюмые очереди — мужская и женская. Чтобы сократить до минимума эти визиты, мы приспособили под ночной горшок банку из-под варенья, которую опоражнивали через иллюминатор.

Приключения, необходимая принадлежность каждого путешествия, не заставили себя ждать. В первый же день на пароходе сломался холодильник, и из кухни полетели за борт все обеды и ужины. Ресторан закрылся. В ту же ночь кто-то ограбил продуктовый склад, сорвав висячий замок. От голодной смерти нас спасали отурцы и помидоры, которые мы предусмотрительно купили на базаре в Иркутске, да малиновое варенье (та самая баночка!), которое нам подарили Новокшеновы.

Когда ресторан наконец открылся, нас провели туда через служебный вход. Ким, увидев длинную очередь, сразу сбежал из-за стола и встал в ее конец. Подошел наш черед, и мы получили яичницу.

— Глазу-у-унья! — пропел Ким, захлебываясь от восторга. Такого сладострастного выражения я никогда не видела на его лице. Это было тем более удивительно, что дома он всегда лично и скрупулезно по минутам готовил сие блюдо, не доверяя мне. Не дай Бог недодержать либо передержать его!

Несмотря на бытовые неудобства, Ким не жалел, что отважился на эту поездку, хотя и не решился бы повторить ее. Мы увидели Байкал во всей его величественной красоте, любовались фантастическими всполохами закатов. Погода была солнечная, но прохладная. После захода солнца резко холодало и в воздухе ощущался морозный привкус.

Наш капитан — бурят, родом из прибайкальской деревушки, был царь и бог не только на корабле, но и на всем Байкале. Время от времени в блаженную тишину раздражающе врывался монолог капитана. Он любил вещать о том о сем, упиваясь звуком собственного голоса. Одно его сообщение заставило всех прислушаться:

— Вот эти так называемые ученые, понимаете, напились и пришли в хаотическое состояние…

Как стало известно позднее, наиболее «хаотического» из них матросы погрузили в шлюпку в 4 часа утра и высадили на едва обитаемый берег — всего в 3 избушки, дабы он трезвел на

твердой земле и свежем воздухе. Бедолага был обречен на 6 дней и ночей ожидания обратного рейса «Комсомольца» с тем же капитаном, но уже в роли спасителя, так как иного транспорта там не существовало.

Протрезвевшие математики были в растерянности и пытались найти пристойное объяснение пропаже своего товарища. Они волновались, возмущались, составляли «жалобную бумагу» на капитана, собирали подписи свидетелей. Тем временем корабль шел своей дорогой, деловито попыхивая трубой, не пропуская остановок.

Члены команды «Комсомольца» удачно вписывались в его интерьер. Обнаженные по пояс, загорелые дочерна, они выглядели диковато и смахивали больше на пиратов. Пристаней на Байкале, кроме Листвянки, не было. Их кое-где заменяли сколоченные из досок полуразваливши-еся причалы, а то и вовсе голый берег. «Комсомолец» бросал якорь вдали от берега, и пассажиры отчаливали в шлюпке.

Когда намечалась очередная стоянка, Ким увлекал меня в каюту, где мы прятались от капитана, так как оц настойчиво приглашал нас в шлюпку, расталкивая остальных пассажиров. Дважды попробовав, мы решили больше не рисковать, опасаясь оказаться в ледяной воде только ради того, чтобы полюбоваться краешком тайги. В то же время Ким не мог отказать себе в удовольствии наблюдать за посадкой.

Зрелище было незабываемое. Орущие сиплыми голосами матросы и прыгающие в лодку пассажиры, как стадо овец, испуганно шарахающиеся в одну сторону. Матросам никак не удавалось сладить с пассажирами и распределить их равномерно по обоим бортам. Казалось, шлюпка вот-вот перевернется или кто-то свалится в воду. Но, как ни странно, все обходилось без происшествий.

После отдыха на Байкале нам предстояло большое путешествие по Сибири. Сначала — от Иркутска до Братска на двухпалубном теплоходе, который после «Комсомольца» казался верхом совершенства. Стоило мне ненадолго отойти от Кима, как его тут же окружили молодые люди и стали закидывать вопросами:

— Мы смотрели «Мертвый сезон». Это про вас?

— Нет, нет, это про Лонсдейла.

— Значит, вы Лонсдейл?

— Он умер.

— А откуда вы знаете?

Растерянный Ким зовет меня на помощь, и я освобождаю его из плена.

Дело в том, что Валерий, провожая нас, доверил капитану тайну Кима. А тот по принципу «по секрету всему свету» оповестил свою команду. К нам пришел ее представитель и попросил Кима выступить в кают-компании. После долгих пререканий (Ким всегда избегал публичных выступлений) мы сошлись на том, что встретимся в узком кругу, не более пяти человек. «Узкий круг» расширился до 20 человек, включая наших любознательных молодых людей. Несмотря на то что Ким с трудом изъяснялся по-русски, а я тогда совсем не знала английского, получилась импровизированная пресс-конференция. Ким начинал отвечать по-английски, а потом шептал мне на ухо по-русски: «Ты сама знаешь, что сказать», — и я развивала его мысль. Все остались довольны и в благодарность пообещали угостить нас ухой со своего стола.

В ресторане посетителей раз-два и обчелся, но на ожидание уходит 30–40 минут. Официантка, молодая сексуально озабоченная девушка, бродит между столиками, как сомнамбула, не сводя влюбленных глаз с матроса, сидящего в углу с равнодушным видом. Если наконец принесет закуску, то забудет вилку или подаст суп без ложки, а когда все съедено, вспомнит о хлебе. На этот раз она ставит перед нами пустые тарелки и надолго исчезает. Со всех сторон несется умоляющее: «Девушка, девушка!» Девушка появляется с огромной кастрюлей и направляется к нашему столу. Она наполняет наши тарелки ароматной ухой, обильно поливая брюки Кима. Уха восхитительна, ради нее и брюк не жалко!

Наше плавание закончилось в Братске, где мы провели два дня. Этот небольшой город, состоящий из четырех- и пятиэтажных домов, возник в 1955 году на берегу водохранилища в связи со строительством гидроэлектростанции. Нам любезно показали это грандиозное сооружение. Другой достопримечательностью города был симпатичный медвежонок (его держали в клетке), добродушный и безобидный на вид, который, как нам рассказали, откусил пальцы взрослому глупцу, решившему погладить малыша.

Сопровождающий нас Виталий, представитель КГБ, пригласил к себе домой на кофе с коньяком и познакомил с женой. Валентина — комсомольский вожак, с хорошо поставленным голосом и необъятным бюстом — строго произносила: «Виталик!», — и Виталик на глазах сжимался и затихал. Сразу было ясно, кто здесь генерал. Два года спустя Виталий навестил нас в Москве.

В Красноярске мы остановились в центральной гостинице. Когда обедали в ресторане, официант предупредил, что рыба

несъедобна, и предложил фирменное блюдо — лангет, но его и нож не брал, и разжевать было невозможно. На следующий день идем в ресторан, который нам порекомендовали как лучший в городе, высшего класса. Его считали таковым скорее всего благодаря оркестру, невероятно громогласному. Подходит официант — мы совсем не слышим друг друга и ведем переписку на салфетке. Наученные горьким опытом, заказываем беф-строганов, который, как и лангет, оказывается нам не по зубам. Если лангет Ким сравнил с подошвами, то беф-строганов — со шнурками от своих ботинок. Зато децибелы здесь были «наивысшими». Уходим не только голодные, но и обалдевшие от грохота.

Красноярск в те годы был закрыт для иностранных туристов, и поэтому его снабжение было особенно скудным. Зато окрестности города, окруженного смешанным лесом, очень живописны. Мы там подолгу бродили по туристическим тропам и однажды набрели на маленький частный зоопарк. Его хозяйка подбирала подранков, больных птиц и зверюшек и выхаживала их.

В Дивногорске (под Красноярском), несмотря на наше сопротивление и висевшие повсюду запрещающие знаки, нас заставляют подняться на недостроенную ГЭС, которая считается одной из крупнейших в мире. Мы передвигаемся по стропилам буквально с риском для жизни, и Ким твердит:

— Это очень опасно!

Не удается нам увильнуть и от ночной рыбалки. Наш хозяин развлекает нас по собственному вкусу, игнорируя желания своих гостей. Нам приходится провести ночь впятером на одной скамейке в душном трюме маленького катера, где меня укачивает. Будучи гостем, Ким считает своим долгом выполнять прихоти хозяев.

— За все надо платить, — любил повторять он.

Стояла страшная жара — 36 градусов, когда мы отправились в двухдневную поездку на теплоходе по Енисею. Река не приносила прохлады, воздух был неподвижен и горяч. Нас высадили на острове, и мы сразу кинулись к воде. Не тут-то было: вода ледяная, сводит конечности, даже дети не отваживаются искупаться. Теперь, из-за строительства Красноярской ГЭС, вода постоянно перемешивается и не успевает прогреваться даже в самое жаркое время. Мне пришлось впервые испытать такую жару, и я едва ее перенесла. Казалось, что кровь закипает в жилах и голова вот-вот лопнет, как хрупкий сосуд. Ким был очень напуган моим состоянием.

Мы с Андреем (нашим сопровождающим из Красноярска) и

его женой примостились под деревом в тени, которая совсем не спасала от жары. Воздух раскален, а неутомимый Ким, как факел в своей оранжевой футболке, кружит по острову с непокрытой головой. Жара ему нипочем, донимают лишь комары. Он натирается специальной мазью, которую предусмотрительно прихватил с собой.

Зато река Обь радует нас теплой водой и умеренной температурой воздуха. Чистый мелкий песок, белый и хрустящий, как снег, покрывает просторные безлюдные пляжи. На отмелях вода такая теплая, что даже Ким, не любивший холодной воды, рискнул искупаться.

Академгородок, построенный на берегу реки под Новосибирском, утопает в зелени, зато кишит комарами. Когда Ким приглашал меня в Сибирь, я его предупредила, что нас съедят комары:

— Это настоящие звери!

— Там их совсем нет, — уверял он.

Комаров действительно не было во время его первого посещения Сибири: их всех уничтожили с помощью ДЦТ, а заодно погубили птиц, белок и прочую живность. К моменту нашего с Кимом приезда кровопийцы снова расплодились.

Комары здесь устрашающих размеров и очень агрессивны. Они пикируют на прогуливающихся, которые исполняют некий ритуальный танец с опахалами. У каждого в руке веточка, чтобы отмахиваться от злодеев. Забавно выглядит щенок овчарки с несоразмерно большими лапами — он беспрерывно мотает тяжелой головой и остервенело щелкает зубами, отбиваясь от докучливых насекомых.

Домой мы возвращались самолетом, последовав совету сибиряков. Это казалось разумным после такого длительного путешествия, хотя и было против наших правил. Однако шесть часов в воздухе тянулись бесконечно по сравнению с девяноста часами в поезде, которые пролетели совсем незаметно. Нас встретил «дым отечества» буквально. В то лето была страшная засуха, и в Подмосковье полыхали пожары. К нашему возвращению они уже были погашены, но в воздухе все еще стоял бурый дым и запах гари.

Тбилиси

Киму пришла очередная блестящая идея — перехитрить природу: убежать от зимы и продлить весну. Итак, в первых числах марта 1973 года мы отправились в Тбилиси, чтобы встретить там весну, а через десять дней поспеть к началу второй весны в Москве. Поехали, как обычно, поездом. Ким — второй

раз, я — впервые. Но природа приготовила нам неприятный сюрприз: холод, туман и мокрый снег. Этот удивительный, своеобразный город выглядел хмурым и неприветливым в такие дни. Погода подарила нам лишь один солнечный день, и город сразу преобразился. Можно было представить, как засверкает он, украшенный зеленью и цветами.

Нас поселили в центральной гостинице. В маленьком буфете, где мы завтракали, в ассортименте — молочные продукты и сосиски. Как оказалось, у грузин этим завтрак не ограничивался. Мы видели, как четверо покидали буфет, оставив под столом с полдюжины бутылок из-под шампанского.

Вечером, ужиная в ресторане, мы невольно наблюдали, как напротив нас за длинным столом пировала большая, но не шумная компания мужчин. В группе южан выделялся один человек европейского вида, похожий на киногероя. Мы обратили внимание, что они пили только шампанское, которое, откупорив, переливали в большие кувшины. Официантка беспрестанно «охапками» подносила им бутылки.

К нам подсела приятная молодая пара. Они заказали шампанское, чтобы отметить годовщину своей свадьбы. Когда официантка сказала, что шампанского нет, мы не могли поверить своим ушам, глядя на батарею бутылок, стоящую напротив. Но молодоженов, казалось, это не удивило. Они только погрустнели и довольствовались вином. Мы разговорились. Молодые люди оказались музыкантами и посетовали, как нелегко живется интеллигенции в коррумпированном обществе.

Неожиданно появилась наша официантка и поставила передо мной бутылку шампанского. *Я* порадовалась за молодоженов и пододвинула им шампанское, объяснив официантке, что это их заказ. Но она перехватила бутылку: «Это вам», — и кивнула в сторону большой компании. Оттуда мне лучезарно улыбался «европеец».

Мы уже заканчивали свой ужин и уговорили молодых выпить «мое» шампанское. Вдруг подлетел «киногерой» и пригласил меня на танец, при этом почему-то обнимая и целуя Кима. *Я* сказала, что, к сожалению, не могу танцевать, так как у меня деревянная нога. Он с достоинством удалился к себе, где веселье постепенно угасало и компания редела на глазах.

Я вспомнила грузинский обычай и, чтобы не оставаться в долгу, заказала шампанское для нашего визави. На этот раз отказа не последовало, и бутылка благополучно прибыла на место. Но мой поклонник собственноручно принес ее нам и попрощался, еще раз обняв и поцеловав Кима. Мы тоже скоро ушли, не притронувшись к шампанскому. Таким образом, нашим

молодоженам досталось две бутылки. Когда мы уходили, они испуганно поглядывали на мои ноги, пытаясь определить, какая из них деревянная.

Сопровождал нас в поездках Володя, симпатичный и интеллигентный грузин. Киму хотелось показать мне город Телави, который произвел на него неизгладимое впечатление в первый приезд. В намеченный для поездки день погода испортилась окончательно. Мы понимали бессмысленность этого мероприятия, но Володя сказал, что отменить его невозможно, и, как обычно, мы повиновались. Туман был такой густой, что ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Наша машина еле двигалась, только благодаря этому она не цаехала на человека, который шел по обочине дороги, и остановилась, почти наткнувшись на него. Все вышли, чтобы «полюбоваться» на долину, которая плавала в тумане, как в молоке.

Продрогшие и голодные, мы добрались до места. Нас повели в дом, похожий на наспех сколоченный сарай, где стоял длинный стол со скамейками и печка «буржуйка». В помещении было еще холоднее, чем снаружи. Ким заглянул в печку, но хозяин, друг Володи, отстранил его и кого-то позвал. Вошедший открыл печку и уставился на остывшую золу. Потом осторожно прикрыл дверцу и удалился. Прошло минут двадцать. Ким схватил спички, старую газету и бросился к печке. Его снова остановили («как можно!») и кого-то позвали. Пришел другой. Долго и задумчиво глядел он в печку, как будто от его взгляда могло вспыхнуть пламя. Не дождался и ушел.

Прошел примерно час, прежде чем появился третий истопник и развел огонь. Тем временем накрыли на стол. Дрожавшие от холода и голода, мы готовы были накинуться на еду и вино. Уже подносим бокал к губам, но Володя останавливает: сначала тост. И хозяин произнес первый тост — за родителей. Нам долго объясняли, что, если бы не было родителей, не было бы нас. (Кто бы мог подумать!) Подивившись своему невежеству, мы схватились за бокалы. Но не тут-то было!

— Алаверды, — сказал Володя и стал развивать эту тему.

Наконец мы выпили по первой рюмке, закусили и немного согрелись.

Второй тост — за мир. Мы услышали, почему мир лучше войны, узнали, какие блага приносит мир и какие несчастья война. И конечно, нам не удалось пригубить вина, пока не были исследованы все аспекты этой проблемы.

Удивительно, как изменился Володя. До этого у нас было полное взаимопонимание. Здесь он превратился в ортодокса и играл в унисон со своим другом. Странно, что этому вполне

цивилизованному и неглупому человеку не хватало такта и чувства юмора, чтобы смягчить ситуацию. Нетрудно было заметить, что Киму эта процедура не доставляет удовольствия и даже мучительна. Такое строгое соблюдение обычаев было бы оправданно в другой обстановке или в компании старцев. Но здесь помимо меня и Кима было только двое молодых людей — Володя и его Друг.

Постепенно мы согрелись и насытились: хорошее сухое вино, аппетитные закуски, много зелени. Но официальный тон застолья нам так и не удалось переломить.

К вечеру туман немного рассеялся, зато стало еще холоднее. Мы очень устали и мечтали поскорее добраться до дома. Но у Володиного друга был свой план — показать нам старинную церковь. Несмотря на наши протесты, он все-таки повез нас туда. Продвигаясь темными закоулками, мы приблизились к заброшенной церкви, контуры которой едва различались в темноте. Наш сопровождающий забарабанил в окна ближайшего дома, поднялся страшный шум. В окнах зажегся свет, но дверь никто не отпирал. Здешней достопримечательности нам так и не удалось увидеть. Далеко за полночь добрались мы до своей постели.

Большую часть времени мы предпочитали бродить по городу вдвоем с Кимом. Перед отъездом домой устроили пикник на снегу. Володя угощал нас терпким домашним вином, которым мы запивали хлеб с сыром, и при этом не произносил тостов.

В Москве нас встретила такая же погода. Весна и здесь заставила себя ждать.

Армения — Азербайджан — Средняя Азия

В ноябре 1971 года нам сказали, что, по некоторым сведениям, Киму угрожает опасность — его разыскивают, поэтому необходимо на месяц уехать подальше от Москвы. Хотя он и не очень верил этим слухам, но подчинился. Посовещавшись, мы выбрали Армению, где раньше не бывали.

Нас поселили недалеко от Еревана, в особняке, затерянном среди гор. К дому ведет одна дорога. Она заканчивается у ворот, которые охраняет сторож в будке. Перед фасадом разбит небольшой парк. Территория окружена высоким железным забором. Окна нашей спальни выходят на пустырь. Вокруг дома до самого горизонта в беспорядке громоздятся голые валуны. Пейзаж суровый и унылый. Казалось, что мы живем в неприступной крепости. Но вскоре выяснилось, что это впечатление обманчиво. Однажды, когда я беззаботно нежилась под лучами солнышка на балконе, услышала шепот. Посмотрела

вниз: стоит молоденький парнишка и зовет: «Иди сюда!» Пришлось броситься на поиски телохранителя.

Телохранители, Володя и Жорж, постоянно сопровождают нас, сменяя друг друга. Мы прогуливаемся взад-вперед по единственной аллее, и Ким спрашивает Володю:

— Представьте себе, кто-то бросается на меня с ножом или пистолетом. Что вы сможете сделать?

— Ничего, — признается тот.

Помимо телохранителей к нашим услугам были повар, молодой жуликоватый парень, и пожилая женщина, выполнявшая роль официантки и горничной.

На завтрак подавался самый дорогой коньяк. Несмотря на наши протесты, Жорж решительно откупоривал бутылку и наливал нам по рюмке, к которой мы не прикасались. К обеду появлялась новая бутылка, к ужину — третья. А мы тем временем пили только сухое вино, которое армяне, в отличие от грузин, совсем не пьют.

Однажды за обедом глава армянского КГБ удивленно воскликнул:

— Почему Ким сегодня не пьет коньяк?

Смысл этой реплики дошел до меня позднее, когда однажды за ужином Ким попросил сухого вина, но его не оказалось. Володя пошел на кухню, и там ему сказали, что мы, оказывается, выпили весь запас спиртных напитков. И я вспомнила, как Жорж манипулировал коньяком, как повар зазывал своего приятеля, размахивая бутылкой. Разгадать нехитрую интригу не составило труда. Каждый день три бутылки самого дорогого коньяка, к которому мы не притрагивались, списывались на счет Кима. Сухое армянское вино, которое он пил, стоило 70 копеек за бутылку, и даже в нем было отказано дорогому гостю.

Когда мы отправились на вечернюю прогулку, я решила поговорить с Володей. Он производил впечатление честного и открытого юноши, и мне хотелось, чтобы ему стала известна истина. Володя сказал, что сам видел, как Жорж уносил домой бутылки коньяка, и собирается написать об этом рапорт. Не знаю, решился ли он на это: Жорж был гораздо старше его и по чину, и по возрасту.

Как телохранитель Жорж тоже проявил себя не с лучшей стороны. Однажды, прогуливаясь по нашей аллее, мы повстречали барана. Вместо того чтобы «ответить улыбкой» на наше приветствие, он принял воинственную позу и ринулся на Кима. Тот встретил его ударом кулака в лоб (к счастью, безрогий). Баран развернулся, разбежался и снова бросился в атаку. Киму удалось отбиться. Я бегала вокруг, пытаясь отвлечь

на себя внимание нападающего. Жорж в это время стоял в стороне и снисходительно наблюдал за поединком. По-видимому, он считал, что Ким наслаждается ролью тореадора.

С каждым разом баран увеличивал свой разбег, *и* мне наконец удалось оттащить Кима. Воспоминания об этом поединке сохранились надолго.

— Его лоб как камень, — говорил Ким. — Я не знал, что армянскому барану нельзя сказать «доброе утро».

Его руки распухли и посинели. Он с трудом держал нож и вилку и морщился от боли во время рукопожатий. Зато две собаки, в отличие от барана, были настроены очень дружелюбно и всегда гуляли с нами.

Поначалу наше заточение было не в тягость. Погода стояла сухая *и* солнечная. Мы часто ездили на экскурсии в сопровождении уже трех телохранителей: один находился рядом с нашим шофером и двое в следующей за нами машине.

На этот раз с нами едет первый человек армянского КГБ. Отправляемся полюбоваться на древний храм. Дорога длинная и утомительная. Уезжали — было тепло и солнечно, а через два часа попали в метель. Машина продвигалась медленно, поэтому к цели нашего путешествия — старинному храму — мы приблизились только спустя четыре часа.

Этот одинокий исполин, полуразрушенный и заброшенный, сохранил свою величавую красоту. Едва мы ступили под его своды и стали осматриваться, как услышали:

— Поехали, поехали, нечего здесь смотреть. Нас ждут. Пытаемся немного задержаться, но нас бесцеремонно выпроваживают. Все озабочены тем, что мы опаздываем к обеду — на целых два часа!

Снова светит солнце. Мы подъезжаем к нетерпеливой толпе встречающих. Каково же было мое и Кима удивление, когда вместо остывающего обеда мы увидели костер, разведенный вокруг большого бревна. Когда оно превратится в угли, на них зажарят шашлык. А пока мы изнываем от скуки в толпе начальственных мужчин. Нас приглашают в дом, где стайка женщин хлопочет вокруг длинных столов, расставляя горы закусок. Мы сидим в стороне, глотая слюнки, и я вспоминаю хороший английский обычай, когда гостю сразу предлагают что-нибудь выпить.

Проходит час-другой, прежде чем все усаживаются. Теперь начинается спешка. Мы не успеваем прикоснуться к закускам, потому что подают суп, не успеваем его попробовать, как уже несут отварное мясо, затем шашлык и что-то еще и еще. Все это надо запивать коньяком вперемежку с водкой, так как

окружающие ревниво следят за недопитой рюмкой, воспринимая это как личную обиду.

Большую часть времени мы проводили в своей «крепости», и, когда стали откровенно скучать, нас обрадовали сообщением о поездке на Севан. Выезжаем рано утром, чтобы поспеть к обеду. Нас снова сопровождает высокое начальство. Заезжаем в маленькую деревню.

— Здесь, — говорят нам, — продается самый вкусный лаваш.

У обочины стоит старуха, одетая очень бедно, почти в лохмотьях, с перекинутыми через руку длинными лепешками. Наш радушный хозяин покупает у нее хлеб и приглашает нас посмотреть, как его выпекают. Поднимаемся в дом. Там, в тесной темной комнате, под грудой тряпок и старых ватников держат лаваш, чтобы он не остывал. Как нелепо выглядел наш высокий чин в изящном черном костюме и белоснежной рубашке на фоне такой откровенной нищеты! Но он этого не замечал и чувствовал себя непринужденно, по-хозяйски раскидывал серые тряпки и щупал теплый хлеб.

Всю дорогу мы ехали молча. Меня не покидало чувство стыда за наш шикарный выезд. Пришлось попробовать лаваш, который на самом деле был вкусный, но встал у меня поперек горла. К счастью, Ким не страдал брезгливостью.

Наши сопровождающие воспринимали свое привилегированное положение как должное. Один из них с гордостью рассказывал, как его жена ездила в Москву за облицовочными материалами для дачи. Ей удалось с необыкновенной легкостью достать то, что было недоступно москвичам.

— Раз она армянка, значит, при больших деньгах, — объяснял он.

Так ненавязчиво Ким получал уроки «социальной справедливости».

Разумеется, в наших поездках нам демонстрировали только парадную сторону жизни. Ким был потрясен, увидев уже в перестроечные годы документальный фильм, где показывали настоящие трущобы, расположенные неподалеку от центра Еревана. Там в одной комнате жили и умирали люди нескольких поколений.

…Приближаемся к Севану, нашей цели, но, увы, не наших сопровождающих. Для них любая экскурсия — это очередное застолье. Они не дают даже взглянуть на Севан.

— Обед готов, — торопят нас и окружают Кима.

Я упрямо поднимаюсь на холм, чтобы полюбоваться озером, но меня подгоняют. Настроение все равно испорчено, и я уныло

присоединяюсь к жующей компании. Мы отведали коронное блюдо — отварную севанскую форель. Толстая кожица отслаивалась, но, по-видимому, считалась деликатесной частью. А мы, не зная этого, всех шокировали, оставляя ее на тарелке. Домой вернулись затемно, вот тебе и побывали на Севане!

Мы изъездили Армению вдоль и поперек, любовались древними памятниками архитектуры и искусства. Но когда я пытаюсь возродить эти воспоминания, все заслоняют непрерывно жующие челюсти.

В Ленинакане мы подверглись следующему испытанию. Поздним вечером после очередного застолья нас повезли в чей-то дом. Хозяева, молодая симпатичная пара, оборудовали в подвале бар, ще мы изнывали до 2 часов ночи. А к 9 часам утра, усталых и сонных, нас доставили в захолустную забегаловку, чтобы отведать хаш — армянское национальное блюдо из свиных ножек. По традиции оно варится всю ночь и готово на рассвете. Это сытный горячий завтрак для пастухов и крестьян, отправляющихся на работу. Блюдо, предназначавшееся когда-то беднякам, теперь стало деликатесом, и хозяева очень гордились, что доставили нам такое удовольствие.

Нам подали горячий бульон, очень жирный и наваристый, и отдельно — развалившиеся от долгой варки свиные копытца, которые надо обгладывать и обсасывать. К тому же хаш полагается есть не ложкой, а руками, обмакивая в него лаваш. Хозяева ловко преподали нам этот урок, скинув свои черные пиджаки и засучив рукава. Все это надо было запивать неизбежным коньяком.

С трудом преодолевая тошноту, мы проглотили несколько ложек, но, к разочарованию наших хозяев, не прикоснулись к копытцам. Трудно было придумать более нелепый завтрак, да еще с коньяком, после обильного ужина и бессонной ночи. Едва нам удалось оправиться от шока после первой рюмки, как появился чей-то жизнерадостный друг с бутылкой водки, которую надо было непременно выпить, чтобы не обидеть его.

Истекал месяц нашей ссылки. Мы уже готовились к возвращению домой, когда пришло сообщение из Москвы, что опасность не миновала и надо остаться еще минимум на месяц. Мы были сыты по горло Арменией и решили попутешествовать по Средней Азии. Если бы знали, чем это для нас обернется, остались бы в Армении.

Собираемся в дорогу. Я поднимаюсь в спальню, чтобы забрать свои вещи и попрощаться с горничной. Неожиданно эта добродушная бабушка превратилась в злую фурию. Стала носиться из угла в угол, толкая меня. Однако увидев на столе

деньги, стыдливо оставленные мной, сразу бросилась целовать.

Сначала двинулись в Азербайджан. Сопровождал нас Саша, глуповатый и нудный, всю дорогу говоривший о своей теще. В Баку нас встретил глава азербайджанского КГБ. Они постоянно обнимались с Сашей, навязчиво демонстрируя, как могут любить друг друга армянин и азербайджанец. Это только доказывало, что не все ладно «в нашей дружной семье единой».

В Баку мы остановились с гостинице. Нас поселили в «люксе» размером с танцевальный зал. Вдоль стены тянулся огромный сервант, совершенно пустой — ни стакана, ни ложки. Зато в центре стоял рояль. Киму с благоговением сообщили, что здесь жил Лев Яшин, наш знаменитый футбольный вратарь. Играл ли он на рояле и куда подевалась вся посуда, осталось тайной.

В первый же день исчезли все наши деньги. Наутро я обнаружила их в ящичке для туалетной бумаги. Туалетную бумагу, как и деньги, Ким постоянно носил в заднем кармане брюк и просто перепутал пачки.

На следующий день едем в Сумгаит. Выбор казался странным, но, по обыкновению, наше мнение никого не интересует, и нам ничего не объясняют. Проезжаем промышленный город, который оказался на удивление зеленым. Останавливаемся на пустынном берегу моря. Бесконечный серый пляж переходит в такое же серое и неприветливое море. Ветрено и неуютно. Непонятно, зачем нас сюда привезли. Все чего-то ждут. Наконец, появляется взволнованный человек и огорченно докладывает начальнику:

— Осетр сегодня не ловится!

Нас приводят в искусственный грот — низкие своды, земляной пол. Столики и табуретки, врытые в землю, сделаны из цельного куска дерева. И начинается пир. Подают огромные блюда с шашлыком. Сначала из баранины, потом из курицы и, наконец, из осетрины.

— Так они же не ловятся, — удивляемся мы.

— Да разве это осетры, так, мелочь, — отвечают и подносят новые блюда.

Такого шашлыка, как здесь, мы еще не пробовали, разве что у нашего друга Алика на даче в Переделкино. В Армении постоянно говорили о шашлыке, но он всегда был жестким. То ли его не умели готовить, то ли бараны были престарелые.

Будучи в Азербайджане, мы заехали на несколько минут в маленький музей огнепоклонников. Ким не выносил гидов, они ему только мешали. Он предпочитал все видеть своими глазами.

— Любая информация в одно ухо влетает, из другого вылетает, — говорил он.

Я предупредила экскурсовода, чтобы она сказала всего несколько слов, так как Ким с трудом понимает русский язык и мы очень торопимся. В ответ на это она выпалила на одном дыхании всю информацию, содержащуюся в буклете, слово в слово, как пластинка, которой увеличили скорость. Ким очень внимательно слушал и улыбался. Я спросила, все ли он понял.

— Ни слова, — сказал он, — но девушка очень симпатичная.

Позднее, в Самарканде, был особенно настырный экскурсовод, который говорил:

— Посмотрите сюда, а потом сюда.

Стоило Киму попытаться отойти, хватал его за рукав:

— Надо смотреть сюда, а не туда.

Ким рассказывал, как в Стамбуле, чтобы отделаться от назойливого гида, он поставил условие: заплатит ему только в том случае, если тот не произнесет ни слова. Через короткое время гид не выдержал и заговорил. Ким предупредил: «Еще одно слово, и ты не получишь свои деньги», — и тот закрыл рот.

Наше пребывание в Азербайджане было коротким и, в общем, приятным. Там все проходило гладко, если не считать одного забавного эпизода. Когда мы возвращались из загородной поездки, в двух наших машинах одновременно закончился бензин, и нам вместе с сопровождением, включая главного начальника, пришлось в сумерках шагать по шоссе несколько километров. Но намеченное посещение цирка все-таки состоялось — мы успели ко второму отделению.

Из Азербайджана на пароме переправились в Туркмению. В Ашхабаде нас поселили в большой современной гостинице, где не было воды. Администратор упорно твердил, что вода на самом деле есть, просто я не умею пользоваться кранами. Только мы собрались отдохнуть от официальных банкетов, как явился наш сопровождающий, Саша: его тетя приглашает всех на обед. Я заболела, по-видимому где-то отравилась, и мы с Кимом отказываемся.

— Это невозможно, — возмущается Саша, — тетя обидится.

И Ким приносит себя в жертву тете, которую в глаза не видел и скорее всего никогда больше не увидит, а я остаюсь. Тем не менее Сашины родственники оказались людьми симпатичными, и вечер прошел приятно для Кима.

И опять бесконечные обеды и разные дяди и тети, которых нельзя обидеть. В Армении все-таки было некоторое преимущество — в большинстве случаев присутствовали одни и те же лица. Здесь же каждый день — новое место, новые встречи. Снова и снова калейдоскоп незнакомых лиц, которые на нас, измученных, выплескивают свою нерастраченную энергию.

Самым трудным было то, что, исчерпав все слова благодарности и восторга по поводу приема, мы не знали, о чем с ними говорить. По-моему, встречавшие нас обычно не имели представления, кто такой Ким, и даже не интересовались этим. Просто выполняли свой долг гостеприимства, как они его понимали.

Все начиналось с «пиалушки чая», в которую затем наливался коньяк. Ким называл его «армянским чаем». Еда была вкусная и чрезмерно обильная, а коньяк лился рекой. На пикнике им даже ополаскивали рюмки. Когда мы уже до предела насыщены закусками, подают шашлык, от которого нельзя отказываться. Кажется, что уже наелся на всю оставшуюся жизнь. И тут приносят плов — короля всех блюд. Не отведать его — значит нанести личное оскорбление хозяину.

Мы безмерно устали от постоянного давления: «берите, берите». Между тем наши гостеприимные хозяева всерьез обижаются, если мы чего-то не съели или не выпили.

В Ташкенте Сашу сменил Суннат. Он прошел с нами весь путь до самой Москвы. Это был приятный и толковый парень. Он относился к нам с пониманием и сочувствием, но не мог вмешиваться, когда за столом было высокое начальство. Ким с удовольствием общался с ним, но другие сопровождающие его очень утомляли. Мы часто были вынуждены отказываться от экскурсий, лишь бы избавиться от постоянно окружающей нас «свиты».

Однажды Ким сорвался и почти затопал ногами: «Я хочу гулять только с моей женой!» — и нас оставили в покое. Мы отрываемся от сопровождающих и идем в горы. Ким облегченно вздыхает и поднимает голову к солнцу. К нему тут же подскакивают и услужливо объясняют:

— Солнце — пожалуйста, горы — пожалуйста!

С тех пор Ким, показывая мне что-нибудь, всегда приговаривал:

— Море — пожалуйста, рыба — пожалуйста…

В Ташкенте произошел очень неприятный инцидент. Мы были измучены до предела и, когда пришел местный представитель с очередным приглашением, наотрез отказались. Ким сказал, что поедет на прогулку в горы только вдвоем со мной, не считая верного Сунната. Но этот деятель, кстати русский, все-таки предупредил кого-то, и на пути нас остановил кордон: ждут на обед, с утра готовят манты. Мы отказались и поехали дальше, в горы. Там побродили около двух часов. По пути обратно видим на том же месте толпу местной знати. Дорога перекрыта черными «Волгами». Уже готовы покориться неизбежности, но Суннат говорит шоферу: «Гони!»… — и мы проскакиваем мимо

растерянной толпы. Неприятное чувство от обиды, нанесенной этим людям, долго не покидало нас.

Как обычно, в таких поездках мы выполняли обкатанную официальную программу с неизбежным посещением трудовых хозяйств. Председатель одного из колхозов очень гордился своим сходством с известным поэтом Расулом Гамзатовым. От избытка чувств он так обнял Кима, что тот задохнулся и едва не потерял сознание. Потом у него долго болели ребра.

Нас возили в самые богатые колхозы и везде *с* гордостью показывали очень дорогие позолоченные памятники вождям и героям. И тут же мы видели роскошные дома культуры, где канализацию заменяли далеко не «культурные» дырки. Ким не мог понять, почему тратятся огромные (нам говорили, какие) деньги на помпезные памятники, вместо того чтобы использовать их на устройство канализации.

Два дня, проведенных в прекрасной Бухаре с ее уникальными архитектурными памятниками, оставили у меня ощущение безысходной тоски. Там Кима напоили до потери сознания и не могли понять, почему мне невесело.

В завершение нашего азиатского путешествия мы на два дня остановились в Ургенче. Город с красивой мечетью окружен пустыней. Пейзаж безрадостный: серая бугристая земля, скованная морозом, кое-где пересекается арыками. Было очень холодно и ветрено, а местные закаленные малыши как ни в чем не бывало бегали босиком по морозу, и меня, глядя на них, пробирала дрожь.

Мы поселились в небольшом доме, который обслуживали солдаты и одна женщина, сказавшая, что это генеральская дача (генерала, правда, мы не видели), хотя по своему виду она больше походила на казарму. Возможно, там были и другие помещения, более комфортабельные, но наша комната вмещала только две солдатские кровати с тумбочками. После дороги я решила поплескаться под душем и не подозревала, что устроила наводнение: в ванной были повреждены трубы (о чем меня не предупредили). Вода из ванной выливалась в коридор, и бедный солдат едва успевал собирать ее тряпкой. Какой конфуз! Спали мы на солдатских кроватях. Зато нас никто не развлекал, не спаивал и не закармливал. Еда была простая, и нашу трапезу разделял только Суннат. Несмотря на более чем скромный быт, мы радовались нежданному отдыху.

Из Ургенча переезжаем в Фергану, а оттуда — сразу на московский поезд. Нам предстоит последний, прощальный обед. Ко мне подходит местный представитель и очень серьезно спрашивает:

— Ким не обидится, если мы поставим коньяк?

Можно было радоваться, что два месяца моей воспитательной работы в конце концов увенчались успехом. Но тут *я* испугалась, не переусердствовала ли, — ведь без рюмки невозможно все это вынести, — и успокаиваю:

— Не обидится.

Наконец-то мы в поезде на пути домой. Здесь я получила неожиданный удар от верного Сунната. Он все-таки увлекает Кима в ресторан, а потом в купе к своим знакомым, и у меня сдают нервы.

На третьи сутки к вечеру приезжаем домой, бросаем чемоданной Ким говорит:

— Давай забаррикадируемся, чтобы никого не видеть и не слышать.

И в ту же минуту раздается телефонный звонок:

— Здравствуйте, это я, Виталий из Братска.

Я холодею. Но не Виталий (я уже упоминала о нем), человек приятный, был тому виной, любой другой тоже не порадовал бы нас своим появлением в тот вечер. Спрашиваю:

— Где вы?

— Совсем близко, в гостинице «Пекин».

— Вы надолго в Москве? — пытаюсь выиграть время, понимая, что нельзя отказать гостю, прибывшему издалека.

— Завтра вечером улетаю в Сочи. Очень хочу вас увидеть.

— Мы только что приехали, очень устали.

— Тогда приеду к вам завтра.

Я уже испытываю облегчение, что хотя бы не сегодня, и собираюсь с духом, чтобы осторожно подготовить Кима. Не успели мы смириться с этой мыслью, как раздается второй звонок:

— Это опять я. Не могу терпеть до завтра, приду сейчас.

Я сдаюсь и пытаюсь объяснить, как нас найти, но Виталий не слушает: «Не волнуйтесь, я возьму такси» — и вешает трубку. От «Пекина» до нашего дома всего 15 минут ходу, на такси это стоит 50 копеек. Наш гость появляется через 40 минут:

— Я дал таксисту десятку и ваш адрес.

И тот честно катал его на эти деньги. (Сейчас трудно поверить, что когда-то были честные таксисты!)

Это было явление! Лицо бледное, несмотря на двадцатиградусный мороз, вид растерзанный. Галстук закинут за одно плечо, кашне — за другое. Достает из-за пазухи початую бутылку красного венгерского вина. Оно, конечно, расплескалось, оставив потеки на его пуловере. Заметив это, он стягивает пуловер и протягивает мне:

— Ты пока постирай.

Ким изумлен и растерян, а я покорно иду стирать. Затем подаю нехитрые закуски, Ким открывает коньяк.

Виталий быстро опрокидывает рюмку за рюмкой, не притрагиваясь к закускам. Беседа не клеится. Человек пришел повеселиться, а мы усталые и трезвые. Он нас утешает, что через месяц, когда он вернется домой, его жена Валечка поедет в тот же санаторий в Сочи и по пути непременно навестит нас.

— Почему же вы не поехали вместе? — удивляется Ким.

— Мы всегда отдыхаем по очереди, — отвечает Виталий и выразительно добавляет:

— Пока молодые… И вообще… доверять надо друг Другу.

— Что-то скучно у вас, даже музыки нет, — тоскливо озирается наш гость. — Свари мне кофе.

Я приношу кофе, но он отодвигает чашку и снова берется за рюмку. Это становится опасным. Он не сможет держаться на ногах. Я пододвигаю бутерброды и кофе. Он берет чашку и говорит:

— Остыл, свари другой.

Я покорно варю другой. Вторая чашка тоже остывает. Снова приказ:

— Свари еще.

И тут Ким не выдерживает.

— У нас нет больше кофе, — мрачно роняет он и хватает меня за руку.

Повисает томительная пауза.

— Ну, мне пора, — произносит Виталий, и мы тут же радостно вскакиваем. Я упаковываю его мокрый пуловер и слышу, как он говорит, по-прежнему сидя в кресле:

— Пожалуй, я останусь у вас ночевать.

У меня падает сердце. Ким, не поднимая головы, молча завязывает свои шнурки. Общими усилиями мы поднимаем и одеваем Виталия. В кармане пальто он обнаруживает растаявший брикет мороженого, но мне уже некогда стирать его пальто. Мы подхватываем его под руки и по бодрящему морозцу доставляем в «Пекин». На следующий день он позвонил, проспавшийся и трезвый, чтобы извиниться и попрощаться.

Кима очень удивило, что у нас супружеские пары проводят отпуск раздельно. Я объяснила, что это далеко не всегда происходит по доброй воле. Либо время отпуска у супругов не совпадает, либо не удается достать две путевки, да и с детьми в те времена не принимали ни в санатории, ни в дома отдыха. Слова Виталия запали Киму в душу, и он любил повторять:

— Пока молодые, доверять надо.

ОХРАНА

В Москве считали, что Киму все еще угрожает опасность, и продолжали его охранять примерно около года. Процедура была такая. Каждый раз перед выходом на улицу я звонила по определенному номеру, чтобы сказать: «Мы выходим». На расстоянии нескольких шагов за нами следовало двое или трое телохранителей. По-видимому, они дежурили в соседнем доме.

Однажды Ким решил сделать мне подарок к празднику, и мы поехали в валютный магазин «Березка». (Как я уже упоминала раньше, у него оставалась валюта от гонорара за издание его книги «Моя незримая война».) Там один из наших телохранителей спросил у меня:

— Что, разве у Кима валютный счет тоже открытый?

В том, что у него открытый рублевый счет, как и у всей крупной номенклатуры того времени, чьи материальные возможности были неограниченными, они не сомневались. Между тем за все время жизни в Москве он так и не сумел скопить денег. Только в последние два года, когда Ким стал часто болеть и мы перестали путешествовать, мне удавалось экономить и откладывать немного денег на сберкнижку. Но сотрудники КГБ, не считая кураторов, казалось бы хорошо информированные, не имели представления о материальном положении Кима. Что же говорить о простых смертных? В их глазах мы выглядели неимоверными богачами. Они были уверены, что такая «героическая личность», как Филби, была щедро осыпана всеми земными благами. Так создаются легенды.

Ким почти никогда не выходил из дома один. Но когда я отправлялась за покупками, сопровождал меня ради прогулки, дожидаясь около магазина или аптеки. Понимая, что защищают не меня, а Кима, я не стала звонить охранникам, когда однажды направилась в бассейн. Я шла очень быстро, на ходу вскочила в троллейбус и поняла, что меня «засекли», когда заметила одинокого молодого человека, спешившего за мной. Он так увлекся преследованием, что даже влетел в женскую раздевалку. Но у входа в душевую его остановил плакат: «Граждане посетители! Осуществляйте контроль за мытьем друг друга!» Пока я плавала свои 40 минут, высоко на парапете маячила голубая куртка моего верного стража.

Если мы куда-то отправлялись на такси, телохранители ехали за нами на своей машине. Но совсем бессмысленно выглядели охранники, когда они в полном составе на машине сопровождали троллейбус, в котором толкались мы.

Как-то ночью у меня случился приступ аппендицита (я уже

описывала эту кошмарную ночь). С трудом дотерпев до утра, я вызвала такси, чтобы ехать в больницу. Предупредив, по обыкновению, охрану, мы вышли встречать такси, которое так и не приехало, что случалось нередко. Понаблюдав некоторое время за моими судорогами, наши телохранители предложили подвезти нас. В другой раз мы удостоились этой чести, когда, возвращаясь от Блейков после вечеринки, безуспешно пытались поймать такси.

Однажды мы приехали в переполненном троллейбусе в часовую мастерскую. Так как там оказалась большая очередь, я уговорила Кима вернуться домой в надежде, что одного его охранники довезут обратно на машине. Однако и без меня ему все равно пришлось добираться до дома троллейбусом, пассажиры которого не подозревали о почетном эскорте.

Но если существовала угроза жизни Кима, как такая охрана могла защитить его? Я часто задумывалась об этом. И однажды рассказала нашему куратору, Святославу, как охраняют Кима. Он подпрыгнул от возмущения и сказал, что это всего лишь очередная глупость его напарника, руководившего «операцией». После этого разговора мы стали иногда пользоваться машиной.

Наступил день нашей свободы: нам сказали, что опасность миновала. На радостях мы пошли погулять в Кремль. Когда мы поравнялись с гостиницей «Интурист», я обратила внимание на плотного мужчину, который шел навстречу. Меня испугало выражение его лица. Он внезапно остановился и вдруг, раскинув руки, бросился на Кима. Нападение случилось спустя 10 минут после того, как мы остались без охраны. Меня сковал страх, но через несколько мгновений испуг прошел, когда мужчина широко улыбнулся и заключил Кима в крепкие объятия. К счастью, «нападающим» оказался Петухов — тот человек, который помогал Киму бежать из Бейрута. Это была их первая встреча в Москве. Позднее мы побывали в гостях друг у друга.

Когда Кима охраняли, нас посвятили в правила «игры», и, как бы он к этому ни относился, вольно или невольно мы участвовали в ней. Тем более было неприятно узнать, что мы, бывало, подвергались слежке, не подозревая об этом.

ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства, ныне ВВЦ — Всероссийский выставочный центр) входила в число достопримечательностей, которые мы обычно показывали нашим гостям. Когда мы повезли туда Джозефину и ее мужа, она спросила Кима, знает ли он, что за нами следят. Он удивился и запротестовал, но она была уверена в этом. Я пыталась проверить ее подозрения, когда мы присели напротив фонтана «Дружба народов». Там обширная открытая площадь, которая

просматривается со всех сторон. Было безлюдно, и я, как ни старалась, никого не увидела.

Побродив по аллеям и нагуляв аппетит, мы зашли в рыбный ресторан на берегу озера. В туалете меня ждал сюрприз: целый рулон бумаги! Это было настолько невероятно, что я заглянула в другую кабину, в третью. Три рулона нераспечатанной туалетной бумаги! Такое не происходит случайно. Как правило, в наших туалетах бумага отсутствует. В смятении я вернулась за стол. И тут увидела *его*. Наш благодетель скучал в одиночестве за отдельным столиком в углу. Как говорится, доброе дело не остается безнаказанным!

В последующие дни наше сопровождение уже бросалось в глаза. Я даже переживала за «мальчиков», когда мы едва втискивались в переполненный троллейбус, и испытывала облегчение, увидев, что они успевали повиснуть на поручнях.

Как-то мы поехали на обед к маме, и таксист обратил наше внимание на преследователей:

— Вы знаете, что за вами следят?

— С какой стати? Вам показалось, — возмутилась я.

— Я их нутром чую и сразу заметил «Волгу», которая сидит у меня на хвосте, — и шофер объяснил мне, чем эта машина отличается от обычной «Волги».

Когда Ким рассказал нашему очередному Владимиру о подозрениях Джозефины, тот явно растерялся, и, судя по его смущению, нам не следовало замечать слежки. Да мы ее и не замечали, пока нам не открыла глаза бдительная Джозефина. Кто может знать, чего мы еще не видели?

Этот случай напомнил мне другой эпизод. Такую же наблюдательность, как и Джозефина, я проявила намного раньше, еще до замужества. Это было в Ярославле во время нашего путешествия с Блейками. Когда мы впятером — Ким, я и семейство Блейков — прогуливались по парку, я заметила, что за нами неотступно следует темноволосый молодой человек в белой рубашке с короткими рукавами и с газетой в руке. Казалось, остальные этого не замечали, и я не поделилась с ними своими наблюдениями. Дойдя до конца пустынной аллеи, мы в раздумье остановились, прежде чем повернуть обратно. Наш преследователь замешкался, перешел на другую сторону и потом бродил из конца в конец параллельно с нами. Я бы и теперь его узнала.

КУРАТОРЫ, ИЛИ ДРУЖБА ПО СЛУЖБЕ

Кураторы играли значительную роль в московский период жизни Кима. Имели ли какое-то официальное название, должность и те дополнительные обязанности, которые выполняли прикрепленные к Киму сртрудники КГБ, я не знаю. Мы обращались к ним по имени, как они сами нам представлялись, и так же называли их в разговоре между собой.

Как правило, *к* Киму было приставлено два куратора. Один занимался профессиональными проблемами, другой, рангом пониже, — бытовыми. Круг их занятий не был строго определен, и все зависело от личных качеств каждого из них. К одному было легко обращаться, другой на любой вопрос отвечал: «Это не так просто», — и Ким потом часто повторял эти слова, сталкиваясь с различными проблемами.

Кураторы оказывали Киму неоценимую помощь, избавляя от многих хлопот. Вместе с тем он и шагу не мог сделать без их ведома, например, уехать за пределы Московской области. Это было сочетание полицейского надзора с дружеской опекой.

Кима оберегали от нежелательных, по мнению кураторов, контактов, особенно с иностранцами. Они объясняли это заботой о его безопасности, говорили, что иностранные спецслужбы могут организовать террористический акт. Ким исключал такую вероятность, считал это полнейшей чепухой. Но в основном его устраивал уединенный образ жизни. Ему не хотелось оказаться в положении Дональда Маклина, у которого часто на лестничной площадке толпились иностранные корреспонденты.

Окружив Кима завесой секретности, ему не удосужились создать легевду, и мы часто попадали впросак, не зная, что отвечать на те или иные вопросы, которые мог задать работник домоуправления, врач санатория, просто сосед. И хотя невооруженным глазом было видно, что Ким иностранец, нам следовало это скрывать. Но мы жили в самом обыкновенном доме и не могли полностью отгородиться от людей. Я все просила куратора придумать легенду для Кима, и наконец мы ее получили. Отныне считалось, что Мартинс Андрей Федорович (под таким именем, как я уже писала, Ким проживал в Советском Союзе) работает в должности консультанта в НИИ «Омега», куда можно было позвонить по определенному телефону в подтверждение этого.

В целях безопасности Киму рекомендовали поменять квартиру и предложили посмотреть наш будущий дом. Мы с Кимом приехали по указанному адресу, но дом разыскать не могли, и я обратилась за помощью к прохожему.

— А, это тот дом, где живет Луис Корвалан! — обрадованно воскликнул он. Через некоторое время я поехала посмотреть одну

из квартир в этом доме, чтобы иметь представление, как будет выглядеть наше жилище. Дом был заселен только наполовину, мне показали одну из пустующих квартир и тут же радостно сообщили:

— Этажом ниже живет Луис Корвалан!

Можно было предвидеть, что здесь Киму недолго удастся сохранить свое инкогнито. В результате он не захотел расставаться со своей любимой квартирой и наотрез отказался переезжать.

Сам Ким ничего не боялся. В Москве он расслабился настолько, что не замечал (или не хотел замечать?) явной слежки за собой. Но в подсознании все еще жил страх, который имел отношение ко времени его активной деятельности, — страх разоблачения. Его мучили кошмары по ночам, и он часто вскрикивал во сне.

Как-то ночью я чуть не слетела с кровати от сильного пинка. Оказалось, Киму приснилось, что, будучи президентом Франции (наяву им был в те годы Помпиду), он прилег отдохнуть на диван в своем кабинете после утомительного рабочего дня. В это время открывается дверь и входит Помпиду, по-видимому, считавший президентом себя.

— И тогда я приготовился к обороне: подтянул ноги к животу и изо всех сил резко выбросил их вперед, — рассказывал Ким.

И… этот удар вместо Помпиду угодил в меня.

Время от времени Киму сообщали информацию, вызывающую настороженность у его кураторов. Так, однажды ему предложили воздержаться от походов на Главпочтамт, где мы регулярно получали корреспонденцию, поскольку там дежурил некий иностранец, который расспрашивал о Киме работников абонентского отдела. С тех пор я стала ходить туда одна.

Однако случалось, что к Киму без его ведома не допускали людей, которых ему хотелось видеть, о чем иногда он узнавал совершенно случайно и слишком поздно. Он вспоминал с горечью, как от него утаили, что Гай Берджесс хотел видеть его перед смертью. Чтобы не допустить этой встречи, Берджессу сказали, что Ким уехал из Москвы. А он никуда не уезжал и узнал об этом только после смерти Гая.

— Наверное, он хотел сказать мне что-то очень важное. Почему они так жестоки?! — недоумевал Ким.

Один из «заботливых» кураторов так же обманул нашего болгарского друга Тодора. Когда он приехал в Москву и хотел повидать Кима, ему сказали, что мы в отъезде. Тодор рассказал нам об этом спустя два года, когда мы встретились в Болгарии.

Кураторы обычно менялись каждые два года, некоторые

задерживались дольше, другие исчезали раньше. Не успеет Ким приспособиться к одному, как приходит новый. С некоторыми он расставался с облегчением, с другими — с сожалением.

Святослав и Валентин были первыми из коллег Кима, с кем я познакомилась. С Валентином мы редко сталкивались в Москве, зато провели целый месяц в Чехословакии, о чем я расскажу позднее.

Святослав был частым гостем в нашем доме, присутствовал на всех семейных праздниках. Ким считал его другом… Но в один прекрасный день Святослав исчез. К тому времени Ким уже привык к исчезновению московских друзей из числа своих коллег, но это не переставало его удивлять и огорчать. Ким не осуждал их, догадываясь, что они выполняли приказ, смысла которого он не понимал.

Иногда по этому поводу у него прорывалось раздражение. Так, 27 января 1980 г. Ким напишет М.П. Любимову: «Олег переехал в точку севернее нас, ходят слухи, что Виктор Пантелеевич тоже уйдет, и даже Геннадий нервничает. Я думаю, хотя мне не следует этого писать, что его босс — это сукин сын, которому следует занимать место мелкого клерка в деревне, в трех часах езды от Верхоянска на грузовике по разбитой дороге. Однако каждая большая организация должна иметь свою долю дураков. Селя ви!»

Святослав, в отличие от других, предупредил нас о своем исчезновении. Он сообщил, что уезжает в длительную командировку, и даже устроил прощальный ужин в «Метрополе». Совершенно случайно мы вскоре узнали, что он никуда не уехал, но больше мы его никогда не видели и ничего не слышали о нем.

Святослав все еще продолжал работать с Кимом, когда его напарника, Валентина, заменил Лев. С ним, как и с Валентином, нам пришлось путешествовать, а потом он долго «опекал» нас в Москве. Ким старался свести к минимуму общение со Львом и не обременял его просьбами. Этот куратор все делал скрепя сердце и, бывало, долго тянул резину, не говоря ни да ни нет.

Независимо от того, как складывались отношения Кима с кураторами, он никогда не высказывал своего недовольства их начальникам (за исключением одного случая). Напротив, всегда старался подчеркивать и превозносить их заслуги.

Как правило, мы знали только имя куратора, редко кто из них был настолько откровенен, что доверял нам свою фамилию. Как-то Киму срочно понадобился Лев, и я набрала тот номер, который он нам оставил. Мне очень мило ответили: «Имеем только тигров». Не зная фамилии, я так и не смогла его разыскать и, когда наконец он появился, была готова сама превратиться в

тигрицу и накинулась на него:

— Не будет ли это нарушением государственной тайны, если мы узнаем вашу фамилию?

Но Лев держался стойко и тайну не открыл. А узнали мы ее вскоре совершенно случайно, когда врач в поликлинике, открывая карту Кима, прочитала на первой странице фамилию и номер телефона нашего таинственного Льва, сказав при этом:

— Ваш куратор.

После Льва пошла череда Владимиров, с которыми у нас сложились дружеские отношения. Джозефина, ре-гулярно навещавшая нас, встречала разных людей с одним именем и решила, что это кодовое имя сотрудника КГБ. Среди них особенно выделялся один, который задержался при Киме дальше других. Этот «бытовик», крупный импозантный мужчина, был колоритной личностью и производил внушительное впечатление. Он любил рассказывать поучительные истории, которые всегда начинались словами: «Вот я, например…» Один из таких примеров — как он проводил время у приятеля на даче. Он смачно живописал, как они вдвоем забирались в погребок и там наслаждались в холодке, выпивая и закусывая.

— Вот это отдых! — заключал он свой рассказ и торжественно поднимал большой палец: — Во!

Это был яркий персонаж, и Ким с какой-то своеобразной нежностью относился к его маленьким слабостям. Высказывания этого куратора забавляли Кима, и он часто цитировал его, а некоторые из его выражений («это не так просто!») стали для нас нарицательными.

Ким, не любивший и опасавшийся перемен, очень расстроился, когда на смену этому Владимиру пришел другой. На этот раз нас ожидал приятный сюрприз: новый и последний Владимир из «бытовиков» оказался просто находкой. Он помогал нам во всем, что было в его силах, и от души часто оказывал такие услуги, о каких я бы никогда не осмелилась попросить сама.

Ким рассказывал, что Гай Берджесс использовал своих кураторов как мальчиков на побегушках. Он мог, не церемонясь, посылать их в магазин за хлебом или капустой. Мы же редко обращались с просьбами, а если и обращались, то обычно с пустяковыми, например достать билеты на поезд или в театр, либо предоставить машину, когда нельзя было положиться на такси. Но иногда возникали такие проблемы, которые мы не могли разрешить без помощи куратора.

Так случилось, когда моя мама поехала в Польшу, взяв телевизор в качестве подарка своим престарелым родственникам.

В то время это считалось вполне легальным: у нас в стране было перепроизводство телевизоров и их вывоз только поощрялся. Вместе со мной маму провожали Ким и Костя, мой брат. Когда мы добрались до ее вагона в самом конце перрона, оказалось, что необходима квитанция на право провоза телевизора. Нас спасли быстрые ноги моего брата: надо было пробежать всю длину перрона, найти нужную кассу, выстоять очередь и успеть погрузить маму в последнюю минуту перед отправлением поезда.

Но на этом наши злоключения не закончились. Среди ночи мама позвонила из Бреста и сообщила, что ее высадили из поезда на границе вместе со всеми вещами и злополучным телевизором под предлогом, что у нее не оказалось приглашения от родственников. (На основании этого приглашения ей выдали заграничный паспорт с визой в ОВИРе, оставив у себя само приглашение.)

Пока я ломала голову, как помочь маме, Ким позвонил нашему любезному Владимиру. Это был тот редкий случай, когда Ким самостоятельно воспользовался телефоном. Обычно все переговоры от его имени вела я, выполняя как бы секретарскую работу. На этот раз он не хотел рисковать, так как запомнил, что недавно на одну из его просьб я получила от Владимира не очень вежливый отказ.

Владимир сразу позвонил в Брест и все уладил. Те, кто высаживал маму из поезда, сказали, что это приглашение им совсем не нужно, но, по их мнению, оно могло понадобиться полякам. Как выяснилось, поляков приглашение вовсе не интересовало. Тем не менее благодаря нашим бдительным пограничникам маме пришлось просидеть на вокзале целые сутки в ожидании следующего поезда. Но, Бог знает, сколько бы она просидела, если бы не содействие Владимира!

В другой раз тот же Владимир освободил меня из милиции, куда я угодила накануне своего дня рождения.

Ким хотел сделать мне подарок, но сам не любил ходить по магазинам, поэтому выдал мне чеки, чтобы я истратила их по своему усмотрению. Мы с подругой пошли в магазин «Березка» на Кропоткинской. Покупателей, кроме нас, там не оказалось. Я выбрала шерстяную пряжу на пуловер, и когда расплачивалась в кассе пятирублевым чеком, ко мне подбежала испуганная подруга со словами: «Нас сейчас заберут!» Она видела, как продавщица нажала кнопку, небрежно упаковывая мою покупку.

Действительно, на выходе из магазина нас встретили двое молодых людей:

— Пройдемте!

Мы покорно прошли за ними во двор и оказались в

помещении под вывеской «Опорный пункт охраны общественного порядка», которое находилось в том же доме, что и магазин. Нас развели по разным комнатам и стали допрашивать:

— Откуда у вас чеки?

— Муж дал.

— Остались ли еще, кроме истраченных 5 рублей?

— Остались.

— А дома тоже есть?

— И дома есть.

— А откуда они у вашего мужа?

— У него валютный счет в банке.

— Не может этого быть!

— Проверьте!

Называю номер счета. Допрашивающий все равно не верит и не пытается проверить. Мне разрешают позвонить домой, но я наперед знаю, что Ким не ответит: он никогда без меня не подходит к телефону.

Разговор окончательно зашел в тупик, и мне, как ни хотелось, пришлось назвать фамилию мужа — Филби. Но и это не помогло — мне опять не верят. Пришлось обратиться за помощью к Владимиру. Я говорю, что он сотрудник КГБ, и называю его номер телефона. Допрашивающий набирает номер и спрашивает:

— Какая это организация?

— Какая надо, — было ему ответом.

Мне передали трубку, и я объяснила Владимиру, что случилось.

— Надо отпустить! — приказал он моему стражу, а со мной договорился встретиться на Гоголевском бульваре, недалеко от магазина.

Тем временем в другой комнате допрашивали мою подругу. «Мой» молодой человек часто выходил, видимо советовался со своим напарником. Тот обыскал сумку своей жертвы, сообщив при этом, что он внук Калинина (!). Несмотря на то что чеков у нее не было, ее тоже не отпускали. Когда я «раскрыла» Кима, оба допрашивающих, не поверив мне, спросили подругу, кто мой муж. Услышав тот же ответ, снова не поверили.

Благодаря вмешательству куратора им пришлось в конце концов нас отпустить — ни много ни мало через два часа! Подруге очень хотелось снова показаться на глаза той зловредной продавщице, и мы прошлись по магазину с видом победителей, слегка потешив свое самолюбие.

Расставшись с подругой, я встретилась с Владимиром, и он, видимо заподозрив меня в незаконной сделке, великодушно предложил:

— Мы не скажем Киму об этом.

Оказалось, он не знал, что у Кима был валютный счет. Мы с Владимиром пришли домой, где нас встретил взволнованный Ким. Я, разумеется, рассказала ему о своих «похождениях».

В те годы советским гражданам иметь валюту было запрещено по закону. Валюта, заработанная в заграничных командировках, выплачивалась им в рублевых чеках. Владельцы чеков могли пользоваться специальными магазинами «Березка». Теперь уже мало кто помнит, что такое чеки, тогда как в 70—80-е годы они пользовались ажиотажным спросом. Только в валютных «Березках» можно было купить импортные товары при тотальном дефиците в обычной торговле. Считалось незаконным покупать и продавать чеки, тем не менее эти сделки в открытую совершались у магазинов.

Последнего Владимира, занимавшегося профессиональными проблемами наиболее удачно, сменил Николай. Ким жаловался, что с ним очень трудно иметь дело. Сначала он думал, что причина в его плохом английском. Тогда Ким переходил на немецкий, которым Николай владел хорошо, или на русский. Оказалось, что дело не в языке:

— У него голова набита опилками, — наконец осенило Кима.

В те годы мы часто устраивали большие приемы. Особенно Ким любил отмечать день своего приезда в Советский Союз — 27 января. Среди других коллег присутствовал и Николай, который выделялся на их фоне своим озабоченным видом. Его глаза беспокойно перебегали с одного на другого, и мучительный умственный процесс отражался на сосредоточенном лице.

Тогда мы еще не знали, что он сочиняет свои справки. Об этом мы услышали позднее от Георгия, который регулярно работал с Кимом. Николай жаловался своему начальнику на то, что Георгий не составляет донесений на Кима. В одной из справок Николая, которые он писал после каждой встречи с Кимом, содержалась необычайно «ценная» информация, а именно, что Георгий ухаживает за мной, хотя об этом ни я, ни даже сам «ухажер» не подозревали.

Терпение Кима лопнуло, и он стал требовать, чтобы Николая заменили. Не помню другой ситуации, чтобы он так решительно чего-нибудь требовал. Но это оказалось «не так просто», как сказал бы Владимир. Битва затянулась на целый год. Начальник Николая уверял Кима, что не может найти тому достойную замену. То, что подобный кадр был незаменим, наводило на печальные размышления. Ким диву давался, как Николаю с его способностями удалось несколько лет проработать в США, да и не только там.

В конце концов Николая заменил Андрей, который звезд с неба не хватал и часто раздражал Кима, но ему многое можно было простить за добродушный нрав.

Ким часто говорил о высоком профессионализме своих советских коллег, с которыми работал за рубежом. Вместе с тем его огорчала некомпетентность некоторых из тех сотрудников КГБ, с кем он встречался здесь.

При всем стремлении к независимости Ким понимал, насколько ограничены его возможности — даже поездка в ту же Дубну или Ленинград не могла бы состояться без помощи КГБ, так как в любой гостинице мы бы услышали категоричное: «Свободных мест нет». Он не раз сталкивался с неразрешимыми бытовыми проблемами и очень ценил помощь своих коллег. Мы убедились, чем может обернуться независимость, когда вдвоем поехали в Суздаль. Нам любезно предоставили машину с шофером и забронировали номер в мотеле на три дня. Мы гуляли по городу, любуясь его достопримечательностями, но, когда решили пообедать, нас не пустили ни в один ресторан. Несмотря на отсутствие там посетителей, везде заявляли, что обслуживают только иностранных туристов. Так что мы коротали вечера в своем мотеле и жевали сухие бутерброды. Зато когда мы ездили туда с детьми в сопровождении куратора, двери ресторанов гостеприимно распахивались для нас.

Вместе с тем Ким никогда не считал, что ему по рангу полагаются привилегии, и любую мелкую услугу принимал *с* благодарностью. Так, при наших поездках за рубеж куратор извещал соответствующие службы о времени прибытия Кима в пограничный пункт, где нас встречали, скрашивали долгие часы ожидания при замене колес и освобождали от таможенного досмотра.

Помню, как по пути в Болгарию мы приехали в пограничный молдавский город Унгены на советско-румынской границе в 5 часов утра, и Ким остолбенел, увидев стол, заставленный закусками и напитками.

— Хуже бывает! — промолвил он, вызвав страшную обиду наших гостеприимных хозяев, пока я не объяснила, что это значит: «Лучше не бывает!»

Он еще больше удивился, когда обнаружил, что рюмка водки оказалась как нельзя кстати в такое раннее время и даже доставила удовольствие. Далеко не всегда его встречали или провожали с такими почестями. Иногда случались недоразумения, и Кима ждали или накануне, или после его отъезда.

Когда в следующий раз мы прибыли в Унгены в

предвкушении большого банкета, нас никто не встретил. Было очень холодно и сыро. Мы стояли на открытом перроне, продуваемом со всех сторон, размышляя, куда деться на два-три часа. К счастью, привокзальный ресторан был открыт. Нам не пришлось ломать голову при выборе блюд, так как кроме оладьев там ничего не оказалось. Ким встретил их с восторгом, который мог сравниться разве что с ликованием при виде байкальской глазуньи.

Мы согрелись коньяком и уже почувствовали себя на седьмом небе, когда к нам подошел симпатичный молодой человек, которого мы помнили по предыдущему приезду. Он объяснил, что по информации, полученной из Москвы, нас ждали вчера, а сейчас он по своей инициативе решил на всякий случай поискать Кима. И мы снова оказались в отдельном кабинете за столом, наспех накрытым, но изобильным.

В Болгарию мы ездили чаще, чем в другие страны. В Унгенах были самые продолжительные стоянки. Мы встречали там одних и тех же людей — коллег Кима. Они нас приглашали посетить Молдавию, и однажды мы там остановились на три дня по пути из Софии в Москву. Провожая нас, молдавские друзья подарили Киму сухое вино и ящик черешни, который мы передарили нашим проводницам. Ночью мы проснулись от шума и увидели, как девушки с визгом выскакивали в коридор, спасаясь от мохнатых гусениц, которые расползались из черешни. Ким хохотал до упаду.

КРЫМ

Ким страдал хроническим бронхитом, и я уговорила его поехать в Крым. Мы решили, что лучшее время — май, пора цветения. Нам достали путевки в Ялту в санаторий Совета министров «Россия». Крым встретил нас неприветливо, всю дорогу от Симферополя мы двигались в гус-том тумане со снегом. Только в Ялте проглянуло солнце.

В течение всего месяца погода нас редко баловала. Если и выдавались солнечные дни, то к вечеру, еще до захода солнца, опускался холодный туман. Местные жители говорили, что нам не повезло, что такой плохой погоды прежде никогда не было. Они считали, что климат испортился после сооружения Симферопольского водохранилища. Обычно и в других поездках нам редко везло с погодой, и эта фраза: «Такой погоды никогда не было» — всюду преследовала нас.

Архитектура санатория типична для сталинских времен — тяжеловесная и помпезная. Зато строили тогда прочно и добротно. Глубокие лоджии и толстые каменные стены защищали комнаты от проникновения солнечных лучей, чего нам как раз и недоставало. Наш «люкс» состоял из спальни, гостиной и ванной. Привилегией номера «люкс» был электрический самовар, который доставлял Киму большую радость: он не мог обходиться без своего чая, горячего и крепкого. Ориентируясь на сухой и теплый (в прошлом) климат, отопительный сезон всегда заканчивался к 15 апреля, независимо от погоды. Внутри помещения было холоднее, чем на открытом воздухе. Мы спали под двумя одеялами, а днем согревались чаем и паром от самовара. В результате Ким так и не расстался со своим бронхитом до самого отъезда.

Каждый раз по приезде в любой санаторий моя задача состояла в том, чтобы уговорить врача не обращать на нас внимания, отказаться от лечения и всевозможных процедур, даже от массажа, который, кажется, любят все. Киму же было неприятно прикосновение чужих рук. Зато я уговорила его ходить со мной в бассейн. Ким очень хорошо плавал, а в школьные и студенческие годы был даже чемпионом. К сожалению, вскоре он вынужден был отказаться и от этой приятной процедуры.

Вновь прибывшему посетителю бассейна приходилось выслушивать наставление о правилах поведения, главное из которых — хорошо помыться мылом с мочалкой перед плаванием. Впервые Ким оказался на таком инструктаже в компании с тремя мужчинами. У этих был вид нашкодивших

мальчишек и, как оказалось, неспроста. Ким потом сказал мне, смеясь, что ни один из них, кроме него самого, вообще не заходил в душ.

Тон в бассейне задавала уборщица, грубая и крикливая. В посетителях она видела только носителей грязи, которую ей приходилось за ними убирать, и люто всех ненавидела. Она заглядывала в сумки *с* бельем, выискивая «улики». И если ей не понравилась мочалка или кусок мыла (слишком маленький) либо она не обнаруживала запасной купальный костюм (нельзя плавать в том же костюме, в котором вы загорали!) — позора не миновать. К Киму она сразу отнеслась подозрительно, как к существу неведомой и чуждой ей породы, и набросилась на него после второго посещения бассейна. Для него, чистого в прямом и переносном смысле, это было столь оскорбительно, сколь и несправедливо. Больше он ни разу не переступил порога этого заведения.

Эта уборщица была досадным исключением среди других работников санатория, вежливых и приветливых. Вообще Ким быстро завоевывал симпатии обслуживающих его людей своей непритязательностью и доброжелательностью.

В первый приезд в «Россию» нам не удалось избежать некоторых медицинских процедур. Киму, а за компанию и мне назначили обследование сердечно-сосудистой системы. Результаты оказались парадоксальными: как если бы мне было 60 лет, а Киму 40. Несмотря на свой бронхит, он был тогда сильным и выносливым, а я, хотя и любила дальние прогулки, быстро выдыхалась, особенно при подъеме в гору. Ким шел размеренным и спокойным шагом, и ему приходилось останавливаться, чтобы подождать меня.

Время от времени нас развлекали коллеги Кима из Симферополя. Помню чудесный солнечный день, который мы провели в море на катере, где я, впервые взяв удочку, оказалась самым удачливым рыболовом. Незабываемой была поездка в горы, где в обрамлении сосен лежало «квакающее» озеро Караголь. Лягушки оглушительно исполняли свой весенний гимн, отчаянно стараясь перекричать друг друга. Ким был в восторге от этой жизнерадостной разноголосицы. Зато она довела до истерики черного спаниеля. Он метался по берегу, дрожа всем телом, мокрый и изможденный от безуспешной охоты на лягушек; Сорвав голос, он не мог больше лаять и только жалобно повизгивал.

Решив, что невезение с погодой не может повторяться ежегодно, в следующем мае мы снова отправились в Ялту, только на неделю позже. И опять услышали, что «такой погоды никогда

не было». Все-таки на этот раз солнечных дней выдалось больше. Мы много гуляли, особенно любили «Царскую тропу». Эта живописная тенистая дорога извивается над морем, проходит через Ливадийский парк и выводит к Мисхору. На пляж Ким не ходил: он не любил загорать, а купаться было холодно.

Ким предпочитал возвращаться на старое место, к знакомым людям. Ему было важно не столько самому привыкнуть к ним, сколько чтобы привыкли к нему и не смотрели как на «белую ворону». И мне было легче. Не нужно было начинать все сначала: уговаривать врачей оставить нас в покое и объяснять, почему нам нужен отдельный столик. Поводом для этого была его аллергия на яблоки, о которой говорилось выше. Сам вид этих плодов вызывал у него отвращение. Он не мог переступить порога столовой, если видел яблоки, разложенные на тарелках, и часто оставался без обеда.

Но все-таки главное заключалось в том, что Киму было мучительно общение с незнакомыми людьми не только из-за языкового барьера, но и из-за неизбежных вопросов, на которые он не мог отвечать.

Не видя эффекта от климатического лечения, врачи решили, что Киму надо увеличить время пребывания в Крыму по крайней мере вдвое.

«Через пару дней мы уезжаем в Крым и пробудем там 6—7 недель — этого достаточно, чтобы восстановить здоровье после плохой зимы и подзаправиться энергией на будущий год. Мы оба будем заниматься рыбной ловлей, что очень плохо, так как Руфа всегда ловит больше рыбы, чем я, и потом неделями хвастается. Я думаю, она могла бы поймать кита на шпильку», — написал Ким М. П. Любимову 2 мая 1978 г., накануне нашей последней поездки в Крым.

Итак, отбыв третий «срок» в «России», мы переместились в санаторий «Черноморье». Он находился дальше от Ялты, но зато ближе к «Царской тропе».

— Наступил июнь, распогодилось, и я купалась в море, но для Кима вода была все еще слишком холодной. Этот санаторий был подешевле и поскромнее. Зато отдыхающие здесь люди выглядели симпатичнее обитателей «России», среди которых преобладала провинциальная знать, публика напыщенная.

С врачом мы быстро нашли общий язык. Она сказала, что теперь уже трудно рассчитывать на хорошую погоду — часто идут дожди, воздух стал влажным и прохладным. Раньше здесь преобладала сухая и солнечная погода, которая помогала исцелять легочные заболевания. Теперь Крым утратил свои уникальные целебные свойства. Таким образом врач развеяла

наши сомнения, и мы перестали туда ездить.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДКИ

Чехословакия

В 1971 году в Чехословакии была опубликована книга Филби «Моя незримая война». Ким решил отказаться от перевода гонорара, с тем чтобы использовать его как повод для визита в эту страну. Таким образом состоялась наша первая зарубежная поездка. Мы провели приятный месяц, останавливаясь в Праге, Карловых Варах и Высоких Татрах. Кима встречали как высокого гостя, приставив к нему телохранителя Владека и еще одного сопровождающего, Виктора. В нашем распоряжении были также две «татры» *с* шоферами.

Министр внутренних дел дал обед в честь Кима. Был курьезный момент, когда, поднимая бокал, он сказал:

— Мы гордимся; что первыми среди социалистических стран, разумеется после Советского Союза, издали вашу книгу.

Никому в Чехословакии тогда не могло прийти в голову, что пройдет еще девять лет, прежде чем книга Филби выйдет в Советском Союзе, в той стране, где она была написана и которой он посвятил свою жизнь.

Наш сопровождающий из Москвы, Валентин, был отнюдь не украшением этой поездки. Он пользовался успехом у наших шоферов и, считая себя душой компании, не закрывал рта. Его репертуар в основном состоял из нескольких анекдотов, которые он бесконечно повторял Ким умирал от скуки, слушая его трескотню. Валентин особенно любил рассказывать, как, работая в Лондоне, изображал из себя миллионера, приходя в магазин за покупками для своей жены. По его описанию, он, развалившись в кресле с сигарой в зубах, выстраивал в ряд всех служащих там девушек и ощупывал каждую из них, чтобы подобрать ту, которая соответствовала бы размерам его жены.

Наши шоферы были, конечно, в восторге от таких историй, но этот бред приходилось выслушивать и Киму. Когда я попыталась утихомирить рассказчика, он снисходительно заметил, что не всем дано оценить уровень его интеллекта. Не смог оценить его и министр, который был шокирован, когда Валентин запел частушки на торже ственном банкете. Зато в Москве его заслуги получили достойную оценку. По возвращении из Чехословакии он поднялся в чине и покинул нас. Валентина заменил Лев, тоже не подарок. Позднее, сравнивая жизнерадостного самовлюбленного Валентина и унылого Льва, мы не знали, кому из них отдать предпочтение: каждый был по-своему «хорош».

Несмотря на наши увлекательные поездки, Ким всегда

предпочитал пешие прогулки. Мы много гуляли, особенно в горах, которые он очень любил. Однако не все прогулки в горы были легкими и приятными. Подъем на Высокие Татры по канатной дороге оказался для Кима тяжелым испытанием. Да и у меня захватывало дух от страха, когда мы пролетали, подпрыгивая на стыках в своих легких креслах, над бездонными пропастями и остроконечными скалами.

Любуясь прекрасной панорамой, я смелею настолько, что оборачиваюсь к Киму и маглу ему рукой: «Hello!» Он сидит с напряженным лицом, стиснув зубы и судорожно вцепившись в поручни. «Hello!» — хрипло отвечает, не пошевельнувшись, явно не разделяя моего восторга, и я вспоминаю о его боязни высоты! Когда мы встаем на твердую землю, он признается, что для него это подвиг, который он не намерен повторять.

На следующий день запланирован подъем на вершину Татр на фуникулере. Ким, конечно, не в восторге от этого мероприятия, но виду не показывает. Мы уже собрались в путь, когда пошел дождь. Панорама, которой нам предстояло любоваться, закрылась тучами. Мы уговорили наших попутчиков отложить поездку, хотя они не любили менять программу. (Кима раздражало само слово «программа», и он постоянно с этим боролся.) По возвращении с пешей прогулки мы услышали трагическую историю: фуникулер, на котором мы собирались подняться и спуститься, сорвался и пассажиры разбились. Среди пострадавших был летчик, самолет которого незадолго до этого потерпел крушение в горах, а он чудом уцелел. Его разыскали и на носилках доставили в этот злополучный фуникулер, и он попал во вторую катастрофу.

Однажды Виктор сыграл с нами злую шутку. Когда мы были в Низких Татрах, он предложил совершить увлекательную экскурсию в «Словенский рай». Что это такое? Легкая прогулка, если не считать нескольких лестниц. При этом он придирчиво осмотрел мою обувь и посоветовал купить кеды. Звучало туманно и интригующе. Никаких разъяснений мы не услышали и *с* легким сердцем тронулись в путь. Благоразумный Валентин нашел для себя более интересное времяпрепровождение и не последовал за нами.

Низкие Татры, покрытые лесами, необычайно живописны. Плавные зеленые холмы кажутся мягкими, как бархат, и манят своей доступностью в отличие от Высоких Татр. В том, что это впечатление обманчиво, мы вскоре убедились.

С трудом преодолеваем крутой спуск. Цепляемся за кустарники и деревья, чтобы не покатиться кубарем. Ноги болят от напряжения, а конца все не видно. Навстречу поднимается

группа изможденных молодых людей, которые стонут и едва держатся на ногах.

Наконец мы останавливаемся на ровном месте в уверенности, что уже попали в «рай». Но оказывается, то был вход в ад. Перед нами — горная речка. Виктор, не давая нам опомниться, устремляется вперед, перепрыгивая с камня на камень. Я едва поспеваю за ним, за мной спешит Ким, Владек идет последним. Речка превращается в бурный поток. Передвигаться становится по-настоящему опасно. Приходится перебираться по скользкому бревну, переброшенному через реку. У меня кружится голова. Представляю, каково Киму: он еще больше боится высоты.

Мы оказались в ущелье — обратного пути нет, и нам ничего не остается, как продвигаться вперед. Преодолевая очередное препятствие, каждый раз надеемся, что оно последнее. Возвратиться назад — значит снова пройти путь, который с таким трудом одолели, да еще крутой подъем в гору. Идем втроем вплотную друг за другом. За Виктором нам не угнаться. Он исчезает за очередным поворотом, ни разу не оглянувшись, не протянув руки.

Теперь мы зажаты между скалой и водопадом. Передо мной тоненькое дерево, переброшенное через бурлящий поток. Такая эквилибристика мне не по силам, и я останавливаюсь: «Все. Больше немоту», — но, обернувшись, вижу, что Ким висит на одной ноге, а за ним прилепился Владек. Здесь нам даже не развернуться, чтобы двинуться назад. И я ползу вперед по бревну на четвереньках, как обезьяна, а за мной доблестные мужчины. Владек с растерянным лицом и головой, повязанной носовым платком, меньше всего походит на телохранителя. Виктора и след простыл.

И тут появляются обещанные лестницы. Сплетенные из толстой проволоки и цепей, они прикреплены к отвесным скалам с таким наклоном, что, хватаясь за них при подъеме, приходится запрокидываться назад. По сравнению с бревном это, конечно, более надежный способ передвижения — можно хотя бы держаться руками. Но наши силы на исходе. Казалось, этим зеленым лестницам не будет конца.

После крутого спуска мы поднимаемся на ту же высоту, с которой начали свой путь, преодолев многочисленные препятствия. Через несколько часов мы выбрались из «рая». Без сомнения, такой маршрут рассчитан только на опытных туристов, а для нас он был по-настоящему опасен.

Наверху ждал взволнованный шофер. Он был в панике, услышав рассказ тех молодых туристов, которых мы повстречали. Виктор спокойно сидел в ближайшем кафе за рюмкой боровички

(можжевеловой водки). Владек накинулся на него с кулаками, а мы были слишком измучены для проявления каких-либо эмоций. Поведение Виктора осталось для нас загадкой. Вообще в нем было что-то странное. Возможно, причиной тому были семейные неурядицы, о которых он мне рассказывал. Но стоило ли из-за этого подвергать нас смертельной опасности?!

Зато на Кима всегда можно было положиться в выборе маршрута. Он прекрасно ориентировался в любом новом месте, умел рассчитать свои силы и безошибочно чувствовал опасность.

Наши последующие приезды в Чехословакию обходились без московских сопровождающих. Когда мы снова оказались в Высоких Татрах, Ким взял на себя роль проводника и в яркий безоблачный полдень повел нас в горы. Он идет впереди ровным, спорым шагом, не снижая темпа. Я едва плетусь, и даже молоденький Павел (местный сопровождающий) с трудом поспевает за Кимом. Еле заметная тропинка извивается среди скал, пересекаемая ручейками. Перед нами маячит стена из отвесных скал, уходящих ввысь. Мы карабкаемся все выше, а наша цель как будто отодвигается, дразня нас.

На чистом небе появилось маленькое облачко. Солнце поблекло. Облако стало спускаться к нашим ногам. Повеяло прохладой. Ким сразу повернул обратно и начал поторапливать нас. Мы едва успели миновать опасные участки, как буквально в считанные минуты горы заволокло туманом. Когда мы оказались на ровном месте и оглянулись, не видно было ни зги: все покрывал густой туман.

Венгрия

Несмотря на «опасные повороты», поездка в Чехословакию пробудила у нас аппетит к зарубежным путешествиям. Ким с удовольствием принял приглашение посетить Венгрию, о которой сохранил теплые воспоминания. (Еще будучи студентом, он исколесил Европу на своем старом мотоцикле.) Во всех странах, где мы побывали, Кима встречали как высокого гостя, с почетом и уважением. К тому же там, в отличие от советских республик, нас никто не мучил ни едой, ни питьем, не произносил утомительных тостов. В Венгрии даже посещение винных подвалов не было обременительным. Правда, и здесь не всегда удавалось избежать протокольных мероприятий. И как правило, чем меньше город, тем больше была окружающая нас «свита». Иногда такие прогулки даже напоминали посещение Средней Азии.

Погода не баловала нас и в Венгрии. В один из редких погожих дней мы прибыли в прекрасный Эгер. Сидя в душной комнате в окружении официальных представителей города, мы с

тоской наблюдали, как солнце. катится к закату. Там мы узнали, какова протяженность газо- и водопровода, какую площадь занимают посадки сельскохозяйственных культур и особенно порадовались высоким урожаям люцерны. (Впоследствии, чтобы не томиться от неизвестности, я сразу спрашивала о люцерне.)

Наша переводчица, очень милая женщина, была излишне добросовестна. Ее перевод на русский был вдвое длиннее оригинала. Она боялась упустить малейшую деталь, тщательно подбирая слова. Даже я, не зная венгерского языка, могла уловить суть уже в начале фразы. Ким отчаянно скучал, но был, как всегда, терпелив. (Своим знанием венгерского языка он приводил в восторг окружающих. Удалось и мне продемонстрировать свои «способности», когда на приветствие «кеза чоккала» (целую ручки) я ответила тем же, позабавив мужчин.) Улучив момент, когда рассказчица остановилась, чтобы перевести дух, я вставила: «Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать» — и вскочила, увлекая за собой Кима. Все радостно последовали за нами.

В Мышковце я «вовремя» упала и разбила коленку, что уберегло Кима от подъема на телевизионную башню. Другой достопримечательностью этого города были искусственные цветы. Я получила огромный букет искусственных гвоздик всевозможных оттенков. Они были разложены на моей кровати, и я вздрогнула, как будто увидела гроб.

Два года подряд, приезжая в Венгрию, мы тщетно ждали хорошей погоды, по две недели сидя у Балатона. Только однажды мне удалось искупаться. Зато нам повезло в Сильвашвароде, где Ким особенно любил бывать. Этот горный курорт необычайной красоты привлекал Кима своей уединенностью. Небольшая вилла, где мы поселились, была расположена в тихом безлюдном месте на возвышенности, откуда открывался дивный вид. Там мы могли прогуливаться часами, не встретив ни души. Дом обслуживала одна женщина — она же и повар, и горничная. Повсюду нас сопровождал очаровательный Гайдош. Привыкнув дома, что «все не так просто», от него мы всегда слышали «нет проблем».

Когда мы впервые приехали в Сильвашварод, Гайдош заметно нервничал и только за ужином вздохнул с облегчением. Он опасался, как бы не повторилась история, которая случилась с ним в его предыдущий приезд. Тогда он привез немецкую делегацию. У них был напряженный день, и все приехали к ужину усталые и очень голодные. Немцам подали форель — по одной маленькой рыбке, которую они мгновенно проглотили и ждали продолжения. Но следующего блюда так и не последовало, и им ничего не оставалось, как отправиться спать. Гайдош не мог уснуть от голода и крадучись спустился на кухню, чтобы

пошарить в холодильнике. Но его опередили немцы, которым тоже не удалось уснуть, и там в темноте все столкнулись лбами. А холодильник оказался совершенно пуст!

По утрам я тоже украдкой пробиралась на кухню, но с другой целью — чтобы опередить нашу повариху и заварить Киму чай. У нее же был свой метод: она засыпала чай в большой железный чайник с холодной водой и варила его на плите, как суп. Зато кофе она готовила отменный.

Как-то вечером нас привезли в заповедник, обещая сюрприз, — мы должны были увидеть и услышать, как ревут олени. Сначала мы забрались на вышку, которая стояла в чистом поле и продувалась со всех сторон. Мы дрожали от холодного ветра, но никто не показывался и не подавал голоса, только звезды насмешливо подмигивали нам. Спустились с вышки, и нас усадили на землю под деревом, заботливо укутав клетчатым пледом. Ким сидел с обреченным видом, стуча зубами от холода и усталости, и недоумевал, ради чего переносит эти мытарства. Наконец нас пожалели и отпустили с миром. Мы приехали в свой домик, показавшийся еще более уютным и желанным, поужинали и согрелись. Перед сном вышли на балкон подышать свежим воздухом и полюбоваться на звезды. И вдруг: «У-ух!» — раздался трубный глас, и снова все стихло. Хотя олень оказался более чем немногословным, мы были все-таки вознаграждены и с чистой совестью могли отойти ко сну.

Болгария

После того как книга Кима вышла в Чехословакии, ее опубликовали в Болгарии. Если в Чехословакии с ним заключили договор и предоставили на выбор — получить гонорар в кронах или рублях, то о болгарском издании он узнал как о свершившемся факте. И мы размечтались о том, как распорядимся богатством. Во-первых, купим холодильник (наш «ЗиЛ» первого выпуска разваливался по частям, и его отказывались чинить). Но от гонорара, 70 % которого забрала «Международная книга», осталось около 700 рублей, которых нам не хватило даже на холодильник.

Зато благодаря своей книге Ким получил приглашение посетить Болгарию, где его встречали с такими же почестями, как и в Чехословакии. Нас сопровождал Лев, сменивший Валентина. Помимо Льва, который не знал болгарского языка и слабо владел английским, нас сопровождал болгарин Тодор, свободно изъяснявшийся как по-русски, так и по-английски. Роль Льва нам была непонятна.

С Тодором мы очень подружились, и во многом благодаря

ему Кима привлекала Болгария, где в дальнейшем мы бывали особенно часто. 6 января 1975 г. Ким написал Тодору: «…самое главное, если наши планы сбудутся, пожалуйста, постарайся быть на месте, когда мы приедем. Мы бы не хотели, чтобы какой-то болгарский Лев сказал нам, что тебя «нет в городе». На самом деле я не верю, что *может* быть болгарский Лев: такой гений — единственный в своем роде».

В один из наших приездов, когда Тодор не мог сопровождать нас по службе, он специально взял отпуск, чтобы провести его со своей женой Радкой в нашей компании. Мы также подружились с другой молодой четой — Константином и Донкой, которые окружали нас вниманием и заботой, особенно когда Ким болел.

Болгарию щедро одарила природа. Там есть все: и теплое море с песчаными пляжами, и неприступные горы, и цветущие долины. В свой первый приезд после поездки по стране мы остановились на отдых у моря на Золотых песках под Варной, а под конец ненадолго заехали на другой морской курорт — Солнечный берег. Нам больше понравился последний, и Ким, склонный к постоянству, предпочитал всегда отдыхать там. При каждом посещении Болгарии мы останавливались на две-три недели в одном и том же доме отдыха, и его директор встречал нас как дорогих гостей.

С пляжа открывался чудесный вид на Несебр — маленький старинный городок, где сохранились архитектурные памятники XI — XII веков. Он расположен на полуострове, соединяющемся с материком узкой полоской земли, и создается впечатление, что город всплывает из моря, как в сказке. Мы с Кимом любили там гулять по узким кривым улочкам, заглядывая в маленькие таверны под открытым небом.

Ким полюбил болгарскую кухню и радовался обилию овощей, которых нам всегда недоставало в других местах; Его аппетит не могла испортить даже кислая мина сидящего напротив Льва. В отличие от Валентина, который умел наслаждаться жизнью и в Чехословакии использовал каждый случай, чтобы ускользнуть от нас и повеселиться (чему мы только радовались), Лев всем своим видом показывал, что несет тяжелый крест. Он постоянно жаловался, что солнце печет голову, слепит глаза, и *я* уже собралась подарить ему темные очки, когда он сказал: «Я терпеть не могу очки, они давят на нос». Ким недоумевал, как же он мог работать в арабских странах, откуда только что вернулся. В Болгарии мы были поздней осенью, и солнце нас не слишком баловало.

В то время Ким был здоров и полон энергии. Он даже любил ходить за покупками и сам выбирал подарки для родных и

друзей. Рядом с ним неизменно присутствовал Лев, ничего не покупавший, с маской напускного равнодушия на лице. Однажды, когда Ким отдыхал после обеда, я решила прогуляться, и Тодор вызвался сопровождать меня. Лев отправился с нами, хотя в этом не было необходимости, и Тодор пошутил:

— Может быть, Ким поручил ему следить за тобой?

Пока мы с Тодором прогуливались, заходя в магазины, Лев оставался в машине и встретил нас раздраженно:

— Где вы так долго пропадали?

Я решила, что плохое настроение нашего сопровождающего вызвано отсутствием денег. Поэтому жалела его и даже советовалась *с* Тодором, как бы помочь Льву. Тодор только посмеялся надо мной, и я поняла, почему, когда мы возвращались домой и увидели его багаж.

После нашего путешествия со Львом Ким решительно отказался от подобного сопровождения и заявил, что в противном случае никуда не будет ездить. Это возымело свое действие, и в дальнейшем нас освободили от «попутчиков», за исключением поездки на Кубу.

Куба

Осенью 1978 года мы получили неожиданное приглашение посетить Кубу. Стали думать, как туда добраться. И самолет, и пассажирское судно отвергались из соображений безопасности. В конце концов нам подобрали сухогруз, который шел до Гаваны без заходов в другие порты. Мы приехали в Ленинград с запасом консервов и сырокопченой колбасы по совету нашего Владимира и 1 октября погрузились на теплоход «Скульптор Голубкина». Он вез контейнеры на Кубу. Бог знает, что в них было! Нас поселили в одной из трех пассажирских кают, просторных и комфортабельных. Перед отъездом из Москвы нас познакомили с нашим сопровождающим, Геннадием, с которым нам необычайно повезло. К сожалению, мы его так и не увидели после Кубы. Пресловутый Николай, сменивший Владимира, запретил Геннадию посетить нас в Москве.

Все дни при любой погоде — под солнцем, ветром и дождем — мы проводили на безлюдной палубе. Здесь мы в полную меру насладились свободой: никакой «свиты», никто не суетится вокруг. Ким наконец получил то, что больше всего любил и чего ему всегда не хватало во всех наших поездках, — уединение. Только мы и океан. Геннадия мы почти не видели. С ним и капитаном встречались в столовой, где питались вместе с членами команды, которые приняли нас в свою дружную семью. Еда была непритязательная, но по-домашнему вкусная и сытная.

Наши продуктовые запасы из Москвы так и остались нетронутыми.

…Мы незаметно пересекаем широты, переходя из осени в лето, хотя по нашему календарю приближается зима. Когда мы проходили Ла-Манш, Ким показал мне старую приготовительную школу в Истборне, но, к сожалению, из-за плохой видимости я не смогла ее разглядеть. За время пути ни. один корабль не встретился нам. Казалось, мы одни во Вселенной. Только иногда нас провожают игривые дельфины. Неведомо откуда на палубе появляется стайка птичек, точь-в-точь воробьи. Но наблюдательный Ким сразу замечает разницу: в отличие от воробьев, они не прыгают, а бегают, быстро перебирая лапками. На следующий день птицы так же неожиданно исчезают.

Однажды над нами покружил небольшой аэроплан. Он опускался так низко, что можно было разглядеть пилота, и мы на всякий случай ушли с палубы.

Неожиданно налетел шторм. Мы почувствовали его во время обеда, когда вдруг стали опрокидываться наши тарелки с супом. Кима качка совсем не беспокоила, а ночью только усыпляла. Перекатываясь с боку на бок, будто младенец в люльке, он спал крепко, как никогда. Я же, не находя себе места, переместилась на маленький диванчик, который стоял перпендикулярно к нашей широкой кровати. Там я пыталась закрепиться, упираясь затылком и пятками в подлокотники. Море успокоилось на третьи сутки. Снова засверкало солнце.

Две недели пролетели незаметно. Было даже жаль, что плавание подошло к концу. 15 октября наш теплоход вошел в порт Гаваны. Мы попрощались с гостеприимной командой, пересели в маленький катер и через несколько минут ступили на землю Кубы.

В Гаване нас встретили радушно и поселили в двухэтажном особняке, оставшемся в наследство от «проклятого империализма». Там мы пробыли несколько дней, осматривая город и его окрестности. Мы с Кимом наслаждались дарами моря, а бедный Геннадий очень страдал без мяса и хлеба, который заменяли крекеры.

Из Гаваны перелетели в Сантьяго-де-Куба. Говоря языком газетных штампов, посетили места боевой и революционной славы. Остров Свободы изъездили вдоль и поперек. Все это было бы очень приятно, если бы не здоровье Кима. Хотя он и не страдал от жары, но высокая влажность и резкая смена температур были для него губительны. Если снаружи плюс 35–40 градусов, то в помещении — только 15. Разгоряченный и потный, он попадал под холодную струю кондиционера, и у него сразу

начинался бронхит, который впоследствии заканчивался пневмонией.

Очень утомляли нас многочасовые поездки по жаре, когда мокрая от пота одежда прилипала к телу. Не приносили облегчения и ливневые дожди. Вода, мгновенно испаряясь, только увеличивала влажность воздуха, не давая прохлады. Мы устали от встреч и расставаний, мелькания незнакомых лиц и обрадовались, оказавшись в Варадеро, где нам предстоял двухнедельный отдых.

Туда мы приехали поздно вечером. Была кромешная тьма, и наши телохранители долго петляли и ломились в закрытые двери, пока не отыскали наш дом. Он стоял на самом берегу океана. Сидя в очередной компании незнакомых людей, я слушала шум прибоя и сгорала от нетерпения «пощупать» океан.

— Какая температура воды? — спрашиваю.

— Градусов пятнадцать, очень холодно, — отвечают.

…Яркий луч солнца разбудил меня утром, а нежный шелестящий звук прибоя выманил из дома. Несколько шагов по зеленой лужайке, и я на пляже, безграничном и совершенно безлюдном, как и океан. Белый песок обжигает ноги. Вода теплая, как в ванне. Какие там пятнадцать градусов — все тридцать, если не больше! Во всяком случае, мне не доводилось пробовать такой теплой воды даже в самое жаркое время в Черном море.

Я просиживала в воде часами, избегая таким образом утомительного общения. Буквально просиживала и плескалась, так как плавать было опасно из-за сильного течения, водоворотов и акул. Ким совсем не купался, прятался в тени. Кроме меня, никто не заходил в воду. Для кубинцев было слишком холодно — зима. Они смотрели на меня с содроганием, как будто я плескалась в проруби.

…Мы наслаждаемся одиночеством на берегу океана и наблюдаем за странным поединком. Маленький краб размером с шарик пинг-понга в угрожающей позе с поднятыми клешнями обороняется от наскоков большой собаки. Отважный краб, похожий на боксера в своей бойцовской стойке, пританцовывая, быстро перебегает из стороны в сторону. Трусливый пес прыгает вокруг него с грозным лаем на безопасном расстоянии, испуганно отскакивает и подбегает к нам, призывая на помощь. Ким отвлекает собаку, а я спасаю краба. Поддев книгой, выпускаю его в воду.

Но наше уединение длится недолго. К нам должны приехать гости, и обед откладывается на неопределенное время. А гости явились только к ужину, без объяснений и извинений. Кима при его пунктуальности это очень раздражало, хотя он и не подавал

виду. Он вообще не любил сюрпризов. Как правило, нас не ставили в известность, кто такие вновь прибывшие и зачем пожаловали. Они пили, ели, лениво перекидываясь репликами. Казалось, к Киму это не имело никакого отношения.

Неподалеку от нас красуется бывшая экстравагантная вилла Дюпона, куда водят экскурсии. Испытывая презрение к богатству, Ким отказался от посещения дворца. Не захотел он посмотреть и дом Хэмингуэя, который не вызывал у него симпатии.

Зато в Гаване мы побывали в любимом ресторане *Хэмингуэя* «Флоридита». Попробовали его любимый напиток «дайкири» — коктейль из рома и лимонного сока. Самый главный компонент, придающий ему необыкновенную прелесть, — битый лед. Всю эту смесь бармен взбивает ритмичными движениями, ловко жонглируя шейкером. Кубинцы утверждают, что только здесь можно отведать настоящий "дайкири", а еще говорят, как он опасен: «Вы пьете его легко, как воду, и не замечаете, что он ударяет в голову», — и для наглядности бьют себя ребром ладони по затылку.

Запугав нас таким образом, наши спутники заказывают вторую порцию, но только для себя. Я прозрачно намекаю, что нам хотелось бы проверить на себе, как это опасно. Но их не проймешь ни юмором, ни иронией. И они дословно, *с теми же* жестами повторяют свое предостережение. Из бара мы переходим в ресторан, где нас угощают шашлыком из хвоста крокодила. Я не могла побороть предубеждения и не попробовала его. Киму шашлык не понравился — суховат и жестковат.

Город не в силах сохранять свою увядающую красоту, штукатурка на архитектурных шедеврах осыпается. Нищета бросается в глаза, но люди кажутся веселыми и беспечными. Возникает ощущение, что никто не работает. Это впечатление, разумеется обманчивое, усиливают телевизионные передачи, в которых с утра до вечера беспрерывно танцуют. Все продукты и товары в магазинах отпускаются по карточкам, в свободной продаже — только мороженое.

Большую часть времени находимся в пути. Протокольные встречи, рассказы о завоеваниях и достижениях социализма… Лица, лица…

Несколько дней проводим в Санта-Кларе. В красивом особняке, где мы живем, за столом всегда много гостей. Вечером хозяин занимает место бармена, но обслуживает только себя. И за столом бутылка у него под рукой, и наливает только себе. Это выглядит странно, но устраивает нас больше, чем азиатская напористость. Другая крайность.

Наслышанные о красоте кубинских женщин, мы не увидели

ни одной, достойной этого определения. Может быть, все красавицы ведут только ночной образ жизни? Но и красотки кабаре, где мы однажды побывали, выглядели так карикатурно, что напомнили нам с Кимом образ-цовских кукол.

Запомнились приятная прогулка по озеру и пикник с шашлыками на берегу. Наш хозяин провел несколько лет в Москве. Совершенствуя, свою основную профессию — разведчика, он научился делать и шашлыки. И этим особенно гордился. Нанизывая кусочки мяса на шампуры. он улыбался и, обращаясь к Киму, бормотал одно слово: «Муку, муку, муку…» Мы ломали голову, что бы это значило. Оказалось, «Москва». Не знаю, насколько он преуспел в своей профессии, но шашлык был жесткий, как лангет «по-красноярски».

Большое удовольствие доставила нам морская прогулка на катере. Ныряльщики поднимали со дна огромные розовые раковины и омаров. Способ их разведения гениален по своей простоте. На небольшой глубине закрепляют старые автомобильные покрышки, которые омары приспосабливают под свои гнезда. Остается только нырнуть и забрать их голыми руками. И вся охота.

Прошел месяц. Мы вернулись в Гавану и стали собираться домой. Здесь начались отсрочки и раздражающая неопределенность. По чьей-то оплошности мы пропустили нужный нам рейс. На ожидание следующего ушло еще две недели. И только в конце ноября мы покинули Кубу. Наш корабль-сухогруз «Янис Ленцманис» был поменьше «Голубкиной», но столь же комфортабелен. Загрузив его трюмы апельсинами и грейпфрутами, погрузили и нас. И мы снова наслаждаемся своим уединением и созерцанием безбрежных вод…

На этот раз перемена погоды была еще более контрастной: из тропической жары мы попали в зимний холод. Погода испортилась в самый неподходящий момент — когда мы приближались к Стамбулу. Пошел густой снег, и мечети потонули в тумане. Проходя узким проливом, мы видели бегущие машины, свет в окнах домов. Светились окна и в доме, где когда-то жил Ким. Говорят, теперь на этом доме красуется мемориальная доска: «Здесь жил в 1947–1948 гг. великий разведчик Ким Филби».

Не миновал нас и шторм. Была такая качка, что тяжелый ящик с бутылками воды носился по каюте, как на шарнирах. Спасаясь от него, я не успела подхватить опрокинувшийся графин с соком грейпфрута, и пошел насмарку терпеливый труд капитана, который собственноручно выжимал для нас сок.

…«Янис Ленцманис» шел другим курсом, и обратный путь

оказался длиннее на два дня. 10 декабря мы прибыли в заснеженную Одессу. Там пересели на поезд и — в Москву.

— Как ни занимательна была кубинская эпопея, морской вояж доставил нам несравненно больше удовольствия. К сожалению, эта поездка тяжело отразилась на здоровье Кима. Он стал чаще болеть, заметно ослаб. Он считал, что на него пагубно повлиял кубинский климат.

Несмотря на свое болезненное состояние, Ким не был нытиком, он всегда бодрился и никогда не показывал виду, как бы плохо себя ни чувствовал. 26 января 1979 г. он писал М.П. Любимову:

«Вы пропускаете сегодня праздник, который устраивается для коллег, — в честь 16-й годовщины моего прибытия в Советский Союз, и Руфа с ее матерью устроили такую приборку в квартире, что мне некуда ступить. Поэтому я сообщу Вам новости возможно короче. (Все подробности — в марте.) Мы совершили два чудесных морских путешествия: Ленинград — Гавана — Одесса, слегка покачались всего три дня в Атлантике и еще три дня на обратном пути — в Средиземном море. А все остальное время море было как стеклышко, и ярко светило солнце почти все время. Прием на Острове Свободы был более чем радушным — толпы людей собирались всюду, куда бы мы ни шли. Это, конечно, очень лестно, но не совсем в моем духе. Да и климатические условия были как будто специально созданы для того, чтобы прикончить мои бронхи: очень влажное тепло на улице и холодный сухой воздух от кондиционера в домах. Таким образом, я вернулся в весьма скверном состоянии и столкнулся с грозной комбинацией в виде моих коллег, врачей и Руфы, которые отправили меня в больницу для обследования и приведения в порядок. Результат: ничего страшного! В легких чисто, как если бы их продули, и печенка выглядела такой красавицей при радиоизотопном обследовании. Так что, видите, чего можно добиться в результате (почти) пятидесятилетней диеты из алкоголя и табака! Никогда не надо отчаиваться!

Выйдя из больницы, я живу сейчас, очень серьезно следуя совету доктора «не перегружать себя». Неспешная прогулка-другая, утром и вечером, и сон днем — похоже, идеальный рецепт для жизни! Когда я смогу заняться каким-то делом, это уже другой вопрос. Вообще-то я начинаю мой третий семинар в будущую пятницу, и мои дорогие коллеги наверняка скоро забудут, что мне нужно днем спать».

Ким упорно отказывался от приглашений посетить ГДР — он не мог преодолеть застарелого предубеждения, неприязненного отношения к немцам, оставшегося со времен войны. Мы побывали

там лишь в 1980 году, и эта поездка, против всех ожиданий, оказалась на редкость удачной. Нас принимали очень радушно и вместе с тем ненавязчиво. Как и в других странах, нам предоставили русскоязычного переводчика, что было удобно для меня, но Ким предпочитал говорить по-немецки и настолько к этому привык, что иногда переходил на немецкий и со мной.

Мы встречались со знаменитым Маркусом Вольфом, возглавлявшим разведку. Он разговаривал со мной по-русски без малейших признаков иностранного акцента, чему я очень удивилась, а он объяснил, что провел детство и юность в Москве и там же получил образование.

Мы также познакомились с Мильке, министром госбезопасности. Он пригласил нас с Кимом на обед к себе на загородную виллу. Там собралось большое представительное общество из высоких чинов этого министерства.

Мы жили в пригороде Берлина и много ездили по стране. В Дрездене провели два дня под непрекращающимся проливным дождем. Наслаждались шедеврами живописи в Дрезденской галерее. От наших сопровождающих не укрылось то, что Ким подолгу останавливался около полотен Каналетто, и, когда мы вернулись на свою виллу, нас ждал сюрприз — прекрасная копия картины этого художника (вид Дрездена).

Несколько дней мы отдыхали у моря, в Ростоке. Стояли солнечные дни с прохладным ветерком. Вода была бодряще холодной, как обычно в Балтийском море. Ким, разумеется, не купался, и я плавала за двоих.

Однажды прохладным вечером мы присутствовали на грандиозном театрализованном представлении. В огромном партере, который расположился на берегу моря под открытым небом, не осталось ни одного свободного места. Наши сопровождающие усадили нас с Кимом в первых рядах, предусмотрительно снабдили пледами, а во время действия подносили по рюмочке коньяка, чтобы уберечь от простуды. События разворачивались на море и суше. Мы стали свидетелями красочного зрелища.

В сгустившихся сумерках появились два парусника и сошлись в жестоком бою. Грохотали пушки, вода пенилась. Море и небо освещались вспышками разрывов и пламенем пожара. А тем временем на берегу сражались копьями конные рыцари в железных доспехах…

К сожалению, поездка в ГДР оказалась самой последней в жизни Кима.

ДАЧА

Москва стала для Кима родным городом, он прекрасно ориентировался в ней и любил бродить со мной по тихим переулкам.

Мы редко уезжали из Москвы (до того, как у нас появилась возможность бывать за границей), и обычно ненадолго, не более чем на месяц. Киму нравился московский климат. Он одинаково хорошо переносил любую погоду — все времена года, но особенно любил настоящую русскую зиму, снежную и морозную. С удовольствием гулял в самый трескучий мороз, полной грудью вдыхая ледяной воздух. Меня тоже не пугали морозы, но жару я не переносила, особенно в городе, и, беспокоясь, что Ким тоже страдает, спрашивала его:

— Как ты себя чувствуешь? Тебе жарко, душно?

Он удивлялся моему вопросу:

— Нисколько, так тепло и приятно.

Ким заметил, что от жары у меня портился характер, я становилась раздражительной. Это его беспокоило, и он со страхом следил по телевизору за прогнозом погоды в вечерней информационной программе «Время». Услышав, что температура воздуха поднимается выше 25 градусов, с обреченным видом приносил мне эту печальную весть.

В такие дни я чувствовала себя как рыба, выброшенная на песок, и оживала только в ванной, под холодным душем. Там Ким и обнаружил меня однажды за странным для этого места занятием: я чистила картошку, сидя в ванне с холодной водой. До сих пор помню выражение его лица.

Возможно, этот случай помог мне убедить Кима провести лето на даче. Раньше он говорил, что хотел бы иметь свою дачу, но все, что видел у нас, его не устраивало, особенно угнетало отсутствие элементарных удобств.

(Только побывав в Англии, я поняла, что хотелось бы иметь Киму и чего он не мог здесь найти, — нечто похожее на английский коттедж.)

В то лето 1972 года, задолго до нашей размолвки с Блейками, Джордж с Идой жили в Томилино, на даче КГБ, и предложили нам разделить их компанию. Они занимали половину большого дома со всеми удобствами, кроме горячей воды, другая половина оставалась свободной. Ким в конце концов согласился туда переехать, хотя и без энтузиазма, и мы поселились в задней части дома.

Там был большой запущенный сад, окруженный глухим

забором. Мои запросы были скромными — свежий воздух и тень от дерева над головой. Я была вполне счастлива и приставала к Киму:

— Почему ты не посидишь в саду?

Он морщился и упорно отказывался выходить из дома:

— Здесь земля кислая!

Его, привыкшего к ухоженным английским садам и газонам, раздражал вид необработанной земли. Потом и я заметила, что деревья погибают, пожираемые лесными клопами, которые красными ручейками струились по стволам. Дополнительным украшением пейзажа были кролики. Их разводил и выпускал к нам на вольные хлеба сторож, живший по соседству. Они шныряли под ногами, усердно удобряя почву, и вся трава была усеяна черными катышками.

Киму все было не по душе. Он сидел, насупившись, в четырех стенах, уткнувшись в свои книги и газеты. Ночью его беспокоил шум пролетающих самолетов (неподалеку, в Быково, был аэродром). Он затыкал уши ватой, но все равно плохо спал.

Так проходили дни. Ким не высказывал недовольства и, стиснув зубы, нес свой крест. Вид этой молчаливой жертвы стал для меня невыносимым, и вскоре мы вернулись в душную Москву.

Но ухудшившееся в конце 70-х годов здоровье Кима заставило нас поставить вопрос о даче перед куратором. В ответ услышали до боли знакомое: «Это не так просто». Нам было неведомо, как преодолевались трудности, однако через несколько месяцев Киму предложили посмотреть дачу.

Дачный поселок, принадлежащий КГБ, расположен километрах в двадцати от центра Москвы. Около сотни неогороженных стандартных домиков разбросаны на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга.

Когда мы туда ехали, я опасалась, что это место вызовет у Кима такую же реакцию, как и Томилино. Но, к счастью, ему все понравилось, и мы провели там наступившее лето и все последующие годы.

К тому времени Ким уже утратил иллюзии «о возможности построения» английского коттеджа «в отдельно взятой стране» и вполне довольствовался скромным финским домиком. У нас было две спальни, гостиная и терраса, кухня и ванная — все необходимые удобства, включая отопление. Домик был летний, и дачный сезон ограничивался пятью месяцами — с мая по сентябрь.

«Зато я получил очень славную дачу со всем современным оборудованием недалеко от Москвы — всего в получасе езды. Дорога обрывается у края леса, так что по ней никто не проезжает

мимо, даже крестьянин на тракторе. Единственный посторонний звук здесь исходит от нашего дружка — дятла, который выпускает свои трели очередями, совсем как автомат Брена, — просто удивительно, что у столь маленького хрупкого существа такие сильные шейные мускулы и такой иммунитет от головной боли (по всей вероятности). Раз в две недели нам привозят цыплят, яйца, молоко, сметану и тому подобное, что я приписал преимуществам жизни в деревне. Какая наивность! Выяснилось, что все это привозят из Москвы» (из письма Эрику де Мони от 25 марта 1983 г.).

Ким с энтузиазмом принялся возделывать свой «сад», хотя почва — сплошная глина — больше располагала к гончарному производству, чем к земледелию. Он долго и упорно копал маленькую грядку, а на следующий день заново перекапывал свалявшиеся комья, пока комендант дачного поселка не охладил его пыл, объяснив всю бесполезность труда, и не привез тачку земли. В дальнейшем наш безотказный Владимир привез еще немного земли, и мы разбили маленький огород. Ким смастерил кормушки для птиц, любовался их повадками, наслаждался покоем и тишиной, но огорчался, что нет бабочек.

Птицы охотно откликнулись на наше гостеприимство. Сначала появился крупный дятел. Он считал себя хозяином и разгонял других птиц. Ему пришлись по вкусу хлебные крошки. Он неловко, сбоку хватал кусочек и, держа его в клюве, перебирался по дереву. Отыскав в коре отверстие, заталкивал туда свою добычу. Вскоре дятел стал прилетать со своим птенцом, который нисколько не уступал ему размерами и отличался только ярко-красным пятном на грудке. Младенец требовательно покрикивал, пока дятел-мама (или папа?) отправлял в его ненасытный клюв кусочки хлеба, один за другим.

Желто-зеленые синички слетались шумными стайками. Весело щебетали, порхая, суетливо клевали корм, отгоняя друг друга и небрежно разбрасывая крошки, которые разлетались, как брызги фонтана.

Скромные зяблики, напротив, вели себя очень деликатно. Они подолгу неподвижно сидели на хлебной горке, по одному на каждой кормушке, наслаждаясь изобилием и лишь изредка поклевывая.

Дымчато-голубой с розовой грудкой поползень спускался к кормушке по дереву вниз головой и стремительно уносился ввысь с кусочком хлеба для своих птенцов.

Маленькие трясогузки, изящные и высокомерные, прохаживались по дорожке, подбирая упавшие крошки.

Иногда случались трагедии, когда птицы с лета ударялись о

стекло террасы и падали замертво.

Однажды я подобрала на земле неподвижный крохотный комочек — это был соловей. Пока я пыталась вдохнуть в него жизнь, вокруг моего носа вился назойливый комар. Скрюченные лапки стали медленно расправляться, и коготки вцепились в мой палец, но глаза все еще были подернуты пленкой. Вдруг соловей взглянул на меня своими бусинками, в то же мгновение склюнул комара и, поблагодарив меня веселой трелью, молниеносно упорхнул.

Ким ревниво охранял покой своих питомцев и гонял кошек, которые стали его злейшими врагами.

Помимо птиц к кормушкам стали наведываться и белки. Однажды, сидя под деревом, я услышала странный звук. Посмотрела вверх. Там на ветке сидела белочка и возмущенно цыкала на меня, а ее пушистый хвост дрожал от негодования — я вторглась на ее территорию. Прогнав меня, она приступила к своему обеду.

ВСТРЕЧИ С ГРЭМОМ ГРИНОМ

Встреча старых друзей в Москве после 35-летней разлуки была насколько радостной, настолько неожиданной и даже невероятной по тем временам.

Грэм Грин приехал в Москву по приглашению Союза советских писателей в сентябре 1986 года впервые после 25-летнего перерыва. По прибытии в Шереметьево он сразу заявил, что хотел бы встретиться со своим давним другом Кимом Филби. Вместе с тем на вопрос корреспондента, увидит ли он Филби, Грин ответил коротко:

— Не знаю.

Его сомнения были вполне обоснованны. Тогда, на заре перестройки, эта встреча могла и не состояться, стоило кому-то в верхах усомниться в ее целесообразности. Само имя Грина у нас в стране упорно замалчивалось в течение 20 лет с тех пор, как он выступил в защиту советских писателей Даниеля и Синявского. Они были приговорены к тюремному заключению в 1965 году за публикацию своих произведений на Западе. В знак протеста Грин отказался посещать Советский Союз и запретил издание там своих книг. Он также осудил введение советских войск в Чехословакию в 1968 году.

О приезде Грина нас известил Генрих Боровик и впоследствии любил повторять, что старые друзья встретились благодаря его активному содействию. Ким пригласил Грина на ужин, и весь следующий день мы готовились к приему дорогого гостя. Для меня это было особенно радостным событием. Я очень любила Грина как писателя и читала все его книги в русском переводе. К его творчеству я обратилась и при изучении английского языка. Моту сказать, что роман «Суть дела» послужил мне учебным пособием — это была первая книга, которую я осилила в подлиннике.

В тот незабываемый вечер я вышла встретить Грина в трепетном волнении. Мне казалось, что у него саркастический характер, и я робела. Я вспомнила, как впервые мы с Кимом заговорили о Грине. Это было летом 1970 года в Томилино, на даче у Блейков, в самом начале нашего знакомства, после той странной ночи, когда Ким удивлял меня своеобразной, интерпретацией образа «английского мужчины». Мне попался на глаза журнал «Тайм» с портретом Грина на обложке, и, как бы отвечая на шаблонный вопрос, который любили задавать журналисты, я сказала Киму:

— Это мой любимый писатель.

А он удивленно подхватил:

— Это мой друг.

Мне запомнилось лицо на фотографии — суровое и даже сердитое. Тогда нам и в голову не могло прийти, что в один прекрасный день мы будем принимать Грэма в своем доме. Да и Грин не питал раньше надежды на такую встречу, не мог мечтать и о телефонном разговоре. «Разумеется, я даже не пытался связаться с тобой по телефону», — писал он Киму в 1978 году.

…Из-за поворота вынырнула «Чайка» и, мигнув фарами, бесшумно притормозила около меня. Когда передо мной появился живой, улыбающийся Грин, я все еще не верила своим глазам. Он был очень высокого роста, и мне подумалось, что в машине ему приходилось складываться вчетверо. Грин протянул руку и смущенно сказал:

— I am so shy! (Я такой стеснительный!)

Его слова прозвучали трогательно. Они скорее были уместны в моих устах, так как соответствовали моему состоянию и характеру. Я не успела опомниться, как он снова повторил:

— I am so shy!

Мы прошли несколько шагов, нырнули в темноту нашего неопрятного подъезда и поднялись в лифте, пропитанном неприличными запахами.

На пороге нас встретил Ким. Друзья обнялись, смущенно и радостно похлопывая друг друга по спине. Усаживая Грэма за стол, Ким сказал:

— Не задавай мне вопросов!

— У меня всего один вопрос, — парировал тот. — Как твой русский язык?

Глядя на них, трудно было поверить, что они не виделись 35 лет. Так обычно встречаются очень близкие люди после недолгой разлуки. Они вспоминали общих друзей и знакомых, забавные эпизоды…

Их дружба началась в 40-е годы во время совместной работы в британской разведав. О недолгой работе Грина в Секретной службе Филби вспоминает в книге «Моя незримая война»: «Для усиления сектора V к нам вернулся Грэм Грин из Фритауна, где он, как предполагалось, следил за интригами вишистской Франции. Да простит он меня за откровенное признание, но я не могу припомнить каких-либо его блестящих достижений в Западной Африке. Может быть, французы не вели интриг? Я помню, однако, совещание, где обсуждалось предложение Грина об использовании одного бродячего борделя для разложения французов. Предложение обсуждалось вполне серьезно… К счастью, Грина назначили ко мне в подсекцию, где я поручил ему

Португалию. Ему доставляло удовольствие поддевать УСС (Управление стратегических служб), а его едкие комментарии по поводу входящей переписки служили для всех ежедневным развлечением».

Грин, сидевший напротив меня, совсем не соответствовал тому образу, который сложился в моем воображении. Он сразу очаровал меня: доброжелательный и деликатный, с мягким тихим голосом, ясными и по-детски наивными глазами. Внимательный и заинтересованный собеседник, он легко откликался на шутку, добродушно похохатывая.

Чем-то они с Кимом были неуловимо похожи — сединой волос, голубизной глаз, пытливых и проницательных, своей непосредственностью и искренностью в сочетании с британской сдержанностью. Но сходство было не только внешним. На самом деле у них было много общего — оба обладали обостренным чувством справедливости, их симпатии всегда были на стороне тех, кто боролся за свободу.

Ким рассказывал, что, когда впервые Грин пришел на работу в его отдел, у них состоялась продолжительная беседа:

— Конечно, я разговаривал с ним не как с коммунистом, а как с человеком левых убеждений. Грин был католиком. Но между нами сразу установился хороший человеческий контакт.

Они часто вместе обедали и быстро подружились. Грэм признался впоследствии, что единственная черта характера Кима, которую ему трудно было переносить, — это стремление к власти. Но такое впечатление было ошибочным, и во вступлении к книге Филби «Моя незримая война» Грин написал об этом: «…я рад, что оказался неправ. Он служил своему делу, а не себе самому, и мое прежнее чувство к нему вернулось.

«Я всегда считал, что ты один из немногих людей в Англии, кто действительно понимает меня», — откликнулся Ким 29 апреля 1968 г., прочитав в газете «Таймс» возмущенное письмо Грина по поводу судилища над Даниэлем и Синявским. Так началась их переписка. Они обменивались мнениями, обсуждали политические события, при этом оба не сомневались, что их письма подвергаются двойной цензуре. Грэм был одним из немногих друзей Кима, с кем он поддерживал отношения до конца жизни. Ким одобрил поступок Грина и вместе с ним надеялся на скорые перемены «еще и по той причине, что это принесло бы внезапный дивиденд в виде новой серии наших продолжительных застолий».

Эта надежда осуществилась почти 20 лет спустя. Только теперь они сидели за столом в московской квартире и чокались русской водкой, которую Грэм предпочел другим напиткам.

— Удивительно, что от водки никогда не пьянеешь, — приговаривал он, смакуя ее по глоточку.

Такое «открытие» поразило Кима, но не убедило.

— Ты только подумай, что он такое говорит! — удивлялся Ким после ухода гостя. — Еще как пьянеешь! Это же очевидно!

К закускам наш гость едва притрагивался, объясняя, что с возрастом утратил аппетит.

Встреча с Грином принесла Киму не только радость, но и успокоение. Они впервые могли быть полностью откровенны друг с другом: их больше не разделяла тайна.

— Его тоже одолевают сомнения, — признался Ким, проводив друга.

— Сомнение может объединять людей, пожалуй, даже больше, чем вера, — говорил Грин устами своего персонажа монсеньора Кихота.

Возможно, еще и поэтому Ким считал роман «Монсеньор Кихот» одним из лучших произведений Грэма Грина.

Грэм приехал в Москву со своей верной спутницей Ивонной, очень красивой, с белоснежными густыми волосами и необычайно миниатюрной, особенно на фоне высоченного Грина. После их отъезда Ким напишет Грину 24 сентября 1986 г.:

«Пока воспоминания о вашем визите еще свежи в наших мыслях, я хочу сказать, как мы ценим это. Руфа сказала без всякого побуждения с моей стороны, что три дня, которые мы провели вместе, были одними из счастливейших в ее жизни. Что касается меня, то я… столько вопросов хотел задать, но не задал; столько всего хотелось сказать, но так и не сказал. Что ж, пробел в 35 лет не заполнишь за несколько часов».

…На следующий день после приезда Грина мы вместе с Грэмом и Ивонной, а также с семейством Боровиков отправились на дачу к художнику Вуколову. Погода в этот день была прекрасная: сухо и солнечно, настоящая золотая осень. Мы заехали в густой девственный лес. Машина долго петляла по утрамбованной дороге, вокруг ни души. Неожиданно на пути вырос глухой забор. Распахнулись ворота, и мы увидели красивый добротный дом. Нас встречали хозяин, маленького роста, очень подвижный и энергичный, и его жена, высокая статная красавица. В доме была просторная светлая мастерская. Среди картин, которые демонстрировал художник, Грину особенно понравилась одна — космонавты в скафандрах, уходящие в никуда. От картины веяло печалью: две маленькие одинокие фигурки, затерянные в бесконечном пространстве…

После осмотра выставки нас усадили за стол, по-русски изобильный. Вместе с нами пировали соседи художника по даче

— Серго Микоян с женой, которые после обеда пригласили всех к себе на кофе. Мы сидели у них в уютной гостиной около камина и помимо кофе угощались необыкновенно вкусным ананасовым мороженым. Грэм попросил вторую порцию, но, как только ее принесли, над ним буквально нависли с двух сторон Артем Боровик и Серго Микоян со своими диктофонами, наперебой закидывая вопросами:

— Как вам нравится наша перестройка?

— Что вы думаете о политике Горбачева?

— Ваше отношение к папе Римскому?

— Каковы ваши взгляды на религию?

Грин терпеливо и монотонно отвечал, а мороженое тем временем таяло. Излагая свое отношение к религии, он произнес, не меняя интонации:

— I want a pee. (Я хочу в туалет.)

Произнеся это, он замолк. Я взглянула на интервьюирующих и поперхнулась: надо было видеть их вдумчивые сосредоточенные лица. Они не шелохнулись и ждали продолжения. Грэм снова повторил:

— I want a pee.

И тут они встрепенулись и проводили его, куда надо. Таким образом ему удалось отделаться от своих мучителей.

Пять месяцев спустя, в снежный февраль, Грин снова приехал в Москву уже без Ивонны (на этот раз для участия в работе Международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества») и не замедлил посетить нас.

Как и прежде, мы ждали его к ужину, и я стояла на обочине, всматриваясь в пробегающие машины… Грэм вышел из «Чайки» и сразу шагнул в сугроб — небольшой отрезок территории, отделявшей наш дом от проезжей дороги, никогда не расчищался. Мы шли гуськом по узкой дорожке, протоптанной в снегу. Я впереди, а Грин осторожно двигался за мной, стараясь ступать след в след. Его длинные ноги в легких ботинках скользили по колдобинам, и он крепко держался за мою руку. Несмотря на опасный переход, Грэм попал в объятия Кима в целости и сохранности.

Когда Грин вошел в гостиную, его внимание привлекла одна картина. И Ким рассказал ее историю.

В конце 1979 года куратор принес нам посылку и сказал, что ее доставил какой-то человек в советское посольство в Лондоне и просил передать Киму Филби. В пакете оказалась гравюра, изображающая колонну в Риме императора Марка Аврелия (из династии Антонинов).

Незадолго до этого случая Ким услышал по Би-Би-Си, как

Маргарет Тэтчер объявила (15 ноября 1979 г.), что Антони Блант был советским агентом. Ким был возмущен таким заявлением, поскольку Бланту после его признания в 1964 году был обещан иммунитет и сохранение секретности.

Прочитав надпись на гравюре «Колонна Антонина. Пиранези», Ким догадался, что посылка от старого друга, сэра Антони Бланта, искусствоведа, хранителя королевских картин. Это был тайный знак, своеобразный привет и напоминание о их совместной борьбе против фашизма.

— Это было так похоже на Антони, — говорил Ким, — что у меня исчезли все сомнения.

Тогда Ким не мог решить, стоило ли сообщать Бланту, что он получил его послание. Но когда стало известно, что Антони Блант скончался (26 марта 1983 г.), Ким пожалел, что не сделал этого…

…А тем временем Грэм, согреваясь своей любимой водкой, посетовал на преклонный возраст:

— Мы с тобой страдаем одной неизлечимой болезнью — старостью.

Потом он пожаловался, что ему стало трудно принимать душ и он даже испытывает страх перед этой процедурой. Ким тогда метнул на меня многозначительный взгляд — в этом он понимал его как никто другой — и сказал мне после ухода гостя:

— Меня так и подмывало признаться ему, что без твоей помощи я уже давно не принимаю ванну.

За два года Грин четырежды побывал в СССР. Таким образом нам посчастливилось довольно часто встречаться с ним, несмотря на его уплотненную официальную программу. Когда он снова приехал с Ивонной в сентябре 1987 года, мы пригласили их на обед в грузинский ресторан «Арагви». По такому случаю куратор заказал для нас стол в отдельном кабинете. Мы не могли пожаловаться на обслуживание, но угощение оставляло желать лучшего (что, увы, стало для нас привычным). Несмотря на это, мы приятно провели там время за беседой. Ким потом извинялся перед Грэмом в письме от 18 ноября 1987 г.:

«Боюсь, что из-за волнения во время нашего расставания я забыл извиниться за отвратительный обед в «Арагви». Это было больше, чем просто разочарование. В прошлом году мы приглашали туда гостей, и все было хорошо».

В первый приезд Грина его поселили в гостинице «Космос», о которой он говорил с омерзением:

— Это ужасный отель! Везде снуют тараканы и всякие подозрительные личности.

В гостинице «Советская», где он останавливался в свои последующие приезды, было спокойнее, но и там попадались

подозрительные субъекты. Грэм рассказывал, как однажды, возвращаясь после очередного приема, заблудился в коридорах гостиницы и не мог найти свою комнату. Он обратился за помощью к дежурной, а та дала ему в провожатые странного мрачного типа.

— Он был похож на бродягу — небритый, в замызганной одежде. Когда мы подошли к моему номеру, он стал что-то быстро говорить, беспокойно озираясь. Я решил, что он просит чаевые и полез в карман. Мне попалась слишком крупная купюра, и я хотел достать другую. Мой провожатый сразу схватил деньги, а я старался не выпускать их из рук. И так мы дергали эту бумажку с двух сторон. Наконец он все-таки вырвал ее, что-то сунул мне взамен и мгновенно испарился. Я обнаружил в руках советские деньги, и, когда их пересчитал, эта сумма оказалась больше той, которую я мог бы получить при официальном обмене валюты, — Грэм закончил свой рассказ, удовлетворенно посмеиваясь.

Последние встречи с Грином в феврале 1988 года давались Киму нелегко: его здоровье стало резко ухудшаться, появилась сердечная недостаточность, и он с трудом выходил из дома. Одна из таких встреч проходила в ресторане Дома литераторов. Генрих Боровик устроил прием в честь Грина и пригласил нас с Кимом, а также поэта Андрея Дементьева и хирурга-офтальмолога Святослава Федорова с женами. Последний прославился не только достижениями в медицине, но и широкой предпринимательской деятельностью. Грин спросил у него:

— Каким образом вы сумели добиться самостоятельности и независимости от государства, тогда как никому другому это не удается?

— Потому что я нахальный и, если меня не пускают в дверь, лезу в окно, — посмеялся Федоров.

У меня сохранился снимок, сделанный во время последней встречи и расставания Грэма с Кимом. Эта фотография выдает болезненное состояние Кима. В отличие от своего друга, он выглядит очень напряженным и неестественным. К тому же накануне его изуродовали в парикмахерской — обкромсали так, будто стригли топором, а не ножницами.

В последний раз мне довелось встретиться с Грином пять месяцев спустя после кончины Кима. Грэм решил отметить в Москве свой день рождения. К этому юбилею Институт мировой литературы приурочил специальный симпозиум. И хотя цифра не была круглой — Грину исполнилось 84 года, — он побоялся откладывать свой приезд.

— В моем возрасте один год — слишком долгий срок, —

объяснил он.

4 октября, в день своего рождения, Грэм пригласил меня на прием, который ему устроили литераторы в ресторане гостиницы «Советская». Поскольку в это время у меня гостила старшая дочь Кима Джозефина со своим мужем и сыном, их тоже пригласили. Грэм усадил меня рядом с собой и уделял мне все свое внимание. То, что почетный гость сосредоточился на моей персоне (посторонней для этого общества), вызывало естественное разочарование и даже неудовольствие у остальных гостей и устроителей торжества. Я чувствовала это, но моей вины здесь не было — я только отвечала на его вопросы. Когда один из присутствующих поднялся, чтобы произнести тост в честь юбиляра, Грин сразу замахал руками и, перебивая его, сказал:

— Я хочу выпить за жену моего близкого друга, недавно умершего, с которым связаны теплые воспоминания моей молодости.

Он полностью перевел разговор на Кима, и какое-то время казалось, что торжество посвящено не Грину, а Филби. А я собрала всю свою волю, чтобы сдержать слезы.

Когда мы своей семьей покидали гостиницу, у подъезда стояла вереница свободных такси. Мы обрадовались, что нам наконец повезло, так как долго не могли поймать такси по пути из дома. Водители стояли, расслабленно облокотившись на капоты своих машин, но ни один из них даже не удостоил меня ответом. Впоследствии я часто наблюдала такую картину. Они поджидали специальную клиентуру — проституток. Своих изумленных иностранцев мне пришлось везти домой на троллейбусе.

Во время нашего обеда Святослав Бэлза, музыкальный критик, рассказывал, как безуспешно пытался поймать такси, когда возвращался с Грином из Большого театра. В конце концов остановился частник, которому он сказал, что надо отвезти знаменитого писателя Грэма Грина. Тот так обрадовался, что не взял денег, а попросил автограф:

— А то моя жена не поверит, что рядом со мной сидел знаменитый Грэм Грин.

Но довод не для московских таксистов.

…Уже не стало Грэма. Ивонна приехала в Москву одна. Мы с ней долго гуляли по городу и очень устали. Накрапывал дождь, и я бросилась на поиски машины, пока Ивонна ждала под крышей метро «Площадь Революции». История повторилась: меня упорно игнорировали выстроившиеся в шеренгу таксисты, безмолвно и задумчиво глядя поверх моей головы. Я металась, чувствуя себя невидимкой, разговаривающей с глухонемыми. Оставалось

спасительное метро.

…Самые последние слова, которые я услышала от Грина, мне особенно запомнились. После празднования его дня рождения я провела с ним и Ивонной еще один вечер в Доме литераторов. Мы разъезжались на одной машине, и мой дом был первым по пути. Грэм вышел следом за мной. Мы прощались (и я предчувствовала, что навсегда) на том самом месте, где впервые встретились, и он сказал:

— Разговаривай с Кимом перед сном — тебе станет легче. Я не знаю, есть ли там (и показал на небо) кто-нибудь, но если есть, то он услышит. И скажи Киму, что я люблю его.

НАЧАЛО КОНЦА

После поездки на Кубу здоровье Кима резко ухудшилось: «Вот что действительно подкосило меня — так это влажная жара снаружи и холодный воздух от кондиционера в помещении. Я кашлял всю дороху от Гаваны до Сантьяго-де-Куба и обратно, температурный контраст и высокая влажность сыграли дьявольскую шутку с моими бронхами. Я бы ни за что на свете не пропустил этот вояж, однако сомневаюсь, что снова повторю его. Климат и всеобщее возбуждение впервые заставили меня ощутить свой возраст», — признался он в письме Грэму Грину. Но как и раньше, нисколько не беспокоился о своем здоровье и удивлялся, что другие придавали этому большое значение:

— Русские — такие ипохондрики, слишком много говорят о своем здоровье.

Услышав традиционный тост или пожелание: «Главное — это здоровье!», — всегда обрывал:

— Главное — это любовь! Зачем мне здоровье, если бы не было Руфы?

Еще в самый первый год нашей совместной жизни Ким перенес тяжелую пневмонию. Тодда навещавший его врач настаивал на госпитализации, но Ким наотрез отказался. Затем приехал профессор с таким же намерением, но, поговорив со мной, согласился, что дома больному будет лучше. Госпиталь для Кима всегда оставался самой страшной угрозой, и он отчаянно отбивался от него.

Первые десять лет нашей совместной жизни Ким был полон сил и, в общем, здоров, а кровяное давление у него, по словам врачей, было как у космонавта. Досаждал только бронхит, к которому он привык:

— Я живу с этим, сколько себя помню, с самого маленького, — успокаивал он меня, показывая ладонью на несколько сантиметров от пола.

Но я не могла смириться с этим и упорно лечила его. Со временем обострения становились все реже и кашель почти прекратился.

За Кимом приходилось ухаживать как за младенцем. Сам он не в состоянии был заботиться о своем здоровье. Любая простуда представляла для него опасность, а для этого было достаточно малейшего дуновения ветерка.

Идем по бульвару в теплый весенний день. Ким согревается от быстрой ходьбы, но ему не приходит в голову снять плащ или пиджак. Уже пот катит градом, и тогда он застегивается на все

пуговицы и кутается в шарф:

— Посмотри, какой я good boy!

А я выхожу из себя от досады: проглядела, не уберегла! Снова вспышка бронхита.

После Кубы эти вспышки участились. Ким заметно слабел. В письме М. П. Любимову от 6 марта 1978 г. он признался:

«Боюсь, я очень плохо себя вел этой зимой — тем обиднее, потому что это была лучшая зима за последние несколько лет, было много снега и солнца. А я провел больше десяти недель взаперти в моей квартире — сначала бронхит в декабре, затем тяжелый грипп в январе и затем снова бронхит в феврале. Как вы видите, сейчас у нас март, а я только еще выбираюсь после третьего наступления болезни. Это перепутало все мои планы. Мне пришлось неоднократно откладывать встречи с нашей молодежью, но я надеюсь возобновить их на будущей неделе. Мы отказались также от одного путешествия за границу, так как было бы нелепо появляться там не вполне здоровым. У Руфы со здоровьем тоже было не все в порядке, а ее матушка в довершение всего поскользнулась на льду и сломала правую руку».

Осенью 1980 года мы в последний раз посетили Болгарию. Там в доме отдыха на Солнечном берегу Ким провел в постели все три недели. В первую ночь вообще не сомкнул глаз и просидел в подушках, так как лежа задыхался и беспрерывно кашлял.

На следующий день болгарские друзья привезли нас с Кимом в поликлинику, чтобы сделать ему рентгеновский снимок грудной клетки. Врач что-то долго объясняла скороговоркой по-болгарски, из чего мы не поняли ни слова. *Я* попросила ее сказать Киму в нужный момент всего два слова: сначала «вдох», потом «выдох». Она закивала, что все поняла (но, как оказалось, в обратной последовательности), и выкрикнула из-за перегородки:

— Выдох!

Ким стоял с поднятыми руками над головой, его брюки поползли вниз, и мне стало ясно, что он поступил правильно и, вопреки команде, сделал вдох.

У Кима обнаружили пневмонию, а также легочную и сердечную недостаточность. Тем не менее от больницы мы отказались и оставались в доме отдыха, где его усиленно лечили. Врачи приезжали каждый день, и Ким шутил:

— У меня не бронхит, а докторит.

Посещавший Кима кардиолог не мог поверить, что тот никогда не жаловался на сердце и не лечился. Среди других рекомендаций врач настоятельно советовал выпивать каждый

день по рюмке виски, но Ким к тому времени потерял вкус к крепким напиткам и не последовал его совету.

По возвращении в Москву Ким быстро пришел в норму: домашняя обстановка всегда действовала на него благотворно. Но стоило мне порадоваться улучшению, как снова начиналось обострение.

Ким стал с трудом передвигаться, его мучила одышка. Еще совсем недавно я едва поспевала за ним на прогулках, а теперь он, пройдя несколько шагов, останавливался, чтобы перевести дух. Слово «врач» по-прежнему вызывало у него раздражение, несмотря на уважение к нашему доктору, весьма компетентному и внимательному. По иронии судьбы ее фамилия была Квак (по-английски значит знахарь, шарлатан), что Кима очень забавляло.

В поликлинику Кима приходилось тащить на аркане. Я прибегала к хитрости, уверяя, что, если он не придет, у врача будут неприятности, так как она обязана отчитываться перед начальством за своего больного (это в некоторой мере соответствовало действительности). И он соглашался ради меня или нашего доктора. Врач называла меня своей помощницей и полностью мне доверяла, и, когда я приходила за рецептами для Кима, только спрашивала: «Что выписать?» (В противоположность предыдущему врачу, даме приятной во всех отношениях, но панически боящейся медикаментов. Она советовала Киму, страдающему хронической бессонницей, вместо снотворного совершать вечерние прогулки и пить теплое молоко, от которого его тошнило.)

Когда в очередной раз я пришла за рецептами для Кима, врач меня ошеломила:

— Вы должны готовить себя к худшему. Он все еще жив только благодаря хорошему уходу и может прожить еще два, максимум три года.

Но как можно к этому подготовиться?!

Тогда я просидела в поликлинике несколько часов, чтобы взять себя в руки и вернуться домой как ни в чем не бывало.

(Мнение врача оказалось недалеко от истины: Ким прожил всего четыре года.)

Я выполняла все роли: и врача, и сестры, и сиделки. Когда в доме больной, невольно приобретаешь медицинские навыки. У меня был полный набор снадобий — от антибиотиков до различных трав и горчичников. Ким все безропотно принимал, лишь бы оставаться дома:

— Только не отправляй меня в госпиталь!

Тем не менее домашними средствами не удавалось справиться с сердечной и легочной недостаточностью, и Кима

везут в Кремлевскую больницу, в Кунцево. Хотя ему обещали отдельную палату, там оказался больной, кашляющий и харкающий. К тому же на его тумбочке лежали яблоки, одного вида которых Ким не выносил. Другой палаты нам не предоставляют, и мы сидим в коридоре. Я ничего не могу добиться и звоню куратору, который говорит:

— Ждите.

Ким, как всегда, терпеливо молчит. Здесь никто не принимает решения без ведома директора, который отсутствует или прячется от назойливых посетителей. Лишь к концу дня я добираюсь до него, и он меня уверяет, что в больнице не существует отдельных палат. Чтобы это услышать, понадобилось несколько часов. Мы переходим в приемный покой и еще полтора часа ждем машину, чтобы уехать домой.

Через день Кима увозят в госпиталь КГБ и помещают в отдельной палате. Там его «утешили», что отныне он будет их постоянным клиентом.

К сожалению, так и случилось: Ким проводил в госпитале по две-три недели каждый год, а то и дважды в год. Ему всегда предоставляли отдельную палату, а мне выдавали постоянный пропуск, по которому я могла навещать больного в любое время дня. Я приезжала туда почти ежедневно и оставалась с Кимом с утра до вечера. Мое постоянное присутствие вызывало удивление у персонала госпиталя, и я слышала, как сестра говорила:

— Как она его обихаживает!

Основным лечением в госпитале были внутривенные вливания в дополнение к обычному набору таблеток, которые Ким постоянно принимал и дома.

По заведенному порядку ежедневно в 7 часов утра и в 4 часа вечера каждому больному приносят термометр. Ким обычно засыпал только под утро, и для него это было напрасным беспокойством, поскольку у него всегда была нормальная температура.

Мне удалось убедить врача не будить Кима по утрам. Я принесла из дома градусник, и он аккуратно записывал свою температуру. Правда, этим графиком никто ни разу не поинтересовался.

Отдельная палата была для Кима настоящим благом, особенно в бессонные ночи, которые он проводил за чтением. Но однажды это мирное занятие дежурная сестра нарушила грубым окриком: «Надо гасить свет в десять часов!» — и щелкнула выключателем. Было около 11 часов вечера. Ким пролежал в темноте без сна всю ночь и встретил меня измученным и расстроенным. Нас удивила такая резкость сестры, у которой, нам

казалось, не было повода для раздражения. Да и сами врачи и сестры говорили, что Ким — идеальный больной, никогда не доставлял никаких хлопот, не был ни капризным, ни требовательным. Я-то лучше всех знала, насколько он был терпеливым и невзыскательным! После этого случая я поговорила *с* врачом, и Кима больше не беспокоили по ночам.

Часто случалось, что сестра, поставив капельницу, забывала вовремя унести ее. Обычно я отправлялась на поиски сестры, а если меня не было в этот момент, Ким сам выдергивал иглу.

В другой раз Ким встретил меня вопросом:

— Ты не знаешь, где Таня?

— Какая Таня?

— Я тоже не знаю. Сегодня меня разбудила санитарка: «Где Таня? Где Таня?»

С мелкими проблемами я справлялась по мере их появления. Так, на двери ванной отсутствовала задвижка, что было, наверное, разумной мерой предосторожности. Но при этом дверь постоянно оставалась распахнутой, ее нельзя было даже прикрыть. Пришлось привязать к ручке веревочку, за которую Ким держал дверь, когда ему необходимо было уединиться.

Цда в госпитале, по выражению Кима, была «скучной», но гораздо лучше, чем в обычной больнице. Ким не привередничал и равнодушно проглатывал кое-что из того, что давали. Я старалась приготовить что-нибудь повкуснее, но больничная обстановка не улучшала его аппетита, и он уже не мог радоваться домашним блюдам. Ему не хватало лишь свежего горячего чая, и я принесла кипятильник.

Ванная комната была необычно большой. Там стояла койка и большой холодильник «ЗиЛ». Он был включен в единственную на всю палату розетку, которая находилась на полу. Чтобы приготовить чай, я ставила стакан с водой на холодильник и, отключив его, включала кипятильник.

Однажды, когда я нагнулась и выдернула шнур, стакан с кипятильником опрокинулся мне на голову. Кипятильник запутался в моих волосах и яростно шипел, продолжая свое дело. Мне обожгло плечо, голову и щеку, и только шею защитил толстый воротник свитера.

Ким перепугался, позвал сестру, а я больше всего боялась, что нам запретят пользоваться кипятильником. Но все обошлось. Мне оказали первую помощь и разрешили остаться на ночь, которую я провела на койке в ванной.

Наш незаменимый Владимир принес мне флакончик облепихового масла, которым я смазывала обожженную щеку. Через несколько дней толстая бурая, как подошва, корка отошла,

не оставив шрамов, тогда как плечо надолго сохранило следы ожога.

Мне не стоило, конечно, развлекать Кима столь экстравагантным способом. Происшествие хотя и внесло некоторое оживление в монотонный больничный распорядок, могло повредить его здоровью.

Пытаясь поднять Киму настроение и улучшить его аппетит, я иногда приносила немного коньяка в пузырьке. Но это не радовало его:

— Я не получаю удовольствия от дринка в такой обстановке. Всему свое время и место.

Во время последнего пребывания Кима в госпитале О.Д. Калугин принес мне домой две бутылки кагора, который исстари считался укрепляющим средством при всевозможных заболеваниях.

— Это из церковных подвалов, и все благодаря тесным контактам КГБ с православной церковью, — сказал он с гордостью.

Кагор Ким пил с таким же «удовольствием», как и микстуру, поскольку не любил сладких вин, а *к* целебным свойствам этого напитка относился скептически.

Ким с нетерпением отсчитывал дни и минуты пребывания в госпитале и рвался домой независимо от своего состояния. Он уверял, что не ощущает существенной перемены в самочувствии после больничного лечения.

Тем не менее обострения болезни становятся все чаще. Теперь уже постоянно висит угроза госпитализации, но Ким ни за что не хочет смириться с этой неизбежностью и из последних сил скрывает свой недуг, пытается обмануть и меня, и себя. Но я вижу, с каким трудом он дышит, как вздрагивает его спина и судорожно поднимаются плечи, и понимаю, как это опасно. Его замучила бессонница. Он думает, стоит ему выспаться — и все пройдет. Никогда не жалуется, не выказывает ни малейшего беспокойства по поводу своего здоровья, только иногда признается:

— Я устал.

Едва погасив свет, снова зажигает его и подолгу сидит, спустив ноги с постели. А мне казалось, что бессонница — скорее следствие, а причина — в его болезни.

В одну из таких бессонных ночей Ким сидел на кровати спиной ко мне и, не поворачивая головы, печально проговорил:

— Руфа, я скоро умру.

У меня сердце упало от ужаса, и я закричала сквозь слезы:

— Ты не должен допускать такой мысли. Не смей думать об

этом! Сейчас ты болен, измучен бессонницей. Но это скоро пройдет, ты поправишься, все будет хорошо.

Я и сама пыталась отгонять страшные мысли, но не могла не думать об этом.

Ким молчал, опустив голову. Я была в отчаянии и не сумела облегчить его страдания. Наверное, буду жалеть всю оставшуюся жизнь, что мне не хватило мужества выслушать его. Не могу простить себе, что тогда не проявила выдержки, мудрости. Надо было помочь ему высказаться, спокойно поговорить. Надо бы… Но я и теперь не могу спокойно говорить и писать об этом…

Состояние здоровья Кима становится слишком серьезным, и в периоды обострения я бессильна помочь ему, но он упорно не разрешает вызывать врача. Иногда на уговоры уходит несколько дней. В конце концов я вызываю «Скорую», и врач меня предупреждает:

— В следующий раз мы не успеем довезти его до госпиталя живым.

И это повторяется снова и снова…

В таком критическом состоянии Ким дважды попадал в реанимационное отделение. Туда обычно не допускали посетителей, и я могла только звонить по телефону, чтобы услышать дежурный ответ: «Состояние удовлетворительное». Однажды меня пропустили к нему на короткое время, и я успела поменять ему белье. К его груди были прикреплены на присосках многочисленные провода, как при электрокардиограмме. Ким сказал, что при необходимости он мог подниматься и снимать их.

Палата была большая, и в противоположном ее конце находился еще один больной. Никакого беспокойства Киму, кроме громкого храпа, он не доставлял.

Спустя некоторое время, уже дома, Ким признался, что больше всего в этом отделении его удручали бытовые неудобства: вместо унитаза приходилось пользоваться стулом с выбитым сиденьем, под которым стояло обыкновенное ведро.

Удивительно, что такие «мелочи» не были предусмотрены в этом, тогда совсем еще новом госпитале, построенном в конце 70-х годов и, по-видимому, оснащенном современным оборудованием.

ПОНИКШАЯ ГОЛОВА И СПИНА В ПИЖАМЕ

В октябре 1987 года Кима просят приехать в Ригу и дать интервью. Там снимается телевизионный фильм о работе советской контрразведки в Латвии в начале войны. Ким неожиданно соглашается, хотя до этого всегда отказывался от встреч с журналистами. В то время в зарубежной печати мелькали самые нелепые высказывания и домыслы о нем, вплоть до сообщений о его смерти. Чтобы опровергнуть всяческие слухи, Ким согласился дать интервью, и мы отправились в Ригу.

Когда мы приехали на Рижский вокзал, пошел проливной дождь. Мы промокли до нитки, так как наш вагон оказался в самом конце платформы; Идя к вагону, невольно ускоряли шаг, и Ким совсем выбился из сил. Он так и не успел прийти в себя, когда мы прибыли в Ригу. На вокзале к нему сразу подскочили журналисты с микрофонами и телекамерой, что застало его врасплох. Он тяжело дышал и выглядел очень напряженным.

На следующий день нас повезли в Сигулду и Юрмалу, где были съемки. У Кима подкашивались от слабости колени, и он падал на ровном месте. К концу дня Ким едва держался на ногах, и я сказала, что нам надо торопиться обратно в Ригу, так как Киму необходим врач. Но мне ответили, что запланирована встреча с Раймондом Паулсом, известным композитором, и мы не можем отказаться от такой чести. Мы все-таки отказались, и тогда Лукашевич (автор фильма, генерал КГБ на пенсии) сказал, что мы не можем обидеть его жену, и повез нас к себе домой. Никто не понимал, насколько тяжело Ким болен.

Наконец мы добираемся до своей гостиницы. Приходит врач, состояние Кима вызывает у него тревогу. На следующий день его осматривает профессор, назначает инъекции и строгий постельный режим. Вскоре появляется журналист, чтобы договориться о завтрашнем интервью в телестудии. Я говорю, что это невозможно, хотя болезненный вид Кима красноречивее моих слов. Телевизионщик взбешен и уходит, почти хлопнув дверью. Через некоторое время приходит Лукашевич и мягко уговаривает Кима. Я иду на компромисс и ставлю условие: снимать его будут в холле гостиницы и не более 20 минут. Эти условия были соблюдены, и Кима больше не тревожили. Так как ему предстояло провести в поезде полсуток без врачебной помощи, я решила задержаться на несколько дней, чтобы подлечить его. Большую часть времени он провел в постели, и только иногда мы спускались в бар для поднятия духа. Когда он немного окреп, мы вернулись домой, проведя в Риге всего неделю.

Хотя Ким внутренне готовил себя к госпитализации, он неожиданно стал быстро поправляться и выглядел вполне здоровым, когда его снимали в телевизионном фильме, посвященном Грэму Грину. Всю зиму, до самого марта, Ким чувствовал себя хорошо, был бодрым и веселым, а в конце января 1988 года встречался с Филиппом Найтли, английским журналистом. Его интервью было опубликовано в газете «Санди таймс» в конце марта того же года.

А незадолго до этого, в начале марта, состояние Кима стало ухудшаться, что, как обычно, сопровождалось бессонницей. Он сидел на кровати ночи напролет, прочитывая одну книгу за другой. Когда я заметила в его руках медицинскую энциклопедию, он признался, что у него «seeing double» (двоится в глазах).

— Как долго? — встревожилась я.

— Трое суток, — ответил Ким, но врача вызывать не разрешил, хотя и прочитал в энциклопедии, что это наиболее опасный симптом сердечного заболевания.

На следующий день после этого разговора Ким падает в ванной. Подняться не может, но сознания не теряет и просит:

— Подними меня.

Тело совершенно безжизненное, и я не могу сдвинуть его с места. Пока набираю номер «Скорой», он пытается ползти. Я прошу не двигаться, не напрягаться — это опасно. Все еще не могу дозвониться. Подкладываю ему под голову подушку, и он понемногу ползет, толкая ее перед собой, несмотря на мои протесты. Когда приехала «Скорая», он лежал в прихожей.

Кима укладывают в постель. Его осматривают терапевт и невропатолог. Они не находят ничего опасного и даже не видят необходимости в госпитализации. Не вызывает у них тревоги и его «seeing double», о котором я им говорю.

Киму становится немного лучше, и следующий день проходит спокойно. Но потом снова наступает ухудшение, появляется сильная одышка. Приезжает лечащий врач, настаивает на госпитализации, и Ким уже не сопротивляется. За ним обещают прислать машину на следующее утро. Когда время переваливает за полдень, я звоню в поликлинику. Мне отвечают, что нет машины и что сообщат, как только она появится. Наконец звонит телефон: машина вышла. Это значит, что она будет у нас через 15–20 минут. Мы одеваемся и ждем. Ким сидит на стуле у двери. Проходит час, другой… Пытаюсь выяснить по телефону, в чем дело. Отвечают, что машина выехала, но куда, не знают. Наконец приезжают, говорят, пришлось куда-то срочно заехать.

В госпиталь приезжаем вечером, Кима оставляют перед

пустым кабинетом. Никто не обращает на него внимания. Сидим в коридоре. Некто в белом халате проходит мимо. Пытаюсь остановить — отмахивается. Хватаю за рукав очередной белый халат и слышу одно и то же:

— Подождите. Это не ко мне… Ничего не знаю…

В одном из кабинетов появляется не то врач, не то сестра. Я объясняю, что тяжелобольной ждет больше часа. Она удивляется, но тоже ничего не знает и говорит:

— Ждите.

Терпение Кима безгранично. Наконец кто-то посмотрел осмысленно:

— Одну минутку.

Прошло «всего-то» около двух часов, когда Кима наконец пригласили в кабинет. Врач задает дежурные вопросы, бегло осматривает, записывает. Переодеваю Кима в пижаму, и его увозят в кресле в палату.

На этот раз его поместили в кардиологическое отделение. Основное лечение, как и прежде, состояло из ежедневных внутривенных вливаний — капельницы в сочетании с таблетками, которые он принимал и дома. Я приезжала утром и уезжала вечером, покормив Кима ужином. Задерживаться я не могла, так как раздевалка в госпитале закрывалась в семь часов вечера.

Лечащий врач настаивал на обследовании кишечника. Ким отказывался, так как эта область и желудок никогда не беспокоили его. Процедура пустяковая, уверял врач, и я, решив, что разумно провести такое обследование попутно, уговорила Кима. Он согласился скрепя сердце. К тому времени прошло две недели основного лечения, но прогресс в его состоянии был незначительным. Вопреки уверениям доктора, процедура обследования оказалась очень тяжелой. Ким потерял много сил и вернулся к своему первоначальному состоянию. У него обнаружили полип в кишечнике и назначили операцию.

Кима в моем сопровождении отвезли на машине в хирургическое отделение, которое находилось в старом здании госпиталя. Вскоре в палату пришла сестра и повела его на операцию. Ким с трудом передвигает ноги, задыхается. Сестра быстро идет впереди, изредка нетерпеливо оглядываясь. Я пытаюсь остановить ее, прошу каталку.

— Это рядом, — бросает она, не останавливаясь.

Я верю ей, что это «рядом», вместо того чтобы устроить скандал. Ким безропотно идет, время от времени останавливается, привалившись к стене. Проходим длинный коридор, поворачиваем в другой, спускаемся на лифте. Мой Ким едва дышит, когда мы добираемся до операционной. Обратно его

увозят на каталке.

Он признался, что операция была не такой мучительной и болезненной, как обследование. Его оставили в палате, ничего не сказав, и мы, по обыкновению, ждем, *и* опять все отмахиваются. Я бегаю в поисках врача и ненавижу свою беспомощность, а Киму кажется, что я волшебница, если могу хоть чего-то добиться в этом безумном мире.

— Что бы я без тебя делал! — сокрушается он.

Мне удается наконец найти врача, который говорит, что если мы успеем, то можем уехать в свой корпус на машине, через 15 минут. Мы успеваем.

В госпиталь я обычно добиралась на метро, а затем шла пешком вдоль шоссе через лесопарк. Этот путь (другого не было) от метро до госпиталя занимал 20 минут. По скользкой извилистой дорожке, протоптанной в снегу, я старалась ступать осторожно, боясь упасть. Меня постоянно преследовала мысль: «Что будет с Кимом, если я сломаю ноту?» Потом началась распутица, и в начале апреля дорога превратилась в грязное месиво. В центре города было уже сухо, и там я могла идти своим обычным быстрым шагом.

11 апреля, как обычно, я возвращалась вечером домой. Уже на подходе к дому, поворачивая за угол, подвернула ногу и с трудом добрела до квартиры. Наутро нога распухла, и пришлось попросить машину у куратора, чтобы доехать до поликлиники. Оказался перелом лодыжки, и мне сделали сапог из гипса до самого колена. Спросила, можно ли мне ходить. Хирург усмехнулся:

— Ходите, если сможете, — и сказал, что гипс снимут ровно через месяц, ни днем раньше.

Я поставила в календаре жирный черный крест на 11 мая и стала торопить дни. Если бы я знала, чем станет для меня этот крест!

Я могла передвигаться только по идеально ровной поверхности и, чтобы навещать Кима, просила машину, которую мне предоставляли через день. Обычно пребывание Кима в госпитале ограничивалось тремя неделями. На этот раз оно затянулось как никогда. Он терял терпение и надеялся, что будет дома к первомайским праздникам, но его состояние не внушало мне оптимизма. Накануне праздника Победы, 8 мая, пришли с поздравлениями сотрудники, порадовав Кима медом в сотах. Раньше Кима никто не навещал в госпитале, кроме меня. Он сам этого не хотел. После другого официального визита он был оживлен и взволнован:

— Я спросил о твоей пенсии, *и* меня успокоили, что ты

будешь ее получать. Правда, я не решился узнать, сколько.

В палате у Кима был телефон, и я, когда оставалась дома, ждала его звонка с утра. Я его не беспокоила, так как он, недосыпая по ночам, иногда дремал утром или не мог дотянуться до аппарата, если лежал под капельницей. Поэтому мы договорились, что первым звонить будет Ким, когда проснется. 9 мая я провела с ним весь день, как обычно, и попрощалась до 11 мая.

Утром 10-го я готовила Киму еду на следующий день, нетерпеливо поглядывая на часы — в ожидании звонка. Было еще рано, но я не могла побороть беспокойство и стала звонить сама. Телефон не отвечает. Звоню врачу — тоже не подходит. Снова набираю номер Кима. Трубку снимает врач, говорит, что Кима обнаружили лежащим на полу в ванной и сейчас его осматривает невропатолог.

Я прошу срочно машину. Она приезжает через час после назначенного времени. До сих пор все шоферы были очень пунктуальны. Этого я вижу впервые. Объясняю ему дорогу. От волнения не сразу заметила, что вместо Волоколамского шоссе он едет по Ленинградскому, и опомнилась, когда мы стали приближаться к Шереметьево. Дорога пустынна, и я умоляю скорее развернуться. Обычно шоферы очень сообразительны и при необходимости нарушают правила, но этот упорно несется вперед, в противоположную от госпиталя сторону, потом бессмысленно кружит по кольцевой дороге. До места мы добрались через полтора часа вместо обычных 20 минут. Я прошу шофера приехать за мной в 9 часов вечера, как мы договорились с куратором, и предупреждаю, что в случае непредвиденных изменений ему сообщат. Он говорит, что сегодня дежурит до поздней ночи, приедет за мной ровно в 9 и будет ждать на этом самом месте.

Когда я вошла в палату, Ким заулыбался от счастья: он ждал меня только на следующий день. Я поговорила с врачом. Состояние Кима не вызывало у него тревоги, ничего серьезного не обнаружил и невропатолог, но на всякий случай назначил энцефалограмму на следующее утро.

Ким дремал, иногда поднимался, мы разговаривали. Он был слабым, но таким я видела его не один год. Несколько раз он выходил курить в ванную. В очередной раз, когда он ушел, я услышала монотонный стук: Ким не мог подняться с сиденья и стучал мыльницей, призывая меня на помощь. Я довела его до постели. Он немного полежал, потом сел. Я покормила его с ложечки творогом с черной смородиной — его пудингом. Он посмеялся и сказал:

— Вот что значит любовь: только из твоих рук я могу это съесть.

Пока Ким был в ванной, я позвонила Алексею, нашему куратору. Мы договорились, что к 6 часам я решу, уеду ли сегодня. Сначала я раздумывала, не остаться ли мне на ночь, но боялась навести Кима на мрачные мысли. Понаблюдав за ним и поговорив с врачом, немного успокоилась. У меня тогда и в мыслях не было, что может случиться самое страшное. С другой стороны, предчувствуя, что его состояние может ухудшиться и мне придется постоянно находиться рядом, я собиралась принести необходимые для этого вещи и главное — освободить от гипса свою ногу, чтобы не зависеть от машины.

Ким повеселел, и, когда позвонил Алексей, я сказала, что уеду в 9 часов, как и договорились. Я ушла около девяти, пообещав Киму приехать пораньше, как только освобожусь в поликлинике. Выходя, я обернулась, и меня кольнуло, что он не повернул голову. Так и остались у меня в памяти его поникшая голова и спина в пижаме.

Я доковыляла до места, где должна была стоять машина, но ее не было. Такого раньше не случалось. Прождав 20 минут, вернулась в госпиталь, чтобы позвонить Алексею. Везде темно, свет только в одном кабинете, где дежурит врач или сестра. Попросила разрешения позвонить, мне неохотно позволили. Телефон Алексея не отвечает, хотя он говорил мне, что будет дома, к тому же у него маленький ребенок, которого не оставляют одного. Решила проверить у Кима, правильно ли переписала номер телефона, который остался у него в тумбочке. Ким продиктовал мне телефон — все правильно. Обратила внимание, что голос его звучал бодро. В это время появляется другая дама в белом и отчитывает меня: как *я смею* пользоваться служебным телефоном!

Выхожу из здания на условленное место — машины нет как нет. Холодный ветер, темно. Прячусь в проеме между дверями. Подъезжает «рафик», почти вплотную ко мне проносят на носилках тело, прикрытое одеялом, и погружают в машину. Становится жутко. Вернуться бы к Киму! Почему я этого не сделала?! 10 часов. Захожу в проходную:

' — Разрешите позвонить?

— Телефон не работает, — отвечают и смотрят как на грабителя.

Я поднимаю трубку — телефон работает. Но ни один из наших кураторов не отвечает. (Как оказалось, у одного из них не работал телефон.)

Мне ничего не оставалось, как добраться до шоссе и

попытаться поймать такси. Остановилась какая-то машина с пассажиром, меня взяли. Дома я была после одиннадцати. Сразу позвонила Киму, меня опять порадовал его звучный голос (слабый голос всеща выдавал его плохое самочувствие). Глотаю снотворное и лежу с книгой. Посмотрела на часы — ровно два, погасила свет…

По моей просьбе Алексей обещал прислать за мной машину к 9 часам утра, чтобы отвезти меня сначала в поликлинику, а потом в госпиталь. Время приближалось к десяти, а машины все не было. Чтобы не беспокоить Кима, звоню на пост и спрашиваю у дежурной сестры, как чувствует себя больной.

— Справьтесь у врача, — отвечает она.

Врач не отвечает. Звоню Киму — молчит. Снова звоню на пост и уже в панике кричу в трубку:

— Он жив?!

— Он умер в 2 часа.

«Я шел своим путем»
Ким Филби
в разведке и в жизни
Редактор *М.В. Егорова*

24. 468. 357. 680. 579. 802. 791. 024. 468. 357. 680. 579. 802. 791. 024. 468. 357

К. Филби: "Я чувствовал, что мои идеалы и убеждения, мои симпатии и желания на стороне тех, кто борется за лучшее будущее человечества. В моей Англии, на моей родине, я тоже видел людей, ищущих правду, борющихся за нее. Я мучительно искал средства быть полезным новому обществ А форму этой борьбы я нашел в своей работе в советско разведке. Я считал и продолжаю считать, что этим я служил и моему английскому народу".

notes

Примечания

1

Лакноу — столица североиндийского штата Уттар-Прадеш; Хэвилок, сэр Генри (1795–1857), Утрам, сэр Джеймс (1803–1863) — британские военачальники в Индии, командовавшие поочередно британскими войсками во время индийского восстания 1857 года. Кемпбелл, сэр Колин (в дальнейшем барон Клайд) (1792–1863), — главнокомандующий британскими войсками в Индии в период индийского восстания 1857 года. — Прим. пер.

2

По здравом размышлении следует думать, что архиепископ Кентерберийский, вероятно, всегда без колебаний придерживался противоположной точки зрения. Неизменную приверженность примата англиканской церкви набору весьма сомнительных предположений легче всего было бы объяснить по рецепту Тревор-Роупера, объявив его ископаемым, причем из очень далекого прошлого.

3

Любопытно отметить, что мое увлечение картами почти совпало по времени с первой серьезной экспедицией отца — переходом через Аравию от Эль-Укайра до Джидды.

4

Меня всегда удивляло то, как моя мать относилась к воспитанию детей. Она была не способна на сознательную жестокость. И тем не менее, не уставала повторять, что жизнь — это отчаянная борьба за выживание, а для победы необходима непрерывная работа в сочетании с упорством. Иногда в годы моего отрочества на нее нападали страхи, что я могу рано умереть от голода или переохлаждения. Откуда у нее брались такие мысли, я не имею ни малейшего представления; в Индии она, должно быть, знала множество людей, которые жили безбедно, обременяя себя минимумом работы, выполняемой в промежутках между танцами, игрой в поло, теннис и бридж. Но в конечном счете такой подход помогал жить. Когда я убедился на собственном опыте, что для представителя британского среднего класса жизнь не так уж трудна, моя уверенность в этом возрастала пропорционально беспочвенным страхам, которые навевали поучения матери. Мой отец внушал гораздо больше оптимизма. Он ни минуты не сомневался в том, что его первенца ожидает благополучное будущее.

5

Westminster School — одна из девяти старейших престижных мужских привилегированных частных средних школ. Расположена в центре Лондона, недалеко от парламента и Вестминстерского аббатства. Основана в 1560 году. — *Прим. пер.*

6

В 1971 году в своей московской квартире я слушал радиорепортаж Би-Би-Си о финальном матче на Кубок Англии. Когда Чарли Джордж забил Победный гол, мне показалось вполне закономерным, что «Арсенал» сделал дубль именно в том сезоне, когда я отмечал полувековой юбилей пребывания в рядах его болельщиков.

7

Может показаться, что это противоречит моему предыдущему утверждению, будто мы не интересовались девочками. Но под девочками я имею в виду именно девочек, наших сверстниц. Мэри Браун было около 30, и она была для нас загадкой.

8

Макдональд Джеймс Рамсей (1866–1937) — один из основателей и лидеров лейбористской партии Великобритании. В 1924 и 1929–1931 годах — премьер министр. В 1931—1935 годах, выйдя из лейбористской партии, возглавлял коалиционное (так называемое национальное) правительство. — Прим. пер.

9

Речь идет о первом чуде Иисуса Христа в Кане Галилейской, когда во время брачного пира он превратил воду в вино (Евангелие от Иоанна, гл. 2). — Прим. пер.

10

Галлахер Уильям (1881–1965) — деятель английского и международного коммунистического движения, ставший впоследствии председателем Исполкома (1943–1956 гг.) затем президентом (1956–1963 гг.) КП Великобритании.

11

Поллит Гарри (1890–1960) — один из основателей (1920 г.) КП Великобритании, в 1929–1956 годах — генеральный секретарь, с 1956 года — председатель Исполкома Великобритании. — Прим. пер.

12

Литци — Алиса Фридман (урожденная Коплан), первая жена Филби, активистка компартии Австрии. Они познакомились в Вене в 1933 году и в 1934 году поженились. — Прим. пер.

13

Добрый день. Как поживаете? *(нем.)*.

14

Лоренс Томас Эдвард (1888–1935) известен как Лоренс Аравийский — выдающийся археолог, путешественник, военный стратег и исследователь Арабского Востока. В период службы в британской армии (1914–1919 гг.) возглавил восстание арабов против Турции (которая являлась союзником Германии в первой мировой войне). — Прим. пер.

15

Лорд Редесдейл — один из лидеров британских нацистов. *Прим. пер.*

16

Подробное исследование всех материалов, относящихся к прошлому проверяемого и связанных с ним лиц.

17

На эту мысль навел меня коллега из Москвы. Мои первые сообщения заставили его серьезно подумать, что я попал в какую-то другую организацию.

18

Отдел «Д» под руководством Гранда был создан в марте 1938 года.

19

Речь идет о планах нападения на Советский Союз, которые вынашивали в то время правящие круги Великобритании под лицемерным предлогом нанесения удара по Германии *с* востока.

Английское слово «dud» означает «неудачник». — Прим. пер.

21

Позже, когда Филби в 1947 году приехал в Стамбул, Чидсон был старшим офицером безопасности в английском посольстве в Анкаре. — *Прим. пер.*

22

Сотрудничал с Брюсом Локкартом, одним из английских тайных агентов в России после революции 1917 года, а также был другом Сиднея Рейли. Во время второй мировой войны занимал высокий пост в УСО и был послан Черчиллем в Москву в качестве представителя УСО/СИС.

23

Управление специальных операций было создано по распоряжению Черчилля в 1940 году и руководило всеми тайными действиями против стран «оси», особенно саботажем и диверсиями.

24

В 1939 году был помощником начальника Разведывательного управления Военного министерства.

25

Начальные буквы английского выражения «slop and offal», означающего «выгребная яма», совпадают с начальными буквами английского названия УСО — Special Operations.

26

В сражении при Камбре 20–30 ноября 1917 г. впервые в истории в массовом количестве были применены танки.

27

Начальник разведки ВМС до 1921 года. Начальник СИС с 1936 года и до своей смерти в ноябре 1939 года.

28

Подпольная, или подрывная, пропаганда.

29

Во время войны Черчилль назначил своих друзей из Сити на высокие посты в УСО и СИС, в том числе он не забыл и своего банкира Чарльза Хэмбро, который возглавлял УСО в 1942–1943 годах.

30

Главное действующее лицо серии шпионских романов, написанных Валентайном Уильямсом.

31

Гейтскел тоже был в Австрии в 1934 году. Он, судя по слухам, встревожился, узнав о женитьбе Филби на «этой молодой коммунистке Алисе Фридман». Похоже, Филби представлялся Гейтскелу «этаким альтруистом левого толка с байроническими воззрениями и путаницей в голове, жаждущим помогать левому движению, не заходя так далеко, как коммунисты». Гейтскел явно недооценил Филби! — *Прим. пер.*

32

На передних скамьях в английском парламенте сидят представители правящей партии.

33

Фрэнк Натан Дэниел Букмен — американский евангелист и миссионер, основатель оксфордской группы. В 1939 году он проводил широкую кампанию за моральное разоружение Великобритании.

34

Один из тысяч добровольцев, помогавших нам в Великобритании. Он был придан нам как инструктор по диверсионным операциям.

«Политический комиссар» (исп.).

36

Мое мнение об Испании и испанцах, естественно, отличается от мнения Питера Кемпа, который во время гражданской войны воевал на стороне генерала Франко. Однако я полностью согласен с описанием того потрясения, какое Кемп испытал при первой встрече с начальником испанского сектора УСО Хью Кеннеллом.

«После того» не значит «вследствие того» (лат.).

38

Изысканной кухни и дорогих вин (фр.).

39

В 1944 году был главным советником Министерства иностранных дел при СИС, в 50-х годах — послом Англии в Москве, а затем в Париже.

40

Мне однажды пришлось защищать Грэма Грина, когда он получил нагоняй за то, что его агент, посланный на Азорские острова после захвата их Англией, не смог установить связь, в результате чего СИС оказалась в глупом положении.

41

Улица в Лондоне, на которой находятся правительственные учреждения. Здесь — английское правительство.

42

Игра слов fanny — зад; Fanny — женское имя.

43

Одно досье, к которому имели доступ сотрудники, дежурившие ночью, было для меня особенно ценным. Оно содержало телеграммы английской военной миссии в Москве, направляемые по каналам СИС.

44

Генерал-майор Стюарт Мензис — начальник СИС с 1939 по 1953 год.

45

Одна из лондонских тюрем.

46

Большой ресторан в Лондоне.

47

Период усиленных бомбардировок Лондона немцами в 1943 году.

48

«Top Secret» — американский термин, в отличие от «Most Secret» — английского термина. Оба переводятся как «совершенно секретно».

49

Герой шпионских романов.

50

После перетряски Службы Черчиллем в 1953 году Синклер возглавил СИС. Был вынужден выйти в отставку после инцидента 19 апреля 1956 г. в Портсмутской гавани, когда исчез коммодор Крэбб, проводивший подводную разведку советского крейсера «Орджоникидзе».

51

«Двенадцатая страна, двенадцатая страна превыше всего» *(нем.)*.

«Подзорная труба» (англ.).

53

Литературный клуб в Лондоне.

54

ЦРУ было создано в 1947 году на основе бывшего Управления стратегических служб и Центральной разведывательной группы. Хилленкоттер возглавлял ЦРУ в 1947–1950 годах.

55

Английский гражданин, осужденный в Москве в 1965 году за шпионскую деятельность в нашей стране.

56

Тоннель, построенный в 1955 году в Берлине английской и американской разведками для подслушивания советских линий связи.

57

Эмери, Джулиан — капитан, сражавшийся на стороне албанских партизан после того, как страна была оккупирована немцами в 1943 году.

Имеется в виду Маклин, который в описываемый период работал заведующим американским отделом Министерства иностранных дел Великобритании и выполнял задания советской разведай.

59

Улица в Лондоне, где расположены редакции главных газет.

Председатель Комиссии по атомной энергии.

61

Возглавлял английскую информационную службу в Америке. Впоследствии постоянный помощник министра иностранных дел.

62

После смерти Лаврентия Берии в 1953 году Петрова заподозрили в участии с заговоре, который готовил Берия в борьбе за власть. В связи с этим обвинением Петрова вызвали в 1954 году в Москву, и он бежал в Сидней, принеся с собой ценную информацию о советских агентах и шифрах.

63

25 октября 1955 г. Маркус Липтон сделал запрос премьер-министру Антони Идену, намерен ли он назначить специальную комиссию для расследования обстоятельств исчезновения Бэрджесса и Маклина. Затем он спросил о деятельности «третьего человека» — Филби. Иден обещал открыть дебаты по этому вопросу, которые состоялись 7 ноября 1955 г. В ходе дебатов министр иностранных дел Гарольд Макмиллан реабилитировал Филби.

Собственно, Липтон получил информацию из «Эмпайр ньюс», которая не могла назвать имя Филби, не подвергая себя обвинению в диффамации. — *Прим. пер.*

Нина-Руфина. - Прим. пер.

Заднего ума (фр.).

Тогда молчи *{фр.)*.

По пути *(фр.)*.

У нас *(фр.)*.

До скорой встречи! (Фр.)

71

Эрик де Мони — бывший корреспондент Би-Би-Си в Москве. — *Прим. пер.*

72

Столовое вино (фр.)

73

Дик Бистон — московский корреспондент газеты «Дейли телеграф». — Прим. пер.

СК — Соединенное Королевство. — *Прим. пер.*

Нина — Руфина. — *Прим. пер.*

Филипп Найтли — бывший корреспондент «Санди таймс». — *Прим. пер.*

77

Майкл — любимый ученик К. Филби в семинаре для молодых разведчиков. — *Прим. пер.*

78

Тодор — болгарский друг Кима и Руфины Филби. — *Прим, пер.*

Andrew C., Gordlevsky O. KGB. Inside Story of its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev. London, Hodder and Stoughton, 1990.

Forsyth F. The Fourth Protocol. London, Kattingon, 1984.

См. *Andrew C., Gordlevsky O.* Op. cit. — P. 453.